# М. М. ПРИШВИН
# ДНЕВНИКИ
## 1918–1919

# М. М. ПРИШВИН

## Дневники

1918

1919




Санкт-Петербург
2008

УДК 882
ББК 84Р7-4
П77

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

*Фонда Первого Президента РФ Б. Н. Ельцина*

**Пришвин М. М.**
П77 Дневники. 1918—1919 / Подгот. текста Л. А. Рязановой, Я. З. Гришиной; Коммент. Я. З. Гришиной — СПб.: ООО «Изд-во "Росток"», 2008. — 560 с.

В ходе подготовки «Дневников 1918—1919» М. М. Пришвина ко второму изданию были сверены и частично прочитаны места текста, не разобранные или пропущенные в первом издании.

**ISBN 978-5-94668-059-2**

**УДК 882
ББК 84Р7-4**

М. М. ПРИШВИН

# ДНЕВНИКИ

# 1918

1919

*[Петроград]*

***1 Января.*** Встретили Новый Год с Ремизовыми: их двое и я, больше никого. На дворе стужа ужасная.

Мучительно думать о родных, особенно о Леве — ничего не знаю, никаких известий, и так другой раз подумаешь, что, может быть, и на свете их нет. И не узнаешь: почты нет, телеграф только даром деньги берет.

Эпоха революции, но никогда еще люди не заботились так о еде, не говорили столько о пустяках. Висим над бездной, а говорим о гусе и о сахаре. За это все и держимся, вися над бездной.

Марья Михайловна сказала:

— Сегодня ночь опять звездная, опять много потеряется тепла через излучение в межпланетное пространство, и завтра мороз, вероятно, еще будет крепче.

Мне понравилось, как вчера в трамвае одна молодая дама, увидав объявление о бал-маскараде, гневно сказала:

— В такое время, негодяи, о каких-то балах думают, нашли время!

С Новым Годом поздравляемся иронически и не знаем, что пожелать, говорим:

— С Новым счастьем!

### *[Тюремный дневник]*

*[Без даты:]* Тюремной невестой мне досталась барышня из обсерватории, я спросил ее через решетку: «Как звезды?» Она ответила: «Звезды сегодня большие, все небо открыто, за ночь много потеряется тепла через лучеиспускание в межпланетное пространство, и завтра будет сильный мороз».

Двенадцать Соломонов нашей редакции, запертые в тюрьму в часы, когда они пишут обыкновенно статьи, — вскакивают с коек и вместо писания начинают между собой политический разговор о фундаменте власти и увлекают с собой в политику энтомолога, музыканта, собирателя византийских икон и разных чиновников-саботажников: из банка, из министерства.

Двенадцать Соломонов редакции нашей газеты со всеми хроникерами, корректорами, конторщиками редакции и типографии и со всеми случайными посетителями редакции и даже теми, кто зашел в контору газету купить, — были внезапно арестованы в 3 часа дня 2-го января.

Во время ареста три присутствовавшие в редакции члена Учредительного Собрания сказали:

— Мы члены Учредительного Собрания.

И про меня кто-то сказал:

— Это известный писатель!

Арестующий комиссар ответил:

— С 25-го числа это не признается.

Нас привели на Гороховую, № 2, и, поставив в углу комнаты трех мальчиков с ружьями, оставили часа три сидеть на лавочках друг против друга в полутьме. Потом стали одного за другим вызывать, мы думали, к допросу, готовились, сговаривались, кому за кем выходить. Я был один из последних и, надев пальто, в сопровождении конвойного пошел по длинному коридору. Где-то в извилине коридора меня остановил какой-то комиссар, записал мое имя и попросил вывернуть карманы. Ощупав всего, он меня отпустил, и конвойный повел дальше, и, наконец, я почувствовал: вот эта последняя дверь, вот где трибунал. Изумленный, я остановился на пороге, передо мной сидели все мои прежние товарищи по редакции и все смеялись. И скоро я смеялся вместе с ними, когда вскоре вошел следующий за мной арестованный. Похоже было на игру в жмурки или как песочные часы пересыпают из одного яичка в другое.

Мы проголодались и потребовали у стерегущего нас воды и хлеба.

— Я спрошу, — сказал стерегущий. И удалился. Вернувшись, он объявил: — Сейчас вас отвезут в тюрьму, там вы получите воды и хлеба.

Скоро двух членов Учредительного Собрания отдельно увезли в Петропавловку, а нас пятерками в грузовике назначили ехать в пересыльную тюрьму.

В грузовике перед отправлением наши конвойные-латыши затеяли спор о том, где находится пересыльная тюрьма, и, не выяснив хорошо это, поехали, всюду спрашивая у прохожих, где находится тюрьма пересыльная.

По пути один из нас завел с латышами разговор — очень длинный, и тут мы узнали, что на Ленина было покушение и мы обвиняемся в соучастии ниспровержения существующего строя. Весь длинный разговор нашего товарища с латышами в заключение выразился ими такою фразой:

— Если бы Керенский теперь продолжал властвовать, то мы бы теперь, наверно, лежали в земле, а нет его, и мы вас, товарищи, везем в тюрьму!

— Приехали, товарищи! — сказал шофер. Но политический разговор с латышами еще был в большом напряжении, и еще несколько минут, совсем забыв о тюрьме и о своей роли, у ворот они вели с нами горячий спор о бабушке.

— Мы, — говорили они, — уважаем бабушку за прошлое, но жизнь есть эволюция, сегодня ты признаешь одно, а завтра другое.

В канцелярии тюрьмы нас всех записали и отвели в камеру, где большое общество интеллигентных людей, истомленных скучным сидением, радостно приветствовало «Волю народа».

2-го числа Нового Года трамваи не ходили, я поколебался, идти мне в редакцию хлопотать о выпуске литературного приложения к «Воле Народа» или махнуть рукой: кому теперь нужно литературное приложение! Мороз был сильный, раздумывать некогда — побежал и довольно

скоро прибежал в редакцию. Там сидели солдаты с ружьями, и два юнца-комиссара жестоко спорили между собой, кого арестовывать, всех или не всех. Ордер у них был арестовать всех подозрительных.

— Я не подозрительный, — горячо говорил член Учредительного Собрания.

И про меня кто-то сказал:

— Это писатель!

Арестующий комиссар ответил:

— С 25-го числа это не признается.

И потребовал мой портфель. Я сказал, что портфель наполнен рукописями поэтов и писателей и передать их не могу. Я не член Учредительного Собрания, не член партии, даже не член редакции, в чем же мог выразиться мой пафос, как не в защите Литературного портфеля. И я его защищал:

— Я не дам!

И добился того, что его решили оставить при мне, но приложить печать к застежке. Сургуча не было, взяли свечу и накапали и загадили портфель.

— Товарищ! — начал говорить капавший.

Я сказал:

— Вам я не товарищ: вы раб, а я господин.

Я хотел этим сказать, что насильник, по моим взглядам, есть раб: взявший меч от меча и погибнет.

— Вы раб, а я господин!

На это комиссар ответил:

— Так я и знал, что вы настоящий буржуй!

И отобрали у меня портфель со всеми стихами и рассказами.

В этом и ужас: мы не понимали друг друга.

***4 Января.*** Вчера выпущен продовольственный диктатор — бухгалтер Государственного банка Писарский. Сегодня продовольствие несколько расстроилось. Сельский учитель, вывезенный из недр Псковской губернии за отказ сдать дела школы, называется у нас «профессор».

Лучшие представители 70-титысячной организации служилой интеллигенции Петербурга, которые называются у большевиков «саботажники».

Порядок (конституция) нашей камеры был выработан товарищем министра Бородаевским и прочно держится до сих пор.

Рассказ очевидца при выборах в Учредительное Собрание. Старушка говорила:

— Я за церковь и за Бога, а то умрешь, и, как собаку, закопают на Марсовом поле.

Тот, который сидит за низенькой ширмой парашки, тихо разговаривает с тем, который возле ширмы умывается:

— Мне сорок один год — черт знает что, опять студенческие времена переживаю!

Сидящий возле за чаем член Учредительного Собрания услыхал это и отозвался:

— Я считаю: совершенно то же самое, точь-в-точь.

— А помните цветы?

— Так это же не в студенческие годы — это принесли нам, когда нас арестовали накануне разгона Государственной Думы. Да, помните, как вошли и Чернов сказал: здесь член Гос. Думы — неприкосновенен! Дверь заперли, а Чернов выскочил в окно.

Владимир Владимирович Буш, приват-доцент — словесник, Михаил Иванович Успенский.

— Как поживаете — привыкли?

— Да, обострожился.

Чужие мысли.

Музыкант: мир заключенный и тот мир, который в движении; музыка нам открывает тот мир в движении, тот мир свыше.

— Туда отдает свое лучшее мать, ухаживая за ребенком, — сказал окружной инспектор Народных училищ.

Энтомолог сказал:

— Я пятнадцать лет работаю над изучением жизни насекомых, и вот вам пример: оса укалывает кузнечика так, что остается жив, но не движется, и кладет на него личинку. Вот, когда личинка выходит, она получает себе пищу. Она не сознает, а делает, значит, получает свыше указание. Так движется мир, подчиняясь высшему. Другие силы, напротив, идут от себя, от эгоизма, и эта сила разрушительна.

Когда нас из редакции перевезли в тюрьму, то нас встретила в настроении заключенных повышенная уверенность, что большевистский строй рушится. А мы ничего не знали...

Получаемые сведения и постепенный рост нашего настроения от чувства личной угнетенности...

Из Красного Креста нам принесли хорошие щи и по котлете — мы очень обрадовались. И вдруг староста объявил: принесли еще по второй котлете. Тогда радость была безмерной.

— Если так будет, то я отъемся здесь, и когда выйду на волю, то скажу: я пострадал!

— А если не выйдете?

— Тогда ничего: пропаду за спасибо!

И потом мы говорили долго, что вся Россия, собственно, и живет за спасибо.

Приходили с утешением: завтра (Учредительное Собрание) все двери отворятся. А потихоньку некоторым избранным сказали, что дела плохи, бой будет.

Успенский схватился за голову: дурак я, дурак! как обманулся, а ведь считался человеком неглупым (это он о народе русском).

С-й смотрит с французской точки зрения (Китай — Россия) и упорный пессимист.

Продовольственный диктатор, бухгалтер Государственного банка — тихий, с улыбочкой, всегда за делом, на

вид лет 40, а так лет 60. У решетки показался арестант и просит хлеба. Не спросив Д., Ф. берет кусок и хочет дать. Д. его останавливает:

— У нас нет хлеба.

— Я не могу, не могу, я остаюсь сам, но я дам!

И дает. Д. отходит к окну и, оставшись минуту с собой, с прежней улыбочкой объясняет Ф.:

— Так нельзя!

(Внешне правдивая и внутренне ложная и совершенно пустая эгоистичная сущность Ф.)

В. М. Чернов ни при чем и, верно, всегда сидит за компанию.

***5 Января.*** День Учредительного Собрания совпал со днем моего дежурства.

Вчера влилась в нашу камеру редакция газеты «День», и двенадцать Соломонов разговаривали об отсутствии интеллигентности и религиозности в русском народе. Ужасно, что все говорят «по поводу веры». Две партии — одни хотят видеть хорошее в народе, другие судят его по иностранным образцам.

Соломон, с пальцами, порезанными штыком, — искусный митинговый оратор — начал говорить, и так, будто всадник сел на коня и оставил грязную конюшню.

Типы: хроникеры, передовики.

Будущее: интеллигенты продолжают говорить о будущем и не могут остановиться, как бегающие заведенные детские игрушки.

Энтомолог раньше подготовлялся к общественной деятельности. Подготовился, приучился, теперь говорит, что приучает себя к смерти, думает, что можно себя подготовить так, что будет легко.

— Освобождается, освобождается!

— Кто? — спросили вблизи.

— Ящик!

А те, что за шашками сидели, — не слыхали, и тот, который из-за ширмы параши вышел, спросил:

— Кто освобождается?
— Ящик освобождается.

Староста о хлебе: не давайте, разве вы можете знать, что будет завтра? Семья, друзья — все отрезано, и человеческий мир ощущается через тех, с которыми свела судьба.

Два типа: один готовится к смерти, другой — убежать.

С Иорданью по камерам: Рыжий не встал и к кресту не пошел, и только задержал у рта ложку с баландой и, когда все приложились, проглотил баланду.

В церкви «Отче наш» — этот и тот, детский. Время вдруг представилось таким коротким — будто положил кто-то меня — кусок сахару, — размешал ложечкой и все выпил.

Встреча с Авраамовым.

Надо знать, что человек, готовящийся умереть на гильотине, и человек, приготовившийся к случайной смерти, — разные люди.

***6 Января.*** Вчера около 12-ти, когда одна часть наша сидела за шахматами, а другая спала, вдруг раздался хохот, мы открыли глаза: горело электричество, и хохотали, забыв о спящих, радовались электричеству. Через несколько минут вошел П. Н. и сказал, что Учредительное Собрание открылось и Чернов избран председателем, а власть во дворце у большевиков.

Рассуждение двенадцати Соломонов о будущем и между соседями по койкам — чиновниками:

— Ценно, что переход: большевики, потом эсеры, и потом перейдет к кадетам.

— А я думаю, образуется новая огромная национал-демократическая партия.

— Как бы национальная партия не оказалась монархической?

Настроение чиновников и Соломонов – два разные мира (там голодные семьи, тут профессиональная проституция).

Встреча земляков из Читы: лежали рядом неделю и не знали, а когда узнали, что земляки, то и не разлучаются.

Двенадцать Соломонов гложут кость, и она все белеет, белеет, и без того давно вываренная и уже давно обглоданная: интеллигенция не может верить, как народ.

Камера наша стала похожа на Невский проспект, тот Невский, который со времени революции живет такой нервной жизнью, как поверхность воды, открытая ветру: посмотришь с трамвая и все-все знаешь, газеты читать не нужно. Так и у нас в камере. Это не одиночка. Сюда новости политические приходят, как в редакцию, и Соломоны-учетчики гложут кость – Конвент и пр., а тайна – кто дирижирует операцией за спиной большевиков – неизвестна.

Философ готовится к смерти, кто нервничает. (Селюк, человек терпеливый: вот француз, что бы он тут наделал, если бы тоже так вот пришел в редакцию купить газету, а попал в тюрьму!)

– А что же француз – вот француз! – и показал на Полентовского, который во время ареста схватился за штык и порезал себе пальцы. – Что он достиг?

Дали по бутерброду с икрой.

– Для чего это кормят?

– А так: хорошо!

Ха-ха-ха! Вот так еда, перед чем?

А вся наша жизнь теперь перед чем?

***7 Января.*** Вчера вечером нас предупредили, что если будет шум и больше – это нас не касается (бунт уголовных).

(Ведь иногда можно поместить такую заметку в хронике – она будет стоить очень дорого.)

Живем на вулкане и говорим так:

— Если удастся благополучно выйти, ведь освободят же нас! — заходите ко мне.

Для повести: расходятся из-за того, что оба чувствуют святость брака и, любя друг друга, любят естественным браком других.

— Что вы шьете?

— Мешок для ватерклозета.

Соломоны хотят учесть то, что нельзя учесть, и прикладывают к «текущему моменту» (момент течет!), французская историческая искусственная догма. И, наговорившись всласть, опять спрашивают инженера:

— Что вы шьете?

Тот сурово отвечает:

— Ватерклозетной бумаге мешок!

Вл. Мих. читает океанографию и вспоминает моллюска прозрачного как вода, химерического вида, с хоботком:

— Pterotrochea coronati.

Историческая фраза: «Караул устал!» — как осуждение говорящей интеллигенции.

Светлое утро после метели, свет утренний через решетку тюрьмы и деревья митрополичьего сада за оградой. На деревьях спят черные птицы — родные галки-вороны и голубь, золотясь в луче солнца, и золотые сосульки на карнизе дровяного сарая, дым из труб электрической станции — и вот эти маленькие люди-чиновники, согнутые в одну сторону, перегнутые и гордящиеся перед своими подчиненными, стали теперь героями настоящими, борцами за свободу настоящую, не четыреххвостную, а личную подлинную свободу, — хвала же вам, тюремщики, палачи всякие, обезьяны и вредные насекомые, я отпускаю всех, недоумки и межеумки, бедные сердцем.

В камере № 5-й сидят политические вместе с уголовными, и среди них налетчик Функ, человек с тоненькими черными усами и крестом Санкт-Петербургской Духовной Академии на груди.

Сила русского человека появляется в тот момент, когда начинается жертва: таким началом была манифестация 5-го января.

Инженер, подшивающий вешалку, разговорился с заведующим хроникой: посредством четвертого измерения мы можем себе представить астральный мир и, следовательно, умствуя, допустить существование Бога.

Окружной инспектор говорит:

— Бог любви теперь перешел на сторону чиновника: 9-го января он был на стороне рабочих, а теперь перешел на сторону чиновников, и потому план Ленина будет расстроен.

— Вот какой идеалист! — сказал наш редактор.

Окружной инспектор еще говорил:

— Если так велико падение русского человека, то, значит, и есть какая-то большая высота, с которой он падает.

***8 Января.*** Камера, как Невский — нервна как улица: вчера узнали, что убиты Кокошкин и Шингарев — всех подавило: пессимистический приват-доцент Буш (и он неизбежно должен быть таким, потому что он только аналитик), и Михаил Иванович Успенский всегда, несмотря ни на что, будет оптимистом, потому что лик одной иконы стоит за ним, а у Чернова Pterotrochea с хоботком. Учетчики-передовики гложут кость, а хроникеры пишут письма родным. Среди хроникеров выделяется один (нарисовать его — за обедом, за бутербродами), он нахален, у него огромная воля, потому что его родители, когда он родился, признали, что он больше их, и потом, когда у него родились дети, он отдал свою волю им. Текущий момент и красные чернила.

— Мы идем к Интернационалу, не Ленинским путем, но идем!

— Рассыпанная Азия, Индия будет самостоятельным Государством, и вот вам Интернационал.

Капитан Аки

Корректор Капитанаки — грек, пострадал за свою фамилию, которую комиссары поняли: Капитан Аки.

Солдаты-литовцы после разгона Учредительного Собрания стали на караул и, увидав сегодня нас, буржуев, стали хохотать, один не смеялся и, закатив белки вверх, с белыми глазами изображал важность власти, другой, маленький, прыскал-прыскал.

А они всё разговаривали:

— Интеллигенция была разбита еще до революции, помните «Вехи»: революционная интеллигенция не имела опоры в духе народа и должна была пробавляться исключительно демагогией.

Деликатный человек Сергей Георгиевич Руч неожиданно для себя сказал члену Учредительного Собрания Гуковскому:

— Что теперь землю и волю — вот уже воля есть, и теперь земля!

И сконфузился. А за него продолжали:

— Только наоборот, вы говорили «земля и воля», а вам говорят: сначала воля, а потом земля.

Говорят: «На волю!» А куда? Есть нечего, заработка нет.

Чиновник засушенный, озлобленный только на то, что он лишился всего, и не может это перейти.

Поздно вечером, когда все улеглись спать и курить можно только стоя у решетки, подошел смотритель и стал говорить об Израиле, что очень все сходится:

— Пробовал рассказать это солдатам — куда! Слушать не хотят.

Мы живем как на вулкане: вот-вот взбунтуются уголовные, которые хотят нам задать в отместку за обеды Красного Креста. Вторая лавина, готовая двинуться, — сыпной тиф.

Староста, Петр Афанасьевич Лохвицкий, холостяк, любитель гигиены и гимнастик по системе Мюллера — единственный из всех русских, умевший проделать весь курс, заботится о порядке и с 6-ти часов начинает будить дежурных, и они, встав, начинают резать хлеб и делать бутерброды. Встающие одни направляются к параше, другие к умывальнику. В половине 8-го все встали, и открывается форточка. Старосте забота, как бы не нарушился порядок — и не стало бы как в анархической камере: там игра в карты и, когда не хватает чего, — мольбы у нас.

***9 Января.*** Вчера читали про убийство Кокошкина и Шингарева, и при этом ясно виделась перспектива грядущей диктатуры матросов Балтийского флота как переход к реставрации.

Демократическая интеллигенция пережита была еще до революции, и потому опоры в высшем не было, и оставалась ей одна демагогия, — когда море взбушевалось, то они ставили паруса и плыли по ветру, и не было нигде маяка.

***10 Января.*** Вчера — день свиданий, и пропащий вдруг находится. Учет Соломонов: кто совершил убийство. Продовольственный диктатор на двух ногах несет свое самолюбие. В. М. Чернов — любовь к людям (вино!). Селюк, умный и гордый адвокат: «Две общественные идеи создали мир: идея суда и веротерпимости». «Суд есть сила греха» — это прежде всего неграмотно. «Суд есть не сила, процесс». Розов: «Революция — священный гнев народа», а Михаил Иванович Успенский возмущенно: «Я не с торжествующими» и что «виновата литература (либеральная)», которая заигрывала с мужиками. Эсер Смирнов и его рыжий друг Оскотин выиграли часы и визжат от радости. Петр Афанасьевич Лохвицкий, 35 лет, холостяк, делает гимнастику по системе Мюллера, на свой ящик повесил картинку с голой женщиной — друг порядка. «Профессор» и его провинциальные продукты. Капитан Аки.

Сияющий Париж – свобода и труд и воспоминания о буржуазных удобствах. Жизнь, разложенная до конца на элементы.

Голодовка члена Уч. Собр.: мера человека – его отношение к возможности смерти.

Порядок нашей камеры определился чиновниками старого режима, потом передали новым, и «Воля Народа» была заключена в режим чиновников, другая часть «Воли Народа» попала в анархическую камеру и нищенствует (певцы цыганские).

Седой человек, член Уч. Соб. — зачитался.

Мысли Михаила Ивановича:

Я сказал:

— Порядок нашей камеры зависит от старого режима, а режим от немцев, так, я думаю, немецкое опять будет преобладать в организации власти.

— Нет! – сказал Мих. Ив., – тут будет и немецкое, и французское, и английское, и всякое, потому что, несомненно, мы находимся накануне новой эры.

Страшный Суд: одежда родины, я думаю, это та одежда, те светильники, с которыми явятся люди на Страшный Суд.

Во время прогулки взвилась огромная стая галок над митрополичьим садом и с шумом пронеслась.

Соломоны сказали:

— Воронье поднялось!

А это были галки, те перелетные птицы, с которыми мы родились и жили.

Мих. Ив. сказал:

— Им воронье, а нам галки, как же нас будут судить.

Газеты все прикрыты, и осталась одна «Правда» — сосуд Ап. Павла, наполненный всякой нечистью. Это разрушение материального и морального равновесия мало-помалу заставит отходить людей на последние позиции (смерть — где твое жало?).

Так на Страшный Суд явятся чиновники-обыватели: обыватели — люди быта, быт есть компромисс, ложь, и «Правда» вышла из нашего быта, как проституция вышла из спальни супругов.

Тогда обыватели перестали быть и воскликнули: смерть, где твое жало?

Иозик и Мозик — дети хроникера.

Одежды быта спадают одна за одной, и вот спускается сосуд со всякой нечистью (роль палача и проч.), и в нем живые трупы, которым только сорвать.

Сосуд спускался все ниже, ниже, и всякий, кто поднимал меч на него, от меча погибал.

Каждый день в нашу камеру приносят «Правду», и любители, ругаясь, отплевываясь, читают ее вслух, и все корчатся от муки [нравственной], когда приближается этот сосуд.

И сторож сторожа спрашивает, скоро ли рассвет.

Гробы повапленные.
Обезьянно-лианный.

Вечером вчера к нам привели двух арестантов: один из государственного банка, другой с Обуховского завода. «А третий, — сказали они, — сбежал у самых ворот тюрьмы, имя его Утгоф». Они передали нам его вещи: в них оказалось пять яблок, коробка хороших папирос «Сфинкс» и две плитки шоколаду, которые присоединили к нашему хозяйству. Через несколько времени спрашивают койку. «Есть одна!» К нам: бывший министр иностранных дел Покровский. Делопроизводитель и министр встретились: делопроизводитель как диктатор, министр как член коммуны. Его манеры (какую рыбину! наш корабль ловит сетями: рыбину!). Подробности: яблоки отдали, пять кусков сахару, на койке, рубашка полосками, сортир, ночь, прогулка — свой.

Селюк Яков Яковлевич — адвокат («Умный», характер плохой: вы лжете — и лежит), гордость, похож на плечо

какого-то красивого, сожженного и разрушенного здания.

Всеволод Анатольевич Смирнов — [тип], который никого не убьет, а его убьют — тип эсеров, другая половина [камеры] наемные убийцы, третья — вожди.

Продовольств. диктатор — самолюбие на двух ногах — несчастненький.

Ник. Ник. Иванченко — жизнь в тюрьме, рабочий конь [социализма].

Изобразить, как в коммуне человек не по словам, а по делам определяется: все чины, все одежды сброшены.

Прошел слух, что Утгоф убит, и мы не знали: убежал или убит, и потом, когда легли, совсем не думая о нем, разделили его шоколад и съели, — как на войне.

Снег за решеткой окна голубел, у черной стены догорал костер, а за черной стеной на светлеющем небе стояли деревья митрополичьего сада.

«Сторож у сторожа спрашивает: скоро ли будет рассвет?» (из Пророка).

Гробы повапленные (крашеные) — (найти в Евангелии, — а в гробах кости).

Так вот вопрос: это они разлагают жизнь и создают мучеников, их роль Иуды, на [их] ложь — наша ложь, и мы — новые, мы — жертвы, мученики. — Какое же может быть сомнение в будущем?

***12 Января.*** Вчера, в день моего дежурства: 6 часов, староста П. А. Лохвицкий, совершенно голый, делал гимнастику по системе Мюллера, кричит: «Дежурные»! Мы трое: я, Селюк, Иванченко — встаем, собираем постели, закидываем койки и моемся и проч. подробности: нарезаем хлеб.

Диктатор продовольствия: за мытьем уборка камеры и прогулка, баланда, мытье, проветривание.

— Вы министр Временного правительства?

— Нет!

— Старого?

— Да, Императорского.

В одном углу фельетон: как арестуют красногвардейцы, в другом, возле министра, о будущем России: центробежные силы сменятся центростремительными, для федеративного государства нужна сильная исполнительная власть, а это и есть царь.

Разыгрывали в лотерею три бутерброда с киселем и два с творогом.

Делопроизводитель-староста сделал министру бутерброд без корочек.

Член Учредительного Собрания, седой, закаленный эсер, зачитался романом о мальчике, который вообразил себя принцем, и читал его всю ночь.

С каждым днем светлеют и приобретают особенное значение деревья митрополичьего сада за тюремной оградой, на которых спят птицы.

Ящик освободился — на этом мотиве разговор о нашей неволе в тюрьме и о воле за стеной.

Селюка освободили: что воля? — А все-таки хорошо! Он измучен, искалечен и теперь мечтает, как он будет оживать в кресле, а Смирнову все равно, тот и там будет так же работать, он по ту сторону воли и неволи.

Камера № 6 выработала приветствие Красному Кресту за продовольствие, а камера № 7 свое: «У вас чиновничий, [железный] тон. — А у вас сливочный?».

Фокус тюрьмы: переживание — разгон Учредительного Собрания, убийство Кокошкина, бунт уголовных.

Теперь: нас освободит голод. Нарезали хлеб при свечах, вспыхнуло электричество, и солома шерстью показалась на срезанных ломтиках. И заговорили об освободителе голоде и временной диктатуре матросов Балтийского флота.

Б. с воли приносит известие, что голодные митинги.

***13 Января.*** Козочка пришла на свидание, совсем голодная, принесла шоколаду.

— Ничего, дядя Миша, выживем и большевиков прогоним.

— В кого ты теперь влюблена?

— С тех пор, как прочла в газетах, тебя арестовали, — ни в кого!

Утомительность разговора при свидании.

Староста спросил:

— Кто это сделал?

Никто не хотел признаться.

У меня сломался карандаш, кто-то подал мне ножик, я не посмотрел, кто, на другой день опять сломался карандаш, опять кто-то подал мне ножик, и я не посмотрел — кто. Сегодня я завязывал веревочкой белье и хотел оборвать веревку — смотрю, опять рука с ножиком и лицо доброе такое, внимательное.

— Вы, должно быть, вегетарианец? — спросил я.

— Почему вы узнали?

— Значит, правда?

— Я теософ.

Жертва: теософ.

— Успенский: создаются условия жертвы.

Наше Превосходительство старается быть незаметным, читает Соловьева и, читая, шевелит губами, будто жует и хочет разжевать теперь, по Соловьеву: что же такое Россия и что такое произошло.

Нам присылает Красный Крест обед — хотим поблагодарить и не можем: два дня спорили о форме благодарности и еще спорили о том, присоединять ли к делегации уголовных.

Соломон:

— Значит, вы верите, что есть правильный путь, давайте запишем, что вы сказали: «Вы верите, что есть правильный путь».

Будем [ждать] большевиков!

Какой-то процесс (подобно суду), которому люди отдаются целиком, исключительно (Столинск., Мар. Мих.), (угрызение кости), который неизбежно ведет людей к тюрьме, ему противоположный процесс личный, для которого нет решеток тюрьмы и стен.

Страшно заговорить с Соломоном: на три часа!

— Читали из «Биржевки»: про автономию каждого из трамваев!

Генерал вскочил:

— Это сумасшествие.

***14 Января.*** На мертвой точке. Вероятно, скоро выпустят, потому что мысли все уже там, где настоящая неволя и голод. Нужно учесть все — оставаться здесь или уехать к своим.

***15 Января.*** Явился комиссар:

— Не нужно ли сделать какое заявление.

Мы все бросились к нему.

— Сидим без допроса, без следствия.

— Только-то! — сказал комиссар и спросил: — А не предлагали ли вам освободиться за деньги?

— Нет, за деньги еще не предлагали.

И комиссар ушел.

Теософ говорил о перевоплощении, а Михаил Иванович его спросил:

— А как же это перевоплощение констатировать?

— Ну, это я не знаю, я только начинающий.

Жертва сладость свою потеряла, потому что нет суда.

Идея суда и справедливости — лишь две идеи, которые создали общественность.

В тюрьме теперь больше души, потому что все-таки хочется выйти на волю.

Жизнь вошла в колею, время потеряло меру и счет.

В ожидании электрического света я сажусь на лавочку в сторону, хочу я обдумать свою жизнь и найти в ней звезду мою во мраке, чтобы при свете ее разглядеть хаос жизни, еще погруженной во мрак.

А чиновник юстиции подходит ко мне и спрашивает:

— Вы, кажется, охотник?

И потом про свою собаку рассказывает, что у него была собака с очень хорошим чутьем, но вот как в лес пойдешь, она домой возвращается, так вот как быть с такой собакой, можно ли ее исправить.

— Вы говорите, что собака эта была у вас, значит, теперь ее нет, для чего же вам нужно знать?

— Я интересуюсь этим вопросом принципиально.

Чиновник не отступает от меня, и я в отчаянии, впрочем, вежливо улыбаясь, отвечаю ему на его вопросы об испорченной собаке.

И вдруг свет! все кричат, вопят, безумеют от радости. Наступают часы молчания, но тут входит Б. с газетой, читают вслух газету и обсуждают: падение Рады, грядущий сепаратный мир, войну против союзников.

***16 Января.*** Утро. Электричество погасло, во тьме вспыхнул митинг. Основная ошибка: сравнение с Францией, которая прошла путь России, которая начала.

Когда электричество загорается — все молчат и занимаются. Кто крепче лбом: эсер, который в узком кругу партии (спор о земле).

Борьба идет между интеллигенцией и народом.

П., который говорит для себя, — хочет понять говоря, и никогда не поймет русского человека.

Спор о том, кто виноват, вожди или масса (идея и материя) — чиновники все против вождей, интеллигенты против масс (массы необразованны, у них нет отечества, чести).

Среднее тоже между политическими и уголовными — спекулянты.

К нашей камере подошли спекулянты (в николаевской шинели, усы вверх, живость, находчивость).

Соломоны, теософы, эсер (рабочий), тайный советник: слет (митинг).

Николай Николаевич Иванченко потихоньку во время слета говорит:

— Давайте вымоем столы с мылом?!

Слет:

— Не забудьте, — говорит генерал, — что после победы нельзя оставить большевиков гулять.

Теософ:

— Вожди с Венеры пришли на острова неизвестные Индийского океана.

При теософском освещении ясна ошибка эсеров, которые манят народ к дележу земли.

Земля — предмет дележа и предмет союза.

Генерала следователь спросил: «Я вашего дела не знаю, скажите, в чем вы чувствуете себя виноватым?» — и вообще вежливость, из которой глядит виселица. А самое ужасное, что никому нельзя о себе объяснить: весь условный утонченный аппарат образованных людей для понимания — исчез.

***17 Января.*** Постепенно приучаю себя жить под разговоры о политике справа и слева так, что тебя это совсем не касается: так жил и писал, когда мышь скребла в комнате, а теперь живу, слушая, как грызут бедные Соломоны кость.

Во время прогулки мы услыхали звуки пилы, поднял голову и увидел, что в четвертом этаже возле желоба уголовный перепиливал решетку, солдат тоже заметил и прицелился...

Мы, конечно, были на стороне уголовного — почему? он убийца, а мы были на его стороне и хотели, чтобы у него это вышло, чтобы он убежал. Так, если горит здание, то хочется, чтобы оно горело и [не] потухало. Так любовался Нерон на Рим горящий, и так, вероятно, кто-то любуется горящей Россией.

Как же это констатировать?

— Личным опытом, — ответил теософ и сказал, что жена его ясновидящая и часто рассказывает ему о картине предшествующего воплощения.

Вчера выпущены три ярких человека: теософ Альберт Васильевич Изенберг, министр Николай Николаевич Покровский и рабочий Обухова завода эсер Фигель.

История двух камер в связи с адресом сестре Проскуряковой и появление у нас курицы из-за выражения в адресе: «Ежедневные котлеты».

Теософа нужно представлять так, что для него не существует тюрьмы.

Мы — заложники. Если убьют Ленина, то сейчас же и нас перебьют.

Увезли Петра Афанасьевича Лохвицкого в Трибунал, обнялись с ним, сказали на прощанье:

— Ну, мотивируйте там как-нибудь, помогай вам Бог, — и le roi est mort, vive le roi![1]

В должность его вступил Генрих Иванович Гейзе.

Сеть.

Кто как освобождается: из Сергиевского Посада монах приносил ежедневно Покровскому большую вынутую просфору и подговаривал крестьян, потом крестьяне заявили протест, и Покровского выпустили.

Теософа — свои служащие взяли на поруки, эсера — рабочие, хроникеров — родные, а кто, позабыв обиду, сам просил и каялся в грехах своих...

Гидра курами кормит (контрреволюционеры). Не я ли гидра? Где гидра?

Ловили сетями гидру контрреволюции и поймали какого-то Капитана Аки, и вовсе он даже не капитан был, но в его греческой фамилии Капитанаки для арестующих ясно послышался «капитан», его, как подозрительного,

[1] король умер, да здравствует король! (*фр.*)

арестовали и написали ордер в тюрьму: «Препровождается Капитан Аки».

Самое ужасное при ловле сетями, что человек тут нем становится как рыба и арестующие не могут понять исходящих из уст его звуков. Как объяснить арестующему про греческую фамилию или что я, например, писатель, известный обществу своими сказками, весьма далекий от гидры и революции и контрреволюции.

В камере нашей, будто на рыболовном судне, сидишь и дожидаешься, какую диковинку вытащат.

В 3 часа дня в коридоре голоса: «Освобождается, освобождается!» — Из нашей камеры спрашивают: «Кто освобождается?» — «Пришвин Михаил Михайлович!» — «А у нас, — говорят, — курица!» — «Ну, нет, не променяю волю на курицу!»

***18 Января.*** У себя. Вот я все раздумывал: кому теперь на Руси жить хорошо, о всех и о всем подумал, везде было плохо, и в тюрьму посадили меня, и думал я, сидя в тюрьме, что везде плохо, а вот как вышел из тюрьмы, понял, что в тюрьме хорошо, и это — самое теперь на Руси лучшее место: тюрьма, где сидят все эти журналисты, чиновники, рабочие — контрреволюционеры и саботажники.

***20 Января.*** 2-го Января меня арестовали и 17-го выпустили, три дня после этого радовался свободе и теперь приступаю к занятиям.

Воля невольная

Арест. Второго числа нового 1918 года трамваи не ходили, я поколебался, идти мне в редакцию хлопотать о выпуске литературного приложения к «Воле Народа» или махнуть рукой: кому теперь нужно литературное приложение! Мороз был очень сильный, раздумывать некогда, я довольно скоро пробежал с Васильевского острова на Бассейную, в редакцию. Там стояли солдаты, и два юных прапорщика спорили между собой, как дурные супруги, кого арестовывать. В их ордере от Чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией и сабота-

жем было предписано арестовать всех подозрительных. Член Учредительного Собрания Гуковский, не считая себя «подозрительным», спорил с комиссарами. Про меня кто-то сказал, что я писатель и у меня есть в литературе заслуги.

— С 25-го Октября это не считается, — ответил комиссар.

И потребовал мой портфель. Протестуя, добился я, что портфель решили оставить при мне, но приложить тут же печать к нему. За отсутствием сургуча накапали на портфель стеарина, приговаривая:

— Извиняюсь, товарищ!

Рассердила меня бесполезная порча портфеля.

— Вам, — говорю, — я — не товарищ, вы рабы, насильники, и хоть вы убейте меня, а все-таки вам я буду господин.

Они на это сказали:

— Так мы и знали, что вы настоящий буржуй!

И отобрали у меня портфель со всеми стихами и рассказами.

### Просим воды и хлеба

Нас привезли в автомобиле на Гороховую № 2, где помещалось градоначальство, и приставили к нам караульщиками трех мальчиков с ружьями. На стенах комнаты лежало множество «дел» в красных папках. Это были дела и печати еще от императорского правительства. В одной папке, взятой наугад, я прочитал письмо известного редактора: «Ваше Превосходительство, когда я был у Вас, Вы обнадежили меня в своем содействии», — начиналось письмо. И сделав маленький донос на «Речь», редактор просит отменить штраф в тысячу рублей. Как теперь все упростилось: арестовали всю редакцию в полном составе, с сотрудниками, хроникерами, экспедиторами, конторщиками, приставили трех мальчиков с ружьями, и кончено.

Часа через три такого сидения нас поодиночке стали куда-то уводить, я пошел один из последних по узкому извилистому коридору. Где-то на повороте меня остановил

чиновник и потребовал вывернуть карманы, записал мое имя и попросил следовать дальше. Входя в какую-то дверь, я думал, что допросят меня и сейчас же, конечно, отпустят. Но когда я вошел в плохо освещенную комнату, там смотрели на меня и хохотали. Не сразу я рассмотрел, что сидели тут и хохотали надо мной все мои товарищи по газете и по несчастию. Через несколько минут и я хохотал над растерянным и глупейшим видом следующего арестованного: оказалось, что вся церемония была для регистрации, и мы продолжали сидеть в другой комнате по-прежнему и час, и два. Наконец, мы потребовали от караульщика, чтобы он пошел и принес нам воды и хлеба. Стерегущий удалился и, вернувшись, сказал:

— Сейчас вас отвезут в тюрьму, там вы получите воды и хлеба.

### Жизнь есть эволюция

В темноте у грузового автомобиля несколько солдат латышей спорили между собой и спрашивали прохожих, где находится пересыльная тюрьма. Не решив этого вопроса, они повезли нас куда-то, на счастье. Кто-то из нас спросил латышей:

— Товарищи, за что вы нас арестовали?

— Вы сами знаете, за что, — сказали товарищи.

Не скрыли от нас: на Ленина было совершено покушение и нас берут как заложников.

После долгого спора о существе революции один из солдат сказал свое последнее и неопровержимое:

— Если бы Керенский теперь властвовал, то меня бы разорвали и я лежал бы в земле, а теперь вот еще и вас везу, товарищи.

Про бабушку русской революции тот же философ сказал:

— Мы уважаем бабушку за прошлое, но жизнь есть эволюция, сегодня ты признаешь одно, а завтра другое.

Сделав еще несколько вопросов прохожим о местонахождении пересыльной тюрьмы, шофер остановился у ворот:

— Приехали, выходите, товарищи!

## Оса и кузнечики

В камере вместо двери крепкая решетка, и за решеткой, как в зверинце, ходят люди — саботажники: археолог, музыкант, присяжный поверенный, народный учитель, теософ, энтомолог — кого-кого нет в числе саботажников. В их среду мы вливаемся, смешиваемся и делимся своим, они своим. Их настроение не похоже на наше: мы — воля в неволе — не верим в Учредилку, они, напротив, говорят, что дни большевиков сочтены.

Говорят разное. Музыкант сказал:

— Существует два мира, один — заключенный и другой — мир в движении: музыка открывает нам мир в движении, этот мир свыше нас, и смысл нашей жизни — отдаваться тому миру.

Окружной инспектор народных училищ сказал:

— Туда отдает свое лучшее мать, ухаживая за ребенком. А другой мир — для себя, там творчество, здесь разрушение — большевики живут в этом мире, где разрушение.

Потом говорил энтомолог:

— Я пятнадцать лет работал над изучением жизни насекомых, и вот вам пример: оса укалывает кузнечика в нервный центр так, что он не движется, но остается жив, пока положенные на нем личинки осы не выведутся и не съедят живую пищу.

Энтомолог своим примером хотел показать нам мир в своих внешних делах, где неразумное существо оса действует чрезвычайно умно. Но журналисты наши поняли иначе: кузнечики — это мы, парализованные журналисты, а осы — большевики, и нас, заложников, когда придет время, истребят, как осы кузнечиков.

Вечером пришел батюшка и сказал успокоительное:

— Завтра все двери откроются.

## Двенадцать Соломонов

В камере — редакции двух газет в полном составе, двенадцать Соломонов со всеми хроникерами, корректорами, конторщиками редакции и типографии. Редактор нашей

газеты в те часы, когда он пишет обыкновенно передовые статьи, вскакивает с койки и начинает говорить о политике, к нему присоединяются другие Соломоны, и все они вступают в спор на многие часы, тогда кажется, будто голодные гложут кость, гложут и гложут.

От Соломонов и курильщиков спасает нас только строгая конституция коммуны: в 11 часов спускаются койки, тушится одна лампа, на другую надевается колпак, разговор и куренье прекращаются. Мое место возле парашки, и спать очень трудно. Измученный, подхожу к дверной решетке покурить, и пока курю, старик надзиратель тихонько говорит мне о том, что русский народ теперь, как Израиль, вышел из Египта, а в Палестину придут разве только дети наши, нам уж не видеть Палестины.

Из окна видна стена, освещенная костром сторожка, за стеной темные деревья митрополичьего сада. Сторож сторожа спрашивает: скоро ли рассвет?

В шесть часов утра наш выбранный староста — человек порядка, чиновник Министерства Продовольствия, — совершенно голый, подходит к окну и делает гимнастику по системе Мюллера. Окончив разные упражнения, он одевается и будит всех:

— Эй вы, контрреволюционеры, саботажники, поднимайтесь!

Встает продовольственный диктатор, бухгалтер Государственного банка, и будит дежурного по камере. Надзиратель вносит хлеб, диктатор и дежурные режут хлеб на тонкие ломтики, делают бутерброды, заваривают чай.

Медленно рассветает. Стена еще черная, внизу догорает костер сторожа красный, стена черная, небо чудесно светит, галки поднимаются с деревьев митрополичьего сада, галки большими стаями летят куда-то по голубеющему небу — чудесные птицы, родные. Их так много, что даже Соломон обращает внимание:

— Куда-то воронье поднялось!

От Соломонов невозможно спастись. Утренние газеты один из них читает вслух, и все другие, слушая, дают свои

разъяснения и потом, прочитав газету, спорят между собой, будто грызут голую кость. Они считают и учитывают, но именно потому, что они люди учета, им никогда не понять.

***23 Января.*** День моего рождения. 1873–1918. 45 лет.

Мне было восемь лет. Мать куда-то уехала. Няня пришла из кухни и говорит: «Царя убили! о Господи! теперь пойдут на господ мужики с топорами». Пришел ночевать работник Павел, — когда мать уезжала, всегда в доме ночевал кто-нибудь из работников. Павел — самый кроткий человек в мире, — так это было странно, что мужики с топорами и Павел тоже мужик.

Мужики не пошли с топорами, а вот теперь они идут. И Павел все еще жив и до сих пор служит у нас в работниках. В моей памяти это первое начало революции.

***26 Января.*** Оглянешься на себя — не видно себя, как щепку в бушующем море. И так все кругом: один ведет мирные Брестские переговоры, а кругом него гражданская война, другой, спасая Украину, топит отечество, третий в ожидании пробуждения страны запасается сухарями и монпансье. Страшно прислушаться к себе, проверить — какой ответ я дам на близком Суде. Все засмыслилось, а в общем тайное в слове потеряло свою силу. Только целы еще скромные и чистые ризы моей родины. Я надену их в последний час, и тот, кто будет судить меня, я верю, смилуется: «Бессловесные, — скажет, — проходи!» Раскинутся тогда ризы мои полями ржаными-пшеничными, благодатное время снизойдет по воде — и станут воды и нивы тихими и дремучие леса полными хвойных и лиственных тайн — куда хочешь иди! тропинкой вдоль большака, полями ржаными-пшеничными, краем ли моря теплого по камушкам или студеного моря твердыми наплесканными песками от сосенки к сосенке. Звездами ночными через пустыню еду, качаясь, на верблюде. Светлым полднем отдыхаю под дубами на камушке. Утром ранним внизу на речке умываюсь, алым вечером позорю́сь на завалинке.

И все это будет вечно мое, заслуженное.

## Касьян
## (сказка)

Одна богатая мать старая, или, может быть, притворилась мать богатая, что умирает, и говорит сыновьям своим:

— Нынче-завтра конец мой, дети мои, все я свое добро вам оставляю, и завещания от меня никакого вам не будет, любите меня — разделитесь сами, не любите и раздеретесь — так, стало быть, надо вам за то, что не любите.

Парамон, Филимон, Евсей, Елисей и пятый сын Алексей — все пять сыновей заплакали.

— Не плачьте, дети мои, — говорит мать, — мое время пришло, не теряйте свое время, принимайте наследство, а я хоть одним глазком... посмотрю, как вы разделитесь.

Поблагодарили, поклонились, поцеловали умирающей матери руки, вышли из комнаты и принялись за дележ.

Парамон в хозяйстве был плотником, Филимон сапожником, Евсей кожемяка, Елисей слесарь, Алексей...

Парамон говорит: не хочу быть плотником, Филимон — сапожником, Евсей — кожемякой, Елисей — слесарем, Алексей — столяром.

Все заспорили между собой и задрались, а про мать и забыли, будто она уже давно умерла.

Спорили, спорили и так доходят до своих имен христианских.

Парамон говорит: «Не хочу называться Парамоном, хочу называться Касьяном — благородное и редкое имя, раз в четыре года приходит».

Филимон говорит: «Я, я хочу быть Касьяном!», Евсей тоже — все пять захотели называться Касьянами.

Как дошли до христианских имен, матушка встала.

— Перестаньте, — говорит, — дети мои, я еще поживу.

***30 Января.*** Чан. Теперь стало совсем ясно, что выходить во имя человеческой личности против большевиков невозможно: чан кипит и будет кипеть до конца, самое большое, что можно, — это подойти к этому краю чана и подумать: «Что, если и я брошусь в чан?»

Блок — для него это постоянное состояние [на краю чана], задолго до революции.

Другое дело — броситься в чан.

Я думаю сейчас о Блоке, который теперь, как я понимаю его статьи, собирается броситься или уже бросился в чан.

Было такое время, когда к чану хлыстовской стихии богоискатели из поэтов с замиранием сердца подходили, тянуло туда, в чан.

Помню, однажды в десятилетие нашего интеллигентского богоискательства заинтересовались мы одной сектой «Начало века», отколовшейся от хлыстовства.

И помню, один из кипевших в этом чану именно так и говорил нам:

— Жизнь наша — чан кипящий, мы варимся в этом чану, у нас нет ничего своего отдельного, и не знаем, у кого какая рубашка: нынче она у меня, а завтра у соседа. Бросьтесь к нам в чан, умрите с нами, и мы вас воскресим. Вы воскреснете вождями народа.

На это возражали:

— Как же броситься, а личность моя?

Я, близко знавший эту секту, не раз приводил на край ее чана людей из нашей творческой интеллигенции и всегда слышал один и тот же вопрос:

— А личность?

Ответа не было, и не могло быть ответа из чана, где личность растворяется и развариватся в массу и создается из <*зачеркнуто:* Я — европейца Мы, восточное Мы>.

Нужно превратиться в безличное, в бессловесное, чтобы потом разом всем восстать из безличного бессловесного (святою скотиною).

Христом-царем этой секты в то время был известный сектантский провокатор, мошенник, великий пьяница и блудник. И все, кто был в чану секты, называли себя его рабами и хорошо знали, что их царь и христос — провокатор, мошенник, блудник и пьяница. Они это видели: пьяный он по телефону вызывал к себе их жен для удовлетворения своей похоти.

И было им это бремя сладко, потому что им всем хотелось жертвовать и страдать без конца.

Так и весь народ наш русский сладко нес свою жертву и не спрашивал, какой у нас царь, дело было не в моральных свойствах царя, а в пути и сладости жертвы.

Я был счастливым наблюдателем: на моих глазах царь и христос секты «Начало века» был свергнут своими рабами: в одно воскресенье они почувствовали, что искупление не совершилось, и они воскресли для новой жизни, пришли к царю своему и прогнали.

Мой рассказ не сказка: вблизи станции Фарфоровый завод по Николаевской железной дороге в собственном доме жизнью полной коммуны, с общей детской, столовой, строго нравственных правил, живут теперь свободные прежние рабы царя и христа А. Г. Щетинина.

Мир отражается иногда в капле воды. Когда свергли не хлыстовского, а общего царя, хотелось думать, что народ русский довольно терпел и царь отскочил, треснул, как стручок акации трескается летом и на землю падают семена, так и Щетинин отскочил, когда для секты «Начало века» наступило летнее время их жизни.

Но, кажется, чувства мои ошибались: не до конца еще натерпелся народ, и последний час, когда деспот будет свергнут, еще не пробил — чан кипит.

Распадение на царства: подчинение [царю]: множество малых царей, которые мучили свои жертвы. Каждый царь, и у каждого жертва. Клюев — Андрей Белый.

Скорее, похоже теперь на время богоискательства, когда поэт Блок подходил к кипящему чану и спрашивал:

— Как быть мне с вами?

И ему отвечали:

— Бросьтесь в чан!

В тот маленький чан он не бросился, а в нынешнем большом он стоит опять на краю.

И, конечно, будем думать, не бросится.

Большой чан вызывающе говорит европейцу:

— Забудь свою личность, бросься в наш русский чан, покорись!

Не забудет себя европеец, не бросится, потому что его «Я» идет от настоящего Христа, а наше «Я» идет от Распутина, у нас есть свое священное «мы», которое теперь ва-

рится в безумном чану, но «Я» у нас нет, и оно придет к нам из Европы, когда в новой жизни соединится все.

Хорошо теперь быть теософом, соприкосновенным с оккультными тайнами: для них синтез (Андрей Белый).

Всюду показывается человек с крестом на погонах и говорит:

— Товарищи, забудем личные интересы.

Пролетариат танцует, как всегда пьют, веселятся, танцуют военные люди в тыловом городе.

***18 Февраля.*** Буква ѣ в моем прошлом играла почти такую же роль, как одна страшная черная икона в церкви, перед которой молилась моя матушка.

Как только в шестом классе я убедился, что эта икона просто доска, я отверг немедленно все: и Христа, и священника.

Так, если бы отменили букву ѣ в моем детстве, я отверг бы вообще все русское правописание. Что благополучно миновало меня, то постигло моего мальчика. Три года я учил его правописанию, трудно это ему давалось: глаза у него слабые, когда пишет, низко наклоняет голову, а когда низко наклоняет, у него начинает кровь идти носом. Но мы все учили его зимой и даже летом понемногу и научили писать правильно. Этой осенью он поступил в гимназию в провинции, я уехал сюда. Теперь я получаю от него письма и вижу по ним, что он отверг все, и вместе с уважением к букве ѣ отпало у него всякое уважение ко всем буквам и знакам препинания.

Я написал ему в шутку: «По твоим письмам видно, что ты хочешь совершенно разрушить наше правописание, напиши мне, кто тебя этому учит и к какой ты в гимназии принадлежишь партии».

Мой мальчик отвечает: «Милый папа! Я ничего не хочу разрушать: поведение мое 5. Оно само рушилось. А к партии я принадлежу к обыкновенной, папиной, где ты сам пишешь, к партии специалистов-революционеров».

Вчера получил один дорогой немецкий журнал и был поражен: журнал выходит теперь в совершенно таком же

виде, как десять лет тому назад. Продается почти по такой же цене! Значит, война и голод у них только на поверхности, а внутри все сохраняется. Их дети учатся, писатели, журналисты, ученые, педагоги — все неустанно работают. Вот как дойдет до буквы ѣ — вот так... У нас же никто ничего не делает: буржуазия чистит улицы, студент торгует газетами, крестьяне лежат, рабочие частью на фронте, частью в тылу. Значит, в самом деле, мы — совершенно пустое место в мире. И какой-то огромный маховик без передаточного ремня, мы, как верно написал мой мальчик, воистину теперь химера политическая, настоящие специалисты-революционеры.

***19 Февраля.*** На Невском в трамвае как бывает — сидят люди молча, хмуро, стоят в тесноте, поглядывают, как бы сесть. И вдруг языки развязываются, все вступают в спор, и видишь в окошко, что на улице тоже везде кучками о чем-то говорят. Это значит, что день поворотный, исторический. Никаких газет не надо в эти дни, нужно только прислушиваться, о чем говорят.

Сегодня о немцах говорят, что в Петроград немцы придут скоро, недели через две.

— Что же вы это, последние денечки протанцевать хотите? Три дня подряд?

— Три дня подряд!

«Последние денечки» — это, значит, те, которые остаются до немцев.

А в другом месте так:

— Собрались было совсем уезжать, уложились, но вот немцы идут: решили подождать.

Попик, не скрывая, радостно говорит:

— Еще до весны кончится.

Ему отвечают:

— Конечно, до весны нужно: а то землю не обсеменят, последнее зерно выбирают.

Слабо возражают:

— Думаете, немцы зерно себе не возьмут?

Отвечают убежденно:

— Возьмут барыши, нас устроят, нам хорошо будет, и себе заработают, это ничего.

Злость ликующая — вырвалась, будто открыли сырой подвал.

Очень похоже, как раз так по настроению, как в дни Совета Республики, — вот-вот что-то случится, а что — хорошо никто не знает. Это новое из всех дней войны и революции: это встающее из подполья во имя порядка [неизвестное]... За букву ѣ.

***21 Февраля.*** Подводишь итоги к концу революционного года: что передумал, что сказал и написал, кого встретил и полюбил и кого возненавидел и кто больше всех виноват в беде русской.

Первое, о чем я подумал в начальные дни нашей смуты: Бисмарк понимал Россию как гиганта на глиняных ногах, ударишь по ногам — и все рассыплется. Что же это? попал в гиганта самый большой снаряд Вильгельма, или это настоящая революция?

Первое, о чем я написал в марте прошлого года, был пересказ-напоминание о народе Самуила, пожелавшем царя, о том, как Самуил говорил, что народ не желает управляться пророками, а хочет царя.

...Кто же виноват? Я спрашиваю, и мне отвечают теперь:

— Виноваты евреи.

И перечитывают, начиная с Бернштейна.

В чем же оказалась наша самая большая беда?

Конечно, в поругании святынь народных: неважно, что снаряд сделал дыру в Успенском Соборе — это легко заделать. А беда в том духе, который направил пушку на Успенский Собор. Раз он посягнул на это, ему ничего посягнуть и на личность человеческую.

Кто же виноват?

Жиды виноваты!

Так и отвечают, что это они переставляли пушечные прицелы, и снаряды попадали в православные храмы.

Вот неправда: евреи никогда не оскорбляют святынь, потому что они люди культурные. Святыню оскорбить могут только варвары. Нет, православный русский народ, — это мы сами виноваты.

Культуру я понимаю как связь людей всех, живущих и у нас и повсюду. Что бы ни делали евреи злого — их злость не может иметь много силы, потому что они в связи со всем миром. Мы, пишущие люди, знаем это хорошо по себе: я написал книгу или картину, кто первый понял ее цену? еврей! Пусть из своих барышей он издал мою книгу и купил картину — все равно: он помог делу связи людей, делу культуры.

Нет, не евреи, мы виноваты сами, каждый из нас, я виноват.

Началось обвинение с немца, нашего внешнего врага, потом немец становится внутренним, переходит на царя, потом на большевика, на еврея — кончится война, когда перейдет на себя: я виноват.

А я знаю, что так будет непременно.

Самое ужасное, сепаратный мир — тоже демагогия, что это самоубийство тоже популярно, как всё, чем держалась Советская власть.

С Марта Общество сибиряков-областников будет издавать журнал для юношества.

Задачи журнала — осветить юношам Сибирь как страну вольности, вызвать в них стремление поднять свой дух согласно с могучей природой страны и быть на страже заключенных в каждой народности вольностей.

Журнал «Сибирский страж» будет выходить ежемесячно с Марта под редакцией М. М. Пришвина при участии всех писателей и художников, которым близки задачи журнала.

***22 Февраля.*** Косная душа. Вчера солдат ребенка в колясочке, ничего себе — по физиономии.

— Ты, — говорит, — ребенок в колясочке, буржуй!

— Нет, — кричит, — я не буржуй!

— А кто же ты?

— Не буржуй!

И заплакал.

В чайной. Один чертил, чертил карандашный план германского наступления и вдруг сказал:

— Они едут!

Правда: как же они могли 250 верст в сутки пройти: едут, конечно.

— Идут с музыкой! — закричал кто-то.

Конечно, никаких немцев и быть не могло: кто-то дурака свалял.

На улице австрийский офицер сказал:

— Недели так через две придут.

И, посмотрев на русских людей:

— Чему же вы радуетесь!

Утром сегодня прибежал С-в: офицер, дворянской фамилии, человек вполне благородный:

— Сейчас еду в комиссариат записываться инструктором: как же реагировать на немцев, я же не пораженец.

Вижу, издергался человек, больной.

— Бросьте! — говорю, — у вас дом отобрали, за квартиру в своем доме постоите, лишили погон, чинов, орденов, неужели вам мало?

Он смутился:

— А как же тут жить?

— Мышкой, — говорю, — мышкой, поверьте, одна бутафория: никто отечество защищать не будет, оно давно уже кончилось.

И что же, уговорил человека: пошел домой, сидит мышкой.

Часа через два встречаю его, а он мне:

— Я не утерпел: пошел записываться в комиссариат, думал, очередь большая. Прихожу: пусто, вещи складывают. «После, — говорят, — приходите, мы сейчас занялись: переезжаем в другое помещение, более удобное». Правду вы сказали: буду жить мышкой.

Ст-й, Аргунов, Чернов и слышать не хотят про мышку: хотят от немцев удирать, а как удерешь, только панику наводят.

В редакцию позвонили:

— Решили газеты закрыть, а сотрудников изъять. И все бросились из редакции: никого не осталось, и газета не выйдет.

Китаец продал 6 фунтов хлеба за 24 рубля, два фунта риса за 8 рублей и два фунта сахару за 24 рубля, и я с этим богатством еду на этот бал мой.

Когда подходит дело к концу, с интересом начинаешь читать больше газет — почему?

Какой-то мальчишка смотрит на меня и хохочет идиотски.

— Чего ты смеешься?

— Немцы едут!

— Что же тут смешного?

— А как же? смешно!

Правда: смешно, должно быть, со стороны.

Так все напряженно, и уже никаких митингов на улице нет и длинных разговоров: коротко выругается человек и мрачно думает.

Последние дни доживает русская революция, и в печати появилось новое выражение: гибель социалистического отечества.

Вечером в нашем переулке как-то особенно сегодня пустынно и напоминает то страшное время в октябрьские дни, и уж это от того времени такое чувство, что думаешь: идти ли на этот вечер, не лучше ли дома просидеть?

На лекцию приехал умный человек Строев от «Новой Жизни», лекция: «Религия и государство». Вдруг поднимается один студент, поступивший в красногвардейцы, и спрашивает Строева:

— Что же мне теперь делать, красногвардейцу?

Строев стал ему отвечать вообще:

— Нужно пропагандировать идею демократического государства.

— Нет, что сейчас мне делать?

— Не знаю!

Коза — это бал мой: и у всех свой бал (вплоть до радости от фунтика сахару, это неизбежное: если бы мы были византийцы — то бал византийский, а то русский, варварский, искусству мы не предаемся, потому что господствующие классы солдаты и рабочие: пир во время чумы без искусства; (Мар. Мих. — тюрьма, Серафима Павловна, Гиппиус) — то духовное, серьезное, из-за чего стоит вообще жить: поражение, гибель родины есть торжество Козы.

Коза — затяжное: не хочется, чтобы пришла и помешала, а придет — слава Богу! и зову ее на другой день. Брат уезжает: она позовет меня к себе, или они уезжают в Москву со службы, и я тоже еду.

***23 Февраля.*** Совет Советам.

Брать можно, тут воля широкая и далек ответ! а отдавать, друзья, нужно с осторожностью.

Вся-то пыль земная, весь мусор, хлам мчится в хвосте кометы Ленина...

Так нужно твердо помнить, что в революции дело идет не о сущности и не о бытии, а о формах бытия, причем летящему в революции кажется, что дело идет о самой, самой сущности. Вожди — это ядро кометы, в котором нет ничего: раскаленные камни, светящийся туман, в их обманчивом свете сияет весь хвост кометы, вся эта пыль земная и мусор мчащийся.

В свете кометного тумана всякое сбережение материи и духа все равно представляется мещанством, буржуйством.

И Козочка моя, которую родители готовили для замужества, просит целовать себя не христианским поцелуем, а языческим, она сама не замечает, как, попадая в кометный хвост, она день за днем забывает «нашу революцию», и теперь ее жизнь — стремление поскорей сгореть.

Время перескочило через масленицу, и патриарх объявил начало Великого поста, так время революции, кажется, зацепилось за то телячье время, которое казалось нам мерою сущностей.

Теленок жует неизменно и через сколько-то жевков становится быком, — если бы за него зацепилось время революции, вот бы чудо случилось настоящее: теленок стал бы мгновенно быком, лошади с плугами помчались бы по нивам, семена, брошенные в пашню эту, в несколько минут становились бы спелыми злаками — вот я тогда бы ответил всему чуду революции и сказал бы, что революция — не светящаяся прозрачная комета, а новая планета, и я променял бы свою землю на эту планету и поселился бы в новом социалистическом отечестве, — но я не верю этому и поклонюсь земле и времени.

Конечно, не так даром проходит комета, я помню с детства это явление над убогой нашей деревней, и двор наш помню в сиянии и слышу, как странно по-прежнему жевали наши домашние животные, не обращая никакого внимания на то, что было в то время на небе. Но люди, даже наши темные люди, дивились небесному явлению, в страхе ожидая какой-то войны ужасной, которая разрушит всю их обыкновенную жизнь, и я знаю теперь, что даже самые ученые люди считали тысячелетия, высчитывали секунды, прежние ее явления, рылись в пергаментах засыпанных пеплом городов, чтобы узнать, как было у людей, когда тысячи лет тому назад являлась та же самая комета.

Пройдет комета, опять астрономы, высчитав число телячьих жевков в минуту, установят обыкновенное телячье время земли мирной, бытия нашей земли и вселенной, но человек будет не тот, — а какой? не тем вернется он, че-

ловек, к телячьему времени, он облюбует себе черного бычка, выберет себе такого со звездочкой из многих тысяч бычков и, назвав его священным Аписом, будет строить храм Богу, множителю всякой живности.

Есть здоровье у нас, мы не как византийцы во время турецкого нашествия: мы не занимаемся изящным искусством, все искусства заброшены, мы танцуем во время немецкого нашествия на красных балах.

Пир во время чумы — византийский, это конец, но бал пролетарский — это начало поклонения тому Апису, который сделался богом после войны у всех народов. Пусть это нездоровый бал физически, но духовно это начало того великого бала, с размножением, которому будут предаваться все после войны. Красный бал — это самая страшная контрреволюция.

Во все небо раскинулся хвост кометы революции, и в красном свете ее люди танцуют.

Найти другое слово вместо «культура»: *связь*, как-то из этого сделать надо.

Большевизм — вера: потому правильны гонения на газеты; вера против культуры, только это вера не планетная, а кометная.

Многие очень боялись столкновения планеты Земли с какой-то большой кометой в каком-то году, а другие говорили, что от этого ничего на земле не случится, третьи говорили, что и сейчас мы уже находимся в кометном хвосте.

Что же лучше, красный бал или что мы в мистическом обществе говорили о частичке «ре» в слове «религия».

Социалистическое отечество — не от мира сего, и потому какое дело социалисту из такого отечества (Gens una sumus[1]) — сколько империалисты отрежут из этого оте-

[1] Мы — одно племя (*лат.*).

чества. Немцы говорят о демобилизации социалистической армии, которая, по-видимому, так же будет сильна, как Армия Спасения.

Социалистическое отечество или Шмульный Институт.

Случайность стала законом, случайно вы попадаете в тюрьму, и случайно под пули, и случайно, отправляясь в Москву, вы замерзаете в поезде. И вот теперь, православный христианин, твой ответ, который готовил ты дать при конце, — кому он нужен? Никто не спросит тебя: случайно пропадешь!

Так размышляю я про себя, а старушка будто в ответ мне:

— Пропадешь, батюшка, ни за что, и зароют тебя, как собаку, на Марсовом поле.

А еще весной собирал вокруг себя Максим Горький художников и писателей, чтобы прославить Марсово поле в веках. Он мне сам говорил:

— Если только осуществится — в мире ничего подобного не было, вот какой памятник выстроим.

Так было весною, а осенью старуха:

— Как собаку, на Марсовом поле.

И мы теперь, весенние писатели и художники, что мы теперь делаем, какие слова готовим на последний ответ?

С тех пор не хожу к Максиму Горькому, не люблю его маленьких поучительных для рабочих писаний в «Новой Жизни», да и «Новая Жизнь» фукнула, нет ничего — одна «Правда».

Русь пропила свою волю. (Мережковский несет стяг культуры.) Писатели в тюрьме, рабочие на балу — и это, может быть, и хорошо: турки нам византийское искусство [сохранили], а мы танцуем.

***27 Февраля.*** Написана и передана Лебедеву статья.

Марсово поле. В газетах: умствование Масловского над определением войны и восстания. Идеалистка Мария Михайловна Энгельгардт называет теперь большевиков «коммунарами», а Иван Сергеевич, посмотрев, что в ротах де-

лается, как ругают там большевиков, представляет так: красногвардейцы, люди на хорошем жалованье, гонят рабочих на войну. Гудки созывают ночью рабочих, будто бы для защиты завода, а рабочие соберутся — их и записывают добровольцами. Конечно, это голоса «стороны». А я сказать ничего не могу: на сердце нет этой точки; может быть, я остарел, но вряд ли. Нужно в этом месте жизнь попытать. Пяст говорит: «Два негодяя сцепились — мое дело сторона, только про немцев мы давно знали и ждали их и предсказывали это, а большевики должны быть свергнуты» (чтобы расчистить поле для борьбы с немцами).

Ликвидация «Воли Народа»: в укромном уголке считают какие-то денежки, едят с чаем лепешки и думают, бежать или не бежать и как бежать.

Иван Васильевич («деспот») рассуждает о политике, а Коза спрашивает:

— Ты это хочешь сказать про большевиков? почему же ты называешь их немцами?

Иван Васильевич ошибается и то немцев назовет большевиками, то большевиков немцами.

Я думаю, что немцы пока не будут больше наступать и займут Петербург при случае, который скоро явится. Большевизм собирается в Козий загон.

— Их идеи получат народное воплощение, когда союзники немцев разобьют, только тогда это будет не большевизм.

Правда большевизма состоит в том, что она нарушила в России равновесие гражданского безразличия, и каждый почувствовал на себе все бремя родного безвластия. Немцы заменят родное безвластие властью чужеземной. Вот тогда посмотрим, что перетянет: гири чужой власти или гири родного безвластия. Острие же, на котором будут колебаться весы, будет в сознании личности и личного ответа за все. (Большевизм есть паразит обывателя. На тебя, обыватель, опирается коромысло весов, и оно будет давить тебя, пока не расплющит тебя, не обнажит до стали

гражданской. И теперь даже, в сущности, ничего нет у тебя, ты гол, но все еще чувствами своими привычными цепляешься за свое малое. Пойми, что уже нет этого ничего.)

В трамваях заметно стало просторней: солдаты разбежались, рабочие ушли «на позиции». Говорят, будто Бонч-Бруевич кому-то сказал: «Мы заключили мир в Берлине». Рабочие пошли на Берлин.

***28 Февраля.*** С Козой ходили по рынку и говорили о скорой дешевке немецкой.

— Вот, — говорю, — Коза, скоро оденешься.

— Оденусь! — отвечает, — а то вчера познакомилась с гардемарином, идет, провожает меня: он гардемарин, а я замухрышка!

— Скоро, — говорю, — тебя германский лейтенант провожать будет, как, пойдешь?

Чуть замялась и...

— Пойду, — говорит, — если человек хороший, отчего же не пойти, ведь главное человек, какой человек, не правда ли? А ты как, дядя Миша, неужели ты националист?

— Какой же я националист, — говорю, — но он с оружием и славой победителя, одно слово: немец-лейтенант, а я писатель побежденного бессловесного народа без права писать даже. Если ты его предпочтешь, я сделаюсь националистом.

***1 Марта.*** Истоки пораженчества: можно смотреть... нужно выделить из русской интеллигенции то, что мешает, поражает творчество, а Ленинское пораженчество военное — только последний этап.

Аскетизм, переходящий в фанатизм (Ушаков перед Мадонной, эсер: временно личное совершенствование откладывается. Выход из подполья: декадентство. Другой выход: вино, черносотенство).

Цель — сохранение и совершенствование индивидуума или государства. Война: на одной стороне фитиль государства (немцы, большевики, марксисты), на дру-

гой — демократы с культом личности (эсеры, Америка, Англия).

Коза пошла на компромисс и подала в министерство прошение, а большевики ее прошения не приняли. Так «наша революция» теряет последних защитников, и скоро Коза подаст прошение немцу.

С. думает бежать из города, Р. остается. С. не хочет быть с немцами, Р. говорит: «Лучше немец, чем большевик». И, вероятно, все останутся, или уж если вовсе невмоготу будет, — пойдут пешком.

Признаюсь, что от этой зимы я порядочно утомился, и потому теперь, в эти последние дни судьбы Петрограда, мне все кажется, что все знают больше меня. Например, уезжать (уходить?) или оставаться, мне кажется, каждый должен теперь бы решить, но когда я с этим вопросом обращаюсь к знакомым, очень деятельным людям — все, оказывается, его не решили. И если я начинаю рассуждать и за и против, то рассуждение мое висит в воздухе. Кажется, единственный человек, который что-нибудь выводит (логически думает), — это Ленин, его статьи в «Правде» — образцы логического безумия. Я не знаю, существует ли такая болезнь — логическое безумие, но летописец русский не назовет наше время другим именем.

Война слов, как я назвал когда-то словоточивое Демократическое совещание, ныне, накануне вторжения немцев, продолжается с величайшею силою. Политическим говорунам и газетным писателям кажется, например, необычайно важным открытием, если они назовут войну восстанием.

Представьте себе маниакально («безумно») влюбленного человека, который может общаться с возлюбленной только письменно.

***2 Марта.*** Утром газета: делегация прогоняется. Мой логический вывод, что немцы придут, и отсюда разные практические последствия, которые я излагаю хозяйке. Старуха, однако, говорит:

— А может быть и так, что к самому Петрограду придут и повернут, и пойдут, и пойдут назад.

— Но как же это может быть?

— Не знаю, как может быть: у меня это вера такая.

К вечеру узнаю, что мир подписан, и сообщаю опять хозяйке.

— Вот, — говорит она, — вышло по-моему.

***3 Марта.*** Обратная сила войны... Похабники... Косные души... Костяная сеть... Остается от личности кость — остальное, общее рассеивается в пространстве — вот когда настало время увидеть человека.

Игнатьевна после отъезда хозяев кормила голодных хлебом — я дал ей по 5 рублей за фунт, и она стала кормить меня.

Голодная повестушка

Теперь кусочком хлеба и фунтиком сахару можно приманить к себе человека: вот она теперь, как богатая невеста в прежние времена, думает: правда он любит ее или ходит из-за продовольствия? Между тем он ходил, конечно, из-за нее, только ему нравилось, между прочим, что она в это время существует со своим хозяйственным уютом, самоваром, сухарями, маслом и всякой всячиной.

Вселение семейств красногвардейцев в буржуазные квартиры и конец колебаниям Марии Михайловны: он селится у нее для защиты от «вселения», и роман приходит к концу.

Любовался я Игнатьевной: тверская старуха шестидесяти лет; волосы совершенно седые, а лицо молодое, и бодрая, тихая и добрая. Когда ее хозяева уехали из Питера, стала она получать по пять фунтов хлеба в день и кормить голодный люд: тому кусочек, тому кусочек, а себе оставит не больше восьмушки. День пробудет, как хорошо ей: сколько людей подкормила пятью хлебами! бывало, в прежнее время одному рабочему человеку пять фунтов надо, и то недоволен — дай ему каши, сала, молока. А теперь по кусочку в одну шестнадцатую фунта наделй человека, и как он уж рад-радешенек, благодарит, благодарит.

Под вечер станет на молитву — спокойна душа! А что немцы идут — Бог с ними! стало быть, так нужно: будь мы хороши, Бог не попустил бы немцев, значит, мы заслужили такое наказание, за наши грехи немцы идут. И то сказать: ежели мы достойны, то и отведет Господь вражью силу, под самый город придут и повернут и пойдут себе домой, как французы в двенадцатом году. Спокойна душой Игнатьевна на вечерней молитве.

Не знал я Игнатьевны с ее пятью хлебами. Забежал как-то к хозяевам ее, говорит — уехали. Разговорились: то, се.

— А как же, — говорю, — хлебные карточки?

— Получаю, — радостно отвечала, — пять фунтов в день.

— Пять фунтов! дайте мне фунтик!

— Ну, что ж!

Отрезала фунт, а я ничего и не знал, что она этот фунт на шестнадцать человек раздает: даю ей пять рублей с полтиной, почем сам покупал у китайца.

Обомлела старуха:

— За что же?

— А такая цена. Хотите, каждый день буду платить за фунт пять с полтиной.

Покачала головой и ничего не сказала. На другой день беру у нее два фунта для приятеля, потом заказ получаю и все пять фунтов по пяти с полтиной беру ежедневно, и платим Игнатьевне 27 рублей с полтиной.

Приходят и теперь к старухе голодные люди — ничего нет для них у Игнатьевны.

Бог подаст!

Денежки откладывала по 2 полтины — до чего дошла: керенками не принимает — настоящими кредитками.

Неспокойная, не спит: видит, электрические лампадки горят и вдруг, неугасимые, потухнут, и их...

— Оружие искали: двадцать человек. Стучали, стучали: «Ломай!» — пол ломали они. Искали оружие, нашли деньги, взяли. На другой день прознали про лишние карточки (уполномоченный при обыске).

И так осталась Игнатьевна без хлеба и без денег и ходит злая-презлая между электрическими лампадками и все

на большевиков, все на большевиков валит и просит немца на них.

***4 Марта.*** Обратная сила войны все разрушила — с утра напеваю: «Порешили дело, все кругом молчат».

Еще при занятии Двинска пахнуло мещанством истинным, созданным нашей революцией, а не тем мещанством, которое у нас выражали словом «буржуазия». После занятия Двинска, я слышал, говорили: «А сахар в Двинске стал 16 копеек за фунт». После занятия Пскова в «Правде» стали изображать, как в начале войны, германские зверства: будто бы всех мужчин до 42 лет отправили в Германию. А мужчины до 42 лет свободно выезжали из Пскова и рассказывали, что все это вранье: немцы никого не трогают, и продовольствие стало превосходное. (Ремизов распространяет, что раздают бесплатно по коробке ревельских килек, а есть без хлеба.) На Фонтанке бомба разорвалась, будто бы, по «Правде», брошенная аэропланом, а народ говорил, что это сами большевики бросили, немцы же, напротив, бросают воззвания о том, что несут народу порядок. Это своего рода удушливые газы мещанства. Сначала огнем и газами, а теперь пудрой.

Вечером, вероятно, от голода внезапно заболела голова, едва отлежался — голод настоящий. Кто-то просит написать в сборник, который никогда не выйдет, совещаемся о сибирских детских журналах.

***5 Марта.*** Эти дни проходят как ночи, и когда ночь наступает, то вспоминаем, что было с нами за день, как сон: политика и всё с ней — это как тот шевелящийся хаос, на котором тоненькой струйкой выводится то, что называется именно «сном».

— Сейчас я все, все вспоминаю! вот не забыть бы: выхожу я из столовой голодная, одну капусту ела в разных видах и без хлеба, выхожу на лестницу, а на площадке маленький мышонок хочет юркнуть в какую-нибудь квартиру и не может: все двери заперты. Что я подумала? «Будь, — думаю, — настоящий голод, не оставила бы я так

этого мышонка! и так это скоро будет». Тянет меня почему-то этого мышонка погонять, стою на площадке и ногой его — он в одну сторону, добежит до приступочка и назад, гоняла я так его, гоняла зачем-то, вдруг он хватил через площадку и через решетку — бух! в пролет и с пятого этажа летит вниз, как плевок. Я туда, вниз, смотрю, он лежит на спине и ножками слабо дрыгает. Что это значит, к чему это?

Стою над мышонком, вдруг с улицы три военных человека:

— Подождите, — говорят, — не выходите — сейчас летит аэроплан, может бомбу бросить: тут безопасней.

Из столовой человек выходит:

— Русский или германский?

— Германский, белый с крестом.

— Ну, германский не бросит.

Ничего не понимаю: почему германский аэроплан не бросит бомбу, а русский может бросить? Смотрю на мышонка: он уже и ножками шевелить перестал.

Военный говорит:

— Мышонок!

Другой военный:

— Свалился, убился.

Третий военный:

— Вот подождите, скоро их есть будем.

Так пережитое за день как сон вспоминается, а то вдруг что-нибудь этим же днем вспомнится из прошлого давнего и таким близким представится.

Я вспомнил и вижу сейчас к чему-то черную гору в степи, Карадаг. Мы едем вдвоем с охотником киргизом орлов ловить, беркутов. У меня в руке сеть, у него свежевынутое дымящееся кровавое сердце убитого горного барана Архара. На верху горы Карадаг живут беркуты, в домике мы ставим ловушку и кладем в ней кровавое сердце. Долго мы караулим в пещере. Вдруг орел выплывает спокойно так, будто запущенный детский змей, сделал круг и сразу сверху летит камнем, так что шум от него, и падает на кровавое сердце. Мы бросаемся к нему, запутался крыльями,

голову запрокинул, клюв открыт, шипит, глаза — черный огонь. Хали живо его уматывал сеткой и, не разбираясь, на седло, и опять мы едем с добычей в аул.

Утренний час: козлы баранов в степь ведут, собаки, мальчишки, женщины окружают нас, радость общая — поймали орла!

И вот как мы орла приучаем к нашему делу: ловить зайцев, лисиц. В юрте от стены до стены мы протягиваем бечевку. На бечевку сажаем орла, привязываем лапы к бечевке, на голову надеваем кожаную коронку и закрываем ею орлиные глаза. Слепой сидит орел на веревочке, а киргизы нет-нет — и пошевелят веревочку. Орел дернется. Еще пошевелят — еще дернется. Вокруг всей юрты сидят киргизы на подушках, смотрят на орла, и все подергивают за веревочку, и орел все дергается, все дергается. Ночь наступает, гости расходятся, и, уходя, каждый пошевелит веревочку, и орел каждый раз дернется. Ночью, кто выходит баранов посмотреть, волков пугнуть — непременно пошевелит веревочку — орел и ночью не знал покоя. А утром опять все, кто входит, кто выходит — все дергают. Есть не дают и день и два, только дергают. У орла уже и перья пошли в разные стороны, нахохлился, голову клонит — раз, два, вот-вот повалится и будет висеть. Качнулся, справился. Еще раз качнулся, еще раз справился. Тогда открывают кожаную коронку, показывают орлу кусочек вываренного или белого мяса — только покажут! А потом дадут съесть. И потом опять на глаза корону и опять шевелят, дергают целый день веревочку. После белого мяса показывают красное, кровавое, дымящееся и пускают орла.

— Ка! — кричат. — Ка! — как собаке.

И орел, как собака, идет за кусочком мяса по юрте. Киргизы сидят на подушках, хохочут. Орел взял кусок, другой.

— Ка! Ка! — кричат.

И орел за каждым идет, у кого есть кусочек мяса. На лошади сидит киргиз, покажет кусочек:

— Ка!

И орел к нему на седло.

Вот заяц бежит, взлетает орел, кидается орел на зайца, когти впустил, кровь льется — сколько ему бы клевать!

— Ка! — кричит киргиз.

Показывает припасенный кусок.

И орел добычу бросает богатую из-за пустого куска — задергался, ручной орел.

А киргиз спешит, зайца себе берет.

Так вспоминаются теперь этими днями и ночами ловцы орла, и думается: вот теперь и русский народ как задерганный орел-беркут (так теперь немцы русских ловят).

Утро — иду, весна! Только калоши худые. Светится небо, все ликует, а голубей на улицах ни одного: выловили или сами подохли.

Продукты все как-то сразу исчезли с рынка, и большевики больше не страшны: голод и немец всё задавили. На службе суета и легкомыслие: «Едете или не едете?» И как-то решительно все равно.

Мысли о том, что «народ» переходит теперь в «интеллигенцию» на сохранение: «народ», уничтожая интеллигенцию, уничтожает себя и создает интеллигенцию: в интеллигенции и будет невидимый град.

Вечер — замерло, скользко, темно, звезды яркие — ранние весенние вечера, всюду прожекторы чертят небо, мир заключен, а они там ждут что-то: какая-то детская забава в такое время.

***6 Марта.*** Смотришь на человека: вот он идет по улице — ну что в нем хорошего? Жалкого вида человечек, одна из крошек упавших съеденного пирога когда-то великого государства Российского — тошно смотреть!

И так тоже подумаешь: а ведь он и раньше такой был, только покрыт был покрывалом великого государства Российского, покровы упали — и вот он, человечек, весь тут налицо, ковыляет себе и ковыляет. Что от него убыло? Такой он и был, такой он и есть: вся правда налицо. И так всё, оказалось теперь, — это великое число лентяев, негодяев, воров и убийц, скрытых раньше под кровом импе-

рии, — так это и раньше было, это и есть правда нашей жизни, значит, все, что случилось, — мы увидели правду.

Скоро войдет победитель в этот город, тот, который недавно пускал удушливые газы, теперь он выпустит свою мещанскую пудру — куда более страшный удушливый газ! И будет нам проповедовать нравственность порядка. А что, если и его раздеть так, освободить от покровов империи и победы, — все такой же останется ковыляющий человек, как наш.

Смотрели мы во Львове на побежденных австрийцев, теперь немцы будут смотреть на нас, а по существу ни им не прибавится, ни от нас не убавится.

Наконец-то решилась хозяйка моя купить конину, опустила ее в святую воду и подготовила вообще к вкушению котлет такую обстановку, будто мы грех какой-то совершаем, не то человека, что ли, зажарили. И стоит она у печки старая, голодная, страшная и будто говорит: «Фу-фу, русский дух!»

Видел я сегодня — батюшка мой! — будто сон припоминаю ночной, как же это так? Я хотел только вспомнить и записать, что видел, слышал и передумал за день, а будто сон, самый настоящий сон хочу вспомнить. Или ночь так опутала день, что ходишь наяву как во сне? Шевелится какой-то хаос событий, который в снах и не считаешь, из снов вспоминаешь только хитрую цепь приключений. Так и тут, в эти ночные дни, вспоминается только чушь пустяковая...

Снились мне какие-то, не вспомню какие, добрые и умные звери, между ними была и моя собака Нептун, и как-то эти звери — не помню, как — помогали людям в их ужасных падениях, выводили их и доводили до состояния своего, гораздо более высокого, чем нынешнее человеческое.

Одни верили в народ, поклонялись народу — что теперь от народа осталось? Другие верили в человека — что теперь от человека осталось, «где человек»? И третьи ве-

рили в себя — эти раздеваются теперь: оказывается, вера их была не в себя, а в одежду свою, они теперь снимают одежду, а за ней другая показывается, как из большого красного пасхального яйца — синее, потом откроешь — зеленое, и все меньше, меньше до последнего желтенького [пупышка], который уже не раскрывается.

Думали — Москва, пропала Москва, думали...

Думали — крестьяне, пропали крестьяне, думали — казаки, пропали казаки, думали — Москва, фукнула Москва, Дон, Украйна, и остались немцы и голые Советы солдатских дезертиров и безработных рабочих.

Нет больше на улицах голубей — их незаметно выловили удочками, а может быть, многие и сами погибли без еды.

Самоубийство собаки. Собака голодная, облезлая шла, качаясь, по Большому проспекту, на углу 8-й она было упала, но справилась, шатаясь, пошла по 8-й, навстречу ей шел трамвай, она остановилась, посмотрела, как будто серьезно подумала: «Стоит ли свертывать?» — и, решив, что не стоит, легла под трамвай. Кондуктор не успел остановить вагон, и мученья голодной собаки окончились.

***8 Марта.*** «Передышка» уже сказывается: Петербург пустеет, и вообще прежний страстный интерес к событиям в России не мог бы теперь оправдаться с общей точки зрения: наше отходит на второй план, судьбу мировой войны теперь не мы будем решать, мы теперь провинциалы от интернационала.

Деспотизм и дитя его большевизм — вот формула всей России.

***10 Марта.*** Эта свобода ведет к проститутству: немцы хотят сделать из России проститутку.

***11 Марта.*** Хотели делиться и равняться по беднейшему, безлошадному, но тогда пришли безногие и безру-

кие: «Как же, — говорят, — нам быть, равенство не получается». Думали, думали, как тут быть, и решили обрубить себе руки и ноги... Обрубили и когда потом хотели на работу идти, смотрят — а идти-то не могут: ног нет. Стали допытываться, как же подойти к такому делу, с кого взыскать: тот на того, тот на того говорит, хотели подраться — рук нет. Тогда стали болванчики друг в друга плеваться и тем делом по сию пору занимаются.

— Вы ее идеализируете!

— Что значит идеализировать? говорить хорошо о том, что мне нравится. Да, она мне нравится, и я ее идеализирую.

— Значит, видите не то, что есть.

— Я вижу то, что мне нравится.

— Так вы скоро в ней разочаруетесь.

— Ну, что же: наше время скорое.

Хозяйка моя все ищет дочери своей жениха, уже весь человек брачный обобран, уж и в церкви не венчают, уж и в комиссариате не заключают условия, а расписываются прямо на стенах пальцами, а она все еще благоговеет перед словом «жених».

***14 Марта.*** Годовщина революции (27-го февраля). На Василеостровской набережной завалилась лошадь, никто не убирал ее, вокруг снег, лед — горы целые сложенного льда. Дня три лежала лошадь и стала уже врастать в снег, сплющиваться, как вдруг однажды я заметил, что она опять стала выделяться надо льдом и снегом, кто-то вытащил ее из залежа и вырезал филей. Потом стали собираться собаки и глодать ее, и драться из-за нее и брехать. Так долго стоял гомон собачий у скелета, и ноги, замерзшие, обглоданные, высоко торчали.

***15 Марта.*** Со службы приходит такая голодная.

Пламя пожара России так велико, что свет его, как солнца свет утреннюю луну закрывает, так невидим становится свет всякого нашего личного творчества, и напи-

ши теперь автор подлинно гениальную картину, она будет, как бледная утренняя луна, бессильная, лишняя — вот почему и нет ничего в нашей жизни теперь от лунного света.

Не солнца золотой свет затмил свет луны и звезд небесных — зарево пожара великого помрачило сияние ночных светил, и не для работы утром встали спавшие люди, а вышли среди ночи поглазеть на пожарище и в опаске за свое добро: вот-вот и свое загорится.

Бледная, как ваты клочок, висит над Невою луна, и душа моя такая же бледная при зареве русского пожара: не светится больше, и никто больше не заметит ее, потому что она не нужна, и не сегодня-завтра меня заставят колоть лед или продавать газеты. Закрываю глаза, и вот в темноте передо мной лавочка, и на лавочке кто-то в черном еле различимо: женщина. Смотрит на меня упорно, словно ожидая — не он ли пришел, на кого надежда, — и вдруг повертывает голову в сторону — нет, не я! Рукой оперлась на лавочку и тем же упорным взглядом смотрит в темноту. И за ней нет ничего, и вокруг ничего нет, и сама она еле-еле с лавочкой своей садовой отделяется от темноты. Вдруг пламя пожарища открывает тьму — женщина в черном исчезла, а на ее месте всюду стоят безрукие и безногие и друг в друга плюются.

Шепчет [черная] ночь:

— Это всеобщее равенство: они всё разделили, чтобы сравняться, но пришли инвалиды безрукие, безногие с войны и для уравнения потребовали, чтобы другие обрубили себе руки и ноги.

И они отрубили и не стали добрее и лучше: плюются.

Но я при этом свете закутаюсь в черное покрывало, навешаю бумажные золотые звезды на черное — смотрите на меня, вот я пришел с Луны — сын ваш — посмотреть, и вот как мне все это кажется, и что я...

Вы хотели всех уравнять и думали, что от этого равенства загорится свет братства людей, долго вы смотрели на беднейшего и брали в образец тощего, но тощие пожрали все и не стали от этого тучнее и добрее.

Но вот идет безрукий — сравняйтесь с ним, обрубите руки себе. Идет безногий — обрубите ноги себе.

И что же, мы — безрукие и безногие, вот нет у нас ничего, и вокруг вас нет ничего, вы стояли тут и были на земле русской и не можете даже больше подраться между собой. Ну, что же делать? Плюньте в соседа, плюйтесь, плюйтесь, это одно вам осталось, бедные русские люди!

Гнев и злость, накопленные за столетие, нашли свой выход, и тайная убийственная идейка, которую держал в уме и даже не удержал, а отогнал, теперь нашла себе применение.

Так ничего нет на свете тайного, что не стало бы явным.

Но это изживается, и люди — носители злобы — выгорают со временем, как ситец на солнце: что теперь осталось от недавних вождей, как можно теперь себе представить, например, Авксентьева сидящим на царском кресле, поддерживаемого Советом, или Виктора Чернова, гения, признанного мужиками всего света русского.

К подзаборной молитве.

Ненавижу слово «делопроизводитель». Мое занятие производить «дела» в синих обложках министерства Торговли, я называюсь делопроизводитель.

Видел я, как мой начальник, честный, энергичный человек, был сметен при первом восстании. Член Совета министров, представленный уже к чину действительного статского советника, он в полном ходу своей карьеры, считая себя революционером в душе, обрадовался революции и вдруг, когда пришел новый министр, его не позвали. Его и не гнали — бумаги просто пошли мимо него, и он, скучая, вял, вял, пока не догадался сам подать в отставку, вышел и остался представленным. Я думал, что переживу — как вдруг и я, делопроизводитель, остался без дел...

***18 Марта.*** Так вот оно что значит: «Звезды почернеют и будут падать с небес». Звезды — ведь это любимые светлые души людей — оглядываюсь вокруг, спрашиваю

себя назвать хоть одну душу-звезду, за которую хотелось бы дальше терпеть, и нет ее, все мои звезды попадали!

Господи, неужели Ты оставил меня, и, если так, стоит ли дальше жить и не будет ли простительным покончить с собой и погибнуть так вместе с общей погибелью?

Вот она, тьма тьмущая, окутывает небо и землю, и я слепой стою без дороги, и пластами вокруг меня, как рыба в спущенном пруду, лежит гнилая русская человечина.

Так или так — все равно! Умереть — <*зачеркнуто:* таким, как я есть> [мне нужно жить, вместе с тем нельзя], а как умереть все равно: убить себя [или] жить...

Нет, нельзя убивать себя.

Хорошо генералу, который весь живет в храме своей чести и убивает сам себя, если храм оскверняется, но я знаю, что есть высшее — умереть, отдавая жизнь за других.

За кого же я отдам жизнь свою?

***20 Марта.*** Все говорят, что из Петрограда нельзя выехать, разные запрещающие выезд декреты, забитые дороги — будто бы сами комиссары чуть не с палкой в руке должны пробивать себе путь в Москву, и народ простой по дорогам из Петрограда будто бы валит на подводах и пешие с котомками.

Другой и рад бы выехать из Коммуны «вольного города» в Россию: все-таки теплится такое чувство, что Россия жива еще и лучше бы там быть, а не тут, в Коммуне; хотя, по правде сказать, в последние дни относительно продовольствия стало здесь вовсе неплохо, но уехать...

Случилось так, что выехать мне стало необходимо: получил худые вести из дома — как уехать? Системы нет — рад бы к большевикам, да не знаешь, как подойти. Способ — взятка, но это умеючи, командировка — министерство земледелия: пустое министерство. Счастливый день: грузчиком поезда — из Царского, телефон, 77 вагонов, кондуктором, закинул удочку в воздушный флот

(фантазер) — похоже, на Львов: лакеем, околоточным. Нет ходов, а чувствуешь, что есть ходы... Всех спрашиваю.

***21 Марта.*** Лавина великого обвала засыпала нас, но не задушила, и, засыпанные сверху тяжелыми пластами, теперь мы ожидаем, что кто-то придет, раскопает нас и выпустит на вольный свет: и вот настало время подумать об этом вольном свете, какой он по правде-то, и какая правда в нем, и какие это такие киты, на которых будто бы стоит земля.

Нужно подумать о способе против «неспособия» (самоубийство не способ, а какой же способ?).

Что ненавистно, так это соловьи в разоренных усадьбах Тургеневского края: ведь прилетят, проклятые, и запоют как ни в чем не бывало, и будет расцветать черемуха, вишня, сирень...

История Боборыкина у нас известная, в наших Тургеневских краях не новая, она повторялась у нас постоянно, как прилет соловья весною и грачиный отлет после уборки полей: Боборыкин — барин, столбовой дворянин — женился на Машке. Был тогда флигель-адъютант и такой-то жених-разжених, вдруг позвал к себе Машку-рябушку и, говорят, прямо под киот поставил перед Богородицей: «Помолимся вдвоем, а потом под венец». Унимать буяна двинулась старая мать из Швейцарии, но война остановила ее, и в первый же год войны она захворала в Швейцарии и кончилась.

***22 Марта.*** Прислонившись спиною к решетке Аничкова моста, девушка, очень миловидная собой, в очках, стоит с протянутой рукой, и в руке коробочка с двумя кусочками мыла. На нее никто не обращает никакого внимания, потому что она очень нерешительно предлагает мыло, и вся как-то ни к чему здесь, и совестится, и еле-еле шевелит губами, предлагая мыло. Я нарочно раза три про-

шел мимо нее, чтобы разобрать ее слова, и наконец услыхал: «Метаморфоза».

Вероятно, это было название мыла.

Звезда моя небесная, замеченная много лет назад, почернела, исчезла во тьме, а коровушку мою зарезали принципиально мужики — что же мне теперь соловьиная песня?

Многое стало видно и доступно в это наше страшное время, и я, как матрос к дворцовому золоту (а это бронза!), потянулся, чтобы схватить, посмотреть, какая звезда моя, которой любовался я столько лет темной ночью, поднялся, взял в руки, а она черным листиком погасла в руке и рассыпалась.

Паучиная ножка, если оторвать ее, говорят, дрыгает до зари — так и власть наша, как ножка огромного паука, еще дрыгает.

В темноте сторожа нашей тюрьмы спрашивают друг друга:

— Скоро ли рассвет?

Нет еще рассвета, не занималась заря, и паучиная нога все дрыгает, все дрыгает.

Бедный я человек: я не знал отца своего, он умер, когда мне было немного лет, и так без него никто не мог научить меня ходить свободным во власти: я ненавижу власть с раннего детства и содрогаюсь от нее, как от бегущего по стене прямо к подушке моей постели паука.

А так вот если бы по-настоящему было, то, я думаю, по-настоящему так бы должно: пришел к власти человек — это все равно что пришел к концу своему.

Только мать для чего-то по-матерински хранила, оберегала меня, а вокруг было поле рабов завистливых, лживых и пьяных, которых называли христианами, православными мужиками. Матушка учила меня петь при гостях:

«Ах ты, воля моя, воля, золотая ты моя!»

Я был маленький, когда с криком отчаяния няня моя прибежала в дом и сказала: «Царя убили, теперь мужики

пойдут на господ с топорами». А ведь мы господа, какие ни есть, хоть из купцов, а все-таки для них господа...

Мудрость заменила матери моей свободу.

Так думаешь: получи я власть...

Получает власть русский человек, и нет того, чтобы (вить бы им гнезда) великодушно распорядиться ею...

Посетил меня нынче простой русский человек из глуши, и так мы говорили о власти.

Пришел к власти человек — это все равно что пришел к концу своему богатый, и при конце этом нужно ему распорядиться добром своим, кому-то оставить его и на какие надобности. Где власть — тут же и смерть, а кто во власти для себя жить хочет, тот не человек, а паук, и за убийство власти такой на том свете сорок грехов прощается.

Я, бедный русский человек, знал в своей жизни власть только паучиную, и люди вместе, большие и маленькие, с раннего детства мне представлялись паучиными ножками, а все вокруг меня простейшие люди, будто бы освобожденные в эпоху великих реформ, считали даже за правило жизни всей, что паук пьет нашу кровушку и так на этом будто бы весь свет стоит.

Не царь пал, царь — это дело отдельное, и о нем совсем другой разговор, это только у какого-нибудь политического Соломона царь и власть то же самое, для нас не царь пал весною 1917 года, а лопнул паук власти. Вытащили паука из гнезда, разорвали всю паутину и ножки паучиные разорвали и разбросали по разным местам. А знаете, как дрыгают паучиные ножки долго? Говорят, будто они до зари живут и дрыгают, сжимаются и разжимаются, — вот и у нас, так и власть наша настоящая дрыгает до зари.

Можно делить землю и власть можно делить, как у нас все это делят с начала падения империи, но совесть, например, делить невозможно, и честь, и милосердие к несчастному, и уважение к женщине — это все неделимое, тут найдено кое-что вечное и обязательное — одинаковое для человека абсолютной монархии и социалистической республики, для аристократа, и буржуа, и пролетария.

Болото! болото!

Как будто прошлой весною прорвало болото нашей империи, и нынче весною оно залило своей нечистью все лоно Петроградской коммуны. Шлепают по грязи люди и повторяют в злобе:

— Болото, болото!

Вот сама хозяйка дома, вероятно, когда-то богатая барыня, вышла сама с метлой на улицу, а некий хам привез целый воз всякой нечисти, навоза, льда вместе с дохлыми собаками и кошками и свалил все в переулок против дома, где моя хозяйка чистила улицу. И некому хама остановить: свалил и уехал себе безнаказанно.

Ниже по нашей линии вот уже третий день тяжелым ломом барышни — сестры милосердия колют лед. А вот еще одна барышня застенчиво протянула коробочку с двумя кусочками туалетного мыла, барышня робко шевелит губами, когда проходят мимо нее люди, я нарочно три раза прошел, чтобы разобрать ее слова, она повторяла: «Метаморфоза».

Вероятно, это было название туалетного мыла.

И, проходя мимо колющих лед сестер милосердия, я спрашивал себя:

— Ну, в чем метаморфоза, кто во что превратился и что из этого вышло?

Разворовано общее добро, унижена женщина, затоплен грязью и брошен правительством прекраснейший город, созданный на крови русского народа, — в этом метаморфоза?

Я не хочу говорить о достижении в области мирового строя, в этом я мало понимаю, и я не политик по природе, я живу и думаю в области неделимого простого, человеческого. И я хотел как русский писатель иметь право потом сказать так же твердо и просто народу, как говорит Анатоль Франс, описывая хвост перед лавочкой времен Великой французской революции.

***26 Марта.*** Мария Михайловна и К о з а — я жалею ее, не потому что люблю, нет! я ненавижу ее, но я сам такой, как она, и когда я обращаю эту ненависть на себя, то стра-

дание мое от самоненависти порождает жалость к этой девушке с прекрасными звездными глазами, в одежде нелепой, возбуждающей отвращение и злой смех.

Ей, конечно, хочется теперь нравиться до страдания, но она не может нравиться, как не может вдруг, никогда не учившись, танцевать кто-нибудь на балу, полететь в мазурке — ей нечем нравиться днем на улице и вечером в театре при электричестве, а там, дома, у рабочей лампы, когда она прекрасные глаза свои отведет на минутку от книги и они, будто звезды южной ночью, полные грусти, венчающей красную сжатую страсть, устремляются куда-то вдаль, к далекой земле — такой звездной никогда не увидит [Софью Васильевну] прапорщик Павел Горячев.

И я сам ненавижу ее за эту шляпу-лепешку, за кофту какую-то полукитайскую, хуже, чем полу — все на ней безымянное и выросло на ней само собой, когда она училась и не обращала на это никакого внимания, и ходит она странно — стремительно, шагая куда-то вперед, будто несется полуптица, полуощипанная птица, хочет и не может улететь. Я ее ненавижу, потому что это пренебрежение своим телом в красивом размещении всех тел на земле и мне как безродному русскому студенту свойственно, и я это проклял однажды.

Она подбирается к моим звездочкам, она, как утренняя звезда, подбирается к месяцу, и меркнет месяц, увидев, как уродливы тела, которые он освещал темной ночью и скрашивал. И он бледнеет, и она вместе с ним белеет и скрывается.

Сюжет для голодного рассказа: такая девушка обеднела хлебом, приручаю хлебом к себе, и «хлебный мир» разрушает Коза. (Утренняя — месяц. Вечерняя.)

Она подбирается к душе моей болеющей, как утренняя звезда подбирается к бледному месяцу, и он видит, что напрасно светил всю ночь и творил очарование предметов, — никакое лунное очарование не сравнится с лучами, создающими жизнь новую, и бледный месяц скрывается в небе, и с ним скрывается утренняя звезда, неизменная и любимая вестница его исчезновения.

Скрою же грусть свою и тайну свою отдам небесной лазури.

Отдам же грусть свою небесам — пусть они дадут за нее радость вам, и тайна моя, растворенная в золотых лучах солнца, незаметным, нечаянным и радостным чудом украсит для детей луга цветами, поля хлебами, моря просторами и воздух прозрачностью.

Урсика нечем стало кормить, и он стал от нас пропадать, является к нам раз в неделю, проведать, всегда в новом ошейнике, с новым бантиком, все-таки помнит нас, не забывает: ошейник и бантик Иван П. снимает каждый раз, а он опять приходит с новым.

Так у собачки нашей тоже двойная жизнь началась: кормится в одном месте, а душою живет с нами.

<*Зачеркнуто: Жиличка наша*>

Из банка [бежала] барышня-машинистка, саботажница торговала газетами, такая худенькая, и только вечером возвращалась домой, теперь не торгует больше газетами, а часто возвращается утром, и было у нее на пальце одно колечко с бирюзой от жениха, убитого на войне, на днях заметил у нее другое, золотое, а сегодня вижу и третье, потолще.

— Последний раз говорю — возвращайся в банк.

Куда идти, что [делать] — будто не знает, теми колечками скоро, наверное, переделается ошейник Урсика.

На Тучковом Мосту сегодня в неурочный час, утром, когда чиновники идут в министерство, слышу, кто-то великолепно крикнул:

— «Биржевая»! Вечерняя!

Посмотрел, чиновник идет с портфелем, такой молодцеватый, он, конечно, и крикнул, так себе, пустил по привычке, может быть, горло прочистить или демонстративно заявить, что саботажник-газетчик возвращается на службу.

— «Биржевая»! Вечерняя!

Все смотрят на него и смеются. А может быть, и свихнулся немного, и двойная жизнь его так выходит наружу.

При церкви большая толпа – не митинг! Об этом забыли совершенно, о чем теперь говорить, все надоело, я спросил, какая это очередь.

– Лепешки продают! Восемь гривен за штуку.

Я, конечно, стал в очередь, и все боюсь, что не хватит, разберут и только время так пропадет. Вот кончаются, и нет, побежал куда-то, еще корзину принес, всем хватит.

– Сколько? две?

– Три, можно четыре, можно пять, десять можно!

– Давай десять! – Очередь протестует.

– Ничего, хватит.

Десять ржаных больших толстых лепешек несу я домой, вот порадую, так тяжело.

– Лепешки, господа!

– Лепешки! милый, яхонт, изумруд наш!

– Пожалуйте! только все не дам: по пол-лепешки и на ключ!

Разделил по пол-лепешки, и вдруг кто-то:

– Земля!

Потом все:

– Земля, тьфу, тьфу, тьфу!

Все плюются. Рассмотрели: лепешки сделаны из глины и навоза. И горе и смех, сейчас же смех:

– Лепешки «Земля и Воля».

– Нет, – говорю, – «Воля и Земля», сначала была воля. Мы сидели в тюрьме.

– А теперь земля: эти лепешки называются потому «Воля и Земля».

Продекламировал:

– «И кто-то камень положил в его протянутую руку...»

***29 Марта.*** Земля и воля.

– Ну, скажи, скажи...

– Дорогой, только слов нет: это нельзя сказать.

– А как же быть?

– Не знаю, как быть: надо не говорить, а слушать себя.

— Но ведь нужно же что-нибудь делать, как же все слушать, нужно и действовать.

— Почему-то думаешь, что, творя, ты действуешь. Вот уже почти месяц мы говорим, и что же сделано, что стало ясно?

Будьте смелы, писатели, не ждите, что вам покажется из этого хаоса лицо человека и вы тогда возьметесь за перья; как покажется — так знайте, что кончилась страшная правда и началась приятная ложь.

Хожу возле погибели — показалось простейшее без слов, как тогда, и я узнаю в нем свое и с ним соединяюсь с болью и радостью.

| | | |
|---|---|---|
| | Воля | |
| Деревня | Земля и воля | Усадьба |
| Раздел мужицкий | Земля | Раздел |
| Власть земли | Планета | Власть культуры |
| Митинги | | Истощение словами |
| Силы хаоса | Скифия | бессильные слова |
| Хаос | Простор | |
| Огонь, кровь | | |
| Очищение | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Мать | |
| | | дети | |
| дочь | Теснота Руси | Ширь Руси | <*1 нрзб.*> (Европа) |
| связь | | | |
| Разрыв | Николай | Михаил | Сергей |
| Раздел | (Ремизов) | Терзаемый | (Из Разумника) |

Д е й с т в и е: в усадьбе Орловской губернии. В р е м я: ранняя весна 1917 года — до осени.

Л и ц а: Марья Ивановна Пришвина, сильная властная старуха, как переменная погода: то раскроется радостно и щедротно, то скупая и подозрительная, то гневная, то кроткая (умирает).

Лидия Михайловна Пришвина, дочь ее, старая девица, вечно ссорится и любит ее тайно: ее роль — связь, которая трагически рвется.

Михаил — любимый сын старухи: надежда, солнечная сторона ее (из Горького), доктор.

Николай — старший брат, подавленный материнским хозяйством: мелочная, собирательная сторона ее (из Ремизова), сборщик монопольный.

Сергей — младший, писатель, социалист (из Чернова-Разумника), человек бумаги — слова, будущий левый эсер.

Первое действие: в столовой — мать ссорится с сестрой за столом и о ней с Михаилом, и о войне, и земле, и завещании... Выставляют балкон — весна. Хозяйственные распоряжения. Градусник, мужики у балкона. Мать больна. Сестра на диване: ссора — уходит! Умерла. Суета и никого: трюмо и Петр Петров. Завешивает трюмо, дает телеграммы.

***30 Марта.*** В щелку истории. Все или почти все я могу понять, забыть и простить, когда начнется настоящее, искреннее стремление к возрождению России, но никогда я не забуду, что один большой писатель, очень большой, Ремизов, страдающий язвами желудка, во время нашей русской беды получал по восьмушке в день соломенного хлеба, а сам диктатор Ленин, наверно, мог себе заказывать в Смольном что только угодно. И пусть диктатор — спаситель России, но я подсмотрел в щелку истории, как жил «спаситель» человечества и как жил простой человек, и пусть составляют святцы спасения истории, я остаюсь при своем: человека в это время держали по-свински, и путь спасения был посредством свиньи.

Не верьте же, писатели, соловьям и ландышам наступающей весны — это обман! Сохраните это на свадьбу наших наследников, мы же теперь ляжем в могилу с тем, что видели в щелку: человеческая связь истории наконец обрывается, и благоуханные ландыши потом вырастают на трупе человека, будто бы раз навсегда спасенного и бессмертного.

Экономисты-материалисты и разные умно-рассуждающие инженеры, материалистического типа философы. История над бездной провала, человек проводит воображаемые мосты и надстройки и, перегнав через мост безликое стадо животных, соединяет разорванные концы

человеческой жизни, перегнав, их обращают опять в человека. Но мы, обыкновенные люди, видели в щелку истории такое, что никогда не забудем: видели труп человека, будто бы раз навсегда спасенного, и отчаяние наше не дает нам сил...

Корабль спасения: Соломоны перегоняют через мост стадо и пр.,— ночь: распни его, распни его, и наступила Тьма.

Корабль не может жить без воды — он проповедует: забудем личные интересы.

Дни тюремного сиденья как ощущение тьмы распятия.

Овцы и козлищи перегонялись вместе одним кнутом. Когда овцы и козлищи перегоняются куда-то одним стадом и одним кнутом — такая смесь называется коммуною.

Но ведь и Распятие — только легенда, только шип отчаяния. Голая земля, если на тебе вырастут ландыши, то небо даст эти цветы завтра всем.

Хорошо это при свете молиться на Распятие, но если свет погас и не видно, в какой стороне висит Распятие, и неизвестно даже, есть ли оно, — вот наше настоящее, как можно жить в такой темноте!

Мы не спасены прошлым страданием, с прошлым оборвана всякая связь, и пропасть открытая, непереходимая. В настоящем не видно лица человека.

Свершилось! окутала тьма, а что свершилось — об этом ведь потом будут рассказывать и учить, что распят был Бог, но теперь свершилось и нет ничего: живи, как хочешь.

И это надо п р и н я т ь, что мы были свидетелями, когда не церковная завеса, а само время треснуло, и жили мы без веры, надежды и любви сколько-то времени <*зачеркн.:* что был такой промежуток пустоты, ничего не было>, — а пустота была стяжанием сильных и поиском пищи животной слабыми.

Если бы слышны были хотя бы трубы Архангела, созывающие живых и мертвых на Страшный суд! И этого не было! Люди чинили старую одежду и выдумывали из кофейной гущи и мякины делать себе лепешки.

Пришел Сергей Георгиевич, музыкант, отсидевший два месяца в тюрьме за саботаж, и стал мне говорить:

<*Приписка:* *Электричество погасло без предупреждения, как нам обещали [больше не] делать, мы остались во тьме, и трудно найти нам спички и засветить свечку, все вокруг стали разговаривать. Один гость сказал:*>

— Русскую землю нынче, как бабу, засек пьяный мужик и <*приписка:* интеллигенцию> — лучину, которая горела над этой землей, задул, теперь у нас нет ничего: тьма. Так было, когда распяли Христа, но... Скажите, как может что-нибудь выйти из ничего, из тьмы?

Я ответил:

— Вначале земля была безводна и пуста, а потом из ничего началось творенье.

— Кто же начал?

— Говорят, что Бог.

— Вы верите?

Я молчу.

— Почему вы молчите!

— Нет слов: что-то случилось, и связь времен разорвалась, землю тьма окутала.

— Может быть, это распинают Христа.

— Это потом откроют и докажут двенадцать мудрых Соломонов, а сейчас просто нет ничего.

— Вы верите?

— А вы?

— Вы не верите?

— А вы?

— Я верю, но мне кажется, что я не должен верить, что вера — это еще остаток моего еще неразграбленного имущества, как у обывателя, которого обобрали дочиста, но он еще не может понять это и все хватается за какие-то за свои остатки. Я стыжусь своей веры. А вы?

— Я страдаю.

Моя вера словами не высказывается.

Эта вера пришла к новой творческой вере будущего:

— Мне кажется, что скоро нас погонят выгребать и возить свиной навоз на указанное место. Вырастут на этом месте цветы, и дети придут любоваться. Где-нибудь в стороне из хлева мы будем с вами выглядывать. Мальчик позовет меня: «Дедушка, это какой цветок? и какие на нем листики?» Я скажу: «Деточка, этот листик от Отца, этот от Бога Сына, а этот от Духа Святого». Он спросит меня: «А есть мамин листик?» «Вот, — скажу, — и мамин листик, и вот листик папин». «Как хорошо!» — скажет мальчик. И я скажу, что хорошо жить на свете. Он побежит по дорожке, а я пойду в хлев. Вот, друг мой, Сергей Георгиевич, так я понимаю наше время: русский народ гонят хлев чистить, очень много накопилось навозу. Я верю, что вычистить необходимо, и очень хочу одного, чтобы хоть дедушкой из хлева на ребят посмотреть.

Пришел ко мне Сергей Георгиевич и спросил:

— Вы что читаете?

— «Когда Боги жаждут» Анатоля Франса, вы не читали? Удивительно: роман из эпохи великой революции, а наши хвосты и очереди все с точностью описаны, и в тюрьмах сидят невинные, художники и мудрецы, как мы с вами. Я очень удивился, но меня его снисходительность к людям не раз заставляла улыбаться, я читал это как книгу для детей.

— Вот, — сказал Сергей Георгиевич, — я это тоже заметил. Читал Достоевского, и, например, Свидригайлов, помните, как мы воспитались: Свидригайлов — страшное существо, сам автор будто бы заметно содрогается тут. А я читал и думал: какой удивительно хороший человек! Заманил девушку и отпустил ее, отдал все имущество своей невесте и сам застрелился. Какой хороший человек, где найти теперь такого. И вы говорите, что у Анатоля Франса тоже всё хорошие люди.

— Очень хорошие, не только герои, но и толпа. В одном месте он говорит про уличную толпу, что они все

участвовали в грабеже дворцов, но сочли бы для себя смертельным грехом что-нибудь взять из дворца для себя. Я читал это с завистью: как может так сказать французский писатель про свой народ.

Сергей Георгиевич задумался тоже настоящим горем и тихо сказал...

***1 Апреля.*** Жил с человеком рядом много лет, делился с ним всем, кажется, от Господа Бога данным, разумом и сердцем, и вдруг ни с того, ни с сего — пустяк какой-нибудь! — оборвалось, — и нет его, и не нужен тот человек, которого еще вчера называл другом и казалось, что без него и свет пуст. И так еще бывает: вот он вчера был в воображении почти гений, или какая-нибудь дама — за одни глаза ей все прощали и повторяли: «Какие глаза, как звезды глаза!», а вот сегодня гения называешь дураком, а дама эта с прекрасными глазами идет по улице — и с отвращением видишь, что она похожа на какую-то голенастую полуптицу.

Эти наспех завязанные, как будто интимнейшие связи разлетаются в пух от первого дуновения ветра, часто со смрадом, как пузыри, начиненные вонючими газами, — такова пузырчатая поверхность нашей жизни.

Анализ вчерашнего. Первая причина. Женщины умные, с которыми хорошо по-товарищески беседовать, рассуждать, чувствуя, что с женщиной находишься, но в то же время как бы и не с женщиной, — вдруг ринется такая-то с чисто женским чувством, словно плотину прорвет! — и тогда сразу связь обрывается, и смотреть-то на нее не хочется.

Вторая причина разрыва: не выношу вида обнаженного страдания...

Наоборот: люблю гордостью и красотой победы закрытое страдание, радость над горем и сияние венца победного духа — таким я любил Ремизова, а теперь целыми вечерами только и слышишь от него жалобы и клянченье. И у меня от всего остались теперь злость и ложь, закрытые пряностью ложной душевности, которую можно ку-

пить за одну белую коврижку. Наскучило возиться с ними до бесконечности.

И еще причина: горе, накопленное в пустыне своей, при встрече с человеком, как вода, прорывает плотину, и так заключаем радостный союз на время. А настанет час к себе уходить, и, если тот не поймет, — связь грубо обрывается. Главная причина в бестолковости моих отношений с людьми, что не могу с ними правильно по установленным дням обмениваться визитами.

Сюжет голодного рассказа: большой чиновник из «представленных» (в генералы) и маленький чиновник Иван Поликарпович. Генеральша газетами торгует, генерал что-то переписывает. В несчастии Иван Поликарпович сохраняет прежнее почтение к начальнику и торжественно появляется время от времени с дарами, встречается с великим восторгом и затаенным замешательством (нечем ответить — ничего общего), а Иван Поликарпыч понимает только восторг и в тяжкое для всех время обретает себе счастье. В день именин генерала он подносит жене его золотую брошку, огромного веса, доставшуюся ему по завещанию от матери, самое для него ценное и во время керенок — богатство огромное. Генеральша показывает брошку и радуется и смущается. Иван Поликарпыч с утра пришел, ночевать оставили, и еще день остался, и три дня были именины генерала, и великое доставил мученье семье.

***3 Апреля.*** Есть интеллигенция, которая занята исключительно вопросами власти, и есть интеллигенция творческая. То, что понимают у нас под словом этим, — это интеллигенция, занятая властью. Теперь она, во время революции, она делит власть, как мужики делят землю.

Интеллигенты, делящие власть, и мужики, делящие землю, до того подобны, что хочется уподобить и происхождение того и другого явления.

Мужики делятся, потому что земельное дело у них не устроено, интеллигенты — потому что не устроено государственное дело.

Все это грехи прошлого: то и другое сила греха.

Живое безгрешное: Адам грех не считал — безгрешно.

Как хозяйственный мужик при общем дележе разоряется, так и творческая личность обрекается на пленное молчание.

С тех пор, как я стал писать и нашел в этом занятии свое призвание, я смутно ненавидел интеллигенцию, нет! еще раньше: когда я влюбился без памяти. И стало так, что я, прошедший всю школу интеллигенции, от Бокля и Маркса до тюрьмы, ссылки и заграницы, я стал видеть в ней людей особенной породы, иного, чем я, рождения. И я себе ясно представляю, что не будь у меня призвания писать и через это находить свой отдельный душе выход в общечеловеческое, я бы сделался черносотенцем. А пребывание в писании было похоже на воздушный перелет над обозами, так что интеллигентство, равно как и черносотенство, стали мне одинаково далеки.

Моей любовью стал медвежий угол России, моей неприязнью — мещанский уклад Европы.

Теперь меня будто медведя из берлоги выгнали.

В природе русской мне больше всего дороги разливы рек, в народе русском — его подъемы к общему делу — и как бывало на покосах, и в первое время войны, и в первые дни революции. Как вспомнишь про это и оглянешься вокруг себя — слеза прошибает.

В Петербурге мы живем теперь как в плену, и уехать из него — все равно, что из плена бежать.

Вероятно, очень скромный снаружи домик моей писательской индивидуальности внутри себя заключает целый мир. Так и весьма некрасивая казарма нашей интеллигенции заключает в себе целый особенный мир, который очень трудно представить себе, не перебыв сколько-нибудь времени рядовым жильцом этой казармы.

Чересполосица нашей интеллигенции уже заставила меня выселиться на отдельный хутор и завести свою «собинку». Но я помню еще живо тот идеальный мир, кото-

рый скрывается за казарменным житьем нашей интеллигенции.

Крестьян замучила чересполосица, интеллигенцию — платформы и позиции.

Как живут писатели и художники во время революции?

Пришел ко мне поэт — я очень ценю его дарование, но дорого мне в нем еще ныне редкое у нас человеческое свойство: гордость; этот не позволяет себе соглашательства, компромисса. И предпочитал работать лучше в газетной хронике, чем из-за денег писать стихи на скорую руку. Он взял у меня двести рублей до сегодня и вот теперь приходит: лица нет на нем, в руке тюк.

Я выслушал его грустную повесть: у него был заказан костюм, и взял он у меня двести рублей, чтобы заплатить портному, заложить и уплатить мне долг. Но в ломбарде ему предложили только восемьдесят рублей. <*Зачеркнуто:* Дело мы быстро поправили, я ему предложил заложить еще мой костюм и пальто и так получить двести рублей>. Обратился к «меньшевичке» (какая-то добрая женщина); как выйти из положения, она ему предложила два выхода: купить костюм за сто восемьдесят рублей. Но какой же это выход: костюм стоит триста пятьдесят рублей! Другой выход — взять место: чистить казармы у красногвардейцев по двадцать два рубля в день, и тогда эта «меньшевичка» как-то может достать двести рублей. Совсем было согласился чистить казармы: чем хуже, тем лучше! с ожесточения, но когда увидел, что красногвардейцы — мальчишки по шестнадцать лет, в сыновья годятся ему, — не мог! этого не мог! Мы кончили это дело: заложили вместе и мой костюм.

<*На полях: не мог дать ей в морду*>

(Какая-то большевичка <*приписка:* он после того узнал, что она большевичка> ему сказала между прочим: — и как бы можно хорошо — это саботаж! NB. Почему существует такое...

Чем злее вьюга, тем голубее кажется лазурь южного моря и ярче листья вечно-зеленых растений на берегу — так чем подлее баба, тем светлее желанная женщина.)

А вот еще другой писатель — этот больной писатель, его плач о погибели земли русской — единственное произведение первого года русской революции, которое останется навсегда памятником в литературе. Он страдает язвой в желудке и не может даже выходить на улицу всю зиму — и он восьмушку хлеба соломенного...

Перекочевать через восьмушку навоза с язвой в желудке и еще что-то написать — это ли не подвиг. И в такое-то время отказаться от аванса, предложенного ему из газеты вождями.

Люди, которые не знали голода.

Страшно думать, что у нас же в Петрограде много людей, которые стояли у власти, совершенно не чувствовали страха перед голодом. Легенды ходят чудовищные, будто в Смольном <*2 нрзб.*>

Но большевики — <*1 нрзб.*> демонстрируют свое.

Внешняя тишина Петрограда коммунистического ужаснее пьяных разгромов, когда одни люди тонули в вине, а другие, черпавшие из чана, находили на дне его трупы; наше время хуже этого, и вот почему.

***24-го старого Марта и Бог знает какое Апреля.***

Есть и такой у меня знакомый, не знаю уж, как он там про себя живет, — а со мною он всегда бывает необыкновенен, как начнет вспоминать пережитое в революционный сезон, всякие чудеса и превращения в людях — как это у него замечательно выходит, будто путешествие с необыкновенными приключениями.

— Мне-то что, — скажет, — я же цел приехал и невредим. Радуюсь, очень радуюсь, благодарю Создателя, что допустил на все посмотреть.

Заливается смехом.

— А как святые-то, — скажет, — опростоволосились! Копили, копили свою святость в сундуки мороженой жести, такие стоят сундуки здоровенные, какое, думали, бо-

гатство! открыли сундуки, а оттуда моль тучами, тучами. Мяк, Мяк! — святые: а и слова сказать не умеют, все моль съела, нет ничего.

— Чего же вам весело? — спросил я.

— Не знаю почему: мне весело, что я жив.

Последние слова его были: «Имя мое, пожалуйста, забудьте. Боже сохрани назвать где-нибудь мое имя, так и помните: меня никак не зовут».

Помилуйте!

Я вышел на улицу и вдруг забыл его имя, хочу вспомнить и не могу, ругаю себя: «Вот дурак!» Он просил меня забыть условно, значит, молчать и держать про себя, а я так постарался, что действительно забыл его имя, так-таки и не знаю! И лицо его помню хорошо, но вот лицо пришло точно такое же, и если они будут рядом — не различу, вот еще один прошел такой же: молодой, бритый (все они бритые), глазки маленькие, серые — тысячи таких. Маленькие люди, похожие на поздне-осенние, зараженные, мелкие крючковатые огурцы.

Щекотливый вопрос был им ликвидирован сразу:

— Вам говорили?

— Сто!

— При вас?

— Пожалуйста.

А он передал бумажку с ордером и советует:

— Используйте и сожгите, а то ведь неизвестно, сколько времени продержится наша власть, увидят — расстреляют.

Я вспоминал его имя и не мог вспомнить, только повторяю почему-то слова:

— Беда и победа, беда и победа!

Беда — русское, победа — иностранное. Это все, что я имел, это беда русская... и лица-имени бедителя вспомнить не могу: и нет такого лица. Зато как подумаю победа, — сейчас же встает определенное лицо победителя: Аполлон, [Прометей], и сколько их!

Если и выпадет нам победа: ну, что такое? как это выражается: звон колоколов, небывалый в свете по мощнос-

ти, разлив рек необычайный, и со слезами на глазах, и радость: ширь-то какая, ширь-то какая! А про их победу вспомнишь, [тотчас] лица: Гинденбург, Вильгельм и прочие. От наших побед остались только беды, от их побед вряд ли им лучше стало, но зато у них победители в лицах: Гинденбург, Вильгельм и разные.

Правда и победитель — мать с сыном, такие же родные, как ложь и беда, недаром говорят, что ложь — мать всех пороков и бед.

В правде — пропасть, неотступность, неизменность, честность и честь: со щитом или на щите победитель сын правды. У матери-лжи рождаются только девочки порочные, хитрые, обольстительные и пугливые.

В Коноплянцеве нет никакой скорлупы, чистое ядрышко, а что такое Софья Павловна? золоченый елочный и пустой в середке орех.

Чувство легче, подвижнее в миллион раз всякого ветра, и все-таки его заключают в сундук, — брак и есть сундук чувства любви. И живут себе люди десятками лет, думая, что накопили добра полный сундук, как вдруг, встретившись однажды лицом к лицу, со свирепыми лицами расходятся в разные стороны. Тогда все десять-двадцать лет, прожитые вместе, считаются ни во что, потому что чувство любви легче всякого ветра и, как только надтреснул сундук, незаметно в щелку выходит на волю к другим творить свои чудеса, которые люди умеют на время забивать в сундуки.

Беды и победы.

Сказали после расстрела немцами русских в Юрьеве:

— Пострадали невинные!

Ответил немец:

— Невинные должны страдать: для того они и созданы, страдание — награда невинных. Десяток расстрелянных невинных спасает жизнь многим тысячам граждан.

Барышни.

Ольга — сестра, сошлась с офицером. Была уже беременна, и на вечере кто-то назвал ее невестой, а он вслух:

«Ольга Ивановна, тут меня вашим женихом называют — разве я вам предложение сделал?» Потом, когда ей сделали аборт и в больнице была, он неожиданно прислал ей перловой крупы, и она приняла. Еще раз он потом позвонил и спросил по телефону, не нужно ли еще? Она еще приняла крупы. И больше его не видела. Теперь она у всех занимает деньги и всем мужчинам вешается на шею и воображает, что все в нее влюблены.

Чекмарева — у ней все время женихи, но замуж никак не выходит. Один немец ухаживал за ней, но когда заглянул к ней, увидел, как живет, отказал. Живет она с матерью и братом в одной комнате, и грязь у них, такая грязь! на столе гитара, коптилочка, газеты, швейная машина, манишки, на комоде самовар, от крюка веревочка и на веревочке что-то сушится, на этажерке книги, пояс ременный, кофта, кофейник, тарелочка с прокисшими огурцами, за ширмой спят, и уж что там за ширмой — можно только подумать! И со ртов у них не обтерто. Раз побыл жених немец и сказал, что уезжает. Потом видели его на улице: никуда не уехал.

Бедняжка — та ожидает, что приедет он, и ей раз сказали, что инженер приедет за ней на автомобиле кататься по островам, — ее обманули, посмеялись: инженер не приехал.

Лиза влюблена в Соню и написала ей записку: «Помни, Соня, что я — он».

Анфа (Фифи) — просто аккуратная девочка.

Предвесенний вечер, в стороне моря вечерняя заря. Я еду на трамвае через Николаевский мост на Васильевский, и что я думаю, то есть как сказать, думаю: не мыслями думаю, а сном-полусном... Грезится мне, будто стукнуло страшно и взорвалось так, что весь остров с этими далекими церквами рушился. Да так одно время и говорили в ожидании нашествия немцев те, кому хотелось, чтобы немцы пришли. «Что, — говорили, — красные морды (красногвардейцы) надумали взорвать Петроград!» Вот и совершилось так, и взорвались: заря не дрогнула, а го-

род рушился, и мост обвалился с трамваем, и всё, только заря над черными развалинами, и я как-то уцелел — и только всего: я и заря. Один иду между развалинами, и что меня мучит в это время — что не так очень, как следует, жалко мне, будто сердце, как глаза под вуалью летом видят свет, не так и сердце мое отзывается, как нужно, если я еще человек.

Так это мелькнуло картиной, когда ехал я по мосту, а как переехал и Нева исчезла и заря потухла, перевел я этот сон на явь: да так оно и есть, пусть дома, памятники и деревья стоят на своих местах, — ты ли это, Петроград, моя духовная родина, эта ли Россия, по которой каждую весну уходил я странствовать, создавая себе миры в беспредельном пространстве севера и юга: поедешь на север до льдов — не добьешься конца, на юг, на восток — где тут измерить-исходить правильно все по аршину. Теперь же чувство мира-свободы лежит все в развалине. А люди мои родные, любимые, казалось, люди, от которых я исчезал, и вдруг у них радость — появился. Куда ни исчезнешь — все думаешь о них: вот там-то у меня тот, там другой, третий, без конца. Теперь они сами по себе, а я сам по себе, как будто вовсе не нужны мне, мертвы. То я раньше в минуты скорби, раздумья вызывал я их мысленно к себе на помощь: по ним я догадывался, что в глубине народа живут их добрые могучие духи, и глубина эта непомерна, как непомерна ширь земли моей, так и человеческая глубина ее бесконечная. Вот, ожидал я, час настанет, на шири всей явится вся глубина русская. Вот и показалось все, будто воду спустили из пруда, и отражения все исчезли с водой: ил, камни, заря предвесенняя, и я с черной вуалью на сердце. Родные мои! какие вы жалкие! Святые мои, о, как святые опростоволосились! Как на войне думаешь поначалу о раненых человеках, а потом шагаешь через них, как через бревна, так и теперь на развалинах страны шагаешь через родных и святых.

И народ этот кроткий война научила шагать через людей, — как шагал он там через трупы людей, поверженных своими пулями, так шагает теперь через родных и святых. (Стравка — науськивают: вот враг, вот враг!)

Куда же ты шагаешь, жестокий, как ты можешь так? Сам не знаю, куда шагаю, и сам удивляюсь себе, что могу шагать.

И так еще бывает, что скажешь, шагая, вдруг: «Как хорошо!» Набежит такая минута, и: «Подите вы все прочь от меня: я жив и жить хочу, и буду жить. Все ваше — обман, весь мир обман и развалился, а я живу, я сам и не отвечаю за вас. Считайте, что это ваше — настоящее, а мое — призрак, и как призрак я буду жить». Это же и на войне так бывает, когда шагаешь через людей стонущих: не тянуться же к каждому, я жив и, пока жив, буду шагать, а когда лягу... хорошо это было в свободное широкое время, когда из каждого дома ради Христа сколько душе хочется хлеба дадут, раздумывать, наевшись: «А что будет со мною потом, при христианской кончине живота моего?» Теперь ясно, что бывает при кончине: все бывает, о чем думал прежде, и сострадание, и милосердие — все, да только не стоит это того, чтобы терять на раздумье об этом жизни минуту свою.

У царя были верные слуги, только слуги не понимали (и не думали даже, что понимать нужно царское дело), что царь делает: живем за царем, его воля. И вдруг каждый стал царь и Бог.

***8 Апреля.*** Богатый и злой человек создает одной девушке обстановочку счастья, чтобы посмотреть, как злы и завистливы несчастные.

Сонины мысли.

О Троице: Отец — отец, начальник всему, а Сын — его наследник, заместитель. Дух же святой — раб их, почтовый голубок, раб в смысле самом хорошем, как выразитель внутреннего мира и действительно вечного.

Где собрались трое — один раб. У Мережковских — Философов, у Ремизова — Микитов, у нас троих — Иван Васильевич — бунтующий раб. А путь раба бунтующего, его окончательное спасение — в превращении в почтового голубка (сюжет для русской повести).

Ужасный вчерашний день: на прощанье Марья Михайловна отравила меня зеленым своим маслом.

Тоже драма: она хочет войти в сферу высшей любви и гонится за писателями и художниками: в сущности, это и есть мещанство в изуродованном виде. А потому что она чувствует себя профаном в искусстве, то оказывает разные услуги: первое — дать взаймы денег поэту, второе — достать хлеба художнику, третье — масла писателю. Немудрено, что, когда деньги проживаются, масло и хлеб съедаются, поэты, писатели и художники покидают ее.

Вчера говорю Ольге:

— Заявляю вам, что люблю одну Козочку и больше никого, ее единственную.

А она:

— Когда же венчаться?

Логика тещи. Только Ольга не настоящая, а «умирающая теща» (летающая колбаса), у которой в одну дырочку весь дух выходит.

У Козы мне нравится ее мертвая хватка: вцепится, позеленеет и не выпустит: ее почти-цинизм как заключение сложной внутренней борьбы, в истоках своих имеющей грусть-тоску и готовность смело отдаться порыву.

***18 Апреля.*** Хрущево.

14 Апреля Москва — 13 Апреля из Петрограда.

Бой толстовки с большевиками:

— Ваша программа чудесная! только не надо насилия. Убийство! как и чем можно оправдать убийство? Мы, толстовцы, даже мясо из-за этого не едим.

— Не ешьте мясо! Не убивайте!

Она не слушает, думает о своем и вдруг говорит:

— А может быть, это война? это война вас научила убивать, и вы люди погибшие...

— Мамаша, вы счастливая: вы не воевали, а мы разве этого хотим? Вот если бы мамаша испытала, а вы не испытали — что же вы нам сказать можете?

— Я войны не хочу испытывать даже, я знаю ее и не хочу, я хочу вам душу вашу показать.

— Не хочу души, где душа?

— Как где? в вас самих, внутри вас.

— Души нет, душу надо отменить, совесть, а не душа.

— Совесть в душе.

— Нет, просто совесть: у совести есть глаза, а что такое душа — я не знаю.

— Бог.

— Нельзя ли «Бог» каким-нибудь другим словом заменить?

Он изрекает, задумчивый, мягкий, но упрямый и одержимый:

— Если бы можно было всю буржуазию, всех попов в один костер и сразу истребить, я желал бы это сделать своими руками.

— Боже мой!

— Нельзя ли, мамаша, слово «Бог» каким-нибудь другим словом заменить? Отменить тот свет? Согласен! Здесь, на земле. Ну, хорошо, я скажу: душа, где же душа ваша? Я не знаю, где душа, я знаю совесть: у совести есть глаза, а у души... Попов, — а я что же говорю — не нужно попов.

Она в отчаянии и хочет задобрить:

— Ваша программа чудесная, но зачем убивать?

— Мамаша, это пройдет: люди не будут убивать, из-за этого мы теперь и убиваем, чтоб потом было хорошо.

— Почему едете домой? — воевать, а вы едете...

— Мы едем подождать, когда начнется.

Как он побежал за чайником и, держа ее вегетарианский сыр, обнял рукой, как ребенка: как отдался — и нежен и страшен.

Инвалид.

— Потом — мы перестанем убивать, тогда будет счастье.

— Друг мой, а вы едете навсегда.

Я помню его в Ярославе: он был уверен, это счастье.

— И я тоже говорю: а я разве о себе, мне жизнь недорога.

— Но вы отрицаете тот свет, а говорите о будущем, это будущее ваше и есть тот свет.

Он согласен: да, это тот свет, но только слова нужны другие.

Мы спросили:

— Ну, как народ русский, приходит ли в себя?

Артем ответил:

— Нет, народ все увидел, во всем изверился и пошел на отчаяние. Эти погромы — отчаянье.

18-й день, как едем по фронту войны — по фронту революции.

Все русские люди, которых я встретил по пути от Петрограда до Ельца, этому бесконечному мучительному пути из адской кухни в самый ад, где мучатся люди, все эти люди — от фанатика, одержимого большевика гвардейского экипажа балтийского флота, до последнего мешочника на крыше телячьего вагона — имели вид уязвленных, в отчаянии потерянных людей.

За три часа до отхода поезда я забираюсь в товарный (телячий) вагон, сажусь у стенки на заплеванный, загаженный пол, я счастливец: могу сидеть. Те, кто позже приходят, становятся человек к человеку плотно. Потом приносят доски и начинают стелить у меня над головой потолок. Кто лезет на потолок, а кто садится. Низкий потолок давит мне голову, на ногах сидят, руками нельзя пошевельнуть, крыша трещит. Через щели сначала сыплются на голову семечки, плевки, мусор. Полная тьма, выйти невозможно. Сверху начинает в разных местах капать вонючая нечисть. С онемелыми ногами в темноте, с укутанной головой, оплеванный, огаженный сижу я и думаю: «Вот оно — “дело народа!”»

К вечеру второго дня мне удается выглянуть на свет Божий.

Вечерняя заря ранней весной. На повороте видел весь состав поезда, на крыше с мешками в руках [всюду сидят] группы людей.

Среди них есть немного людей, которые ищут хлеб для себя, а масса – хищники. Все это кипит ненавистью к красногвардейцам и на каждой станции готовится к бою.

Разговор:

— Он подходил с винтовкой, а у него граната...

— Не будут отбирать... не посмеют... такой эш*а*лон и ограбленный!

Счастлив эшелон.

В Ельце масса распределяется. Осадное положение. Они разбредаются.

И вот родная земля, вид ее ужасный... разоренное имение, овраги, полоумные люди, которые буквально хватают за края вашей одежды, спрашивая, что же будет дальше.

Полет в бездну стал продолжителен... Это не более, не менее, как полет в бездну. Летят в бездну, зная это, и в то же время приспосабливаются верующие – прежние люди.

Вот земля... я еду... Делят.

— Земля, а чья?

— Богова!

— А сторонники чьи?

Драка...

— Земля, а она чья земля?

— Богова!

— А сторонники чьи?

Трюмо: в избу не входит, на дворе:

— Смотрелась барыня, а теперь кобыла.

Любовь Александровна:

— Вы виновник! почему же всех разграбили, а ваш дом цел?

— Я сам копал, но зерно у меня взяли: «Потому что он образованный!»

Нельзя говорить о справедливости, потому что все делается принципиально.

Посевы.

— Что вы думаете о пахоте?

— Я жду декретов.

— Кто здесь контролер?

— От Исполнительного комитета по поводу: дом и прочее. — Передает бумагу: реквизировать мебель.

Оплеванный, огаженный, весь измятый, изломанный, к вечеру второго дня выглянул я на свет старого Боженьки — какая жалкая земля, изрытая оврагами, какие жалкие жилища, похожие на кучи навоза!

Солнце садилось, на повороте поезда я вдруг увидел все крыши вагонов и на них заходящим солнцем освещенных людей с мешками в руках.

Я думал:

«Тонет корабль, я хватаюсь за бревно, сажусь на него верхом — я рад! Вот плывет мешок с сухарями, я хватаю его — я рад! На другой день меня выбрасывает волна на берег — я счастлив! Я не думаю о корабле погибшем и людях, мне об этом и некогда думать, я спасаюсь, и во мне весь мир».

Вот такие же и эти мешочники на крышах поезда, как на бревне, плывут к неведомому острову. Они корыстные, жестокие, цепкие, как звери, и это они в неведомом будущем снова стащут разрытый муравейник перед моим государством.

Мой хутор маленький, в девятнадцать десятин, с посевом клевера и отличается, как образованный офицер от земледельческой армии: он буржуазен, потому что отличается от всей массы трехполья.

После разрушения императорской армии мы должны разрушить земледелие, и мой хутор, как офицеры, должен исчезнуть. Я это знаю теперь.

Когда пирамидальный тополь, старый — столетний сторож, не помнят, кто сажал его, — срубили, Клинушкин не выдержал и бросил имение. Вслед ему в дом вошли мужики, и начался грабеж, тащили все из дома, потом стены дома до фундамента и все кирпичи из фундамента и стены

двора. Через неделю остался тут мусор и более ничего — гладкое место...

В городе живут теперь почти все помещики.

***22 Апреля.*** Мужики отняли у меня все, и землю полевую, и пастбище, и даже сад, я сижу в своем доме, как в тюрьме, и вечером непременно ставлю на окна доски из опасения выстрела какого-нибудь бродяги. Дня три я очень горевал, и весны для меня не было, хотя солнце светило богатое, весеннее. Оно было для меня будто черное. И зеленую траву (с чистого поля!) я не видел, и что птички пели, — я с детства знаю и люблю каждую, — не слыхал и записал в дневник свой так: «Звезда жизни моей единственная почернела, а коровушку мою принципиально зарезали мужики».

Только вчера с вечера сердце мое стало отходить, и, проснувшись ночью, я стал думать: «Неужели же солнце, и звезды, и весеннюю траву-цветы любил я только потому, что солнце и звезды светили мне на моей собственной земле и травы-цветы росли в моем собственном саду?» Утром я почувствовал, что в сердце моем всходит богатое солнце, открыл ставню, и солнце мое встречается с солнцем небесным: так мне стало радостно, так весело. Я напился чаю, взял железную лопату и стал в чужом саду раскапывать яблонки.

***23 Апреля.*** Любимое время, когда подорожник зеленеет и грязная дорога становится красавицей. Смотреть теперь на зеленую травку, которая скоро будет помята и загажена чужим скотом, ожидать, когда зацветут деревья, которые скоро лягут под топорами, слушать песню наивных птиц над гнездами, которые разорят, и видеть постоянно перед глазами дележку земли народа, который завтра будет рабом, — невыносимая весна.

Я говорю им каждому по отдельности:

— Немцы близко!

И каждый по отдельности отвечает:

— Ну, и слава Богу!

Или так:

— К одному концу.

Говорю им то же на сходе, и на сходе на меня как звери нападают:

— Это не германцы, это наши образованные с Керенским.

И потом по очереди бросают слова, измененные за год, прелые, которые снова сами будут отшвыривать, как отшвыривают сапогом с дороги оставшиеся за зиму шкурки дохлых собак и кошек.

Не веря ни во что хорошее каждый в отдельности, вместе они все еще с большой силой за что-то стоят — за что? За пустое место. И сила эта вовсе не от революции, а от тех времен, когда народ сообща убирает урожай и отражает неприятеля. Вместо дела — разбой, но раз они вместе, то нужно, как за настоящее дело, стоять и за разбой и выдавать это за священную правду.

Я с малолетства знаю всех мужиков и баб в нашей деревне, они мне кажутся людьми совершенно такими же, как все люди русского государства: дурные, хорошие, лентяи, бездарные и очень интеллигентные. Никогда я себя не отделял от них, никогда не выделял мужиков от других сословий, только они ближе других были ко мне, и потому я говорю о них.

Что меня теперь больше всего останавливает в этом русском народе — это молчание на людях, отделенное несогласием людей. Вчера вот Иван Митрич так умно и горячо говорил мне против тиранов, сегодня на сходе он молчит. Спросишь, оправдывается:

— Нишь можно на людях?

А почему бы нельзя?

Потому-то, впрочем, и нет у нас таких безымянных жертв, мы находимся все в таком тяжелом плену.

***25 Апреля.*** Юродивый Степанушка, обходя мой родной хуторок, избрал почему-то меня, прислал просфору и велел сказать, что, если я буду на месте сидеть, меня не разграбят.

Можно быть великим бунтарем для всего мира, как Ибсен, а жить в мещанской обстановке, так что никто из ближайших соседей и не узнает, что жил тут великий бунтарь. И наоборот, можно буйствовать по соседям — грабить их, убивать, налагать контрибуцию и быть для мира великим мещанином — вот такая нынешняя русская революция.

Сухмень. Озими, не омытые весенним...

Озими крепко взялись с осени, только поговорка у них: осень выклочу, а весна, как захочу. Весна стоит сухая, озими не омыты весенним дождем — сушь весенняя напоминает страшное время 91 года — голод.

Три года навоз не возили, а теперь вряд ли будут возить, потому что раздел временный.

Соседи погибают: рожь выгребают. Прятанье. Грабеж с отчаяния. Синий — прописался: поладил, он будет администратор, все равно как министр земледелия — урядник.

— Если разбойники захватят...
— А это и есть разбойники.
— Как же вы подчинились?
— А мы и вам подчинимся, если ваша власть будет.

Деревья наши сложенные как расклеванные птицы лежат: сучья на месте остаются, как перья.

Цвет жизни нашего общества создан людьми личного почина — что теперь признается буржуазностью и больше всего ненавистно.

Средний человек, которому стало лучше: есть целые деревни, которым лучше.

***27 Апреля.*** Покойная тетушка моя хозяйствовала, имея либеральные убеждения, и я видел по ее примеру, что в России можно хозяйствовать без ущерба себе, имея убеждения либеральные.

«Ах ты, воля моя, воля, золотая ты моя!» — учила нас в детстве тетушка петь хором.

Соседка же наша Любовь Александровна находила это воспитание и помещикам, и мужикам вредным. Тетушка одинаково высоко почитала великих старцев нашего края, Льва Толстого и отца Амвросия. Любовь Александровна подчиняла свою волю только старцу Амвросию, а Толстого считала богоотступником. Тетушка моя считала Любовь Александровну «ограниченной», а та не раз говорила: «Эти седовласые создают у нас революцию». Но хозяйствовали они одинаково мудро, считались на весь хутор хозяйками, и в этом они сходились и жили в общем дружно до самой последней минуты жизни моей тетушки.

Нынче я приезжал в наш город и еще не видел своего хутора, захожу в одну лавку и там встречаю седую старую Любовь Александровну. Не поздоровавшись даже со мной, спросила:

— Видели, полюбовались?

Я слышал, что мужики разгромили ее имение.

— Нет, — ответил я, — не видел и не любовался.

— Очень жаль: плоды ваших рук.

— Как моих?

— Ваших, ваших! — крикнула она.

— Боже мой, — говорю я, — меня же кругом считают контрреволюционером.

— А почему же, — кричит она, — у всех помещиков дома разграблены и снесены, а ваш дом стоит?

Я сведений о своем доме еще не имел.

— Неужели он еще стоит?

Она, не простившись, вышла из лавки. Приказчик сказал:

— Стара и затравлена.

Я подумал: «Дом мой стоит, а если вернется старая власть, дому моему не устоять: эта старуха меня разорит и, пожалуй, повесит на одном дереве с большевиками, злоба ее безгранична, и она еще религиозна: большевики душат земной “правдой”, она задушит “божественной”».

Посмотрел я на свой дом — только что дом, а все хозяйство подорвано, разрушено. Больно ходить по своему владению вдвойне — что жалко свое и это свое заслоняет свободу мысли, даже не заслоняет, а кажется мне, что заслоняет. Подумав о чем-нибудь, я сейчас же проверяю: а не личная ли ущемленность диктует мне такие мысли?

Так вот я подумал сегодня: «В мещанской обстановке можно жить всю жизнь, как жил Ибсен, и для всего мира быть великим бунтарем и революционером, так что ближайшие соседи и знать не будут, что рядом с ними жил такой страшный человек. Наоборот, можно быть великим бунтарем и революционером для своих соседей, а в мире оставаться мещанином — такие нынче русские, для мира жалкие трусы, разбежавшиеся с фронта войны [настоящие] мещане, расхватавшие господское имущество, а для себя, для соседей своих — ужасные революционеры».

Подумаешь так — и сейчас же примерка: не от обиды ли я так подумал вот за эту срезанную редкую в нашем климате голубую ель?

Как перья расклеванной птицы, лежат на месте кучей ветки голубой ели, они, эти революционеры, сейчас так богаты, что ленятся даже ветки убирать.

Нет, я проверяю себя: образ расклеванной птицы искупает все, голубую ель я жалею не как свою собственность, а как убитую хищником Синюю птицу.

Нужно как-то вовсе оторваться от земли, от любви к цветам, к деревьям, к труду земледельца, чтобы благословлять это сегодняшнее разрушение.

Я никогда не считал наш народ земледельческим, это один из великих предрассудков славянофилов, хорошо известный нашей технике агрономии: нет в мире народа менее земледельческого, чем народ русский, нет в мире более варварского обращения с животными, с орудием, с землей, чем у нас. Да им и некогда и негде было научиться земледелию на своих клочках, культура земледелия, как и армия царская, держалась исключительно помещиками и процветала только в их имениях. Теперь разогна-

ли офицеров – и нет армии, разорили имения – и нет земледелия: весь народ, будто бы земледельческий, вернулся в свое первобытное состояние.

Видел ли кто-нибудь картину весеннюю во время движения соков срубленных молодых березовых рощ? Сок ведрами льется из срезанного ствола, заливает землю вокруг, как снегом, так блестит на солнце, нестерпимый блеск, потом начинает краснеть, краснеть, и вот все становится ярко-красным, и вы проходите тут будто между шеями, на которых недавно были головы.

Издали слышатся удары топора, я иду посмотреть на человека, который так издевается над природой. Вот он сидит на огромном, в три обхвата парковом дереве и, очищая сучья топором, распиливает труп. Мне больно за что: я знаю, не больше как через год мысли этого человека переменятся, и он будет сажать деревья, или его заставят сажать. Его мысль очень короткая, но дереву такому надо расти больше ста лет; как может он приближаться со своей короткой мыслью к этому чудесному дереву?

Вот они лежат, очурки, белеют под тесаком без веток, как молодые свиньи. Я подхожу и разглядываю человека нашего: тоненький, маленький, белый, на щеках тройные морщинки, будто уздечка, или он улыбается, или хитрит, роста маленького — не крестьянин, пришел из города.

Я спрашиваю его:

— Это закон?

— Закон: земля и лес общие.

— Значит, власть эта настоящая, народная.

— Значит, настоящая.

— А если разбойники захватят власть?

— Да это же и есть разбойники: пьянствуют, взятки берут [дьяволы].

— Как же вы терпите такую власть? <*приписка*: втайне доволен>

— Нам-то что: захватите, и мы будем терпеть вашу власть.

О Боге [пятерых убил], в церкви, и ничего-ничего не будет.

Вижу по уздечкам на щеках: издевается, мою власть он не захочет, а эта нравится, удобная власть.

Это дерево моих соседей, выращенное благословением отца Амвросия из Оптиной пустыни.

В средней России, где я теперь нахожусь, сухая весна, корешки озими еще не обмылись по-настоящему, начинаем опасаться: что, если неурожай?

И прошлый год было страшно, казалось тогда, что весь исход революции зависит от урожая, – голод мог задавить ее. Теперь шансов на голод больше в сотни раз: земля еще один год остается без навоза, вот уже три года крестьяне навоз в ожидании передела не вывозят. Но самая главная опасность не в этом. Теперь, когда все имения – фабрики хлеба – разрушены, земля переделена и досталось земли по 1/4 десятины на живую душу, подсчитаем, сколько получит каждая живая душа хлеба, если урожай будет хороший: у нас двенадцать копен на десятину. 1/4 десятины дает три копны, копна – пять мер зерна и, значит, хлеба печеного около двух фунтов в день на живую душу. Нужно помнить, что дети расходуют хлеба не меньше взрослого, по корочке, по корочке, и свое они за день растаскают. Кроме того – скотина. Значит, хлеба только так, только чтобы прожить. И получить его теперь уже больше неоткуда: Украйна не дает, Сибирь – в бездорожье. Я беру самый лучший уезд в Орловской губернии, где хлебных уездов всего только три: мы должны непременно дать хлеб в те голодные уезды. Вот теперь и подумаешь: что, если неурожай? А деревенские – как они еще четыре года подряд были без навоза? Должен же быть неурожай – что, если неурожай?

Прошлый год мы сеяли под золотой дождь слов социалистов-революционеров о земле и воле, и у нас были смутные мечты, что народ-пахарь создаст из этого что-то реальное. Теперь в коммунистической стране надежд на землю и волю нет никаких: земля разделена, всем одинаково дано по 1/4 десятины, и больше нет земли ни вершка. И главное, что у нас теперь вовсе нет этого народа-пахаря,

надо отбросить всякие иллюзии барства, наш народ теперь самый неземледельческий в мире. Я это слышал еще от златохода при наблюдении переселения в Сибири, теперь это очевидный факт.

Культура нашего земледелия была заключена в экономиях, а наделы только поддерживали рабочего — это была как бы натуральная плата. Теперь вся культура уничтожена, земледельцы введены в рамки всеобщей трехпольной чересполосицы, хуторяне, арендаторы — все лишены теоретической подготовки. После разрушения армии [во время войны] сила разрушения осталась: там было бегство солдат в тыл, теперь — бегство холопов в безнадежную глубину давно прошедших веков. Расстройством армии были созданы условия для вторжения неприятеля, расстройством земледелия созданы условия для вторжения капиталистов. Теперь иностранец-предприниматель встретит в России огромную массу дешевого труда, жалких людей, сидящих на нищенских наделах.

Самое ужасное, что в этом простом народе совершенно нет сознания своего положения, напротив, большевистская труха в среднем пришлась по душе нашим крестьянам — это торжествующая средина бесхозяйственного крестьянина и обманутого батрака...

Вот моя умственная оценка нашего положения, я ошибаюсь лишь в том случае, если грядущий иностранец очутится в нашем положении или если совершится чудо: простой народ все-таки создаст могучую власть.

***28 Апреля.*** Черты Князя Тьмы — изобразить лицо русского, которое выглядывает из-за спины социалиста.

***29 Апреля.*** Новое революции тем только ново, что повелевает глубже заглянуть в древнее, вечное, ломая старое, она показывает древнее.

Иди по Руси с душою страдающей, и будет ответ.

Чувство собственности по природе своей ищет распространения и утверждения в законе и даже благословения — так складывается национальное чувство. Происходит революция только у кого нет никакой собственности

ни материальной, ни духовной: поэтому не только [собственник земли помещик] враг народа, буржуй, но и собственник организованных способностей, человек образованный.

Новое революции, я думаю, состоит в том, что она, отметая старое, этим снимает заслон от вечного, древнего.

Милый друг! Не ездите летом в деревню: здесь много хуже, чем в городе. Но если вы будете очень страдать: с душою страдающей вы увидите всегда хорошую Россию, и вас не испугает, если со всех сторон будут кричать на вас: «Распни, распни его!» Я оставляю вам эту возможность [особенной милости].

Россия всегда была такая: она принимала к себе только душу страдающую. Новое революции, я думаю, состоит только в том, что она, отметая старое, этим снимает заслон от вечного, древнего. Вы человек образованный, идеалист, всю жизнь трудившийся бескорыстно для своего народа — вы будете здесь сметены, вас встретят: «Распни, распни его!» Я знаю, вы не [посмеете] увидеть в себе распятого Бога, но разбойником будете шептать: «Господи, милостив буди мне, грешному!» И наверно услышите голос: «Истинно говорю тебе, ныне со Мною ты будешь в раю». Это вы можете испытать, и если за этим, то приезжайте в деревню.

Сухая весна, сад быстро одевается, а соловьи еще не поют.

— Может быть, они совсем не запоют, чудо совершится, соловьи постесняются петь.

— Нет, соловьи не постесняются, им до нас дела нет никакого: у них нет стыда.

Береза весенняя, когда листики на плакучих ветках зелеными узелками завязались и сережки тончайшей отделки золотые на солнце повисли, — прекрасна.

Баба рубит ее. Ленивый у прудика с удочкой в руке, и тот сказал:

— Бесстыжая, рубила бы под корень.

— Поясница болит, — ответила баба.

И продолжала рубить зря, неумеючи, как неумелые иногда режут-мучают барана, и он весь в крови у них вырывается.

Рубит баба березу, рубит пониже ее мужик иву на дугу, доканчивают рощу. Через полстолетия только вырастет новая, и то если будет хозяин.

Кончается, решается все.

Ленивый говорит:

— А как же все кончится?

— Так и кончится, а потом голод и чума передушат: потому что без Бога дело это, и Бог накажет.

Знаю этого божественного, сам тоже мышкует в лесу, под полою топор, и слова его на дележке.

Пусть — это чувствуют все — грядет какое-то страшное искушение, голод или чума, и воображение рисует картину страстей — так устроено воображение, что при общей гибели сам воображающий каким-то чудом спасается.

Каждый теперь так и живет. «Я-то, — думает, — как-нибудь выберусь», — спешит с топором в лес, стучит по дереву и не знает, что вырубает себе гробовую доску и народу своему готовит из этого дерева крест — орудие казни.

Я говорю им:

— Оставьте березки, хоть крестики поставить над нашей братской могилой.

Отвечают:

— Об этом попы позаботятся.

— Какие такие попы, друзья, сами вы себе вырубаете крест.

Сопрело старое дерево, новое готовят.

Вечером залаяли собаки: люди показались в темноте — беда!

Второпях у нас разговор:

— Верно, картошку пришли огребать, я говорила, что нужно было мне хоть десять в жеребятник запрятать.

— А может быть, бычка?

— И бычка нужно было зарезать: была бы и Пасха с мясом, а то вот...

Мужики робко подходят и так идут, будто прячутся, оглядываются, не заметил бы кто.

— Что такое?

— Насчет культуры.

Это пошло теперь такое словесное остроумие.

— Гарнизовать насчет культуры.

И подмигивает: нет, нет, совсем не забастовка, а тайное, общее дело.

Объясняемся: это те мужики, у которых было по сколько-то саженей купчей земли. Завтра нужно представить в Комитет крепости, а им нужно сделать копии, чтобы потом...

Так они понимают меня, писателя, я должен послужить народу своему как писатель — переписать им крепости на случай, если перевернется закон.

Это «хозяйчики» Ленина, которых он так ненавидит, которые губят революцию. Если бы знал председатель Совета Ленин — сколько их! Если бы знал он, что и тот беднейший крестьянин отличается от этого «хозяйчика» лишь как отличается зерно от созревшего колоса: беднейший крестьянин — непосеянное зерно, а «хозяйчик» — созревшее.

Совсем неожиданно приехал ко мне старый арендатор моего сада, я был очень удивлен, потому что сад от меня отобран Комитетом и будет им сдаваться с аукциона в пользу себя. Да, он это знает, и он едет сейчас в Комитет по этому делу... но ведь Комитет не вечный, если за лето он рухнет, то арендатор готов мне второй раз заплатить потом.

— Не угодно ли задаточек?

— Мыслимо ли, — говорю я, — заплатить за урожай вдвойне, что ж вам останется?

— Не беспокойтесь: от налога вас мы выручим, а Комитетское будем считать за штраф.

Сад общественный — что это значит?

Наш город стал теперь как в далекие времена – окраинные люди Московского государства, а дальше и татары, и немцы.

И их ждут сюда и в ожидании делятся и безумствуют. Какой-то должен быть этому конец, худой или хороший, и ждут конца.

Мы получили письмо от одного акцизного чиновника, жившего на юге в одной экономии на сахарном заводе, он писал нам, что вся экономия разграблена и только стоит домик, в котором он живет, потому что сын его кухарки – большевик. Потом писал он нам, что домик разделили крестьяне, разметали, кому двери, кому крыша, стропила и всякая всячина, а все-таки дом стоит пока, потому что сын его кухарки – большевик. Потом уже мы стороной получили известие, что эта местность занята немцами, прямых сведений нет, а мы загадывали: удалось ли крестьянам до немцев разобрать этот домик или нет?

В нашем краю теперь, на нашем хуторе почти такое же положение: вот-вот немцы придут, а бесчинство в дележке отечества дошло до конца последнего, как в случае описанном, до бревна.

Земля стала ничья, как воздух, а сады спорные, я не начинаю работу в саду, потому что не знаю, чей он, нигде нельзя навести точную справку: в городе говорят, что в волости иначе – и сад, и земля, что все равно сад будет разнесен.

Заезжал мой старый арендатор с извинением, едет он в Комитет мой сад снимать, извиняется.

Это он на случай, если за время созревания плодов власть переменится, он обещает мне в этом случае уплатить за сад второй раз, а та плата в Комитет будет как контрибуция. Он уверен, что немцы придут, считает это избавлением, потому что так жить хозяйственному человеку нельзя.

В соседнем имении, которое совершенно разграблено, вчера Комитет приступил к раскопке сада, я надеялся, что он приступит к моему.

— Ничего, ничего, Совет приедет, попросит себе яблочка, и кончено: яблоки все будут ваши.

— Так выходит, что я за яблоки изменил отечеству?

— Да его уже нет — лучше уж остаться с яблоками: а то ни отечества, ни яблок...

Есть одно, из-за чего у меня руки отнимаются, когда я хочу вступить в бой с большевиками: если бы мне было теперь 20—25 лет, то я был бы непременно большевиком, и могу с точностью сказать, что не эсеровского, а марксистского толка. Есть прямые доказательства этому: в таком возрасте я был уверен, что вот-вот совершится мировая катастрофа, пролетариат всего мира станет у власти и жить на земле будет всем хорошо. Это чувство конца (эсхатология) в одинаковой степени развито у простого народа и у нашей интеллигенции, и оно именно дает теперь силу большевикам, а не как просто марксистское рассуждение.

Все тончайшие изгибы этого чувства мне хорошо известны, и оно держалось во мне несколько лет, имея наиболее сильное напряжение в тюрьме и быстро ослабевая в бытность мою в Германии, потому что там мой марксизм я увидел в форме того мещанства, которое так ненавидел Ленин. Но вполне я освободился от большевизма, лишь когда заговорили с другого конца, и был пожаром своим переброшен на другой полюс и вплотную подошел к декадентству.

Не я один, конечно, переживал это, и не взялся бы я судить об этом, если бы некоторые черты моей индивидуальности, как я глубоко уверен, не сделали мое переживание особенно типичным, позволяющим теперь ясно, отчетливо видеть всю картину.

Существуют целые тома писаний об этом предмете таких выдающихся людей, как Струве и Булгаков, Бердяев, но именно потому, что они люди исключительно образованные, вожди — и притом умственно загруженные люди, нельзя по ним судить о всех. Я же был настоящим прозелитом, рядовой овцой в этом стаде, и мои замечания должны объяснять психически широкие массы народа.

Душевный состав мой накануне уверования в социализм: семейная оторванность, глубочайшее невежество, с грехом пополам оканчиваю реальное училище, смутные умственные запросы, гнавшие меня с факультета на факультет, какая-то особенная ежедневная вера, что чтением какой-нибудь книги я сразу все себе и разрешу. Так я взялся за химию как за алхимию и плохо делал анализы, в то же время читал Менделеева страстно, и если бы меня спросили в это время, какая будет у меня жена, я сказал бы, что она несомненно будет химиком... Смутное ощущение какой-то своей гениальности: я не такой, как все, вот я пойду, ухвачусь за что-то и покажу себя и все переверну, тайный невыраженный романтизм, страдание оттого, что не могу быть как все (особенно в половой сфере), черты полной дикости (чрезвычайная робость, застенчивость и взвинченное [нахальство]) в отношении к женщине. Уверование и поведение после этого: ключ и замок: решение государственных вопросов. Постепенное разжижение веры за границей, наклонность к родному (агрономия — *<1 нрзб.>*), к эсерству — окончательный поворот: сумасшедшая любовь и поворот мира с умственности на психологичность: открытие полюса. Жизнь, возрождение... Внимание к человеческой душе.

Земли разных владельцев Борисоглебского веером раскинуты на половину волости, а усадьбы их, как головы веера, с прекрасными садами собрались все кучкой, примыкая одна к одной; гвоздиком в голове веера на выгоне сидит батюшка и вокруг него разная мелочь: потомки диакона и дьячка, арендаторы огородов, садов. Теперь земли — перья веера — все отобраны крестьянами, осталась только головка усадьбы. Среди разоренных и униженных владельцев батюшка все-таки сохранил некоторую долю веса в глазах крестьян, и они теперь в честь него называют прежнее Борисоглебское просто Поповкою.

Смотрю на мужиков и удивляюсь, до чего им непонятно, что в них есть власть, и до чего им нужна сверхвласть.

Прилетел я в родную сторону черным вороном в годину испытания и каркал злое.

Как на меня тогда все накинулись, едва-едва вырвался.

Ныне вижу, сбылось мое, жалко мне стало их, что каркать, надо пожалеть, как-нибудь, чем-нибудь приутешить, не хочу быть вороном.

А они ко мне с поклонами:

— Верно, верно, все сбылось.

Я хочу им нынче соловьем петь, а они почитают во мне ворона.

***8 Мая.*** Переворот совершат, вероятно, сами мужики: дело новых людей само себя уже показало, а слова их скоро будут валяться, как шкурки издохших собак. Тогда и выйдет на свет скрытый чумазый и всякими средствами будет копить, но уже не по-разбойничьи, а хозяйственно. И так приглядишься, будто он и сейчас не то что не может, а скорее попускает грабителей, ему их грабеж на руку, после них будут они собирать и прикарманивать.

Николка-кузнец и Артем — один будет повешен, другой станет богатым хозяином.

А жизнь их там кипит по-старому: женятся, намечаются приобретать — как еще намечаются.

Целый час я толковал Никифору, что не буржуазы идут на нас, а немцы самые настоящие, объяснил ему — какая Украйна, где она находится и как вышло, что мир заключен, а война продолжается.

Сегодня Николай Михайлович говорит:

— Слава Богу, кажется, мужики в себя приходят, говорят, что не буржуазы наступают, а немцы.

Я спросил, от кого он слышал.

— От Никифора.

Друг мой, вы можете, созерцая зрелище пожара, предаваться отчаянью или же возвышенным мыслям о возобновлении вечной жизни после очищения ее пламенем, но помните, что тут же, рядом с вами в числе темных фигур, освещенных заревом, стоят такие, которые, если это выгодно, намечаются тут же выхватить из пламени для себя

что-нибудь и пустить в оборот собственной жизни, тут же очертить кусок жизни-территории и назвать его «мое собственное, Сенькино, приобретение».

Эти темные фигуры, будто капитаны-завоеватели, пришли в страну враждебных племен, воюющих между собой, и дожидаются, когда они окончательно истребят себя и им свободно можно открывать земли собственности и ставить на них флаги свои: Сенькина Земля, Плюхина Собинка, Никишкиных хутора.

Поймите, друг мой, что отечество, о гибели которого вы так страдаете и плачете, эти самые люди уже собирают под наше прежнее трехцветное знамя, как всякий собственник, руководствуясь только своей личной корыстью. Они теперь еще кажутся трусливыми и робкими, потому что разъединены, но уже теперь иногда, когда большим эшелоном идут с мукой в столицу, дают понять о себе как о силе. И всюду за ширмами бутафорских [советских] войн вы можете, если имеете зрение, наблюдать настоящую войну мужицкой буржуазии со смутою. Они воюют сейчас не с ружьем в руках — не нужно им ружья! У них знание жизни как вечный закон, которого не перейдешь, и главное, у них близость к этой жизни, <*зачеркнуто*: вкус> укус, и запах, и чутье, ведущие их к цели через такие переходы, в которых вы с вашим возвышенным чувством отечества задохнетесь на первых шагах.

Ваше образование по историческим книжкам дало вам понятие отечества как узел вашего личного благородства, способности жертвы своей личностью и тому подобное всевозможное. Между тем, в жизни все это оказывается совершенно ненужным, и ныне отечество будет спасаться теми людьми в этой войне всех против всех, которые крепче других могут завязать узел собственности и умереть за нее, а не отдать другому.

***12 Мая.*** Смердяков и Платон Каратаев. Смердяков — комиссар.

В нашем городе главный Комиссар — Смердяков: длинное, бледное лицо без волос, мутные глаза, никто никогда на лице не видел улыбки. Очень умный и талантливый по

природе, но без ученья и без выхода всякая благодать превосходства перешла в злость самолюбия. Я встречал таких очень часто в редакциях среди неудачников литературы, совершенно не понимающих, что сразу написать, без всякой выучки, почти безграмотному что-то особенное, свет потрясающее, никак невозможно, что вообще даже произведения искусства — не бомба. Единственный способ общения с ними, очень утомительный — это постоянно оглаживать их, нянчиться с ними. Чуть не уладил по недостатку времени — и вдруг на вас как представителя культуры обрушивается вся помойная лохань его разнузданного самолюбия. Я знал одного такого, он с револьвером в руке заставлял редактора напечатать свой рассказ. Это всё Смердяковы. И среди комиссаров наших, городских, деревенских даже, я очень часто встречаю этот страшный тип.

Сегодня знакомый мой пришел из трибунала и говорит:

— Вот русский человек в общем красивый, но почему же [всегда] или губа не на месте, или нос на боку, или вывернутые глаза, или раздутые ноздри?

Приторное.

В лицах и целях революции — Смердяковщина.

Смердяков от революции: злобой утверждает свою личность — р а з р у ш и т е л ь.

С другой стороны, я не могу без умиления, мне это поправка, отдых от Смердякова, встречать тоже всюду человека, который, обделав какое-то дельце, возвращается домой с фунтом керенок, набивает ими бутылку, закупоривает, засмаливает и зарывает ее в землю. В скором времени эти керенки будут ничто: керенки — бумага. Но вся наша жизнь держится этой верой, не будь такого наивного человека, наш рубль стоил бы не 14 керенок, а ровно ничего. В этой вере — в вечность рубля, в превосходство над личностью материи, стихии — есть что-то от Платона Каратаева. В этих образах, Смердякова — большевика-разрушителя и Платона Каратаева — созидателя, нынче набивающего керенками бутылку, — скелет нашей революции.

Буржуа лежит на спине, как таракан, и во всю мочь работает своими ножками в воздухе, и ни с места, как таракан на спине.

Мой приятель, самый талантливый человек в народе, упал и лежит на тротуаре, брыкает руками-ножками, не в силах подняться без посторонней помощи, будто таракан на спине.

Так весь наш «буржуа» лежит, как таракан на спине, и [маленькие] ножки в воздухе, стараясь ухватиться за что-нибудь. Мимо идет Смердяков и злорадствует.

Ухватитесь за немца.

***14 Мая.*** Живая душа. В окно смотрю, за пруд, где на низкой десятине огородник Иван Митрев лет уже тридцать занимается капустой и огурцами: теперь тут вся земля в полоску, и на полосках тучной огородной земли сеют овес. Сам же Иван Митрев теперь где-то в поле, получил себе надел и будет работать не как специалист, а как рядовой крестьянин.

Вот время подходит капусту сажать, а где нам добыть рассаду? Не выйдет же из ивы капуста.

— Товарищи, да что же вы наделали: ведь мы так без огурцов, без капусты останемся?

— Не оставим: комитет представит.

— Знаем мы, как представит.

— Да вы бы Ивана Митрева за бока: оставили бы его на огороде, он бы нам и представил капусту и огурцы.

— Дюже жирен будет!

Так всё разделили по живым душам и, по-моему, лишились овощей, потому что самим овощи на своих огородах в деревне нельзя разводить: все перетаскают воры. Сам же Иван Митрев, получив надел живой души, поистине обрел душу мертвую: наверно, он ждет с наслаждением подступов к нашему городу немцев, ждет не дождется, когда коммунистов будут пороть и расстреливать.

А ведь был человек он по жизни своей самый кроткий, самый трудолюбивый и смирный, у него и собственности никогда не было, землю под огороды он арендовал, не имел даже надела. Когда я прошлый год читал у Толстого,

что в случае осуществления земельной анархии трудового человека не обидят в силу естественных причин, то заметил Ивана Митрева и записал у себя про него. Теперь вижу, что не прав Толстой, обижен, разорен Иван Митрев до конца, он ненавидит, <*приписка*: радостный ребенок души его умер> и душа его стала мертвая.

Еще один пример покрепче этого. В соседстве моем, в Сапрычке, живет-доживает свое идеальное время одна старушка уже теперь <Дун*и*чка равноапостольная — *зачеркн.*>, учительница. Так ее прозвали злые помещичьи языки. Я помню, как Толмачиха, женщина многосемейная и в сыновьях неудачливая, говорила моей тетушке:

— Вот маешься, маешься всю жизнь с дураками, ничего не получается. А возьмите Дуничку: учит себе чужих детей. Пасха придет: даст им по куличику, по яичку и... равноапостольная.

И не раз я сам слышал, как мужики говорили, что это Ангела нам Господь послал.

Приход Ангела: тридцать лет, должно быть, тому назад образованная девушка, побывавшая за границей, на свои средства построила школу и сидела подвижницей тридцать лет в ней, переучила множество ребят, и не как-нибудь учила. Вокруг себя насадила она своими руками сад, и на голом месте бушует теперь чудесный сад.

Теперь у нее этот сад отобрали мужики и от себя сдали в аренду. Я ушам своим не поверил, когда услышал это от батюшки, и стали мы с ним вместе думать, как это объясняется.

— А вот как объясняется, — сказал батюшка, — они никогда не поверят, что добро делается для добра с личной жертвой. Они думали, что человек трудится, значит, ему польза была, и Дуничка свое получила, из-за чего жила, а сад их.

Так, оказывается, не прав Толстой, и я вижу ошибку его: он справедливость, которая расцвела в личности и происходит не от мира сего, переносит на массу чрева неоплодотворенного, на самую глину, из которой, по легенде, был сотворен человек, на ту материю, в которой нет

сознания ни красоты, ни добра как вне мира сего существующих ценностей.

Друг мой, в деревню лучше не ездите, сидите-отсиживайтесь в своей каменной квартире, пока не позовут вас, а вас позовут непременно. Мы здесь отрезаны от всего мира и даже газеты имеем очень редко. Живем как в стране папуасов. Днем каждый прохожий может пустить в вас отравленные стрелы: буржуазы! Вечером вы заставляете окна ставнями, потому что всякий бродяга может стрельнуть по горящему в вашем окне огоньку... Сила заблуждения — это: вы буржуаз. Наша жизнь здесь проходит в обсуждении своих потребностей. Трудно сказать, сколько стало забот, охраняем наших коров от воров, они привязаны у нас под самым окном. Смутное чувство, что Россия все та же, как за оградой, как за решеткой тюрьмы, которую перепилить невозможно.

И отступаю сам, потому что я в этом не силен... я не могу жить и действовать в то время, когда всякое действие — просто сопротивление с оружием — запрещено, когда на одной стороне — горящее красное пламя пожара, а на другой — черный лик, обрекающий даже детей на распятие.

***15 Мая.*** Барыш-день. Германский паук натянул паутину — как бы она не лопнула? Вот это нужно твердо знать — знаю ли я?

Нет, но то, что наша волна неприкосновенна к творчеству, — я знаю.

Многие простые люди теперь обижаются на немцев, что они поступили с украинцами и с большевиками коварно.

Дочь ботаника сказала, что большевики умные люди и талантливые, а наши буяны — не большевики, настоящие большевики только Ленин и Троцкий.

За решеткой нашей тюрьмы жизнь идет своим чередом, но идти туда не хочется, вот, например, свадьба солдата на Алексеевке с оркестром и поваром, так что было будто бы совсем как у Стаховича.

Весна такая сухая, с тех пор как снег растаял, ни одного дождя и страшный холод, овес всходит тройной, рожь пошла в трубку, хоть ростом вся в три вершка. Вчера начал обмываться молодой месяц, все позеленело. Вероятно, скоро хлынут дожди, и будет тепло, сразу все зацветет, и тогда даже в это страшное время мелькнет желание остаться здесь навсегда, жить на пчельнике со своим, только своим собственным миром.

Человеческая отдельность или, как говорят, индивидуальность есть домик личности, пусть разрушаются старые домики, но личность неприкосновенна. Как личность смерти я не боюсь, я бессмертный. Вы, кто хочет убить меня, уносите только смерть свою, которая приходит к вам с косою и адом, пугает детей ваших и делает их трусами. Вы боитесь смерти, потому что ваши отцы создали страх этот и были убийцами.

Скоро засверкает май, и душа моя откроется к вечному, и человеческое дело войны предстанет в ничтожестве своем.

Что эти малые годы перед мгновеньем, насквозь освещающим вечное: я видел одно такое мгновенье и с тех пор смотрю на человеческий мир с участием, когда вижу страдание, с улыбкой, когда вижу радость, и с презрением, когда люди пытаются и, в сущности, как видно мне, никогда не могут убить друг друга.

Узнал, что Семашко — большевик, как он похож на Разумника, а чем? Оба по существу разумные, земные, но оба сорванные — в их революционной судьбе сыграли роль какие-нибудь пустяки, например, что Семашко, всегда 1-го ученика, за чтение Белинского лишили золотой медали, а Разумника Гиппиус не приняла в декаденты. Болезненное самолюбие. Чистота натуры (моральность, человечность). Неловкость к сделкам с совестью. Тайный романтизм. Отказ от личной жизни (я не свое делаю, так со злости, что не свое, буду служить другим). Истинный же путь человека — не по злости служить, а по радости.

Революция рождается в злобе.

Революция — это буря, это сжатие воздуха.

Революция — это сжатый воздух, это ветер, в котором мчатся души покойников: впереди мчится он, дух злобы к настоящему, а назади за ним мчатся души покойников.

Покой и покойники, цветы на могилах и теплое солнышко, и запах трупа в цветах гиацинта, любовь вечная, жизнь бесконечная.

Движение — злоба, ветер...

Любовь всепрощающая стала на Руси как масло коровье, все прощает, как масло мажет всякую дрянь.

Зарождаются ветры-циклоны в каких-то сжатых пластах воздуха. Революция зарождается в оборванных личностях, которые, не найдя своего, со злости хотят служить другим — будущим.

Важно, что будущим: и тут идеи, принципы. Личность обрывается — рождается злость и принципы творчества будущего: ветер, буря, революция.

Личность находит себя в настоящем, в любви к текущему: мир, свет, любовь.

Первые хотят быть материалистами, но материи они не касаются — идеалисты.

Вторые хотят быть идеалистами, но ведь имеют дело с материей.

Первые — склонны к науке.

Вторые — к религии, искусству.

Разрушают — создают.

Мысль и любовь редко в дружбе живут, обыкновенно мысль разрушает — одно дело, любовь создает — совершенно другое.

*Елец*. Солнце близко к закату. Ветер стих. Села известковая пыль на улицу, на окна и крышу. На улице духота, неприютно, а за домами, за каждым из этих домов сад, и в саду чай пьют под липами.

Из слободы движется стадо коровье и разбредается по разным улицам: коровы сами идут в свои дома. Только новых коров провожают хозяева, иногда женщины, иногда мальчики или девочки. Мы смотрим в окно и на коров, и вдруг все воскликнули:

— Капитолина Ивановна!

Самая богатая наша барыня Ельца, Капитолина Ивановна, в шляпе, хорошем пальто и с веточкой в руке шла за коровой.

— Вот до чего дожили.

Завтра погибнет мой сад под ударами мужицких топоров, но сегодня он прекрасен, и я люблю его, и он мой.

Прощаюсь с садом и ухожу, я найду где-нибудь сад еще более прекрасный: мой сад не умрет. Но вы, кто рубит его, увидите только смерть впереди (пьяные вóроны).

Я всегда двигался, но всегда с большим трудом приводил себя в движение, — куда попал, там хочется и остаться, и кажется, вот-вот какой-то мелькнет план вечности, и никак план не складывается, все запутывается, и вот, чтобы распутать застоявшееся,— я двигаюсь.

Сейчас особенно не хочется ехать, устоялся бы.

Свирепствует злоба беспощадной революции, как северный ветер, но ведь и любовь не масло — почему же молчит любовь и не поднимется ветер с горячей стороны?

Не знаю, за какой хвостик и как зацепиться, чтобы размотать всю загадку своего прошлого существования, — как?

Оборванная душа: звезда — бывало, звездам расскажет оборванная душа.

***16 Мая.*** Керенский против большевиков. А что я где-то пишу, про это ходит легенда, мне передавали ее: я пишу для тех, кто под видом германца идет на Россию.

Однажды поздно ночью этой зимой шел я по улице пустынной, где грабили и раздевали постоянно. Иду я, думаю: «Проскочу или не проскочу?» — совершенно один иду, и вот показывается далеко другой человек. Оружия нет со мной, а кулак на случай готовлю и держу его так в кармане, будто вот-вот выхвачу револьвер. Тот, другой, приближается, всматриваюсь: книжка в руке, слава тебе, Господи! с книжкой человек не опасен, он друг мой.

Неведомый друг мой с книжкой в руке, вам пишу это письмо из недр простого русского народа, который отогнал далеко от себя лучших друзей своих.

Какая пустыня вокруг меня! Вижу, вон идет в церковь народ, двое остановились у моих ворот, один поднял руку вверх и быстро опустил ее вниз — я понимаю, он сказал:

— Разорен дочиста!

И тем самым презрен. Не вижу ни одного человека из многих тысяч знакомых в этой Скифии, кто понял бы скорбь мою от боли за них самих, а не за свое имущество. В нашем купеческом городе я насчитаю десятки людей, кто потерял свое имущество и даже жизнь свою за правдивое свое слово. Но здесь ни одного человека не найдется, кто посмел бы с риском для себя постоять за правду.

Я спрашиваю:

— Где человек?

Мне отвечают:

— Человек в землю ушел.

Это значит не то чтобы человек занялся дележом земли, а буквально: здешний скифский человек роет себе ямы, в которые, как собака, иногда прячет лишнюю корку, зарывает свои запасы.

По всей стране клич:

— Спасайся кто может!

И человек полез в землю, потому что ему хочется жить, хоть как-нибудь, только жить.

Вот на пороге моем стоит один из них в синей поддевке, ему что-то нужно от меня и хочется мне угодить.

— Как дела? — спрашиваю.

Он жмурит один глаз на мгновенье и отвечает мстительно:

— Идет!

Это значит, немец идет, который освободит мой сад от захвата.

Так он собой меня понимает, себя понимает, а между тем стал гражданином: часами беседуем мы с ним все исключительно о наших гражданских делах, местных, дере-

венских, волостных, даже городских. Его понимание меня прекращается на оценке украинских дел: не германцы в этом виноваты, а какие-то наши изменники. Не то чтобы сами украинцы были изменниками, как поняли бы мы, а что-то совсем непонятное, безжизненное: идут не германцы, а наши буржуи. Тут смешивают его эсеры с большевиками, а дальше ничего не понять: темная сторона. В щелку интернационала.

Словом, так же, как при царе: кто-то изменяет, а кто — неизвестно. С этого начался тупик в сознании, и что самое главное теперь нужно знать гражданам и разбираться в мировой войне — тут настоящая тьма.

Еще расходимся мы в оценке большевиков, всеобщая оценка их такая, что дело их правильное, а слуги их — разбойники и воры — совершенно как при царе.

Правильно сделал солдат, что убежал — хозяина нет, и убежал, хозяина нет на землю.

— Немец — что ему до нас?

— Как что, а урожай? правда, что при таком порядке мы соберем меньше.

— Половину.

Результат: германец сам по себе хорош, но буржуй, связанный с ним, вреден: буржуй — свой, Керенский и другие.

Раз, например, я спрашиваю, в чем же его дело, зачем он пришел ко мне?

Конечно, хищное дело. Я говорю:

— Большевики не дадут.

— Ну, — отвечает, — и большевики теперь просто: против них Керенский.

То есть керенки.

— А если придет.

— Хозяин?

Немец, теперь часто слышу, называется так: «хозяином» земли русской, вместо Учредительного собрания — немец.

— А что же хозяин, что дурного хозяин нам сделать может — отберет? У нас так отбирают. Да у меня тогда хоть надежда будет...

Нет у нас и не может быть понимания... Но неведомый друг мой с книжкой в руке встреченный мной на пустынной улице ночью, в этой подземной тьме народной не виноваты ли и мы с вами?

<*Зачеркнуто:* Нет! мы с вами не виноваты,> <*приписка:* Если вы, как и я, только прохожий, — вы мне друг, мы не виноваты, но если эта книга ваша собрание платформ и программ>, если вы тоже, как я, служите слову русскому без программ и платформ, вы просто прохожий, но если эта книга в руке вашей — собрание революционных речей к народу, я не знаю: мне еще ни одной революционной речи не приходилось читать, в которой бы отразился талант человеческого и русского сердца.

*<Зачеркнуто: Отзвенело радостное звонкое слово платформ и позиций, посмотрим вокруг>*

Тогда, знаете что: я ближе к этим людям, которые в отчаянии зарываются в землю... и врага государства, на войне с которым его близкими пролито столько крови, встречаю, как корень Земли Русской; я ближе к нему, потому что чувствую в таком человеке силу страсти к жизни, которой живет вся природа.

«День прошел, я сыт, жив, имущество цело, и слава Богу». Так вам ответит каждый крестьянин, если вы спросите его: «Как дела?»

Очень много разговоров, сравнительно с прежним, о дожде и посевах, потому что у хозяина от хозяйства руки отваливаются. Так у всех почти, но это не значит еще осуждение всей старой жизни: дух увлекающий мчится над головами убитых хозяев, как ветер мчится над пригнутыми стеблями... Живем плохо, но неведомо назначение ветра, и не нам понимать и судить его движение, его цель.

Когда в разговоре про невероятно дурные поступки нашего комитета я говорю:

— Большевики...

Меня часто останавливают:

— Это не большевики, это разбойники.

Точно так же и про городской трибунал:

— Какие это большевики, это наши мошенники.

Я думаю, что общенародная оценка существующей власти такая: они наверху там хотят настоящего добра народу, но внизу власть захватывает разбойник. Словом, совершенно как прежде, до катастрофы с царем: царь хорош, но прислужники его — разбойники.

Свирепствует беспощадная злоба, как ветер северный, но ведь и любовь — не только гиацинт над могилой, почему же молчит любовь и не поднимается ветер с другой, горячей стороны? Или вся Русь лежит, как рать-сила побитая? Нет, что-то нужно пережить, это нужно и пока не кончится — голос любви будет молчать.

Я не знаю, кто и когда победит, но я душою старше, чем это наше событие: про себя я это уже пережил и помню страшное после того, когда все вокруг идет на меня.

Так мне кажется по себе, я вижу, как будто [дальше], потому что я старше, я это испытал и пережил. В смущенной душе голос будто: «Не убий!» А вокруг прохожие говорят: «Убивец!» — и кажется, это про меня говорят. Потом будет долго-долго что-то дробить меня, размывать, как дождь размывает камень под желобом, и до конца [размыть] должен, когда свет нежданно осветит землю.

Там, где я встал, я не говорю еще: «Не убий!» Нет, я грудь свою открываю и говорю:

— Бейте меня, я смерти не боюсь, чту смерть для меня — не быть. Если хотя убьете меня, но не мне, а вам смерть моя придет ужасной, с косою и адом, и вас, и детей ваших долго будет пугать и делать трусом.

Я скажу:

— Презренные трусы, вы хотите убивать меня, убейте! попробуйте, не испугаете, а сами испугаетесь...

***17 Мая.*** Это устремление к материи понимается как побег от религии, которая еще раньше покинула нашу землю. Это испытание человека, который должен своими руками ощупать материальное.

Вот будет социализм, когда я не должен будут говорить: «Иди, работай!», а скажу: «Товарищ, пойдем на работу».

Счет обманутого человека. 1) Пошли, как красные девушки: за отечество-царя. Москва-Петербург проданы немцам. 2) Немец внутренний — буржуй — это я; буржуй во дворце, стол, дверь в золоте — бросились во дворец, взяли золото — бронза, на фабрике — машины, станки, остановили машину, бросились на землю — переделили — земли не прибавилось. Стали хлеб сеять — хлеб отбирали. Стали возить, продавать награбленное — керенки заработали — это бумага. Тогда всё зарыли в землю.

Народ обманут интеллигенцией.

Вольный и невольный: иди! — пойдем, товарищ!

Радость происходит не от земли: от человека.

С улыбкой смотрю я нынче на свое прошлогоднее практическое эсерство или толстовство на своей трудовой норме.

Я обманывал себя совсем особенно: я уверял всех и себя самого, что работаю, чтобы сохранить свою собственность и обеспечить свою семью. Неправда это, пустяки. В глубине души у меня как у эсера или толстовца на свой лад была мечта необходимый суровый труд преодолеть.

***19 Мая.*** Оказывается, что у земли власти нет никакой. Вот говорили, что власть земли, а оказывается, у земли власти и нет никакой,— если бы ее-то власть, можно бы разве допустить такое бесчинство над собой, такое издевательство!

С винного завода с горы мужики сорокаведерную бочку пустили вниз к себе через ручей на деревню. У ручья бочка на камень наткнулась и треснула, а спирт весь в ручей — какой тут ручей, так грязная кашица вместо воды. С горшками, с чашками кинулись из деревни бабы и вычерпали грязь. И другая, и третья бочка — сколько тут бо-

чек полопалось во время грабежа. Теперь у них продается спирт на два сорта: чистый, по 200 р. за четверть, и ручьевой, вчетверо дешевле.

В комитете служил — умел награбить! две бочки спирту в подвал спустил. Цветы из господского дома к себе в избу перенес. Перед окном пальму посадил и сделал предложение бедной девушке. Свадьбу справил как у господ: господский повар Михайло обед готовил с пирогом и пирожными. Играл городской оркестр музыку.

Стянуть — что! это и мне кто-то с завода примахнул по-приятельски две бутылки спирту: попробовал, настоящий, не ручьевой, не отказался и я. Или выкопать в господском, теперь общественном саду яблонку, да еще и посадить себе под окном. Все равно осенью пропадет — тащи, кто может.

Вот сейчас и в моем саду чья-то корова трется, трется о поваленный сук и вот обломала, проклятая — черт с ней! Я еще и свою корову в сад пошлю, пусть гадит, пусть ломает, все равно не уберечь, только врагов наживешь, общее так общее.

А вот когда подлец какой-нибудь крадет правильно, спирт на сахар, на муку меняет, муку на керенки и потом керенками бутылки набивает [и] в землю — вот этот-то сукин сын душу воротит, и чертей таких ведь множество.

Но еще хуже этого прошлогодние ораторы, кто во время Керенского лопотал вроде того, что немец нам друг и воевать с ним не надо, и если немец все-таки пойдет на нас, так он, оратор, первый с винтовкой пойдет на него, — вот как теперь ведет себя этот оратор? Немец теперь идет самый настоящий, а он говорит: буржуаз! О винтовке и думать забыл, награбил себе и прочее.

Посмотришь, посмотришь вокруг себя, ну как тут не рассердиться, день смотрел, два, три, неделю, думаешь, думаешь — вдруг счастье великое! Газеты пришли. Прочитаешь газеты, оглянешься на то, что передумал: «Господи! да ведь я же и есть самый настоящий буржуазный человек».

Станет как будто и совестно: и все иностранцы, и все собственники наши от мала до велика почти так же, как я, думают и понимают. Анархист ли я по мысли, толстовец по совести, странник по натуре — ведь это все хорошо где-нибудь в городе, но в деревне здесь точно все эти мысли, настроения, тут все в голом виде, и тут я увидел, что буржуазия...

В городе у знакомых ночевал с юнкером бесшабашным — какая у него ненависть к большевикам, к мужикам-грабителям, как сладостно говорил он мне о том, как он своими руками будет их вешать, расстреливать.

Я старался убедить его, что бесполезна такая жестокость, но он мне ответил:

— Оставьте эту роскошь рассуждения для себя, я буду уважать, ведь и я был такой в начале революции, но теперь я буду идти до конца своим путем.

Плачьте, добрые люди, о родине, кто потерял в ней добро — теплую утеху будущих лет, но чем помянуть, чем вспомнить родину тому путнику, у кого нет ничего: избушка на краю стояла черная под соломенной крышей, да и ту нынче весною подмыло в овраг. Нечем вспомнить родину человеку Дикого поля, бредущему от села к селу большаком по тропинке пешеходной.

Плачет ребенок, дали варенья — стих, и выходит шарада: стих — от — варенья. Так разговариваешь с человеком деревенским: жалуется-плачется, подумаешь: «Вот какой государственный человек!» — смотришь, стащил себе какие-нибудь пустяки, до смешного ничтожные: яблонку из господского сада под окно пересадил, уздечку, веревочку — и втайне доволен: досталось и ему что-то от всеобщего пирога. Малым довольствуется русский человек, а тут еще главный голос в молодежи, которая вообще не способна тужить.

Вчера отправил тебе письмо, сегодня получил твое розовое по бумаге и трагическое по содержанию: три суще-

ства действуют вокруг тебя и в тебе: голод, Горячев, который тебя «сильно любит» (значит, можно за него выйти замуж?) и может спасти от голода, и дядя Миша с далеким горизонтом под звездами, далекий, невидимый.

Дядя Коля, как Плюшкин, ходит в рваном пальто цвета старого треснувшего гриба, с ключами, и тоже от нечего делать собирает всякую дрянь. Сегодня мы нашли с ним крючок от штанов, стальной, с орнаментом, чистой иностранной работы. Сели на лавочку и, рассматривая крючок, обменялись таким разговором:

Я:

— Чем иностранцы занимались, на что тратили время!

Он:

— А теперь лучше?

— Теперь, — говорю, — серьезнее: делают снаряды, теперь вообще что-то больше делают — будущее готовят.

— Потом опять перейдут на крючки.

— Ну, что ж: а в воздухе-то все-таки узел завяжется. Это вехи расставляются.

Он с этим согласился, кивнул головой, я очень рад, это редко бывает у нас. Только, помолчав, он вернулся к своему:

— А мне-то что? и тебе что? нас не будет. Мы, вероятно, уже этой зимой умрем голодной смертью.

<*На полях: Соловьев глудкой гоняет*>

Громадная масса крестьян и в особенности баб живут изо дня в день, и бабы, если им сегодня можно нарвать для коров снытки в саду (раньше господском), если ночью они тут в ночном лошадь накормят, а мальчишка выкопает яблоню и пересадит к себе под окно, — яблоня через неделю засохнет, снытку в два дня вырвут всю дочиста бабы, лошади изобьют, изломают сад, — сегодня хорошо, хороша этим и революция! Это ужасное разрушение совершается бессознательно, и люди эти невинны. Пусть они разорят, обидят хорошего человека — ничего! это во имя равенства всех. И если убьют за буржуя прекрасного человека — ничего, не знают, что творят, им простится. Вот

если бы Лев Толстой жил, его бы убили непременно, и он, умирая, сказал бы: «Прости им, не знают, что делают, они обмануты», — но ведь кто-то их обманывал, кто-то обещал им, за что они это делают? Тут же есть ошибочная система? и кто-то ошибся — как он мог так ошибиться, он отвечает. Кто это? Интеллигенция, может быть, именно: Ленин, Чернов, Керенский? дальше: вся интеллигенция. Но интеллигенты русские, и Ленин, и Чернов, и Керенский, сами обмануты кем-то и явно не знают своего народа и тоже не знают, что творят. Кто же их обманул: вожди пролетариата, Карл Маркс, Бебель? Но их обманул еще кто-то, наверно. Где же главный обманщик: Аввадон, князь тьмы?

***24 Мая.*** Снег тощий этой зимы стаял вмиг, без единого дождика прошел весь Апрель, без влаги скупо, бездушно одевались деревья, и морозы-сóроки перешли на Май и губили в Мае бутоны цветов...

В первых числах Мая было как в Октябре, небо хмурое откосом сошлось с землей, и казалось, туда, как в козий загон, угоняли, где сходится плоское небо с плоской землей.

Вижу, никогда больше не приснится, не привидится моя Грезица <единственная невеста — *зачеркн.*>. Как я этого раньше желал! а вот когда пришло — стало тупо жить, и в природе я стал будто зверь без чутья.

Мне предложили нужному человеку или даже в компании со мною снять в аренду в комитете мой собственный сад. Я сказал, что хотя это мне и выгодно, а все-таки не стану делать, потому что слишком глупо свой сад снимать у себя самого: закон это не признал, сад мой.

— По гордости, — говорю, — не сниму.

Нужный человек сказал:

— Гордость — это нехорошо.

— Для вас, — отвечаю, — вы везде нужный, вам гордость вред, а мне гордость польза большая.

— Какая же, — сказал он, — может быть человеку от гордости польза?

— Конечно, не денежная, душевная.

— И душевной пользы от гордости нет.

— А вот есть!

— Не знаю...

Мы заспорили с нужным человеком, как Дон-Кихот с Санчо-Пансой, и кончили тем, что он признал во мне человека, которому гордость на пользу — барина, а в себе признал совсем другого человека, которому вся польза в смирении — слугу.

Я думаю после разговора: «Мы, русские люди, как голыши, окатались за сотни лет в придонной тьме под мутной водой, катимся и не шумим. А что этот нынешний шум — будто бы это не шум: это мы просто все зараз перекатываемся водой, неизвестно куда, не то в речку другую, не то в озеро, не то в море».

***25 Мая.*** Мороз. Одному богу, который хозяйствует, богу земледелия крестьянскому Хозяину уже наверно худо в революцию, и тошным-тошнехонько слушать ему изо дня в день пустые слова про хозяйство на новых началах, про буржуа и пролетариев и про всякие системы будущего.

Семейство умножилось, как песок речной, а выходу нет, все хотят сидеть на шее Хозяина, по-настоящему бы хозяйствовать, так пошевельнуться нельзя, а они все болтают, болтают, будто галки осенью грачей провожают. Улетят грачи в далекие теплые края, а галкам не миновать коротать на месте студеное время. Хозяина и бьет забота, как быть с молодежью, так бьет, что и сам бы разграбил.

Хозяйская забота крепко запала Семену Бабусину в самое сердце, видит, что не миновать голода и холода и мора. Тужит, тужит день и ночь, а молодые ребята сговариваются, обдумывают, как бы спирт отбить у солдат. Попробовали с винтовками на гору приступом, как ходили в атаку на немца, — шарах! с завода из окошечка пулеметом, все разбежались и винтовки половину домой принесли.

— Пропасти под собой не чуете! — говорит им Семен.

У него своя забота, у них своя: как бы все-таки спирт раздобыть. И надумали: не ангелы же солдаты, сидят у са-

мого спирта и будто не трогают. Разузнали дело: ночью пьют солдаты, днем охраняют. Ночью собрались ловкачи, видят, в окне солдаты пьяные спят, перевязали их, выкатили пулеметы. Кричат молодцы с горы:

— Пожалуйте!

Собрался народ внизу под горой, всё не верят, боятся пулемета, вдруг смотрят, с горы бочка летит на них, за ней другая, третья. Умные кинулись за посудиной, глупые разинув рты стоят.

Прикатилась первая бочка к ручью — какой там ручей! так, лужа грязная лошадь поить [с опаской], грохнули бочки о камни, разбили сорокаведерную, и заметно водицы прибавилось. Тут, кто был у ручья, прямо губами, как лошади. Множество народа собралось, с грязью бы выпили землю бы чернозем, да бух! вторая бочка, третья. А народ вышел со всех деревень видимо-невидимо, с ушатами, с корытами, с бочонками, с ведрами, бабы, старики, ребятишки.

Вот как затужил, запричитал Семен Бабусин.

— Ну, — говорит, — пропала Россия, пропала наша земля русская, пришла пропасть, [несть конца].

Подступает Семен к народу.

— Ладно же, — говорит, — пойду я опьюсь.

Взял пустую четверть и пошел умирать.

На горе на заводе пожар занялся, светло стало как днем, видит Семен, на грязи лежит народу видимо-невидимо, народ что грязь лежит, и где люди, где грязь, понять невозможно.

Подошел Семен к одной бочке [в ней] четверть спирта, стал на коленки.

Прощай белый свет! Полчетверти в один дух оглушил — сидит! В груди воздух пропал — сидит. У кого память еще была дивился и [думал] — что с ним. Чуть идти, да — грянулся носом в грязь...

— Издох? — спросил ближайший.

Кто-то подошел, перевернул Семена лицом к пожару, посмотрел и ответил:

— Издох!

Без Хозяина взошло солнышко. Рать-сила побитая лежит в грязи у ручья, и сам первый хозяин Семен Бабусин лежит, и рядом с ним пастух деревенский, а стадо все разбрелось по озими. Стало пригревать солнышко, и зашевелился Семен, поднялся, глаза протирает, ничего понять не может: как так вышло, что пьяны все, вдруг схватился за голову, понял:

— Не издох!

Горько заплакал и пошел выгонять с поля скотину.

Свадьба. Пришел к дележу земли солдат, неизвестно какой и откуда, вступил в общество, получил надел, снял пустую избу, купил хорошую лошадь, корову и на Красной горке вздумал свадьбу играть. Цветы, музыка, повар. Один Семен дома сидит.

Семен тужил и думал: «опьюсь» и пошел на свадьбу. Нет вина — Во-на! [сидит жених... Все зовут]— кати бочки.

О чем я писал?

О жизни прекрасной, которую видишь через решетку тюрьмы и какой встречаешь ее в первые дни освобождения.

Читаю битву Гоголя с Белинским. Семашко-Разумник целиком из Белинского, и все это к распятию, страданию путь.

Конец империи Николая II был в расщеплении всей бюрократии на множество враждующих групп, в размножении вследствие этого слов и пустых проектов.

***26 Мая.*** Поле ржи после дождя — вся надежда! Иллюзий больше нет никаких. На волоске... хозяйство! Все умершие за последнее время нам представляются наивными, как вот эти грачи, которые сушат крылья на валу после дождя. Сосед мой сожалеет, что не умер вместе с ними.

— Хотите быть грачом?

— Пусть — это лучше человека.

— Нет!

Я хочу пережить, чтобы видеть, как из ничего будет опять создаваться то, что до сих пор мы называли человек, что теперь кажется иллюзией. (Обман.)

Мы возвращаемся с поля, и вот школа, выстроенная на нашей земле, наводит нас на недавнее пережитое: как можно было строить еще тогда? откуда бралась иллюзия, надежда, вера?

Вот последнее строение нашего батюшки – церковь, недостроенная, покрыта крышей, как сарай. Вот наше последнее строение – курник, одни стены, без крыши. Прошлый год строил осенью, и теперь очень удивительно вспоминать, что тогда еще можно было думать о курах. Весь смысл труда утерян...

Внезапно возникают мысли: «Наполеон погиб в России от мороза: он хотел спасти человечество и погиб от мороза. Ленин погибнет от голода, спаситель человечества, в этой же России».

Кто может заставить нас теперь строить школу?

И то же самое:

Кто может заставить нашего мужика, среднего трудового крестьянина, отдать свой хлеб последний в руки людей, которым он не доверяет, примеры ужасной расточительности которых прошли у него перед глазами?

Мы знаем хорошо, что если обратиться к совести этих людей, растолковать им ужасное положение наше, — они отдадут запасы: у них есть чувство родины, России, для России они отдадут.

Это народу скажет тот, кто близко, как мы здесь, вплотную стоит к крестьянской массе.

Но как отдать «человечеству», которое крестьянин совершенно не знает: он не читал Спенсера. И отдать через комитетские руки!

Во имя спасения всего человечества погубить совершенно всю свою родину, огромную страну — это непонятно стихийному человеку, и он прячет хлеб, а спасители человечества обзывают его своим злейшим врагом.

Я знаю как ощущение то, что Ленин постигает только разумом, учетом политика: это чувство пропасти между мной, интеллигентом, и этим мельчайшим хозяйчиком.

Но есть у меня общее с ним — чувство тела, мира, природы, земли, — это совершенно недоступно Ленину. И в деревне, в природе, я думаю, даже среди низшего мира животных есть такие существа, которые переступают через это чувство, и они называются преступники.

Переступил через чувство общности тела, природы, земли и убил — преступник, Каин.

Мы пересчитываем по пальцам всех наших примитивных людей, которые пойдут за Лениным и станут делать доносы на укрывающих запасы.

Захар Капитонов — разбойник, на войне отстрелил себе палец.

Павел Булан — мастеровой человек, не настоящий крестьянин, в 25 лет совершенно лысый, из второго <*приписка:* или третьего> поколения пьяниц.

Николай Кузнецов — ему лишь было бы выгодно, чуть учует — повернет нос по ветру.

Во всей деревне мы насчитываем человек восемь, и все с уголовным прошлым, все преступники, все они бойкие люди...

***27 Мая.*** Все движется не сочувствием и любовью к бедному человеку («пролетарию»), а ненавистью к богатому («буржуа»). Если бы они могли проверять свою ненависть любовью, то никогда бы не затащили в грязь друзей своих.

***28 Мая.*** «Все население поправело: налетов мало, тише». Я подумал: поправело в смысле политическом, а он продолжает: «Сильно поправело: прислушиваются к разным погодам. И существующая власть поправела: прислушивается к населению».

«Поправело» от «права».

Деревня как наседка, а идеи социализма как яйца от неизвестных птиц, с прошлого года села наша деревня-наседка на яйца и думает, что цыплят выведет. Вот время приходит, наклюнулись, смотрит наседка: не цыплята, не гусята, не утята, а неизвестно что — кукушкины дети.

Хорошо, бывало, приговаривал мой старичок:

— Эх, мы грешные, грешные, языки-то мягкие.

Чужие идеи в деревню, как под наседку чужие яйца, подложили и стали дожидаться, что наседка выведет.

Сидит наседка, думает, цыплят выведет. И вот пришло время, наклюнулись...

Подали телефонограмму в деревенский Совет, чтобы ехали депутаты с харчами на три дня: за харчи, сказано, заплатится.

Раньше по всяким пустякам была агитация, язык день и ночь работал и обделывал мужицкую голову, теперь ничего неизвестно, сказано — съехаться с харчами на три дня и больше ничего.

***1 Июня.*** Кукушица, рано кукуя нежным своим и глубоким голосом, пролетела над крышей моего дома, и голос этот остался, протянулся, запел. Пришла ко мне моя Грезица и спрашивает, как было в Смольном.

М. М., рассказывая, приговаривает: «Не рубил тебя немец на колбасу!»

2). Немцы сделали в одни сутки переход в полтораста верст, взяли Волуйки, и вдруг оказалось, что через два дня они могут и к нам прийти. Совет народных комиссаров, пользуясь практикой в подобных случаях других советов, выделил из своей среды двух диктаторов и передал им всю власть.

Почему-то эти диктаторы, решив принципиально защищать город, собрали крестьянский съезд для окончательного решения вопроса как о диктатуре, так и о войне. В первый раз за все время своего существования советская власть обратилась к земле, предоставив полную свободу избрания представителей, даже без всякой агитации, даже не известив население, для решения каких именно вопросов оно должно послать представителей. Потому что депутатам наказано было взять с собой харчей на три дня, решено, что это и есть долгожданная установка. И то

еще так говорят: «Пусть придут к нам разговаривать о войне не те, кто с фронта манил, а кто звал тогда воевать».

1). Дожидались в народе какой-то окончательной «установки», после чего будет каждому ясно, какой землей он владеет, куда можно без риска возить теперь же навоз и кому собирать урожай прошлый год посеянной ржи. Говорили: «Самим установиться невозможно, кто-то должен прийти и разобрать». Теперь, когда от каждого селения потребовалось по два представителя — тысячу двести человек с уезда, — когда депутатам велели взять с собой харчей на три дня, все решили, что это и есть долгожданная установка.

Так, 16-го Мая в уездный город собрались тысячу двести крестьянских депутатов со своими харчами.

Диктатор объяснил, что о немцах. Земля молчала.

Диктатор сказал:

— Чего же вы молчите, или вам корова язык отжевала?

Депутат за словом в карман не полез:

— Что же ты, не рубил тебя немец на колбасу, не сказал, зачем ты нас сюда созываешь: я скажу воевать, а общество мне за это веревку на шею?

Ничего не вышло из съезда, депутаты разъехались на два дня спросить свои общества о войне. А уже появилось на фонарных столбах объявление о всеобщей мобилизации и, провисев часа два после съезда, было сорвано неизвестной рукой.

Между собой крестьяне говорили:

— Воевать нам не с чем, уходить некуда!

Прекословный диктатор.

И тогда все обернулось не на немца, а на диктатора: долой эту власть!

Начало: когда я шел чай пить к знакомому, видел я на фонарных столбах объявление о всеобщей мобилизации, подписанное диктаторами — двумя лицами M и N через тире: M тире N. После чая все эти объявления были уже сорваны.

И еще так:

— Не воевать зовут, а только немца дражнить.

А еще были и такие слова:

— Пусть не те придут к нам о войне разговаривать, кто с фронта манил, а кто звал воевать.

Нам привелось слышать и такое рассуждение обиженного переделом хозяйственного человека:

— Какую землю защищать: у помещика землю отобрали, ему защищать нечего, кто землю работал и [сеял] — отобрали, ему защищать нечего, кто при своем остался, тот разуверился: от войны земли не прибавляется. Кто выгадал? многосемейный, бездельник, кто шатался по [городам] и земли не понимает, получил сразу на всю семью, шелюган последний — много ли таких? человек десять на все общество. Что защищать?

Земли нет!

Новая моя установка: гожусь для немцев.

Были такие деревни: «Мы пойдем, но только все поголовно и не дальше нашего уезда».

Другие деревни: «Приходили подписать мобилизацию, и мы подписали» (там, где были агитаторы из города).

Бывший стражник нашей же волости, ныне уездный диктатор, метался по сцене театра Народного дома и кричал на представителей народа:

— Здесь собрались не пролетарии, а кулаки...

На клумбе между розами свеклу посеяли. Выросла, разлопушилась свекла, и на все лето зацвела чайная роза.

Другой диктатор в Совете рабочих депутатов говорил:

— Гидра контрреволюции подняла свою голову, на каждом переулке вы слышите, как буржуазия ругает существующую власть, я обращаюсь к вам с призывом, товарищи меньшевики и товарищи правые социал-революционеры, выступить за войну.

— Товарищ диктатор, — говорил представитель рабочих, — мы не в силах отвечать вам без пославших нас, надо их спросить.

Диктатор ответил:

— Принудительно. Нет, вы можете решить принудительно, власть не может быть без принуждения.

Никто не отвечал.

И разгневанно второй диктатор кричал:

— Что вы молчите, что, вам корова язык отжевала?

Диктатор бессильный (прекословный) передавал власть настоящему беспрекословному диктатору.

***2 Июня.*** Вчера мужики по вопросу о в о й н е и диктатуре вынесли постановление: «Начинать войну только в согласии с Москвою и с высшей властью, а Елецкому уезду одному против немцев не выступать».

По вопросу о диктатуре: часть селений высказалась вообще против диктатуры, а часть за то, чтобы диктаторы были выбраны с властью ограниченной и под контролем.

На съезде высказались крестьяне против диктатуры, находя, что диктатура хуже самодержавия и всегда может лишить крестьянство завоеванных свобод.

Сами большевики раскололись по вопросу о диктатуре надвое, а левые эсеры открыто заявили, что это они удержали Совет от побега.

<*На полях: Улучшение моего положения через немцев: я застрелюсь за деревню.*>

В настоящее время громадное большинство крестьян — правые эсеры и желают Учредительного Собрания. Но, конечно, легко представить, что этот поворот направо лишь первый этап. В основе психологии крестьянина в настоящее время лежит страх утерять «завоеванную свободу», то есть отнятую у помещиков землю. Передел по живым душам, как он ни гибелен с государственной точки зрения и культурно-технической, — все же дает нечто бесприютному бедняку: Фекла на прибавке чего-чего не посеяла: и свеклу, и картошку, и всякую всячину, она с ра-

достью дожидается жатвы. Другой страх в психологии крестьянина — возвращение через немцев старого строя и наказаний за грабежи. Правоэсеровская линия и есть теперь первая линия заранее приготовленных позиций.

Деревня сидит на чужих наделах, как наседка на яйцах, и в конце концов высиживает от всего что-нибудь: от большевиков высидела — <*1 нрзб.*> войну, помещичью землю, от правых социалистов хочет теперь высидеть Учредительное Собрание и права.

Сегодня, 20-го Мая, хоронили Дедка, нашего Платона Каратаева. Накануне смерти он сказал: — Не узнаешь? А я тебя 20 лет не видал.

Засунул руки в сапоги, теплые ли.

На похоронах Никифор: «43 р.» (гроб).

Их уверенность, а не вера — уверенность их <*приписка:* питается из отравленных колодцев> находится в численности себе подобных, тогда как вера в глубине <*приписка:* тогда как вера из глубины и чистоты>.

Вопрос о большевике Федьке: что он — «у в е р е н н ы й» (в е р и т) человек или п о д к у п л е н н ы й?

Я думаю так: он, как и Горшков, как и прочие подобные, имя им легион, прежние лакеи, повара и кучера помещиков, ныне сводят счеты со своими господами путем Смердякова, через убийство. В этом сведении счетов их слабость и кратковременность существования: совершив свою миссию возмездия, они погибают. Так стражник Черкасской волости Бутов, бывший каторжник, достигает звания диктатора (Прекословный диктатор), совершив полный круг от раба до царя, изживает все признаки разума и совести.

«Уверенность» этих сверхрабов питается из отравленных колодцев их самолюбия и держится численностью, тогда как источники веры выходят из глубины личности (которая есть цвет толпы). Наша деревня, как терпеливая наседка, сидит на яйцах-идеях, и она бы высидела их непременно, если бы не мешали извне.

Слово «умрем» значит «перестать жить». Причина смерти бывает от старости, от болезни и от борьбы за существование. Первые две причины бывают от природы, третья — от человека и потому что громадное большинство людей неграмотных находятся в руках кучки людей ученых, кровожадных людей.

Сергей Петрович:

— Моя дочка тоже ученая, все читает, читает, другой раз скажет: «Папа, есть хочу!» — а я положу ей книжки и говорю: «На, ешь!»

Статья диктатора Бутова. Его слова, когда съезд крестьян хотел бежать от него: “Товарищи, еще две минуты! Товарищи, остановитесь! я диктатор не вечный, я прекословный диктатор”» (то есть не беспрекословный). Слова Белинского о Петре-диктаторе: «Будь полезен государству, учись или умирай: вот что было написано кровью на знамени его борьбы с варварством».

Бутов жаждет крови, но не смеет, боится остаться один с идеями, как Робеспьер; холоп и лакей, он хочет быть заодно с лакеями, холопами, и, скрывая, как Смердяков, убийство свое, он делает вид, что убивает народ (самосуд).

<*На полях: Выдыбание ученых*>

Одною рукою бросая семена, другою хотел он тут же пожинать их, нарушая обычные законы природы и возможности, и природа отступила для него от своих вечных законов, и возможность стала для него волшебством. (Белинский о Петре.)

Как белеет просеянная через сито мука, так белеет просеянная через сито коммунизма буржуазия: как черные отруби, отсеются бедняки, и в конце концов из революции выйдет настоящая белая буржуазная демократия.

Факты исчезают из памяти народа, а значение фактов остается (Ап. Григорьев).

В тех простонародных низах, в трактире, на биржах, на ярмарке, где по любви к бродяжничеству и непринужденным беседам я часто пребываю в халатном и простодушном состоянии, — всегда я замечаю косой глазок Сергея Петровича, или Петра Сергеевича, забитого жулика: глазок берет под сомнение все ученое, выученное...

— Я разочаровался в ученом человеке, — сказал Сергей Сергеевич (кончил 6 классов гимназии, просвещенный купец), — на веру ученье принимал — теперь разочаровался.

Отметить единообразие форм советской власти. Конец большевизма похож на конец самодержавия: например, твердые цены (монополия).

Сижу, хлеб жую на хуторе, читаю по-новому старые книжки, а возле меня, как курица на подкладнях, сидит деревня на чужих идеях и дожидается какой-то «установки», что выведется: гусята, цыплята, утята или кукушкины дети. На поле не хожу часто, а то, знаю, скажут: «Начал опять нос свой совать, видно, немец близко». Я тоже, грешный человек, подумываю, когда ко мне из деревни гости заходят: «Вот опять заходили, видно, что-нибудь новое о немцах с базара привезли».

А в общем, привыкаешь ко всему, будто так быть должно, и наплевать на все: я знаю, что нет такой путаницы, в которой, привыкнув, оглядевшись, я не стал бы опять по-своему как-то жить: переменятся только цвета [знамен]. Но часто ловишь себя: почему же я все-таки ненавижу, так и подкатывает под сердце — и кого это? Так и просится помнить: не забыть, не упустить, не простить.

***4 Июня.*** Завет художнику.

Не искушайся дробностью жизни — в политике, в хозяйстве: страдай или радуйся в этом, но не смешивай одно с другим.

Помни, что, раз ты художник, жизнь тебе хороша, нехорошо стало — вырвись, освободись!

Эта тюрьма теперь — наша жизнь; день и ночь думай, как освободиться от нее.

Черный гость мой, не открывай свое покрывало, не показывайся, я знаю тебя...

***5 Июня.*** Культура — слово европейское и употребляется у нас теперь в смысле грамотного европейского обихода.

Культурный человек — это значит который при посредстве полученного воспитания и образования может разумно пользоваться благами жизни: и «разумно» значит — «и себе хорошо» и не значит, что другим обидно.

Полную противоположность культурному человеку составляет русский кулак, который использует среду хищнически, думая только о себе.

Нельзя сказать про духовно просвещенного русского человека, например, про отца Амвросия, что отец Амвросий культурный человек. Нельзя назвать и Пушкина, европейски уже, конечно, просвещенного человека — культурным, как нельзя назвать университетского человека — грамотным. Другими словами скажем: культура — это значит сумма европейских требований к среднему человеку. Наиболее культурной страной называется такая, в которой больше всего расходится мыла.

Культура — это буфер между господином и хамом. Россия — страна самая некультурная: во времена Флетчера часть воздействовала на раба непосредственно палкой, во времена революции освобожденный раб таким же образом воздействует на вчерашнего господина. Кадеты — самая культурная в России партия.

Русский человек ненавидит культуру, потому что, с одной стороны, каждый русский хочет жить своеобразно, во-вторых, потому что благами жизни он пользуется тайно и своим способом, а не общим, в-третьих, расчет в деле, подобно святому, ему не свойствен, в-четвертых, наконец, просто и потому, что вот он по дарам своим природным ничем от меня не отличается, может, даже глупее и хуже меня, а вот он культурный (и ему все тут открыто), а я некультурный...

Под общее понятие «буржуй» в русскую революцию попали [такие] два типа, противоположные существа, как человек с организованными способностями (культурный) и русский кулак. Всюду можно наблюдать, что кулаку живется теперь лучше, чем культурному, это понятно, кулак ближе к среде родной, находчивей. Теперь уже множество кулаков преобразились в разных кооператоров, тогда как инженеры и всякие техники сидят без дела. Через сито коммунизма просеивается сначала только самый мелкий кулак, неграмотный. В настоящее время какой-нибудь власть имущий революционер в провинции представляет себе революцию как восстание неграмотных (кулаков и пролетариев) на ученых (культурных). В нашем распоряжении имеется статья одного диктатора, написанная им в момент германского наступления.

— Залил! Я бы сказал за тебя, да ведь надо слова просить.

Наш делегат пропал, а Рогатовские пастухи сказывали, что из города слышна была позавчерась частая стрельба: не пропал ли наш делегат?

Никто газет не везет, да выходят ли газеты? Вечером пришел делегат: «Из петли вырвался». Вот как все произошло. Из двадцати волостей только три высказались за диктатуру, значит, из тысячи двухсот человек каких-нибудь сто. После жаркого спора с диктаторами съезд хотел покинуть зал заседания, но встретил в дверях карательный отряд и возвратился. На следующий день на дверях съезда были объявления, что здесь собрание крестьян партии большевиков и левых социалистов-революционеров. Не входя в здание, крестьяне выбрали представителя от волости и за их подписями подали заявление, что они беспартийные. Этих подписавшихся был приказ арестовать.

В это же самое время с трех сторон города начались обыски с грабежом. Рабочие дали сигнал к остановке движения. Приехал броневик, открыл стрельбу. Делегаты разбежались по деревням.

Теперь по всему уезду рассказывают, и что большее производит впечатление — не стрельба в делегатов, а что комиссар земледелия обмолвился, будто бы кур облагать налогом собираются.

— Это моя охота: завел я курицу-перепелку или браслет?

Почему же так из 1500 депутатов не нашлось ни одного большевика? Да есть ли в деревне большевики?

— Заступился я бы за тебя, Анна Константиновна, да ведь надо слово просить?

Мужики сидели подавленные появлением карательного отряда в дверях, а комиссар заливал словами:

— В этом году ни один мужик не останется без яблочка.

Соблазняли миром — бросили фронт солдаты, соблазняли землей — разрушили мужики земледелие, нечем больше теперь соблазнять — обещают мужикам яблоки и детские сады.

Был романтизм войны — где теперь эта поэзия? И был романтизм революции — где его теперь сладость?

Советский строй с уголовным прошлым ныне сменяется не кулаком собственно, а каким-нибудь развитым городским мужиком (например, швейцаром) — Синий.

Где-то совершается убийство, а народ едет по большим дорогам, проселкам, и вдруг говорят, что вот кур хотят обложить и у человека всякую о х о т у убить.

Земледельцы — охотники, в смысле душевного строя: все они охотники жить. Новый же строй стремится к тому, чтобы это чувство охоты, удачи, расчета вынуть из его души и каждого сделать р а б о м, не Бога, не царя, не государства, не народа, даже не человечества, а просто какой-то никому не понятной <*зачеркн.:* партийной выдумки> бездушной системы махового колеса, без передачи к живой душе человека.

С другой стороны, эта выдумка держится и силу имеет только флага-знамени того же бунтующего раба. Теперь

он достиг своего, утомился, или разочаровался, ищет порядка, а знамя все еще болтается, как на петроградских домах почерневшие лохмотья красных мартовских флагов.

***7 Июня.*** Дошли слухи, что в Ельце волнение со времени созыва [большевистского] съезда продолжалось и даже совершилась Еремеева ночь.

***8 Июня.*** Батюшка сказал:

— Полная победа большевиков.

***11 Июня.*** Прошлый год Лидия кричала:

— Берите все, громите все!

— Куда ты денешься? — спрашивает Николай.

— Я выстрою себе комнату!

Озадаченный Николай, подумав несколько, серьезно спросил:

— Строят дом, избу, но комнату...

— Я дурочка, хочешь ты сказать? вы все на меня, вы все на меня!

В нынешнем году Лидия кричит:

— Громите этот проклятый дом, я уйду!

— Куда же ты уйдешь? — спрашивает Николай.

— Я уйду в пространство, — кричит она, — я убегу в пространство!

Перед домом каждый год площадка выметалась и обсыпалась перед Троицей песком. Теперь эта площадка заросла травой, и на зелени явно обозначился круг бывшей некогда здесь клумбы.

Глава N-а. О прятаньи: цветоч. тумба, боров, труба и проч.

Не поле кормит, а закон.

Подать сюда Сошку, 5 возов мебели, 48 часов. Старые корни вырвать. Уничтожить культуру. Пользы от культуры никакой нету.

— Куда идешь?
— В культуру.

Великая революция. Дела Божьи, конечно, и там революция наша, может статься, имеет великое значение народное, а здесь, на суде жизни текущей, можем ли мы назвать великим событие, бросившее живую человеческую душу на истязание темной силы?

Был великий истязатель России Петр, который вел страну свою тем же путем страдания к выходам в моря, омывающие берега всего мира. Однако и его великие дела темнеют до неразличимости, когда мы всматриваемся в до сих пор не зажившие раны живой души русского человека.

Великий истязатель увлек с собою в это окно Европы мысли лучших русских людей, но тело их, тело всего народа погрузилось не в горшие ли дебри и топи болотные? Не видим ли мы теперь ежедневно, как тело народа мучит пытками эту душу Великого Преобразователя?

Они действуют как бессмертные, потому что не боятся смерти, их сила — риск, их цель — минутный всплеск руками на гребне кровавой волны.

Мещанин всякий, кто участвует в дележах власти, земли, капитала, кто говорит высокие слова о равенстве, братстве, а сам укладывается в партию, всякий партийный человек — мещанин, всякий рассуждающий поэт — мещанин.

Еще вот что: всякое разделение сопровождается мещанством, отделяется Украйна — мещанская, волость — мещанская. И разделение царской власти непременно должно сопровождать мещанство — индивидуализм — домик личности — мещанство (несвобода).

Есть у нас такой обычай, когда льется большой колокол, пустить для звучности в обращение по городу какую-нибудь выдумку.

Как подумаешь теперь о всем, что говорится в провинциальных городах перепуганным населением, кажется, будто где-то льют небывалый в мире царь-колокол.

Полнится слухом земля: Рогатовские пастухи нашему пастуху рассказали, что в городе слышна была пальба из орудий; прибежал из города какой-то перепуганный рабочий: город весь в огне, на Ламской горе большевики, на Аграмачинской — меньшевики. А потом и пошло, и пошло, куда ни пойдешь в деревне — везде встречают:

— Ну-те, на Ламской горе большевики пушки навели, палят, а на Аграмачинской — меньшевики...

Батюшка приехал из города:

— Большевики победили, полная победа! начались казни, хватают и расстреливают, хватают и стреляют.

***14 Июня.*** Инспектор женской гимназии Щекин-Кротов виляет нашим и вашим, крутит и мутит, как сукин кот.

Константин Николаевич Лопатин: в хронике «Советской газеты» петитом напечатано, что за контрреволюцию и шпионаж расстрелян.

Террор. Веселый Ив. Серг. Кожухов состоит в одном только тайном обществе: развлекать дам от уныния и страх держать про себя. Легенда о литье колокола в Орле. Колокол льют...

Его останавливают на каждом шагу, а он: — жив! Вот успокоил: а утром газета: расстрелян.

Френч и Галифе с револьвером в руках наготове ведут мещанина в пиджачке, человека лет сорока, измятого, избитого, за ними человек десять красногвардейцев с винтовками на изготовку. Ведут.

Лучшая гостиница превращена в тюрьму для контрреволюционеров.

Галифе из Чертовой кожи.

В мещанской слободе стали обыски делать: искали сахар и оружие, брали все. Мещане собрались с духом и то-

порами зарубили трех красногвардейцев. Диктатор из стражников императорского правительства выставил против слободы всю артиллерию с пулеметами и, обернув орудия к небу, сам разъезжал на вороном коне три часа подряд.

Тут все поняли, что такое диктатор.

Хоронили убитых на Сенной площади, как на Марсовом поле, против Народного дома, выстроенного либеральным помещиком. Из буржуазных квартир вынесли цветы и сделали вокруг могилы каре из пальм, лавров и других вечнозеленых растений. Возле могилы венки с надписью: «Проклятье убийцам!» Диктатор при салютах из орудий и пулеметов говорил речь и клялся на могиле, что за каждую голову убитых товарищей он положит сто буржуазных голов.

После на могиле остались десятка два солдат, один говорит:

— Коньячку нельзя, а рому я тебе [могу дать].

Другой ответил:

— Давай хоть рому.

Третий, тыкнув на могилу:

— Надо какую-нибудь загородку сделать. Так не оставлять, а то коровы растопчут.

Вечером пригнали коров, которые опрокинули пальму. Пугнули старуху, а она:

— Господи, вот так убьют и, как собак, зароют на Сенной площади.

На другой день начались аресты. (Льют колокол.)

Разоружена милиция.

Не знаю, чья рука убила их,
Но мысль твоя направила ту руку.

(*Шекспир.* Ричард III)

На могиле, проклиная буржуазию, диктатор говорил, что час его близок, и сам плакал над своей участью: он

был в одно и то же время и распинатель, и распинаемый, и сам себе мироносица. Бабы плакали горько. Красногвардейцы в каждой паузе стреляли в воздух из пулемета. Революционная организация возлагала венки с надписью: «Проклятие убийцам».

Твой Ричард жив: он души покупает,
Он в ад их шлет. Но близится к нему
Позорная, всем радостная гибель,
Земля разверзлась, демоны ревут,
Пылает ад, и молят силы неба,
Чтоб изверг был скорей из мира взят.
Кончай скорее, праведный Господь!
О, сокруши его и жизнь продли мне,
Чтоб я могла сказать: «Издохнул пес!»

(*Шекспир.* Ричард III)

Когда мужик чересчур изворачивается, другой говорит: — Что ты лапоть обуваешь: так, нога суха!

П о л и т и ч е с к а я   э к о н о м и я. Я   и   м и р. Коля, положение наше такое: мужики делят наши одежды.

Состав нашей и, вероятно, всякой деревни: официальный кулак, лавочник, теперь кооператор. Середина, крепкое звено, пересохшими губами стремящаяся припасть к буржуазной чаше. Все остальные: зажатая беднота, бывшие батраки, старики богобоязненные и всякие тихие, бессловесные в обществе люди.

Комитет сдает в аренду мой сад. Мне его снять нельзя, потому что не устеречь, всё разграбят. Кулаку снять тоже нельзя: и ему не устеречь. Снять всему обществу невозможно, это значит, пустить всех нарасхват к саду, никому ни яблока, ни травинки не достанется, траву выдерут бабы, яблоки обобьют дети.

Находится боевой человек Архип, по природе полицейский, тип «держи и не пущай», по размаху мог бы стать большевиком, но по степенству, солидным годам заявил теперь, что он — правый эсер. Архип собирает товарище-

ство: таких же, как он, из середки человек десять и на прибавку пару воров, примыкающих к большевикам.

Снять сад вообще теперь дело рискованное: все понимают, что Комитет едва дышит, завтра владельцу могут вернуть права, и деньги пропали, 50 рублей с товарища. Но ничего, можно рискнуть, скосим через месяц, удастся траву убрать, и то оправдается.

Мой дом находится в саду, возле дома сложены дрова и всякая хозяйственная утварь. Если какому-нибудь товарищу вздумается, то он может мне запретить даже из дому выйти. И так будет непременно, вот сейчас один из них своим грязным картузом зачерпнул из моей бочки и пьет. Мы говорим ему, что для питья нужно стакан спросить, а он отвечает: «Я человек незараженный!»

Так жить нельзя, и нельзя уехать с семьей: как теперь поднимешься, куда уедешь!

И ведь если уедешь, то все разграбят сразу, мало того разграбят — никогда уже не вернешься. Можно вернуться только вместе с земским начальником, но при этих условиях жить не захочется: пример Украйны, власть вернулась, а спокойствия нет.

Кажется, одна защита — сельское общество: сколько раз выручали они меня, старика, из беды, и меня тоже все почитают за человека.

Общество умывает руки: это не мы, это Комитет сдает.

Можно бы прибегнуть к последнему отчаянному средству: я собираю сход, привожу детей и говорю: «Получайте детей, я пойду побираться». Тут общество, вероятно, заступится, но ведь последняя сила у товарищей. Один из них пойдет в Комитет и перешепчется с председателем, тот перезвонится с диктатором — и вот у меня в сенях солдат с ордером: двадцать четыре часа сроку и воз добра.

Пилат. Общество крестьян всегда останется чисто, оно умоет руки и скажет:

— Во всем виноват Комитет.

В детской. Такое сельское общество, не такое ли всякое наше русское общество, не такая ли теперь вся Россия, и не будет ли такой вся страна, как детская, если детям сказать:

— Вы, милые дети, совершенно свободны, хотите, играйте с огнем, хотите, с водой, вы — наши начальники и управляющие, вы — наши родители и благодетели.

Все знают, что так жить нельзя, и всюду спрашивают меня: чем это кончится?

— Не знаю!

— Не может быть: знаете.

— Может быть, знаю, да не скажу: боюсь сказать.

Спрашиватель перед лицом своим отталкивает воздух ладонями:

— Не надо! Не говорите!

Напуганы мы: по доносам кое-кого расстреляли, и где могилы их, неизвестно, только в «Советской газете» петитом на последней странице в мелкой хронике напечатано по новой орфографии, что за контрреволюцию расстреляны такой-то и такой-то бывший гражданин.

***16 Июня.*** Вы говорите, я поправел, там говорят, я полевел, а я, как верстовой столб, давно стою на месте и не дивлюсь на проезжающих пьяных или безумных, которым кажется, будто сама земля под ними бежит.

Еще до войны я, помню, встретил одного крепкого богоборца из городских мещан — гранит-человек! Я не мог разделять даже в мыслях с ним веру в его новое божество, но сила его веры меня поразила, я и уважал и боялся этой силы. Я спросил его, как он этого достиг. Он мне сказал:

— Я обошел всю Русь, видел все страдание людей на Руси и разделил это страдание. Вы этого не видели!

Да, мы это не видели раньше, и что совершается теперь? — это язвы показываются: мы теперь, как тот искатель, ясно все видим и чувствуем прикосновенность к язвам этого русского человека.

То было в массе безымянной — Иванов, Петров и всяких безликих, и нам не было страшно, потому что моста от них к нам не было.

Теперь они господа и мстят за себя, и мы видим и понимаем теперь, что в то время для нас было закрыто.

Так, почти равнодушны были в нашем городе все, когда расстреливали за вооруженное сопротивление мещан из Аграмача — кто они такие, никто не знает, а верно, были люди... Но когда расстреляли председателя Земской Управы Константина Николаевича Лопатина и потом так же других и множество знакомых людей стали хватать на улице и отправлять в тюрьму, тогда поняли все, что мы уже в аду, и я, вспоминая того богоискателя, теперь начинаю тоже что-то понимать из его веры, как он явился на свет, и, сочувствуя страданиям людей, я понял, почему он так презирал того Христа, которого все называли и который никого не спасает...

Христос неспасающий.

Земля вздымается. Молочница в четыре часа утра проходила с мальчиком по тому месту, где в три часа на заре людей расстреливают, баба эта нам рассказывает, будто земля тут вздымается: живые, недострелянные шевелятся.

Что бабе чудится!

А нам и это хотят растолковать по-своему: красногвардейцы стрелять не умеют, конечно, живых закапывают и тонко засыпают.

— Тонко, тонко! — говорит баба, — кровь, везде кровь видна, и земля вздымается.

На углу я встретил знакомого, он моргнул мне и прошептал:

— Осторожнее!

Мы отошли к витрине магазина. Я сказал ему, что, вероятно, не диктатор расстреливал, что когда дошло до «буржуазии», то дело это вышло из их воли, и расстреливали просто солдаты.

— Тише, тише! — просил он.

И, склонившись к самому моему уху, шепнул:

— Сами!

— Кто сами!

— Солдаты отказались, сами стреляли: диктаторы.

Д е т и-ш п и о н ы: вокруг нас шпионы (мания).

В е т к а   с и р е н и. Там, где-то за Сенной площадью, между острогом и монастырем находятся могилы расстрелянных: настоящие ли это могилы, или просто ровные места со свежевзрытой землей, или какие-нибудь естественные ямы, никто не знает, какого вида эти могилы контрреволюционеров. Молодой купеческий сын покупает в Городском саду веточку сирени для барышни, и вместе они идут погулять к тому месту, где могилы. Что они видели там — неизвестно. Только когда они подходили туда с цветами, солдаты подумали: цветы несут на могилу, и арестовали молодого человека. Мать бросилась в комиссариат справляться. Ей сказали: «Его расстреляют».

За него похлопотали и скоро выпустили, а мать спрашивает теперь всех странно:

— Скажите, пожалуйста, я умерла, а почему же душу мою не отпевают?

Шпага старого нотариуса: два матроса спорили между собой, оружие шпага (принадлежность мундира) или не оружие. Решив, что оружие, они взяли шпаги и с ними продолжали обыск, наводя ужас на население.

Матрос открыл свой карман и показал ручку револьвера и сказал:

— А это ты видел?

К р е с т   н е   с п а с е т! Позвонившись к нотариусу, матрос сказал другому:

— Не бойся, я ложки мимо рта не пронесу!

Обыск, бутылки: ром или коньяк. Спорят.

— Да вы рому-то не знаете.

Обиделся:

— Я ром не знаю?

Найдя погоны, матрос сказал нотариусу:

— Я вас арестую, товарищ, это — погоны.

— Я их не ношу.

— Вы их храните для чего-нибудь?

— Так, храню для памяти.

— Я вас арестую... А это что?

Вынул ложечку-снималочку... память поездки с матерью-покойницей в монастырь. Матрос ухмыльнулся:

— С крестом... Крест вас не спасет, товарищ!

Вынул образок, опять ухмыльнулся:

— Благословение моей матери.

— И благословение не спасет... Ну, ладно! режем погоны.

Резать погоны!

Тут ворвались обе тетки с ножницами.

— Режь! режь! как ты смеешь? ты не один тут, не хочешь, ну, он сам.

И разрезали тетки на мелкие кусочки офицерские погоны.

Многие в провинции спрашивали меня, видел ли я когда-нибудь Ленина, и потом, какой он из себя и что он за человек. Пусть Ленин все равно какой, мне нужен в Ленине человек убежденный, честный, сильный, иначе я не могу себе представить картину, и когда я так говорю о Ленине обывателю, то и ему это знакомо и нужно: как при царе, царь-то ни хорош, ни плох, он царь, а вокруг него воры.

Узнав мое мнение о Ленине, мне говорят: а не могу ли я обо всем нашем Ленину рассказать, не вникнет ли он в положение по-человечеству.

Как же не вникнуть по-человечеству: вот обезумевшая мать... вот сирень, вот надругательства...

Я еду, и мне кажется, я что-то везу в себе Ленину, но по дороге в степи я мало-помалу начал думать о возложенной трудности [разговора] о том, что человечество [переспросит] о будущем. И когда я приезжаю в Москву... и что я могу сказать Ленину: о безумии Евгения.

Бог унес!

По дороге в Москву теряется жалость к отдельному человеку и торжествует общечеловек.

Бог унес меня из этого ада самого страшного, какой только мог привидеться во сне.

Б о г, у н е с и! У ж а с в о с н е

Сон мне снился перед отъездом, будто я лежу неподвижный и что-то ужасное совершается и наступает на меня с невидимой мне стороны, а собака — защитница моя видит и не лает от ужаса, а только всё пятится и пятится ко мне. Я говорю: «Понтик, Понтик, вперед!» А она все пятится, пятится и легла возле меня, будто спать, только голова туда смотрит, и нога задняя одна подвернута, и так, чтобы сразу вскочить. «Вперед! вперед!» — говорю. Она же как будто и не слышит, только нога эта дрожит, и все сильней и сильней.

С о н о р е в о л ю ц и и. Сны ужасные, быстрые, с подвижностью мчащегося урагана бывают за то, что тело человека лежит почти в могильной неподвижности...

Не за то ли и нам, всем русским, больше всех на свете народов досталось это ужасное время, что столетия м ы с п и м н е п о д в и ж н о.

Так пришла к нам революция — революция! Слово какое! А кажется, будто что какая революция, мы по-прежнему спим, и видим ужасное.

Я был у недр природной жизни человека, где человечество понимается жалостью, и возвращаюсь в большой город, где только воля и разум создают человечество.

Бог унес меня из этого ада, где тело человека, его земная связь, истязается, как в самом ужасном [сновидении] ада.

***17 Июня.*** Ради блага общего человечества происходит над живыми людьми жестокая расправа, а против этого из жалости к нашему человеку видимому начинается там и тут восстание.

Пытались и у нас восстать: с о б ы т и я.

***20 Июня.*** Кровожадная жена комиссара народного просвещения поклялась, что впредь расстрелов не будет, и эти люди, выпив всю чашу унижения и страха до дна,

успокоились, как после потопа, когда Бог обещался больше не топить людей и дал в знаменье на небе радугу.

Комиссар народного просвещения, чувствительный человек, исполненный благими намерениями, выпустил для нашего города три замечательных декрета.

Первый декрет о садах: уничтожить перегородки в частных садиках за домами и сделать из всех бесчисленных садов три: Советский сад № 1, Советский сад № 2 и Советский сад № 3.

Второй декрет: гражданам запрещается украшать себя ветвями сирени, бузины, черемухи и других плодовых деревьев.

Третий декрет: ради экономии зерна, равно как для осуществления принципа свободы выпустить всех певчих птиц.

В то время как комиссар народного просвещения сочинял эти декреты, кровожадная жена его у могилы трех растерзанных мещанами при обыске красноармейцев клялась, что за каждую голову убитых товарищей будет снесено сто буржуазных голов.

Так создалось в нашем городе, что в одном из номеров «Советской газеты» [крупно] на первой странице был напечатан декрет о певчих птицах и петитом на четвертой странице в отделе «Местная жизнь», что вместе с ворами и разбойниками расстрелян контрреволюционер, бывший председатель земской управы.

Душа обывателя уездного города устроена так странно: если в Москве от землетрясения погибнет сто тысяч людей, или взорвется Киев, Одесса, или вдруг исчезнет с лица земли целая прекрасная страна Франция, — что Франция! все человечество на земле, а знакомые и родственники целы в своем городе, — душа наша не дрогнет всей дрожью. Но если известного с детства человека, старого председателя земской управы, признают контрреволюционером, увезут куда-то и расстреляют, то становится страшно и непонятно простой душе, как вместе с декретом о свободе птиц певчих уничтожается жизнь человеческая.

Я объясняю это так: обыватель понимает жалость «по душам», «по человечеству», а умом и волей понять все человечество, ради которого родные и знакомые приносятся в жертву, этого он понять не может и ужасается.

Две недели они сидели в своих щелях и дрожали, перешептывая друг другу все новые и новые ужасы, пока в «Советской газете» не было напечатано, что осадное положение снято. Тогда они мало-помалу стали выходить из домов и, воображая тысячи шпионов вокруг себя, закупать провизию. Откуда-то появился в городе сахар по 1/2 фунта на человека, все ожили, бросились покупать сахар и передавали друг другу, будто кровожадная жена комиссара народного просвещения поклялась, что вперед расстрелов не будет. Услышав это, выпив всю чашу страха и унижения до дна, люди успокоились, как после потопа, когда Бог обещался больше не топить людей и в знамение этому дал на небе радугу.

У него нет ничего: отец-мать живут где-то далеко в провинции, живы или померли — даже неизвестно, десять лет не видел, жена сбежала, земли, капиталов никогда не было. Все, что есть — чемодан, жалованье за случайную службу — он большевик.

Получив власть и, так сказать, верховное освящение своей бездомности, они совершенно обнаглели и устремились как бы по высшему праву против святыни жизни живой.

В среду будет съезд советов, новое издевательство над волей народа. Хотя тоже надо помнить, что представительство всюду было издевательством над волей народа, и нам это бьет в глаза только потому, что совершился слишком резкий переход от понимания власти как истекающей из божественных недр до власти, покупаемой ложными обещаниями и ничего не стоящими бумажками, которые печатаются в любом количестве. Последний обман, по-видимому, будет в деньгах: мужики верят еще бумажкам, и этим держится вся финансовая система.

Нужно запомнить: при чтении «Вечного мужа» Достоевского представился наш мужик в образе этого «мужа»

и мое последнее отвращение к этому рабу — отвращение Вельчанинова.

Личная задача: освободиться от злости на сегодняшний день и сохранить силу внутреннего сопротивления и воздействия.

Да, нужно выносить жизнь эту и ждать, что вырастет из посеянного, Боже сохрани забегать вперед! если это необходимо, то оно в конце концов будет просто, легко и радостно.

Но вопрос: «Не люблю, как... а почему рука ваша?..»: одни начинают любовь с поцелуя пяток ноги, эти меняют женщин как белье, другие встречают ее в заоблачном мире в бесплотности и потом несмело целуют руку, встречают глаза, губы, и так она встает среди белого дня как видение, и тело ее, настоящее, земное, поражает, как осуществленное сновидение.

Это может случиться только в ранней юности или под самый конец, а середина существования наполняется какой-то жизнью под вопросом: посмотри, мол, как это у всех совершается.

Сказано слишком много: так разойтись и быть равнодушными друг к другу невозможно.

***2 Июля.*** Н. А. Семашко. «А. А.! мое впечатление от Н. А., что человек он очень страдающий, а не довольный. Потому Вам надо закрыть глаза на его политику и подойти к нему с человеческой стороны. Ведь если бы можно было ко всем настоящим большевикам так подойти, наш долг был бы это сделать, но это невозможно, и мы не делаем только потому, что невозможно».

Свинья, пожирающая своих собственных детей.

Какое плодовитое и вообще семейственное животное свинья, а вот нет-нет и уродится такая мать-свинья, которая пожирает своих собственных детей. Можно понять

такую бунтующую свинью: «Не хочу быть свиньей и только размножаться для зарезу, хочу против закона этого идти, пожираю в знак этого собственных детей!» Но еще, кажется, не было случая в природе, чтобы дети пошли на мать, это случилось в человеческом обществе, в России, дети пожрали мать свою.

У Елизаветы Ивановны муж — прекрасный человек, доктор, всегда занятый, любящий ее без памяти, и двое славных детей, Миша и Маня, и в общем средний достаток, но сама Елизавета Ивановна, по душе тоже чудесная женщина, была похожа на дом с открытыми окнами в ненастную погоду, когда ветер свободно ходит по дому, там хлопая окнами и разбивая стекла, там разбрасывая по комнате бумаги, там рассеивая по полу опрокинутый со стола табак.

Все в городе уважали Константина Карловича и, кто ближе знал, любили, никто не любил Лизавету Ивановну, все презирали, ее любил один только Константин Карлович и как бы следил за ней издали, прячась в тени.

Ее упрекали, главным образом, за то, что она всегда берется не за свое дело, всюду хочет «играть роль».

***5 Июля.*** За стеною живет крупный землевладелец со своей семьей, для существования он продает последнее: мебель, одежду, мелкие золотые вещицы. Но он твердо верит, что придет время, и он будет в десять раз богаче, чем был.

Приходит п-к Б. и начинает вопросом беседу:

— Как вы думаете, этот месяц еще продержится советская власть и прочее?

После него приходит Н. А. С[емашко], который говорит нам, что никогда не была так прочна Советская власть, как теперь. Никогда не было так плохо положение Германии, как теперь: Австрия погибает, Болгария вот-вот сцепится с Турцией.

Сущность моего протеста пока не осознана, но, вероятно, она имеет общую основу с тем индусом, который сказал, что они, индусы, не соблазняются гражданством, они

предпочтут отдать это гражданство другим, чтобы остаться индусами.

***8 Июля.*** Человек-муха. (Из дневника.)

Записываю и этот исторический факт <*зачеркнуто:* — убийство Мирбаха> — как он ворвался в нашу будничную жизнь, что показалось мне, человеку, не принимающему прямого участия в событиях.

В субботу, когда это произошло, мы ничего не знали, хотя живем вовсе не далеко от Денежного переулка, возле Храма Христа Спасителя. <*Зачеркнуто*: Хозяин нашей квартиры, интересный человек, художник, сейчас пишет портрет одной дамы. Пишет он, я так понимаю, лицо, которое встречалось ему, может быть, в юности, может быть, даже во сне, а позирует одна женщина, многим нам знакомая. Жена художника, большая хозяйка, кормилица наша, очень ревнует мужа к этой даме и дошла со мной даже до откровенности, до сердечных припадков и до ужасных скандалов с прислугой.> У них есть девочка двенадцати лет, Яничка, мы с ней большие друзья и часто сидим у окошка, обращенного к скверу Храма Христа Спасителя. Пойти вечером к окошку называется у нас кинематографом.

На дворе живет большой индюк, две курицы и очень тощий петух. Постоянно слышится оттуда пение канарейки. А левее дом, заслоняющий Пречистенский бульвар, нам виден сквер Храма Христа Спасителя и там, как гусыни, все больше дамы в белом и вообще буржуазия. Говорят, там и Мирбах гулял.

Нам виден в соседнем доме лысый человек Иван Карлович, он пускает иногда Яничке в окно стрелку и сам, будто не он, становится в глубину комнаты и оттуда (нам все видно!) хитро улыбается; это немец, обыкновенно занятие его у окна — пасьянс. В квартире повыше его живет атлет и почти голый, в сильном электрическом свете совершает свои упражнения. Вся душа его в мускулах, в чудовищных узлах, Яничка не понимает, как может нравиться такое безобразие. Упражняясь, он иногда кричит нам:

— Приходите завтра на состязание!

Выше атлета таинственное окно, березы, на подоконнике две розы, обои красные, но никогда никто у окна не показывается.

В субботу: мы ничего не знали, прекрасная дама позировала художнику, жена художника значительно мне моргнула на дверь, Яничку я спросил, как ей нравится эта дама.

— Она недобрая, но интересная.

— Мама не любит ее.

— У мамы есть свои причины.

Атлет совершал свои упражнения, в сквере плавали гусыни — как будто ничего не совершилось. Иван Карлыч прислал нам стрелу с письмом: он писал нам, что есть знакомый дом, с балкона видно все представления, и завтра, в воскресенье, человек-муха будет пролезать в замочную скважину всего в шесть дюймов шириной. «Приглашаю, — писал Иван Карлович, — вас всех и папу и маму посмотреть на сверхъестественное, как человек-муха пролезет в замочную скважину. Очень интересно. И познакомимся».

Вечером за чаем мы прочли содержание стрелы всем и смеялись и решили всех-всех заставить непременно идти смотреть человека-муху.

В воскресенье утром Иван Карлович раскладывал пасьянс, мы пустили стрелу о согласии. Художник нервничал, что его дама не идет, — хотелось работать.

Вдруг Евсей Александрович, знакомый журналист, приходит и объявляет нам: Мирбах убит. Потом — бух! — бах! — пушечный выстрел совсем близко, потом другой, третий.

— Как Мирбах? — кричит художник.

— Бах-бух! — гремели выстрелы.

— А это что?

Мы бросились к окну: от Ивана Карлыча остались там только карты — не кончил пасьянса, атлет исчез, быстро разбегалась из сквера буржуазия, пустынно стало в сквере. В пустоте — бах-бух! — раздавались выстрелы.

— Как Мирбах, как Мирбах? — повторял художник.

Журналист почти ничего не знал или говорил такое, чему никак нельзя верить.

— Ну что же теперь делать, надо идти на улицу, узнать...

— Никуда, никуда! — твердила жена художника.

Художник рвался, ссорился с женой, я понимаю его: тонкой кисточкой привык он каждое утро соединять свиданием прошлое с новым, живым, как прошлогоднее семя незаметно прорастает, и вдруг — бах-бух! — как-то, право, нет ничего, даже улицы пусты, даже сквер пуст, и ничего не известно: вот жди какого-то всеобщего бах! бах! — Мирбах.

Жена художника, которая всех кормила, будто зубами в нас вцепилась, как будто она даже торжествовала, как будто ей все это на руку было, она царица над нами:

— Никуда не пущу, никуда не пущу.

После ахнуло: бах! бух! — на дворе рядом лаяла собака, болтал индюк, кричал петушок. Канарейка пела, ни на что не обращая внимания.

Странные часы мы провели в это воскресенье: мне казалось, в этой пустоте весь рост жизни остановился, цветы не цвели, трава не росла, всеобщая была пустота, и в пустоте: бух-бах! — всеобщей — Мирбах.

Потом как все стало удивительно: сначала прекратилась стрельба, потом пришли кое-какие газетные сведения, улицы наполнились, в сквере показались дамы в белом, около пяти к нам позвонил весь расфранченный Иван Карлыч с букетом цветов, подал его Яничке и стал звать смотреть на человека-муху.

— Все кончено, все кончено! — говорил он.

Хозяйка успокоилась, мы поехали на трамвае и в самом деле видели с балкона, как в большой замок со скважиной в шесть дюймов пролез человек-муха. И все пошло по-старому (примеры).

Заключение: думаю, думаю теперь у окна, что же тут случилось, вот все живут, будто ничего, а что это было?..

Так что все состояние пустоты продолжалось в моей душе, как затмение, несколько часов: в одиннадцать был первый выстрел — бух! — пустота всеобщая — Мирбах, а уже

в шесть по моим часам человек-муха пролез в свою скважину.

Он не считает изменой жене какую-нибудь случайную связь в дороге («по нужде»), изменой считает, если он духовно полюбит. Наоборот, он охотно допускает духовную связь своей жены к другому и не простит ей мимолетную связь.

Какое же число-то? знаю, что по-старому июнь, по-новому июль, словом, где-то едем возле Петрова дня. Вот газета старая, еще до убийства Мирбаха, отсчитываю, выходит среда 10-е июля (по-новому).

Может ли из страдания человека одинокого выйти счастье, радость-спасение всего человечества? Или его радость — награда сама собой, а их счастье само собой, только потом, чтобы все на свете примирить и сладить, устанавливают, что страдание одинокого человека мир спасло. (Бульвар и отдельный человек. События и жизнь бульвара.)

***11 Июля.*** А. А. П. — буржуа. Голова.

Он был из купцов любовником, и настоящие деловые купцы говорили о нем:

— Александр Александрович у нас настоящий аэроплан, только разница одна: аэроплан поднимается и спустится, а наш Александр Александрович как поднялся, так уж и не спустится.

Придет, бывало, к нашему голове деловой человек с таким делом, что сделать нельзя (денег нет или мало ли что), как тут отказать? нелегко. Тут голова и поднимается и «о вообще», и пошел, и пошел, час сидишь, два сидишь, весь свет облетаешь с ним и не спустишься. А придет барыня за чем-нибудь, тут выход простой: барыне все обещать, ручку поцеловал и забыл.

Капитал от отца имел большой, вначале много «убивал» его в городские дела, заслужил себе почет, уважение, говорили, что самый умный человек у нас, первый самый. На широкую ногу жил и в саду своем большом прекрас-

ном такую завел чистоту необыкновенную, Боже сохрани папироску бросить, что папироска — плюнуть совестно. Ежедневно, бывало, человек двадцать баб сад метут. Так потом, когда пошатнулись дела и Александр Александрович, можно сказать, на нет сошел, и говорили:

— Промёлся!

В головы не выбрали, кормился кое-как у биржи, и тут-то маклер о нем говорил:

— Настоящий аэроплан, поднимается, летает, а спуститься не может.

Я думал, что в годы революции он как настоящий буржуй захрипел, пропал, а может быть, даже по своей летучей природе где-нибудь выступил и пропал за смелое слово. Вдруг встречаю его на Пречистенке — все такой же и даже как будто в столице расцвел. Все-таки я подумал, что тут он скрывает что-то:

— Почтение, контрреволюционер!

— Как, что? — испугался он, — я не контрреволюционер.

И оглянулся вокруг себя назад.

Оказывается, служит где-то председателем, да еще как хорошо, жалованье большое, дела нет, получает вроде как бы за представительство.

Насчет же России как-то просто необыкновенно и все с тем же, как бывало, либеральным задором, облетающим далеко всякого...

— России, — сказал он,— нет как России. И не будет, вот подождите международную конференцию, увидим: всё поделят, ничего не оставят. России нет совсем.

Дальше, дальше, выше, выше поднимается, часа ведь три продержал на бульваре, и что удивительно, что и тут у него выходит как-то необыкновенно оригинально и либерально в высшей степени, что России совсем не будет. И выходит это у него им (кому?) в наказание, а нам как бы в отместку: нам вроде хорошо летать.

Часа три я слушал-не слушал, спал-не спал, а сон видел, свой обыкновенный сон военно-революционного времени, будто вдруг разорвалось что-то, и весь город обрушился, я же почему-то цел один из всех и с любопытст-

вом смотрю на происходящее, хожу, рассматриваю, оглядываю.

У Игнатова. Россия в бездне, мораль забыть нужно, лишь как-нибудь из бездны выбраться... с первых дней революции мне было так, не верить (броневик, беспредельная мстительность), если бы не было 905 года, а то ведь я видел это, чего же мне ждать было?

Думаю о священности власти и экономической необходимости: Победоносцев, например, знал то же, что и Маркс, только тот создает из неизбежного тайну, а Маркс вывертывает все наружу: пожалуйте, смотрите! Это понятно: Маркс еврей, как всякий еврей, утративший чувство родной государственности...

Мостом между личностью и массой бывает известная атмосфера обмана, легенда, которой живет народ. Так в любви обманом-мостом бывает брак.

А это же знает каждая старуха у печки.

Бульвар живет, как поле трав: растет, а Боги гремят на Олимпе, они думают, что решают что-то, на самом деле приносят жертву росту трав.

***12 Июля.*** Человек, которому нельзя обижаться.

После того, как событие, которое все вокруг меня называли историческим, было, по официальным сведениям, ликвидировано, я пошел на бульвар в свое кафе и раздумывал: «Что им, этим людям, растущим на бульваре как трава, досталось от этого, прибавилось что-нибудь, изменилось, или там, на Олимпе, война сама собой, а тут все растет само собой?» Ко мне подсел старый мой приятель, человек высоко интеллигентный, вроде профессора, и после обычного обмена приветствиями и прочее сказал мне такой монолог:

— Самое ужасное в нашем положении, что я не имею права обижаться. Он — муж умершей, а мы незаконные дети, прижитые от любви. Вот видите, стоит просто голодный человек, он обидится и потом за обиду украдет

с легким сердцем или пойдет по улице и заорет: «Хлеба, хлеба!» Пусть его даже за это застрелят, но все-таки он свою обиду избыл, и в общем получается человек, равный самому себе. Но я обижаться на голод не могу: я знаю, что не одним хлебом сыт человек, что не в этом обида моя. В чем же? – спрашиваю себя. Меня задирает все вокруг, постоянно поскребывает, как уязвленного, по-настоящему обиженного человека, но в чем обида?

Вы знаете, был у меня хуторок, устроенный на трудовые деньги в газете. Рядом со мной хутор кулацкий, нас одинаково разорили, но он явно обижен, он, вижу, ходит в комитет, везде жалуется, протестует, и смотрю, его теперь уже сделали кооператором. А я за свой хутор обижаться, как тот кулак, не могу: хутор ведь не есть моя почва, это придаток ко мне, вроде развлечения, я не земледелец, а земля – народу, признаю, что народу-земледельцу, и по существу обижаться не могу. Где же самое существо обиды, чтобы встать, вот как этот голодный или кулак, и прямо действовать? Разве закрытый журнал, в котором я работал, но это дело тоже подобное хутору, завтра журнал можно открыть, между тем обида моя не погашается.

Пересчитав видимое, за что все обыкновенные люди в моем положении стоят горой, не нахожу обиду свою в видимом и перехожу «на вообще». За Россию, но за какую: с проливами или в старых границах, за Россию с Польшей и Латвией, с царем – или без царя, без Польши, без Латвии, без Украйны, Сибири, Кавказа. Тут начинается длинное размышление об установлении предметного существа моей родины, за это я, как за хлеб голодный или кулак за свой хутор, постоять бы мог; не могу предметно установить и в этом свою обиду, вот как французы стоят за свое la Patrie[1]. Тогда с этого среднего «вообще» перехожу на всеобщее «вообще», ищу коренную обиду свою в попрании личности, божественной природы ее: на это уж, кажется, я могу обижаться. И вот только стал на ноги: «Как же так, – раздумываю, – почему же я во время монархии и во время войны так сильно этого не чувствовал,

[1] Отечество (*фр.*).

понятно, как всякий наш интеллигентный человек, я стоял за личность и сейчас так же стою, но ведь нынешняя-то обида нынешнего происхождения, стало быть, я не на самом большом «вообще» стою, а на особенном в области моей индивидуальности». И тут опять сначала начинается: индивидуальность, я так понимаю, это домик, в котором живет личность, а если говорить о домике-индивидуальности, то прямо же и придешь к обыкновенному разоренному моему деревенскому дому, к закрытому журналу, словом, к тому, за что мне, интеллигентному человеку, позорно обижаться. Так выходит, что все вокруг меня обижаются и орут: «Большевик, большевик виноват!», а я, так больше всех их обиженный, права не имею обижаться и все подыскиваю, подыскиваю существо истинной обиды своей.

***17 Июля.*** Сержусь сам на себя и капризничаю. Спрашивается, отчего смута и отчего противоречия, — как будто сама не понимает: по обе стороны семьи, и тут это таинственное путешествие.

Письмо — это любовь по воздуху, как у Новгородского дурачка, который влюбился в дочь Соборного протоиерея «по воздуху» и потом посылал ей письма с адресом «Преблагословенной и Непорочной деве Марии», хотя на том же конверте приписывал: «Собственный дом соборного протоиерея о. Павла».

Кончится тем, что стыдно потом будет встретиться.

Достали масла и хлеба. С большим трудом Травина достала масла и хлеба и понесла вместе с мальчиком в тюрьму: половину себе оставила и половину ему туда понесла. Латыш им сказал:

— Его тут нет!

— Как нет, вчера был здесь.

— Говорю вам, нет: его ночью расстреляли.

Были тут крики отчаяния и проклятия, рыдания неистовые и такие слезы. А когда ушла женщина с мальчиком, то на земле остались пакеты, разделенные надвое, с хлебом и маслом: половина ему и половина детям, себе.

Все родовые интеллигенты и буржуазия страдают основным пороком, что не могут стать на точку зрения большевиков и судить их за это, а не за то, что вытекает как следствие из предпосылок.

Не говорю о кадетах, но и правые социалисты под шумок говорят теперь: «Глупыми были», — из чего тоже само собой вытекает: «Если вернется к нам, то не будем уж глупы».

Кафе журналистов. Все газеты закрыты, и новости узнать можно только в кафе журналистов. Посетители разделяются на две группы: одни информируют — хроникеры, другие учитывают — публицисты.

Тип матерого информатора Раецкий, важный мужчина, под сорок лет, рассказывает всегда так авторитетно, что новичку нельзя не верить. Вчера он уверял нас, что ультиматум немцев о введении охранительного батальона в Москву есть акт, связанный с Милюковско-кадетским соглашением с немцами. Потом нырнул к столику Мартова и через полчаса вернулся с совершенно противоположным толкованием, что речь Ленина и заседание ЦИКа совершилось post factum соглашения с немцами большевиков и все заседание — инсценировка.

Про Милюкова говорят, что Россию он не может продать, и все нужно учесть так: Милюков за немцев, Маклаков за союзников, и оба кадеты, и что посредством сложения получается всеобщий мир и торжество кадетской партии как посредницы.

Мелкие известия.

Чистополь занят чехословаками. Из Казани исчезают броневики. Ярославль окружен сводным большевистским отрядом из латышей, мадьяр, китайцев, финнов, всех, кроме русских. Город разрушен, одни трубы. Будто бы Вологда занята.

Общий учет: неизвестно, когда будет основная перемена, но перелом совершился: раньше большевистские войска всюду побеждали (братанием), теперь всюду разбегаются.

Быт Соломонов.

Минор. Каторга дала ему несколько углубленный взгляд, сравнительно с рядовыми Соломонами, но не дошел он все-таки до того единственного, чем побеждается большевизм. Вообще это скрыто сейчас в глубине России — то, чем побеждал Франциск Ассизский: пусть мучат — вот радость совершенная.

Соломоны на необитаемом острове не могут существовать — это специалисты по свержению самодержавия, их социализм как песня любви, которая обыкновенно исчезает, когда женщина стала беременной, все эти Соломоны сделали свое дело, Россия беременна, понесла, подурнела, бесится. И любовники ни при чем.

Троцкий — анархист-террорист.

Рассуждение Гершензона о ножичке в руках младенца, рожденного от хилого любовника, — против вечного мужа (странное): как только чкнул, так и перестал быть интеллигентом. Вся (мой случай с «крой дубинкой») сущность-то этого ребеночка состоит в том, что он чкнуть не может и должен страдать за грехи: это страдание нужно принять как состояние высшее, непереходимое.

Не забыть тоже его о солнце в колодце, это буржуазия на западе в своей культуре сберегла солнце (через собственность — силу).

Любопытно, что Семашко ненавидит интеллигенцию, непременно и должен ненавидеть, потому что как большевик он уже не интеллигент, он уже орудие в стихии: стихия против интеллигента. Но ведь и то святое начало (подобно Франциску Ассизскому) против интеллигента.

Спрашивается: кто же он, этот интеллигент, в чем его сущность: его цена и вина (у нас есть и такая видимая личность: Керенский, судить Керенского — значит судить интеллигента). Это, во-первых, любовник, чарующий словами (Февральская любовь), и против него, его прекрасных слов — «правда» вечного мужа: теперь оказывается, что это действительно правда.

Святая ложь февральских любовников и гнусная правда октябрьского вечного мужа.

Если кого-нибудь любишь и чувствуешь, там где-то алтарь — не входи туда, напротив, обернись лицом в другую сторону, где все погружено во мрак, и действуй только силой любви, почерпнутой из источника позади тебя, и дожидайся в терпении, когда голос тайный позовет тебя обернуться назад и принять в себя прямой свет.

Наказание любовника через Миф о человеке, беднейшем из крестьян: пусть нет такого человеко-класса в действительности (это иллюзии), но как существо, противное интеллигенту (любовнику), он должен быть создан и создался и действовал как гримаса вечного мужа (не забывать о Щетинине).

Говорили еще в кафе о личности: «Что вы все в личность упираетесь, да ведь они (большевики) тоже во имя высокой личности заводят свой коммунизм».

Минор, каторжник, говорит о Троцком, который грозится заставить буржуазию чистить нужник, — верный признак, что никогда не чистил и что это ему страшнее всего.

Как я спас в провинции одну семью от уплотнения: жили задом к городу в тоске, голоде. Нагрянула дама Петербургская с детьми (ссора с извозчиком). Я хотел ее отпугнуть от нашего места, рассказал об ужасах. В ответ на это она:

— Вы, конечно, принадлежите к партии народной свободы.

— Хороша партия, — пробормотал я вежливо, и вдруг мне блеснула мысль. Я продолжал: — Хорошая партия, я очень ее уважаю, только я к этой партии не принадлежу.

— Вы беспартийный?

— Нет, — отвечаю, — я один из вождей партии актуальных анархистов-террористов.

Дама испугалась и уехала.

— Да, блаженный человек! да ведь она нужна, канцелярия-то...

— Она нужна, слышь ты, и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна. (*Достоевский.* Господин Прохарчин).

— Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и не смирный, сгрубил. (Там же).

***20 Июля.*** Мещанин-индивидуалист и заступник интегрального социализма.

Забытый царь.

Вчера напечатано, что царь расстрелян «по постановлению» (областного Совета) и что центральный Совет находит действия областного Совета правильными. В «Бедности» же напечатано, что Николай Кровавый, «душитель» и т. д., «преблагополучно скончался».

Приехал человек из Самары и рассказывал в кафе журналистов, что в Самаре очень хорошо, население радуется порядку, всего довольно: пшеничная мука 35 рублей пуд, сообщение прямое обеспечено от Сызрани до Владивостока.

Спор Соломона союзнической ориентации с Соломоном ориентации Германской.

Все социалисты — блудные дети религии.

Один уверился в том, что сегодня он — чернорабочий, завтра проснется директором гимназии, как, впрочем, и действительно случилось многое в этом роде. Другой, копивший в костяной копилке своей знания, стал внезапно чернорабочим.

Нелепо в высшей степени с точки зрения производства и накопления культурных ценностей, но все-таки нить этого сновидения довольно ясно видна: очевидно, необходим какой-то новый увер человека в правильность сочетания того и другого состояния.

(Липа)... так мало-помалу она ему стала казаться двойной. Липа такая обыкновенная, неумолимая, враждебная

ему, с которой если только представить себе, что он с ней, то он есть ничто, пепел какой-то, вздор сумасшедших, а Липа другая, которая с ним «лучшая», и силу он для нее чувствует такую, что весь мир легко может завоевать, не только может, а он уже и есть весь мир его собственный. Для той, первой Липы нужно создавать «положение», и когда он об этом подумает, то он ничего, и другая Липа, открывающая чудеса. Когда же он обращался к ней общей — одной, то с испугом видел, что она сразу и хочет, и не хочет, она и прекрасна, и дурна... главное, что тут взяться нельзя для будущего... всякое на свете устроено так, что, например, лежит и, приложи руку, двинется или же не двинется, например, гора, но в то же время и ясно ответит, что «не двинусь», а тут было так, что гора ответила: «Хорошо, я двинусь, только зачем же двигаться, а впрочем, как вам угодно, я сама по себе и двинусь, и не двинусь, и сам ты, мой милый, подумай хорошенько: может быть, и не стоит того, чтобы двигаться...» Так он себе и раздвоил ее: Маша — дочь протоиерея и пречистая и пренепорочная Дева Мария.

Столинский с Марией Михайловной купил на Никитском бульваре «Правду» и, прочитав о расстреле царя, обменялись мнениями. Столинский сказал:

— Это нехорошо, потому что дает лишний повод к реставрации.

Более точная в суждении Мария Михайловна заметила:

— Это значит, что чехословаки близко от Екатеринбурга.

Состав большевистский: две группы, одна экспериментаторов (Ленин, Троцкий, Свердлов), другая «честных тружеников» (Семашко, Рыков), которые фактически веруют в Ленина, берут на себя весь крест дела (слова Семашко: «Совершается большое дело»). Потом идут маленькие люди (Стеклов).

Легенда в кафе: во французской миссии из Парижа получено радио, что Казань взята чехословаками. Хозяйка пришла, говорит:

— Троице-Сергиев Посад взят чехословаками, верно, верно.

Иван Карлович, немец, сказал по-приятельски: «Уезжайте, уезжайте», — и даже денег дал на дорогу.

Соломоны дома, в кафе забили меня, прибили до последнего росшибу, а тут еще поиски обедов, забота о вечерней еде — пропадаю, нет ничего.

Писем нет — обида или тот приехал, не знаю.

***21 Июля.*** Движение души в пустоту (Татьяны к Онегину). Почему-то забытое прочно вышло из сна: жена Сысоева, умученная Большаковым. Такая женщина (как Анна Каренина) должна ревностью замучить любовника.

Страшный суд: кофейная превращается в судилище 12 Соломонов. По-прежнему никто ничего не знает, но Соломоны живут, будто знают. Война сама идет, а Соломоны учитывают — учет (суд). Три группы: 1) информаторы-передатчики, 2) учетчики (политики), 3) Соломоны.

Две ориентации: легкомысленные (чехословаки — все чехословаки, Троицкая лавра) и кадето-немецкая: партия раскололась на две, чтобы, как раковинка, сложиться двумя половинками и захлопнуться.

***24 Июля.*** Русский народ по приказанию Троцкого снимает возле Храма Христа Спасителя безобразнейшее изваяние царя Александра III. Вокруг множество цветов и культурных деревьев, кремлевские башни-красавицы, из которых одна, со снесенной верхушкой, называется «большевистскою».

Царская фигура одевается изо дня в день лесами, человечек наверху возле короны копается, как лилипут. Статуя 1000 пудов веса, в туловище можно устроить спальню и кабинет, в сапоге выспаться человеку. На работу отпущено 20 тысяч денег. Раз уже пробовали снять его и не могли, теперь делают это планомерно под руководством архитектора, который дознался, что царь «составной». Вокруг шеи царя петля, канат спускается книзу, за концы

привязывают мачты и поднимают кверху. Общее впечатление такое, что вся масса лилипутов хочет царя удавить.

Действующие лица: малый лет 22-х — нигилист, рабочий лет за 40, говорит на «о», с севера, монах, буржуй с Москворечья, женщина-крикунья, немец, всякий черный люд, все они сходятся с разных сторон, высказывают что-нибудь по поводу царя, некоторые фигуры внезапно появляются со стороны Москвы-реки из-под низу с лесенки.

Рабочие на отдыхе:

— Нужно командира такого выбрать, чтобы нет ничего и никаких (не царя).

— Что же, Ленин не командир?

— Ленин? свергаем, стату́я ставим, нам командир такой нужен, чтобы нет ничего и никаких.

Из толпы:

— Ленин! а кто у нас теперь сыт, кто не ограблен?

Музыка играет марш похоронный, показывается вдали белая катафалка.

— Что это белое, попы или девушки?

— Гроб везут — какие попы.

— Без попов? Ну, так комиссара хоронят.

— Гокнулся комиссар!

— Подсолнух!

Нигилист:

— Конечно, подсолнух, в реку его и никаких, нет ничего и никаких, а они еще музыку разводят.

Рабочий за 40 лет:

— Товарищ, нишь можно так, это выходит стату́й, и нет ничего.

— А я что говорю: чтобы никаких, а то говорят: управляющие, мы управляющие, и тоже бьют, нишь не бьют?

— Так это всегда было: и раньше били, и теперь бьют, и всегда будут нашего брата бить, потому что без этого нельзя.

— Ничего не нужно: к стенке — и готово, или трехдюймовку поставим.

— Ты меня, я тебя, это не способ, никогда не поверю.

— Чего же тебе-то надо?

— По мне, чтобы без оружия, вот когда без оружия будут жить, тогда я поверю, а то все одно: царя свергли, царя <*приписка:* комиссара> поставят — Ленина, [коммисара] все одно, а чтобы нет никого и никаких.

Внезапно из-под ступенек вырос монах.

— Нечестивцы, что вы делаете? сына застрелили, отцу веревку на шею повесили!

— Да нишь мы, вот чудак, нам, первое, велели, а второе, мы есть хотим.

— Проклятые, за кого же вы стоите?

— А ты за кого?

— Я за мощи святителя.

— Не мощи, а мышь.

Монах с проклятием уходит, в толпе голос:

— А кому он вредит, кому статуя мешает?

Рабочие:

— И мы то же говорим, вреда от него нет никому, по мне стоит и стоит, какой вред от статуи...

— Дурак, ты не понимаешь: это место очищается: был царь, Ленина поставят.

— Командира.

— Так и пойдет, только это снаружи всё, пока без оружия не будет, не поверю.

— Затвердил: без оружия, тебя не задевали, а вот посмотри.

Развернул рубаху, показывает против сердца заживший широкий рубец.

— Кто это тебя?

— Никто: партия. Неужли ж я это оставлю, как ты думаешь, оставлю я или нет?

— Задело-то, задело.

— Меня задело, а ты где был?

— Я работал.

— И я работал, нет, я спрашиваю тебя, могу ли это дело оставить?

— Да на кого же ты пойдешь?

— На партию.

— Какую партию, ты скажи, кто?

— Почем я знаю: задело и всё, и я задену, а тебя не задело.

Собирается большая толпа, выделяется голос женщины:

— Свободу дали нам, а хлеба не дали, на черта нам эта свобода!

Большевик:

— Иди на работу.

Поднимается в толпе шум, крик:

— Давай работу!

— Возьми: ты сам не идешь.

— Врешь, врешь!

— Нет, ты брешешь: вы работать не хотите, а не мы виноваты, работы много.

Женщина, всех подавляя визгом, выпалила:

— Проклятые! нашли работу хорошую, царя давить, работа! Всех вас эсеры перевешают.

Из-под ступенек вырастает буржуй в синем пиджаке, с воспаленными глазами и кричит:

— Работайте, работайте, скоро придут немцы, всех вас перевешают.

С верхних подмостков из-под короны кричит оборвыш, показывая на топор:

— Вот что, вот что будет, вот что немцу.

Тогда показывается немец и кричит:

— Не верьте, не верьте, немцы придут с порядком, от немца плохого не будет никому, вот только ему, ему.

Показывает на верхнего, тот показывает топор:

— Этих били тысячи лет, и пройдут еще тысячи, всё будут бить, потому порядка от них быть не может, они дрянь, их нужно бить.

Материалы. Замысел художника такой, чтобы отец был похож на сына и сын на отца, взглянешь с одной стороны — Александр, взглянешь с другой — Николай, как будто старинный пасьянс раскладываешь: Александр умирает, Николай рождается, или читаешь длинную главу из Евангелия о том, кто кого породил.

— Сына застрелили, отцу веревку на шею.

Женщина: — Осьмушку нам сегодня не дали!

— Кто довел?
— Спекуляция. А разобрать, где спекуляция, — нет ничего; человек, а разберешь человека — нет ничего: ни спекуляции нет, ни человека нет.
— Кто же довел?
— Голод.
— А голод откуда?
— Война.
— [А войну кто начал?]
— Буржуи.
— Теперь нет буржуев, отчего же нет ничего?

40-[летни]й хочет выразить мысль о вредности классовой борьбы, словами: гокнулся и зарыли — надо развить это.

Почему народ гуляет-лежит?

К стенке, к стенке! — твердый нигилист.

— 20 тысяч рублей и три недели, чтобы разобрать, и сто тысяч и три месяца собрать — одна
с а м о т о х а!
— Вы прекрасно рассуждаете, разрешите мне закурить... чувствительно вам благодарен, [позвал, спросил], а кто здесь...
— Вот стоит дураком: что он понимает.

Работа не клеится, работают как мухи и не знают, из-за чего всё, кому эта статуя мешает.
— Партия — это как родня моя — стоит за меня родня в деревне, если кто обидит, так и партия стоит за меня, партия — друзья-товарищи, и ежели чужая партия, то я тож не разбираю, где какой человек, партию общую — богопартию.

Подождите, вот скоро эсеры придут, всех вас перевешают.

Нужно стоять в стороне, кто не задет, и поправлять.

— А кто не задет теперь?

— То-то и я говорю, тут к тому идет, чтобы каждого задеть и растравить, чтобы уж, он не мог больше поправлять и [укрывать], а тоже бы в партиию [мог], и так не осталось бы ничего: партия на партии[ю] и никаких.

— И никаких!

40-[летни]й стоит то за царя, то за Ленина, слежу, как повертывается нигилист.

Вся особенность Христа была в том, что шел сам и упреждал жизнь, а наш человек живет до тех пор, пока его не распнут, все на что-то надеется, чего-то дожидается, авось минует, авось пройдет, и глядишь — вот нет ничего:

— Пожалуйте к стенке.

Какое-нибудь удостоверение достать бы, что я из Москвы еду в Елец по литературному делу, например, для изучения церковных архивов, и кто мне это может дать, говорят, Валерий Брюсов!

— Как Валерий Брюсов, при чем он?

— А вот! — Показывают мне разрешение и газету «Возрождение», — назначили Валерия Брюсова.

— Да это не тот!

***29 Июля.*** Творчество мира. Под вечер выхожу к набережной Храма Христа Спасителя и смотрю на Кремль, в который я, русский человек, теперь больше войти не могу. Там среди дворцов, белых высоких храмов далеко блестит золотая, новая и до смешного маленькая главка церковная, как будто это новая вот-вот только проросла из земли или вылупилась, как цыпленок.

Мне кажется, это не измена, как многим кажется, это легкомыслие: полюбил, отдался, запутался в чувстве, выбрался кое-как на простор и теперь думаешь, где же это я бродил, как это вышло, вспоминаю — да вот как!

Творчество мира. Царь без скипетра с отнятыми руками стал много лучше, вид его мягче. Крылья поворочены.

Что бы там ни говорили в газетах о гражданской войне и все новых и новых фронтах, в душе русского человека сейчас совершается творчество мира, и всюду, где собирается теперь кучка людей и затевается общий разговор, показывается человек, который называет другого не официальным словом «товарищ», а «брат».

Эта маленькая церковь поднялась чуть-чуть от земли, и кажется, только что проросла. Возле меня говорили о Москве, вот как чудно все — француз Москву сжег, а теперь француз наш друг, можно ли верить, что француз наш враг или друг.

— Кто же он нам?

— Никто.

— А этот?

Показал на «стату́я».

— Был царь... только ведь поставь тебя на его место, и ты тоже сам объявишь: нынче француз враг, завтра — друг.

Подходит красноармеец:

— Товарищи, расходитесь!

— Ну вот, видишь: вчера был рабочий, нынче власть перешла ему, ходит с оружием и делает то же самое дело.

Показал на царя и к солдату:

— Братья, зачем вы так поступаете, подобно стату́ю-царю, который, считается, принес народу вред.

Путаница.

— Вы не понимаете: наедут советские, увидят митинг, вперед меня арестуют.

Ожесточается на то, что не может ответить, и разгоняет.

На площади разговоры продолжаются.

— Я, — говорит один, — теперь уж на вашу площадь не пойду, пусть убьют — не пойду.

— Товарищи, я не против этого, я только заметил, что вы его братом назвали, — какой он вам брат?

— Конечно, брат.

— Тогда и царь брат?

— И царь.

— Вы рабочий, выходит, у вас с царем отец один?

— Конечно, один.

— Почему же тогда выходит гражданская война?

— А почему бывает: двое жили-жили вместе и подрались?

— Подрались, и вы считаете их за братьев?

— Да здравствует гражданская война!

— Долой оружие!

— Товарищи!

— Брат мой!

— Я вам не брат: да здравствует гражданская война!

— Я вам не товарищ, а брат: долой оружие!

— Подумайте, что вы говорите, какое государство может существовать без оружия, где есть на земле такое государство?

— Есть, есть такое: там люди живут, работают, пашут, скотину разводят, торгуют, а воевать — нет! махонькая страна такая...

— Финляндия.

— Ну, хоть бы Вихляндия.

— Воюет; жестоко... и другие воюют.

— Нет, эта не воюет.

Публика догадывается:

— Швейцария!

— Я говорю: есть, есть такая страна, где не воюют, хоть бы вот эта самая махонькая Вихляндия, значит, можно же так.

— Ну хорошо, товарищи, ответьте прямо, если на улице двое дерутся — что вы сделаете, как остановите?

— Я стану между ними и скажу: «Братья мои! не деритесь!»

— А не послушаются?

— Другой придет, сильнее меня — остановит.

— Ну хорошо, он остановит, враги помирятся, поцелуются, и один пойдет в особняк, другой в подвал, и опять все по-старому.

— И очень хорошо!

— Капиталист будет опять наживаться.

— Почему наживаться: ему, может быть, нужно долги заплатить, а не наживаться, это смотря какой капиталист, капиталисты разные.

На дорожку теснится к цветочной клумбе. Выкрик из толпы:

— А когда же конец войны?

— Гражданской? когда будет один класс.

— Когда это будет?

— Когда?

— Брат мой, никогда не будет конца, вы проповедуете вражду и зло.

— А вы мир, который хуже войны.

— Я проповедую мир с братьями и войну с самим собой.

Тогда вдруг поднимается хохот в толпе, все хохочут. Через толпу пробивается белый старик, сторож сквера, с вынутой из решетки зеленой палкой с гвоздиком на конце и разгоняет палочкой с гвоздиком всю толпу, приговаривая:

— Я вам дам траву мять, я вам дам цветы топтать!..

С хохотом расходятся все. На лавочках буржуазия, барышни говорят:

— Занятно, познакомились с народом.

— Стало быть, выбран.

— Кто его выбирал?

— Триста лет прошло: память потерялась.

— Нет, ты вспомни, кто его выбирал?

— А ты мне скажи, кто нынешних выбирал, тех, кто теперь царя снимает?

— Рабочие и крестьяне.

— Так-то ли, брат мой?

Сегодня издевательство над «стату́ем» дошло до последнего: на шее веревка, к носу приставлена лестница, между створками короны, там, где раньше крест был, теперь человек копается, будто в мозгу, и водружает наконец туда мачту.

— Недоволен, сердится!

— Еще бы, раньше, бывало, приходили старушки и крестились на него: он задом к храму сидит, а они крестятся на него.

— Задом к храму, лицом к трактиру.

— Кто же нас теперь оборонять будет!

Матерая женщина с умным крепким лицом уговаривает сидящих на каменной стене горничных:

— Милые мои, а служить все равно надо, я двадцать пять лет у господ жила, и никто меня не обидел, оттого, что я себя знаю, я такая ведь: самовар зажгла, чай засыпала, пока чай настоится, я двадцать дел переделала, кто с меня спросит и кто посмеет обидеть?

Нынче царь стоит без скипетра, руки нет, вместо руки дыра, лестница из-под носа убрана, веревки на шее нет, без скипетра, без рук вид его много лучше: мягкость, кротость, лицо его становится похоже на лицо человека, который только что в ужасных мучениях умер, и лицо его, искаженное страданьем, мало-помалу начинает светлеть, устанавливаться.

*В Москве:* ***25 Июня – 29 Июля.*** Встреча с Семашко и пересмотр большевизма, конец немцам.

Гершензон – уют, диван, дом коммуны, тринадцатый Соломон, солнце в колодце. Брюсов: болезнь его, на службе, в особняке на бульваре. Вячеслав Иванов: «Богоотступничество и "пуп отрезать от Бога"«. Профессор геологии Иванов: «Стату́й безвреден». Вячеслав: «Стату́й жив, если его разбивают, значит, жив!» – «Стату́й безвреден: я двадцать пять лет в Москве и ни разу его не видел». Анна Николаевна Чеботарева сказала о Москве и Петербурге Алексею Толстому: «Я патриот Москвы!»

***31 Июля.*** Вчера, 30-го Июля, мы подошли к памятнику – головы уже не было, как в «Руслане», голова огромная – десять наших голов – лежала среди груды черных частей «стату́я», мальчишки в пустые глаза бывшего царя

просовывали кулачонки, хватали за усы, все было похоже на часть какого-то фантастического поля сражения, с огромной головой и рукой, сжимающей скипетр, сам стату́й без головы с торчащей из шеи мачтой был страшен, как огромный обезглавленный труп, а сегодня он без плеча кошмарно страшен.

Последние наши слова о памятнике, что давил он, как низкий потолок давит голову.

Поднимается какая-то новая политическая волна, мы снова накануне чего-то и снова из всяких мелких случаев готовы создавать себе перспективу какого-то освобождения.

Редко бывает так — складывается, что если можно, то это и нужно, счастлив, кто жил так и не одумался и живет так до последнего часу своего...

Наверху — опираясь на мрамор, стоял седеющий господин в ожидании (памятник разбирают), дама, он спустился, поцеловал руку и, взяв под руку, подошел с дамой к памятнику. Что видели, что слышали? и потом ходили цветником и скрылись в Староконюшенном.

***1 Августа.*** От царя остались только кресло и сапог. Рабочий большевик собрал митинг и говорит, что, может быть, скоро мы погибнем, но не погибнет... он не мог найти подходящего слова, ему подсказали: «идея».

Максималист с чехословацкого фронта, мальчишка, рассказывает с наслаждением о победах, расстрелах, они спасают Россию, и хорошо это, но зритель оставляет душу свою на стороне погибающего...

Из слухов, написанных на листе в кафе журналистов: Петербург взят англичанами — нелепица!

***4 Августа.*** В «Русских Ведомостях» было напечатано тогда, что правительство собирается ассигновать сколько-то миллионов на пополнение русского флота.

Я говорю матери:

— Вот безобразие!

Она говорит:

— Нужно же защищать государство!

— Нужно, — отвечаю, — эти деньги тратить на обучение народа, когда народ просветится, он поймет социализм, и тогда защищать государство не будет нужно.

Теперь тот же разговор вели между собой Россия-мать и Керенский-сын.

Николай Дмитриевич Кондратьев. Блудный сын возвращается: он смертную казнь признает, выходит из партии, хочет основать крестьянскую демократическую газету — он больше не интеллигент. Большевик Семашко другим путем возвращается: через демагогию падая в стихию народа.

Явление максималиста с чехословацкого фронта.

Потому максималист, что ценным считает действие, а не слова. Как он расстреливал комиссара:

— К стенке!

Тот умоляет, клянется, что он будто против большевиков.

В него стреляют, он падает, но еще жив, в него еще раз стреляют, и, умирая, он бормочет:

— Да здравствует советская власть!

Русский социализм характерен отказом от личного — если завязывается личное, даже, например, художественное творчество — социализм прекращается. Это общее дело: интернационал — общее дело, отечество — общее дело.

Отечество и Социалистическое Отечество.

Написать действующих лиц русской революции.

***6 Августа.*** Политика стала личным делом такой же ценности и необходимости, как обеспечение своей семьи мукой, чаем и всякой всячиной, необходимой для ежедневного проживания. Наша хозяйка уехала с детьми отдыхать в Тамбов, и мы без нее должны сами хозяйствовать: убираем комнаты и разговариваем о чехословаках.

***8 Августа.*** У Вячеслава Иванова: богооставленность (богоотступничество — как Горький), жить без Бога (как бы...), или же это демонизм, то есть переход на ту сторону плана мироздания... Совершенно над тем же думает и Мережковский...

Соломон от русских: Водовозов.

Сосуществование двух начал жизни в русском человеке и как это намечается для будущего: ярославский мужик.

Москва

Дворянская Россия. Арбат. Мраморные ступени и тень дворянина с дамой у памятника — давящий коло́сс и уют Гершензона.

Разбор царя (красное).

Удалые мешочники.

Мужик, прячущий хлеб (строитель жизни — Зевс).

Хамовоз.

Жизнь бульвара.

В комиссариате Народного просвещения:
— Кто вас уполномочил заниматься этнографией?

Появление максималиста.

Послы уехали — что это значит?

Верхняя палата: Вячеслав Иванов, Бердяев. Гершензон: богоотступничество или подмена Христа Антихристом.

Выход из интеллигенции: Кондратьев — блудный сын, и чехословаки, и Семашко против интеллигенции.

Бердяев: Антихрист.

Гершензон: большевик *<2 нрзб.>*.

Столпнер: *<3 нрзб.>*.

Вячеслав: богооставленность.

У. Бердяева: Струве — кадеты виноваты, Антихрист и проч.; революция и война показали вздор религии человечества *<4 нрзб.>*.

Карташев — вот и революция показала вздор гуманизма.

Кафе журналистов: глупые Соломоны, Россия в бездне, кто вытащит — германская ориентация: чехи симпатичные, а там (немцы) солидные. Вдруг бомба — немцы слабы, немцы разбиты...

Я, зритель трагедии русской, уже начинаю в тайне души сочувствовать бешеным нашим революционерам, и грядущее возрождение уже смущает меня, и свое «не простить» я часто забываю. Все равно: они не простят.

С тревогой передал Столинский, что на чехословацком фронте в Самаре появился Чернов с проповедью нового интернационала.

Ульяна! была Светлана, была Татьяна, и теперь Ульяна — какое чудесное имя, как это подходит к ней! Так это и пойдет теперь — ему полное христианское имя с отчеством, с кухней и детками, а со мной моя неприкосновенная Ульяна.

Только теперь, посмотрев на Александра Михайловича, понимаю — какое счастье, что я не оказался вором — нет!

Не забыть, что когда я ходил по улицам, утратив близость Ульяны, то моя литература мне перестала быть тем, чем я считал ее: живой, она стала пустой, «литературою», и я как литератор чувствовал себя как Онегин, а ее как Татьяну. Между тем, я думал это делать для нее. Так, вероятно, и всякое геройство, обращенное к сравнению с жизнью, — пусто. А то бывает, что герой, высосав всю жизнь, обращается к ней и видит пустое место...

Поэма «Онегин» — проверка (проба) героя на жизнь.

***17 Августа.*** Елец. Над колокольней луна половинная. На улицах люди забитые, запуганные. Мы говорили про

Японию, что хорошо бы в Японию. Но куда же сейчас? «Извозчик! прокати!» — «30 р. за полчаса». — «Ну тебя!»

Ищем другого, вдруг возле нас выстрел. Ей страшно: «Кого-то, может быть, убили, а мы...» — «Нет, лучше найдем где-нибудь камушек у чужих ворот, посидим». А я чувствую сладость пули, пусть попадет, но только в меня... Садимся на камушек. Вот человек переходит дорогу, направляется к нам, осматривает нас как хозяин вечера, походка его совсем особенная, будто он у себя, хозяин идет по своему хозяйству, и луна над калиткой, и звезды, и темные кроны деревьев — всё его. «Да это ночной сторож!» — сказали мы вместе. И в ту же минуту колотушка заколотила. Это сторож ночной.

Милая, не бойся счастья, желанная, не бойся жизни, сердце мое, смерти не бойся.

И так подходит девятый вал, за ним берега новой земли или пропасть.

С т р у н ы з в е з д и с е р д е ц. Хрущево. Гнездо мое опозорено, а ветер шумит тот же самый по тем же деревьям, в этих Тургеневских аллеях с самого детства она жила как Грезица, и вот теперь в это время это она является вопреки всему, наперекор, нежданно, негаданно.

Дорогая, теперь все мое пишется Вам, как письмо, раньше я понимал литературу мою как распятие страсти на бумаге (несчастье), теперь я так нахожу, как еще не знаю, буду о всем писать Вам.

Я весь затаился, ушел в себя. Мне больно и вместе радостно: боль и радость перемешиваются, и не разберешь, где что. Счастье мое в Вас, горе-беда на стороне и где? я не знаю, только не в этих милых людях (Александр Михайлович, Ефросинья Павловна, дети). Мне все кажется так: эта жизнь — ужасный кошмар и стала такой потому, что люди оборвали с т р у н ы з в е з д и с е р д е ц. Вы понимаете? Звезда и сердце человека — это близкое в дальнем: звезды темною ночью, будто кровью налитые, как сердце, сжимаются и разжимаются. Вы замечали? Теперь наши звезды и сердце разорваны. И вот остается одна пау-

тинка тонкая-претонкая, серебряная, дрожит, колышется, вот-вот оборвется.

Что такое девятый вал?

Перевалишь и останешься – кто знает? – где-нибудь в луже, а вал покатится дальше, и опять новый пловец будет мечтать, что за девятым валом – страна непуганых птиц.

Нужно: или отдаваться на волю девятого вала, или найти силу в себе заморозить все море с поверхности... (намеком я испытал это в «Свадебном (брачном?) домике»: сердце пылает, а тело как лед; и еще: губы горячие, а лицо побледнело).

То или другое, только не малокровный идеализм (так называемая «дружба»).

Муж (раскрыть понятие)

| | | |
|---|---|---|
| Насильник | – Сердце женщины | – Тихий гость |
| (Пан и проч.) | – (море) | – Алеша Карамазов |
| Онегин | – | Идиот и проч. |
| Общественный деятель | – | Поэт |
| Люди | – | Звезды |
| Соблазн (Демон) | – | Увлечение |
| Убийство | – | Любовь |

Невозможность брака

***18 Августа.*** Чем она ближе мне, тем яснее вижу, что его любить не могу: ведь я не поверю ни за что его самому теплому объяснению, потому что он устраняться не захочет, я же могу (должен?) устраниться, и у нас неравенство. Впрочем, «враг» получается какой-то отвлеченный, вроде как простому русскому солдату «германец» (он). Жизнь творит все по-своему...

Я думал ночью, что С. будет тяжелее, чем мне, во много раз, потому что я могу себя заполнить (даже в отчаянии) «чехословаками» – «арабами». Впрочем, «рыцарские» любовные мелочи (совместный французский язык и т. д.) – это для женской души может быть больше, чем для меня мои «арабы». Завтра уезжаю – не могу больше. Теперь при

подозрении <*зачеркнуто*: невыносимо> [втроем] жить, помимо всего другого невыносимо. «Могила».

Это дождь говорит, подождем, что скажет солнышко, и еще вопрос: есть ли подозрение... и какая ему цена. А могила... что такое могила? говорят, что «брак есть могила любви».

Зачем дождь! Так хочется в Семиверхи. Солнышко против нас, не хочет на нас смотреть.

***25 Августа.*** Отвез С., привез Фросю. Хронология событий: суббота 4 Августа, утром Василий позвал меня дров напилить. Пилю. Влетает С.:

— Приехала Ефросинья Павловна!

Мы — актеры. Осадок. Фрося приглашает С. в деревню. Воскресенье 5-го — дождь, я волнуюсь, что не приедут, и внушаю первое подозрение. Понедельник 6-го — дождь, посылаю лошадей. Вечером в половине пятого приезжают, она мне говорит:

— Это ужасно, я прямая, я не могу так... — и потом сразу: — Ну, давайте читать что-нибудь ваше.

Это у нас-то читать!

Смешной визит к батюшке. Вторник 7-го утром солнце — вырвались на прогулку с детьми и «пьяные» плутали в Семиверхах. После обеда Лидии мрачный визит (розы). Вечером прогулка в парках и в усадьбе Деденцевых. Среда 8-го — дождь, она примостилась на террасе возле моего окна, читает и разговаривает. Вызов Е. П. Вечером мои рассказы про места Тургеневские и кошмарная ночь — «Цвет и крест». Четверг 9-го она кормит детей, ее цветы и сверхвеселье (мысль: страшно сходить с ума одному, а двум вместе очень весело). 10-го (пятница) — безумие в Семиверхах, вечером с детьми возле елочек над прудами — «нежность». 11-го (суббота) в Семиверхах между деревьями, потом «за брюквой» и после обеда разговор, вечером горелки в Семиверхах и начало раздражения моего (причина: близость ее возвращения к мужу): бью кошку, собаку, ругаю детей, ночь — солома, огромная «жидкая луна», детский хаос, ночь глухая: луна и у последней точ-

ки. Воскресенье 12-го — поездка в Елец и возвращение в Хрущево.

Сойдешь один с ума — будешь сумасшедший — а согласно вдвоем — любовь и победа над всем миром.

Красочно и ярко. Раз я сказал:

— Это все так хорошо происходит, потому что у меня сохранился девственный уголок в сердце и я ведь так испытываю первый раз.

— Это верно, — сказала она (по отношению к себе).

Она уже теперь, наверно, забыла свои слова, когда я, помню, в самом начале, шутя, сделал предложение нашего тесного сближения:

— Я никогда это себе не позволю, потому что в душе моей есть какая-то окончательная доброта и я не в состоянии сделать несчастной Е. П.

Потом этот мотив у нее совершенно исчез без всякого воспоминания, и препятствием стало одно отношение к мужу.

Двор помещичьей усадьбы, уставленный зеленеющими от сплошного дождя скирдами, молотилка без действия, снопы расставлены для просушки, но по погоде вышло — для новой промочки. Низкие над дворами тучи, обещающие новый дождь. На крыльцо выходит седенький старичок, похожий на Плюшкина, владелец усадьбы, теперь живущий тут из милости. К нему подходит известный вор Васька, теперь заведующий коммуной. Отношения с владельцами у вора прекрасные, предупредительные.

Васька:

— Ну как, нашли трубку?

Владелец:

— Нашел, возле барабана.

Васька:

— Как же я так не видал, вот грех, как я ее не заметил!

— А заметил, взял бы себе?

— Конечно, себе: чай, такая трубка рублей двадцать пять стоит.

Молчание.

— Воры... вот народ какой.

— Какой народ?

— Особенный: никакого закона не знает, плохой народ.

— Чем плохой? вот неправда ваша: плохой кажется тому, у кого крадет, а к другим это первейший народ, самый разлюбезный, что касается бедного человека, и жалостливый, и ничего для других ему не жалко.

Приходит Артем, волко-жадный человек, на большевицком жалованье, белый с белыми, но красными глазками.

На фоне этих разговоров — получаем известие о гибели Ленина, и вот это р а в н о д у ш и е — странно, как будто это убили бешеную собаку, и нет! а вот какую-то грешно-полезную собаку, которая пущена была сделать наше же дело и нам же, а теперь как ненужную уже ее где-то пристукнули.

Мужики нам продали свою душу за кусочек земли, и так все вокруг изолгались, что невозможно стало жить без соглашений с ворами.

На нас смотрят как на несчастных.

— Про бедноту говорите, хуевое дело, беднота — большевики, и в избу незачем входить, увидал пук удочек — большевик живет. А хозяйство, вот оно хозяйство! Промочил горох?

— Растет!

— Коммуна!

На лошади подъезжает Архип, мужик умный, коварно-наглый, при всех правительствах в делах и все сух из воды:

— Коммунистическое хозяйство, я считаю, хорошее, правильное, только опять на чужого дядю.

— А тебе все на себя хочется.

— А как же иначе: вот оно видно, как работают на чужого дядю, хозяйство, нечего сказать, коммуна.

Приходит главный заведующий. Синий: он знает, что его при перевороте повесят, и все прислушивается, следит, как бы не пропустить время побега.

— Ну, что новенького в городе?

— Речь слышал комиссара. «Товарищи, — говорит, — ежели есть в деревне тридцать дворов бедноты и сто буржуев — буржуи должны пропасть. Бедным, первое, под окно огород, потому что он бедный, он достоин, и второе, у бедного пружинный матрас, и третье, у бедного в избе граммофон будет, и эти тридцать будут жить, а тем ста пропасть».

Артем, заманивая:

— Как же это тридцать против ста пойдут?

Архип:

— А как до сих пор шли?

Артем:

— Шли, да вот остановят, да в оглобли.

Архип:

— А их китайцы из пулемета. Нет, брат, я сам раньше так думал.

Артем:

— Передумал?

Архип:

— Конечно, передумал.

Артем:

— Как же выйдет?

Архип:

— Да никуда и выходить не буду, я теперь с краю по ряду буду равняться, как ряд, так и я.

***3 Сентября.*** Парижское воспоминание: была ли тут любовь? Какая любовь, может быть, влюбленность была, но из этого состояния вышла величайшая путаница-неразбериха. В то время душа его была так подготовлена к встрече с женщиной, что малейшее прикосновение к не какой-нибудь, все равно какой женщине неизбежно должно было породить в нем страстное брожение, перестройку всего душевного организма и создание нового, для нее же нужен был внимательный к ней мужчина, любящий ее.

И вдруг они разлучаются. Ей представляется, что он любит не ее, а мечту свою...

— Тебя не пугает, дорогая?

— Что, милый?

— Не мучит тебя, что я люблю, может быть, тебя не такую, какая ты есть?

— Нет, нисколько: это должно прийти в голову, если думать о будущем, но я живу настоящим. Ты сам знаешь: будущего в жизни у нас нет, наше будущее только в мечте.

Любовь женщины в 35 лет имеет свои мучения: с одной стороны, поднимаются все неизведанные девичьи чувства, а с другой, навстречу им страсть опытной в любви женщины.

«Аскетическое любовное деяние» (природный или супружеский половой акт). Если встречается такому естественному деянию препятствие, то оно психологически углубляется, и происходит роман, или пре-любодеяние (преступление).

Напряжением неудовлетворенного чувства можно достигнуть того, что в один поцелуй или в одно прикосновение руки можно больше вложить любодеяния, чем в тысячу супружеских половых актов.

Она оказалась немного самоуверенна, эгоистична и нечутка в расценке отношения ее к мужу и меня к жене: ей кажется серьезным только ее отношение к мужу, а мое к жене — просто «не люблю». В наших грубоватых отношениях с Ефросиньей Павловной она просмотрела совершенно то же самое, что есть у нее с мужем. Нет, друг мой, в «ослах» мы с тобою совершенно равны.

Ефросинья Павловна ведет себя по отношению с Соней совсем молодцом, она считает Александра Михайловича человеком серьезным, как сама, а ее и меня за детей, которых в союзе с Александром Михайловичем очень легко к рукам прибрать, на этом, вероятно, она и успокоилась.

***4 Сентября.*** Вчера посеял рожь сам из лукошка. Мужики говорили:

— Вот и посеял, ну что ж, человек все равно, такой же человек.

— Это что, — отвечаю, — в этом все мы равны, а вот если Илья Коршун книгу напишет — удивлюсь!

Не знаю, до чего можно дойти, если так в уединении сосредоточиваться чувствами все на одном и том же лице. (Написать поэму в форме письма: «Ты — весь мой мир».)

Прибавилось на деревьях много прекрасных осенних листьев, кусты бересклета — пурпуровые. Раз я собрал букет и пришел на любимое место в конце соседнего парка на холме, где стоят ели. Там в сырое время я пригнул к земле ветви елей, мы сидели на них и, украдкой от детей, обнимались — помнишь? Я пришел туда с букетом цветов, сидел на ветвях и думал: «Как и какими словами дать тебе знать, что я люблю тебя». Вспоминал тургеневских женщин, выбирал между ними тебя — не было между ними тебя. «Кто же она? — спрашиваю себя и отвечаю: — Она — все».

Милая, нет часу, когда бы я о тебе не подумал, дорогая, нет дела, в котором бы не согревалась во мне память о тебе. Я счастлив, что ты была у меня, и мне кажется, больше ничего мне не нужно. Так на месте твоем я любовно думал о тебе, пришел домой и спокойно принялся за дело. На другой день на твоем месте я нашел забытый прекрасный букет осенних цветов. Я не взял его, напротив, принес еще немного цветов. И теперь каждый день в память твою ношу сюда цветы, хоть немного — один, два, но всегда положу. Милая, веришь ли ты теперь мне, что люблю тебя?

***5 Сентября.*** Реальный идеализм и мечтательный. Ночью бессонною так все представилось как величайшая глупость, которую как можно скорее нужно забыть, и так я себя чувствовал, что все прошло у меня. В полусне проходили всем пансионом благородные девицы Тургенева: Наташа, Лиза, Ася, и между ними

была она героиней какого-то обратного романа, который начинается любимым мужем в семейном счастье и кончается женихом — возлюбленным, которого некуда деть, нельзя определить, как пережитое уже семейное счастье.

Московская переписка была подготовкой электрической встречи.

Вероятно, она теперь думает совершенно как я: «Если у нее есть смелое чувство и она сумеет сохранить его, то я, конечно, с ней на все пойду».

Опасная позиция: подготовка электрической встречи.

Ясно вижу, что не люблю его, мелочного, неискреннего, с адвокатской «подножкой», и что отношения наши втроем омерзительны, невозможны.

В полдень уже другое настроение: раскаяние, что заставил человека страдать. Правда, если она такая, какой я полюбил ее, то ведь страдать она должна неимоверно.

***6 Сентября.*** Улучу минуту при встрече и спрошу:

— Ты за эти дни ко мне изменилась? нет? не передумала — нет? любишь меня?

Если «да», я отвечу:

— Ну и я тоже, остаемся в тайном браке.

Ты знаешь, что это значит, твое «святая святых»? это значит, ты в брак вступила со мною, и если ты говоришь, что и с ним у тебя то же, — ты в двойном браке, двумужница.

Этот роман развивался совершенно так же, как в Париже (особенно одно ее резкое письмо и отвечающее ему мое настроение покаянное — совершенно то же), но только здесь пошло много дальше, и первый раз теперь я, пережив дальше, понимаю цену первой (парижской) части.

Я зажал в себе свое личное чувство, и от этого все вокруг меня стало светиться, это все я и описывал: мое постоянно встречающееся в писаниях «я» — есть отрица-

ние «я» индивидуального, напротив, у меня описывается «я», уже отданное природе, стихии, и литература моя, как и жизнь, оболочку (для всех) имеет индивидуальности, а внутри [оболочки] аскет.

Любопытно, что как той, так и этой я угрожал: «Промотаю, разменяю себя», — и при этом представил себе множество женщин в противобор этой настоящей одной. Значит, в любви к этой настоящей одной есть избрание, идеал (Прекрасная Дама). Когда я так люблю, то мне кажется, я никому не мешаю (ни брату, ни отцу, ни мужу), но беда... в поцелуях: зацелованная Прекрасная Дама — (вихрь двух) — что это такое?

Подруга обыкновенно тут не приходит на помощь: помню, это чувство отказа от земного чувства тогда, в Париже охватило меня, и она любовалась мной в это время, как вдруг... принялась, вся в огне, целовать меня...

И теперь она ищет этого, ценит во мне именно это, а найдя, награждает страстью и не простит, если на эту страсть ее не встретит ответа. Так выходит, что чистота идеала только вкусное блюдо.

Я знаю, что сама Соня плачет об этом, однажды вырвалась у нее такая фраза: «Ни ты, ни я не можем владеть нашим чувством, кажется, приходится взяться мне».

Правда, кто-то из нас должен овладеть этим чувством и сделать так, чтобы мы не вертелись вокруг себя, а вышли бы на путь (тут великая тайна чувства, встречаясь с которой многие наши мужья наивно предлагают женам какое-нибудь занятие в обществе). Соня соглашается на это с улыбкой (учительница!)... кажется, в этом чувстве н а с т о я щ е г о и в пассивном сопротивлении внешнему выходу (как у большинства курсисток) и есть ее главное.

Сахновская в борьбе женщины с курсисткою вышла магистром медицины, Соня выходит хозяйкою (правда, в «заготовках» ничего не понимает) — женщиной: она глубоко консервативна (вернее, равнодушна к общественной жизни) и страстно решительна в чувстве.

Если ей удастся взять на себя инициативу выхода из нашего чувственного круга — вот она будет тогда Пре-

красная Дама, а если мне удастся — Иван-царевич, впрочем, вероятно, это идет непременно одно рядом с другим.

Солнце то покажется, то скроется, в саду трава-мурава в просветах то вспыхнет изумрудом, то погаснет. Там и тут сад словно дышит — живет светом солнечным и тенью.

Истинного у нас пока есть только одно, что и летаем, и падаем мы вместе, и если спасаться задумаем — вместе, и падать — вместе...

Она прекрасна, когда сидит на окошке вполоборота, смотрит вдаль и думает про себя, время от времени задавая вопросы... тогда не видна бывает нижняя, некрасивая часть ее лица, особенно губы, чувственные, неправильные, как бы застывшие в момент подсмотренной, кем-то спугнутой неправедной страсти... — в этих губах какой-то наследственный грех. Когда смотришь ей прямо в лицо на губы и кончик носа над ними, то подумаешь, что она заколдовать может, заворожить.

Я до сих пор не знаю ее в капризах повседневности, не представляю себе, как, например, она ссорится с невесткою.

В ее душе есть такое (нежность, белизна), чего никак нельзя найти в лице: вся она живая будто тень своей души. Секрет моего сближения с ней, что я встретился с ее душой, а все видят только тень ее.

Лицо ее — смесь Мадонны с колдуньей.

Изумительны мои цветы возле ели: будто это от нее что-то осталось, я приношу цветы, а кажется, будто оставляет она. Так из любви выходит могила с цветами, и вот почему на могилу носят цветы.

Признак любви настоящей, а не слепой, что в свете настоящей любви должно быть ясно видно любимого человека и любящий з н а е т, что он любит в нем. А то ведь можно любить себя отраженным в другом, как в зеркале.

***7 Сентября.*** Брат говорит:

— Можно тебе сказать, что о тебе говорят теперь все в деревне? Я думаю, тебе это нужно знать. Конечно, все

это вздор, но знать нужно, в чем обвиняют: часто обвиняемый узнает вину свою последний. Они говорят, будто ... ты и ... даже место указывают...

И я услышал, что говорят, как понимают наши орангутанги мою любовь, — это было слушать отвратительно (как жили влюбленные, представляя себе, что они живою водою соединяют разделенные части земли, и что думали о нас обезьяны — вот тема: в рассказе фантастическом человеческую любовь сопоставить со звериной).

Николай спросил:

— Скажи мне, было ли все-таки хоть какое-нибудь основание для этих разговоров?

Я сказал:

— У нас роман, конечно, совсем не такой.

Потом я еще сказал ему:

— Может быть, это мое последнее увлечение, и это я не переживу.

— Ну, — говорит, — твои годы твердые.

А как же Саша?

Теперь ясно вижу: все мое писание — это какая-то поэзия задора, на этом задоре я и утверждал свою личность, сейчас я утратил этот задор и пока ничего писать не могу.

Чувство необходимости (судьба — что ли) чего-то мертвого, минерально-мертвого и равнодушного вступает теперь всем в сознание на место теплой привычной веры в человека.

***8 Сентября.*** Была неделя Аграмачинская, потом шла неделя Московской разлуки, потом Шубинская неделя, Хрущевская неделя, неделя роздыха, теперь пришла неделя тоски.

Николай совершенно отчаялся в человеке (как Струве, Карташов и все). Я спросил его:

— Но ведь с каким же нибудь существом ты сравниваешь этого нашего человека и так видишь всю мерзость — кто это существо?

— Сам удивляюсь, что это такое...

Преступление Ленина состоит в том, что он подкупил народ простой русский, соблазнил его.

Русское поколение интеллигенции Толстым, народниками и славянофилами воспиталось в религиозном благоговении к простому народу в его деле добывания хлеба на земле: происхождение этого чувства, вероятно, от церкви. Теперь все это верование исчезло как дым, и осталось лицезрение колеса будничной необходимости (Марксова «Экономическая необходимость»). Похоже на то, как если бы любящий свою жену муж узнал бы внезапно, что беременность жены его произошла не от него, и потом из недели в неделю созерцает наливание живота. Народ сам по себе. Как велико должно быть разочарование человека, если вчера он говорил: «Я — творческая причина будущего нового существа на земле, я — носитель этой священной тайны размножения жизни». А сегодня он узнает, что он тут ни при чем и жизнь размножается сама собой, как мошкара, без всякого его личного участия, причем ложь и всякое преступление, вплоть до убийства, — такое же обыкновенное орудие жизни, как в земледелии соха и борона.

Чтобы спасти народ и поднять его, нужно дать ему сознание всеобщего личного участия во всех подробностях жизни — это и делала церковь, освящая куличи и признавая, что во всяком существе теплится искра Божия...

(Замечательно, что в земледельческих работах теперь не соблюдают праздников.) Принципы социализма, в сущности говоря, те же самые, как и церковные, только в нем не хватает церковной школы любви.

Не хватает личной любовной завязки с жизнью, все делается во имя общего («на чужого дядю»), например, Архип во время коммунистической молотьбы наивно воскликнул: «Мы опять на чужого дядю работаем».

Теперь время смутное, это значит, что планы, в которых работают различные духовные классы общества, перепутаны: так, например, какой-нибудь ярославский мужик, индивидуалист, предприниматель по природе, ста-

новится коммунистом и должен работать на всех («на чужого дядю») и так далее.

Беспокоит, что С. будет думать, будто я не показываюсь по трусости и оставляю ее одну.

А счастье свое, настоящее, вечное счастье, я понимаю в тихом подвиге, тайном деле с отказом от пользования благами — это моя тайная сущность, приступить к выполнению которой мешает мне не то обида, не то гордость, не то неизведанность того, что все изведали, что-то весьма маленькое, что в то же время заслоняет большое: неустройство в моем доме мешает войти в великий дом всего мира.

Тема всего этого периода: любовь — дело гения Рода (общее) и любовь — свое.

Можно ли найти такой путь, чтобы любовью к ней — любить других и этим жить. Так всегда любовь начинается, любишь весь мир, и кончается тем, что вместе с ней погибает весь мир.

Дорогая, нам нельзя надеяться на далекое время, когда достигнем мы нашего счастья двух, но любовью к тебе весь мир мне светит любовью, разве я не могу теперь же тобою любить весь мир.

Что редко встречается теперь в нашем возрасте — это способность до конца друг другу довериться, шагнуть както через все невозможные перегородки и в конце концов радостно встретиться. Я иногда в глухие минуты, когда падаешь под волну, с недоверием вспоминаю и думаю: «Ну, как же это она могла на это пойти, нет ли тут чего-нибудь... чего? не знаю, как это назвать... чего-то маленького и просто объяснимого». Но рано или поздно поднимаешься, как сейчас, на верхушку волны, и тогда это нежное, доверчивое и родное существо — чудесно и прекрасно, и в этой встрече я вижу награду Михаилу за верность его.

Не может быть любви без девственности, которая может сохраняться и под годами, и под скорлупой давно-семейной жизни.

Сегодня мы косили гречиху, которая была все время великолепной; но под самый конец заросилась, затуманилась, замучнела и бздюка напала, — мужики теперь к нашей работе совершенно привыкли, смотрят на нас или как на несчастненьких, или как на равных. Мы теперь вполне [перешли] разделяющую черту между барином и мужиком: есть что-то в этом хорошее, но совсем не то хорошее, о чем мечтали искатели слияния с народом.

***9 Сентября.*** Человекообразная обезьяна. Спросят меня Соломоны-политики:

— Где ты был это время?

Я отвечу:

— Там я был, где не занимаются политикой и часов не заводят, где люди живут и счастливы.

— Где же это? — спросят Соломоны.

— В одном городе — он был раньше лучший город...

Любовь — истребитель привычки.

При-вычка, от-вычка, на-вычка, навык, какая-то Вычка и Вык, с которой борется любовь и в ней погибает сама. Вычка, Вык, или пусть лучше Век побеждают любовь, надевая маску любви.

Как легок крест во имя любимого: пламень любви лежит в основе креста, он является в пламени, а Век учит нас долгу, смирению, терпению, Век государственный, семейный, всеобщий Вык-Век — строитель, но никогда не архитектор. Невозможно построить брак на любви, если он все-таки удастся, то это не потому, что любят друг друга муж и жена, а потому, что в их натуре есть Вык-Век: влюбленным поют соловьи, а брачным поют двери, как у Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны.

Так церковь наша, видимая церковь, есть тот же брак, в котором Вык-Век поглотил совершенно любовь христианскую и надел на себя ее маску.

Бычок Вык (жвачка) — развить в мужика (жует коммуну), в народ, в государство до всеобщей жвачки: Вык сжует в конце концов даже идею бессмертия (пережует загробную жизнь). Светящийся бычок.

А любовь человека, мужчины к женщине для Выка — самое вкусное блюдо.

***10 Сентября.*** Во сне окликнула меня и назвалась своим именем моя Парижская Грезица, лицо, как обыкновенно, совершенно на нее не похоже. Она винилась передо мной за прошлое (совершенно новый мотив), звала к себе в семью, и я там был и видел, что нечего тут больше искать, ничего больше нет, все кончено, и она жалкая, пустая, будто выпитая.

Осень. Холодные зори. Вечером яркие звездные шарады. Перед рассветом у моего ясеня решается шарада: опрокинута Медведица и Венера. Утренняя роса густо ложится серым металлом.

Редкими моментами, но все-таки это бывает — показывается ее чересчур резкий до неприятности и чуждый мне профиль, тогда мне кажется, будто все было обман и нет ничего.

Вык — кличка моего бычка. Название далось само собой, но я укрепил его размышлением, когда я однажды сидел на террасе, а бычок стоял и жевал, его ритмические жевки можно было считать, и мне казалось, будто это жевание — ход природного времени. Мчится бешено наше человеческое время, неделя отвечает за год, месяц не увидишь знакомого человека, смотришь — он постарел и щеки его провалились, но там, где жуют, все остается по-старому, вечному. «Вык — это век», — сказал я себе — и стал разбирать слова «при-вычка», «на-вык», какая-то «выч-

ка», какой-то «Вык-Век», для которого мы все живем, страдаем, творим и который все жует, переваривает.

Вык-век пережевал даже идею бессмертия и превратил ее в рай — за хорошие дела на земле, в ад — за дурные. Вык-век — всеядное существо, но любимая пища его — влечение мужчины к женщине, которое называется любовью.

Эта любовь — боевая линия двух Вечностей. Где-то в небесной лазури встречаются души чистые для вечного союза. Неосторожное прикосновение руки — и все меняется — пламень-пожар, и вот в прахе рассыпанная лежит на земле одна Вечность, а над нею стоит Вык-Век, создавая привычку на долгое время, пока опять любовь — разрушитель привычки не встретится краем своим с...

Настроения Тургеневского края — Лиза с Лаврецким, мужики поражены и кланяются, а после всего одумались, сход и суд обезьян.

Вчера на покосе Андрей Терехин пришел к нам и сказал: «Жизнь наша плохая, какое правительство!» Я сказал ему: «Правительство для крестьян самое хорошее, а ты лжешь. Тебе нет слова; ты, как голодная собака подавилась костью, — подавился ты брошенным тебе осьминником земли». Сказать он против этого ничего не мог и ушел, думая про себя: «Ну, господа с мужиками перестали мазаться».

Нужно держать себя пока в стороне, а если приходится коснуться, то никогда не сходить с тона «режь сукину сыну в глаза правду-матку».

Встал утром здоровый телом, сильный, а у души будто на цепь приставлен сторож с дубинкой, и чуть что в ней шевелится живое — кроет и бьет.

Засентябрило. Обсуждаем условия осенне-зимней жизни в усадьбе, как придется длинные вечера коротать без керосина, а днем колоть дрова, и без газет, с вестями от мужиков, без лошади, прокормить с восьминника кото-

рую невозможно и т. д. Это даже не мужицкие условия существования (в деревне), это среди племени диких на необитаемом острове.

Николай говорит, что хороший день его раздражает. Не забыть, как он весной швырял землей в сиреневые кусты, чтобы прогнать соловьев.

Николаю, величайшему ненавистнику большевиков, я представил возвращение Каракатицы, и даже он сказал: «Нет, пусть лучше будет так». Будущее России: организация кулаков в демократическую партию с интеллигенцией из кадетов и частью бывших правых эсеров с царем.

Сторож с дубинкой остается до самой ночи возле души моей, и первый день с тех пор, как мы расстались (третья неделя), я чувствую так, будто все это был сон, который мало-помалу забудется. И встает во всей силе нелепость положения... Только все-таки не нужно обманываться: в Москве я тоже думал, конец, а оказалось — только начало.

Мне она... теперь лежит на сердце, как написанная книга: дорога, но нет прежней безумной тревоги: она — моя.

Ей это не понравится, если прочтет, потому что подумает, будто это меньше прежнего, — нет, милая моя, это больше: я тебя спокойно люблю до новой тревоги...

### Начало романа (числа)

***21 Июля.*** Корни. Бежал от ареста большевиков, а попал под арест <*зачеркнуто:* у соломенной вдовы> женщины, и вот уже неделю живу, как самый мудрый сын земли, задом к городу, лицом к тишине и странным звукам елецкого оврага у Сосны — хорошо! видно отсюда насквозь, как глупы эти звери, делящие власть, как голодные кость, и разные деловые люди, испуганные, оглупевшие от страха, женщина одна между делящими власть, купающая в крови самолюбие...

Третьего дня в тишину жизни нашей ворвалась Петербургская дама с кучей детей, присланная мужем на легкие хлеба Елецкие. Она похожа на куст, вырытый для пересадки, с большими корнями... Мадам Герасимова и проч. смешное (за Сосной: женщина, не дама; кафе Ампир).

Она сказала:

— Алексей Михайлович, почему о душе говорится, что тут нет измены, а измена в теле, но мне кажется, тут больше измены... в душе измена.

Мне кажется, у нее в натуре это было как бы предрешено.

И что она верная до гроба — это как обряд, за которым ничего не скрывается, но пока нет предмета, обряд совершается ею и молитва повторяется автоматически.

Она, как Ева, яблоко первая видела и подала его, это первое прикосновение — она: тысячи высказанных мыслей забываются, но прикосновение остается и влечет дальше.

Мы во всем отдаем отчет, разбираемся, но этим не можем остановить себя.

Выходит как будто воровство, но, может быть, он раньше украл ее у меня, и я возвращаю свое.

Если я верю в это — я прав, но я не знаю, верю ли я в это: нужно, не ломая стенок наших домиков (моего и ее), испытать, правда ли, что она духовно моя.

От первой встречаю к себе человеческое, глубокое, внимательное отношение и через нее себя понимаю.

Она думает, что я ее люблю как женщину, а про себя думает, что меня как мужчину не любит.

Но я совершенно так же думаю, что как женщину ее не люблю (то есть телом).

Она сказала:

— Только руки почему-то ваши.

И я тоже чувствую: только руки мои.

Нет, мы одинаково чувствуем и одинаково испорчены в понимании любви: «как мужчину», «как женщину».

Любовь начинается не во влечении к телу, она в теле постепенно воплощается (сначала руки, потом губы...). Верно, у нее разлом души (он — невозможный, она — невозможная), и тело (муж, жена, привычка, дети) одинаково со мною.

Недаром она сказала:

— Когда-нибудь нескоро я поделюсь с вами опытом своим, какой тут может быть мост (между духовной любовью и телесным влечением).

Я считаю себя виноватым, а ты их виноватишь.

Как же дальше?

Мы сблизились, потому что страшно одиноки были, не будет ли нам совестно, если ей получшеет с ее стороны, а мне с моей?

И все притупится.

Много значит, как она станет к моей работе, сумеет ли она, с одной стороны, влиять на меня, а с другой, оставлять свободным.

Я первый раз в жизни своей понимаю, как можно служить для женщины, в Александре Михайловиче она себе нашла готового служаку, только очень умного в семейственном смысле, по-видимому, она это использовала до конца, и детей у них больше не рождается, а дальше остановка: он служака, она гувернантка при детях своих. И он это ее больше не ценит: уговаривает служить (заполнять пустоту), а она совершенно не верит в его земское Елецкое возрождение.

«Невзорка» (люблю как мужчину) — это все равно как для моей голодной Козы видение кавказца с кинжалом, — это пустяки.

NB. Неправда, тут целый мир, тут ее прошлое, без которого ничего не понять.

Во мне она прежде всего ценит (против Александра Михайловича) смелость обращения душой к душе и мое натурное стремление быть с нею везде вместе.

Она не любила меня будто бы за пренебрежительное отношение к Александру Михайловичу, но это неправда: у меня к ней было так, и за это она меня не любила. Я видел в ней верную поповну, ангела-телохранителя Алек-

сандра Михайловича, который идеализировал в ней свое стремление к покою, как идеализирует он теперь свою елецкую деятельность. Я не знал, что и у нее было прошлое, когда узнал, повернулся к ней лицом и вдруг увидел ее. Мне казалось, что он ее обманывал, семейно развращал, и это мне было противно, это все заслоняло.

Теперь она, эта презираемая мной когда-то поповна, одним щелчком вышвырнула за окошко мою Козочку, убежище мое Ефросинью Павловну показала во всей безысходности, а свое духовное происхождение представила как поэму. Ничего никогда мне [такого] не снилось.

Когда она сказала: «С вами можно дружить, мы будем друзьями», я подумал: «Вот еще что выдумала». А через несколько дней не вижу ни одного более близкого человека, чем она — вот тут и рассуди!

Кажется, в ее природе есть затаенная бесконечная доброта — и в этом есть опасность будущих отношений: это располагает к погружению, к покою. Найдется ли в ее натуре любовное, но твердое у к а з а н и е?

Сашину трагедию она в один миг сообразила; она его не любила, но его как человека нельзя было не любить. Вероятно, сама такая: знакомо.

Прием описания: я рассказывал Сашину историю, а она вдруг отгадывает и выдает себя: сама такая же.

Нет, ясно: мы так с ней не расстанемся, как с «козами». Мой взгляд на сложность семейных отношений такой: всеми силами души (до погибели) бороться с безумием возможной страсти, а то, что у нас есть теперь, это укажет само верную дорогу.

«Сохнуть», однако, я не буду, это для тех, у кого нет ничего, [кроме] страсти размножаться физически...

Пусть она будет моя героиня, блестящая звезда при полном солнечном свете... Пишу как юноша, а мне 45 и ей 35 — вот чудно-то!

Еще мы говорили, что та любовь (моя и ее — борьба самолюбий) никогда не соединяет; но ведь и эта любовь (семейная) тоже на время (даже не до смерти).

***27 Июля.*** Нельзя бороться с этим чувством, потому что оно ставит идеалы: жена и хороша и мила, но вся, как ситцевое клетчатое одеяло, в сущности своей, из заплат сделана. Тут ничего заплатанного и все новое, бесценно глубокое... Там счеты-расчеты, тут вера. Любя, я не могу допустить ничего в ней неверного.

К мужу я совершенно ее не ревную, мне кажется это не важным обстоятельством (какою-то «естественной потребностью»), только смущает, что он будет закрывать от меня ее душу, как вьюшка трубу.

Скворец-говорец.

Скворец-говорун жил у батюшки отца Ивана. В черном теле держала матушка попа, и часто, с горя отвернувшись от матушки, он говорил скворцу:

— Плохо нам живется, отец Иван!

Раз как-то улетел скворец из клетки — и на ярмарку, там стоял мешок с просом, скворец юркнул туда и клевать. А мужик, хозяин проса, пришел, ничего не зная, взял мешок, завязал и на плечи. Шел большаком, день был жаркий, измучился, еле-еле шел. Вдруг слышит, за спиной у него из мешка говорит человек:

— Плохо нам живется, отец Иван!

Творчество необходимой для общества личины требует все-таки расхода своего внутреннего «я», и много личин требует много расхода — актриса из-за множества личин расходует совершенно всю себя. Ей же неинтересно быть на свету, но раз уж так нужно, то она выбрала себе на скорую руку одну личину для всех.

Сейчас, когда, мне кажется, еще не остыло тепло ее с подоконников моего дома и перил террасы, стволов наклоненных деревьев в садах и парках, и не поднялись еще на буграх стебли примятых ею трав, и не собраны заботливой рукою хозяина растрепанные ею в копнах снопы, и красный букет, собранный ею, еще свежий стоит на мо-

ем столе, — спешу вспомнить все и представить себе, какая она.

Нет, не боюсь я этой страсти.

В долине Семиверхов под вечер по руслу сухого ручья бегут дети, выбирая камешки, ложатся тени высоких дубов, в солнечных просветах между холмами погожие комарики мак толкут, крестьянки убирают овес (вяжут).

Мать-мачеха, лиловые колокольчики...

Ранняя весна ужасала, как рубили рощу дубовую, березовую, и теперь на этой вырубке синие цветы-колокольчики растут, скрывая пни, целое синее прекрасное поле, и на пне спиленного дерева под тенью уцелевшего дуба сидит она, повторяя:

— Милый мой, почему же ты молчал мне, что у тебя так хорошо! Ты рассказывал мне, какими зверями стали мужики, посмотри, какие они добрые, вон издали кланяется нам, вот этот высокий, смотри, как нежно обнимает он свою маленькую больную женщину, куда идут они — в больницу? милые люди, как хорошо тут у вас.

Нет, не боюсь этой страсти, я заслужил это счастье, я прав.

Сначала был пролог на небе, и как тут было — я плохо помню, знаю только, что мы очень удивились себе, как это мы понимаем друг друга с полслова. Потом вышло нечаянное прикосновение наших рук и мне осталось уже сказать, но я не сказал: «Извольте». Тогда родилось желание коснуться ее руки, и это прикосновение породило смелость к новым и новым, поцелуи и прикосновения, размножаясь, перешли в кровь и там стали сладким ядом. Стремясь к телу ее с поцелуями, я вдруг почувствовал желание разорвать всю одежду ее — что меня остановило? стыд какой-то перед солнцем, на солнце показаться ей некрасивой, уродливой, с искаженным лицом... я затаил дыхание и черной юбкой закрыл белые кружевные кончики ее панталон.

Только не знаю, кто помогал мне в этом: ангел-хранитель Александра Михайловича или дьявол-искуситель. Странно думать, что все зависит от его приезда: приедет сейчас — к добру, нет — задержанная страсть от этого только усилится и разорвет всякую преграду, потому что страсть, как пар, нельзя запереть: запри пар, и он сильнее будет давить на стенки: нужно или пустить, или остановить топку.

Ее слова:

— Мне кажется, он любит, а ты увлекаешься, увлечение сильнее любви, и поэтому у тебя все ярче.

И то же думал о ней: она его любит, а мной увлекается.

Ответ мой был такой: он тебя любит как муж, я — как жених, если бы после всего я стал твоим мужем, то и я любил бы тебя спокойно и тебе служил бы, как он.

Еще из ее слов:

— Любовь твоя и Александра Михайловича в одном роде, пусть у тебя сильнее, но тип ваш один, а та любовь (доисторическая) совершенно другая, она без всякого идеализма.

При этом я вспомнил, что Александра Михайловича в моих рассказах однажды очень занял слабо набросанный мной образ женщины с колечками.

Роль идей и поцелуев в любви: идеи обсыплются, как желтые листья, а поцелуи — семена красных цветов.

Главное, вот что нужно разобрать: она не выносит насилия, и в то же время ей сладко насилие, этого она тайно ищет и, найдя, вызывает себе на помощь в борьбе всех идеальных друзей своих (Шубинский) и одному из них (Александру Михайловичу) даже отдается («в пику»), насильнику, вернее, не отдается, а замуж выходит.

Я читал ей поэму Блока «Соловьиный сад» и чуть не разрыдался, когда мы дошли до утраты осла: мне ясно представился ослом ее муж и жена моя с их самоотверженным служением в буднях. Если она так же любит «ос-

ла», как я, может быть, еще сильнее, и при этом для себя (для свободы) нет у нее даже, как у меня, пера и бумаги, а только сжатое чувство женщины — то вот и вся разгадка нашей любви (трагической).

— Не находите ли вы, что ясень по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и ясно не сквозит на воздухе, как он (*Тургенев.* «Отцы и дети»).

***26 Августа.*** Вечер тихий, деревья как восковые, солнце светит в окошко, теплынь и грустная предосенняя нежность в природе: такая нежность, как у тебя, когда забываешь ты все «осадки» нашей любви и, отойдя от них в сторонку, думаешь про себя: а что, и это неплохо, все нужно; за все благодаришь меня, и я тебе светлым представляюсь, как ясень.

Милая моя, сегодня душа моя полна благодарностью тебе, весь день я не беру в руки ни книг, ни рукописей, ни газет и не думаю ни о чем, кроме тебя, счастливый, отдыхающий. Не стыдно мне своего отдельного счастья, потому что нет равного мне, перед которым мне должно стыдиться.

Помнишь ты холмик на краю парка, где стоят высокие ели, помнишь? — раз под вечер в ожидании заката солнца мы пришли туда с детьми, было сыро, я пригнул к земле две нижние еловые ветви, и ты устроилась на них рядом со мной, дети убежали в кусты (они учили Мишу бегать), я, конечно, обнял тебя, целовал украдкой. Сейчас я был там один и долго сидел на этих ветвях: ты, я думал, единственная прошла по этим грустным мне и почти умершим местам и благословила их, и они вновь соединились в одно прекрасное целое, как в сказке, окропленные живою водой воскресения. Я забыл, что тут хорошо, ты пришла и сказала мне: «Встань, здесь хорошо!» И я встал. Дорогая, прошу тебя, услышь меня на расстоянии, думай, как я сейчас: я прошу и молю тебя не смущаться мыслей и чувств, которые иногда кажутся двойными, стань, как я сейчас стою, высоко, посмотри с высоты: нет ничего двойного, правда и тут; а любовь одна. Помни, дорогая, что я всей

душой хочу оправдать твое благословение: твой высокий ясень сломается, но не унизится до мелких чувств.

Больная лежит в твоей комнате, я время от времени прихожу к ней и стараюсь, как ты велела, быть очень ласковым: она совсем больная. Разговор у нас скорбный о небе и земле.

— Ты, — говорит она, — все в небо рвешься, а я должна беречь всякую малость, я уж рукой махнула на тебя, да вот как же теперь-то быть, я не работница, кто будет беречь, я уеду — все прахом пойдет.

И потом долго о дровах, что без нее растащут дрова и что корову уведут непременно, и телушку, и поросенка. У больной все эти слова, как у Офелии, получают какое-то особенное значение, как будто все эти овцы, телушки, бычки выступают в радужных венчиках, сердце сжимается от боли, но разум ничего не находит в этом себе.

Все еще полный тобою, не хочу отдаться воспоминанию о той страшной ночи, когда я держал ее в руках, и она мне с улыбкой нежно рассказывала, что сегодня сердце ее ушло на правую сторону, так нежно и грустно говорила. В эту страшную минуту я все-таки не переставал тебя любить, только себя чувствовал как виновника, и это меня делало унизительно-несчастным: ты, я думал, теперь больше меня не станешь любить. Но когда ты пришла и я увидел, что ты и тут меня любишь, то обе вы сошлись у меня в одном чувстве, одна направо, другая налево, одинаковые и разные, как крест и цветы.

Ночью пробудился, снял ставню, открыл окно — высоко в легких кружевных прозрачных барашках светила половинка нашей большой цельной луны.

***27 Августа.*** Два вопроса на разрешение: первый — не могу ли я теперь оторваться от нее и оглянуться на пережитое как на любопытный эпизод моего путешествия, или так будет продолжаться до какого-то конца. Второй вопрос, каким бы способом я мог ее «вывести в люди»

(что так смешно пытается сделать Александр Михайлович посредством учительства).

Ты права, дорогая, страсть — не главное в нашей любви, нас, мне кажется, свело первое вот что: я жил и, верно, ты жила как бы в ожидании, что вот придет она (он?), настоящая, цельная женщина, а не та половинка хорошая, которую всюду встречаешь и не можешь ей совершенно отдаться. Так идет время к концу, и вдруг... вот она, не та ли самая?

Она любила идеалистов, потому что боялась голой страсти своей, и за ширмами идеализма тайно для себя самой искала «жизни» иной...

Уже воспоминания. На террасе Свадебного домика у колонны она мне говорит:

— Я боюсь, что это у вас короткое увлечение.

— Увлечение? может быть, но если в эту ночь вы отчего-нибудь умрете, завтра и я умру.

Однажды Соня сказала, что я на свете один только; это у нее вышло после моего рассказа о себе, что не целовал никогда рук и ног у женщины, с которой жил: животный половой акт — это аскетический акт (безличный)...

При самом последнем нашем объяснении спросил я ее: «Любишь меня?» — «Люблю!» — говорит. И еще: «Помни, я женщина для тебя роковая». Я спросил: «Значит, это не конец?» — «Нет, не конец».

Сегодня я думал, как ей теперь трудно и так, что чем она больше ему говорить будет о нас, тем больше будет лжи, потому что всего сказать невозможно. Верно, она запутается, замучится, и спасенье наше в семейном гении Александра Михайловича: вот испытание его силы любви. Надо быть готовым, на худой конец, действовать решительно и ясно.

***28 Августа.*** Успенье.

Разговор с Ефросиньей Павловной за кофеем с растрепками.

— Нет, больше не буду есть, а то объешься, помрешь, и какая-нибудь влюбленная дама огорчится, узнав, что писатель умер от объедения.

— Барышня так, а дама — не все ли равно, что скажет дама? Барышня, я понимаю, горячая любовь, а дама... мужа обманывает, ложь, преступление, что тут хорошего?

— Как мужа?!

— Я к примеру: ты сказал — дама, значит, замужняя. Какая тут любовь, не может тут любви быть: или расчет какой-нибудь, или так, трепалка, пока с ней мужа нет, каждому готова на шею повеситься.

Этот разговор интересен как голос объективной жизни (экономическая необходимость, беременная женщина).

Из ее слов:

— Я тип изучила такой и, когда встречаю этот тип, говорю себе: «Захочу — и будет мой». Ты к этому типу принадлежишь. Когда ты сказал: «Я могу влюбиться в девушку, но не в женщину бальзаковского возраста», — я подумала: «Ну хорошо, не пройдет двух дней, ты будешь мой». Тогда я начала игру, но вдруг сама попалась.

В последний день, когда я на все сердился, наказывал детей, швырял кошку, бил собаку, у меня в душе было чувство раздражения на нее: как она может рассказывать мне о любви своей к мужу и даже о подробностях их брачной жизни (напр., что они спят обнявшись друг с другом, и все-таки детей у них не может быть) и в то же время обнимать меня... В то же время я сознавал, что раздражающая меня двойственность в душе ее клокочет трагедией, что у ней в груди все ходуном ходит (через каждые два-три часа лицо ее совершенно менялось).

М о л о д о й  п а р к. Гений Рода между тем уже ставил престол свой в разоренной России, ему не было никакого дела до гражданской войны, бесправия, даже голода, даже холеры. Мы сидели на том самом месте, где весной под мужицкими топорами ложились ясени, березы и тополя прекрасного парка, и краснеющий на солнце снег был по-

хож на кровь, бегущую из срезанных пней, и бродили тут объевшиеся отравленной пáдали пьяные вороны... Теперь все пни были закрыты сильными лиловыми колокольчиками, и густая поросль ясеней, тополей и берез возвышалась над колокольчиками новым молодым парком. Гений родовой жизни всюду в разделенной стране брызгал части живой водой, и части срастались и начинали жить совсем по иным законам, [чем те], которые хотели навязать природе бездушные «человеки». Так и мы под покрывалом идеальной дружбы мужчины и женщины двигались в чувствах своих от поцелуя руки до поцелуя ноги и неизменно шли к «последствиям» по общей тропе, проложенной радостным гением Рода.

Разврат — это поэзия полового акта, который по существу своему чист и свят.

Святой (аскетический) половой акт безличен (самец подходит к самке сзади, и ему все равно, какое у нее лицо: «Нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить»).

Это упрощенное природное отношение к женщине-самке давало, освобождало во мне силу любования украшенной поверхностью земли, и «человечина» меня не цепляла. Но, видно, так до конца не проживешь, и вот на пути моем встречается женщина, к которой нужно подойти с лица.

Так жили отец, мать, и все живут так: занимаются охотой, картами, садом, спортом, чем-чем только не занимались — и все прошло.

До сих пор моя героиня (и в жизни, и в писании) была дикарка, теперь сложная женщина.

Задача: остановить стихийно-трагический ход нашего романа, силу найти в себе к вниманию и анализу, не губящему чувство, а умеряющему, дающему ритм.

Ближайшая задача: выждать, какую они выработают между собой «конституцию», и ждать хода с той стороны. Возможные ходы: она говорит ему, что любит меня и в любви этой «более идеального», что эта любовь не мешает ей быть ему верной женой, любящим другом и заботливой

матерью его детей. С его стороны самое невероятное: 1) разрыв беспощадный, 2) самое вероятное — разрешение любви под его контролем, в мою сторону усиление дружбы, связывающей меня по рукам, в ее — обнаружение во мне «француза». При моем и ее сильном чувстве жалости к нему, сострадании и проч. ни ей, ни мне нельзя будет и думать о решительных действиях, и так все прошлое закроется грустной вуалью тургеневских настроений Семиверхов — совершенно в духе ее натуры.

Опасные мотивы: 1) ее роковой возраст, 2) ее преобладание в семье. А впрочем, умела же она остановить свой «физический» роман и выйти замуж за идеалиста. Много значит и мое отношение...

Обошел вчера все места наших свиданий, был в парке, где стоят наши четыре ясеня — четыре брата, и в Енцове на крутом спуске, и в Семиверхах в семейных дубах — везде вижу целомудренную рябину со своими ярко-красными и обильными плодами.

Александру Михайловичу скажу: я люблю ее так, что готов принять на себя все последствия, но в дальнейшем своем отношении готов согласиться со всем, что они предложат вместе. Ясно, ясень?

Из ее слов:

— Вы говорили, что у вас нет сострадания к больным, но я вам говорю: если я заболею, вы будете возле меня, как сестра милосердия. Вы говорите, что вы непостоянный, шатающийся человек, а для меня вы будете делать все постоянно и не шатаясь. — И дальше: — Ты говоришь, что ты...

Ее слова:

— Тут «святая святых» с вами, о чем никому, и даже ему, рассказать нельзя, и с ним у меня есть такое же «святая святых» (тайна), которую нельзя вам рассказать. Вот я теперь «жить» должна как — от тебя тайна и от него тайна...

Так странно: думает о «святая святых», а рождается преступление — отчего так?

Мы бродили в Ельце по улицам вечером, я говорил ей о Японии, что мы с ней в Японию поедем. Она хохотала:

— Мальчик мой, никуда мы не поедем, мы будем жить с Сашей, а вы будете нашим гостем.

И так раздумываешь о любви и приходишь к мысли, что как прав народ наш, разделяя это слово на два: любовь в нашем смысле (романтическая) понимается у них как зло, и любовь-понимание — добро. Только где же грань и разделение: начинается роман... Начинается наш роман пониманием двух: они встречаются, и угадывают друг друга, и сознают в этом свое превосходство, им кажется, будто они двое, только они двое нашли какой-то секрет и этим перед другими возвышаются (сумасшествие вдвоем).

Нет! они такие же бедные, жалкие, ничего не понимающие люди, а что им кажется их особенностью и превосходством в понимании — это нива гения Рода, на которую вступают они нечаянно, на этой ниве разделения нет между людьми, тут живут открыто, без одежд и стен. Они вступили на землю гения Рода нечаянно и не успели еще забыть себя как людей, связанных с разными враждующими частями материи, и приписывают это себе как личностям... Нет и нет! Мудрые древние люди и их ближайшие к нам потомки, наши дедушки и бабушки, хорошо знали, что на ниве любви живет только безличное, и выдавали своих дочерей за неизвестных им женихов, у них был верный расчет: своя воля в поисках счастья — свое препятствие счастью, и если все-таки приходит счастье, то приходит, обходя «свою волю».

Теперь, когда молодые пониматели находят друг друга, они находят не самих себя, как думают, а берег той обыкновенной земли, на которой жили предки наши, исполняя закон Судьбы (вот почему природа кажется в это время такой прекрасной).

Не знаю, как сложатся наши отношения, и разно думаю в разное время про эту брачную пару, иногда мне кажется, что в конце концов, несмотря на заблуждения своей чувст-

венности, она сумеет разобраться в своем «святая святых», найти и отстоять свое право женщины (и я помогу ей в этом), и он поймет и даст нам возможность сживаться душой. Иногда я так подумаю и представляю нас трех в маленькой пошло-капризной борьбе. Но пусть! мне остается все-таки как идеал и смысл образ пусть мной самим созданной женщины. С ней могу я теперь понять большой участок жизни своей. Вижу теперь при свете зажженного ею огня свою половую жизнь: вот всегда мне казалось, что недостатки моей семейной жизни против других происходят от недостатков моей жены, теперь же ясно вижу, дело не в этом, дело во мне самом, потому что я был по отношению к жене зверем, может быть, хорошим, добрым, но только зверем, я никогда не испытывал чувства радости служения любимому человеку, что любить значит служить любимому. Итак, милая моя София, я поступаю к тебе на службу и думаю, по всему вероятию, что первым послушанием ты назначишь мне преобразование моего полового отношения в семье в человеческое.

Ефросинья Павловна вся расцветает от моего внимательного отношения к ней, и не знает она, что это отношение было внушено мне тою, которую она считает «трепалкой», «разлучницей» и обманщицей. Знаю, что ложно, но не знаю, как открыть ей глаза на Соню настоящую.

***29 Августа.*** Как же сложно теперь с легким сердцем показаться на глаза другу. Ясно, что нужно сидеть, дожидаться, пока позовут, и как будет эта встреча, с ложью — мучительно, невыносимо, объяснение до конца... весьма трудно. Исход, мне кажется, один: перерыв отношений «до радостного утра».

А и так тоже думается: никогда у нас с Ефросиньей Павловной не было такого лада, как сейчас, никогда не жилось так приятно, между тем едва ли проходили какие-нибудь десять минут, чтобы я не вспомнил свою Соню и не обласкал ее в сердце. Так, может быть, и очень вероятно, первое время будет она жить. Мне кажется, первое время

она даже будет бояться моего появления. И не надо появляться.

***30 Августа.*** Солнце в саду, тишина величайшая предосенняя, и в душе [чувство] безоглядного счастья. Бывает (и это было весной): постыдно быть счастливым, когда вокруг бедствие, а то наоборот, «и пускай!», провались весь свет — я буду счастлив! (цвет побеждает: та роковая ночь как борьба креста с цветом и победа цвета).

Та ужасная ночь мне представляется как моя победа, потому что я, будучи на высоте чувства деятельного сострадания к Е. П., в то же время не унизился, не утерял чувства к С. А со стороны на суде человеческом так: привез в свою семью женщину, в которую влюбился, довел этим жену до сумасшествия, разыграл перед возлюбленной героя, потом увез больную в город и наслаждался с возлюбленной всеми радостями жизни...

Было уже поздно, я отворил окно — небо чистое, звезды. Я искал увидеть на небе хоть небольшой остаток нашей луны — не было и остатка луны нашей на небе. А новая луна будет — новая жизнь вокруг будет другая, и по-другому она будет смотреть с неба.

Каждый день теперь от нее будто дальше уезжаешь, начинают показываться разные предметы, интересные сами по себе, без отношения к ней. Сбывается наше предположение: все будет входить в свою колею. И все-таки навсегда она моя: сколько бы ни прошло времени, встретимся, и в один миг по одной искре из рукопожатия...

Три дня лил дождь, сесть было некуда — такая везде сырость, мы проходили мимо смета с соломой, разгребли до сухого и сели в солому; из-за парка огромная, как будто разбухшая от сырости, водянисто-зеленая поднималась над садом луна. Мы сидели на соломе напряженно горячие, пожар готов был вспыхнуть каждую минуту. Вдруг в соломе мышь зашуршала, она вскочила испуганная и под яблонями при луне стала удаляться к дому. Я догнал ее.

— Соломинку, — сказала она шепотом, — достаньте соломинку.

Я опустил руку за кофточку и вынул соломинку.

— Еще одна ниже.

Я ниже опустил руку и вынул.

— Еще одна!

С помраченным рассудком я забирался все дальше, дальше, а вокруг была сырая трава и огромная водянистая набухшая луна.

— Ну, покойной ночи! — сказала она и ушла к себе в комнату.

А я, как пес, с пересохшим от внутреннего огня языком, с тяжелым дыханием, стою под огромной, водянисто-огромной луной, безнадежно хожу: в спальне дети, тут сырая трава и водяная луна охраняют честь моего отсутствующего друга; муж соломенной вдовы.

Наутро она говорит, что нежность и благодарность чувствует ко мне, и вообще находит, что в наших отношениях гораздо больше идеального, чем страстного.

Ночное прощание, бычок на веревочке.

Мне хотелось что-то новое творить для нее на стороне, писать новые, небывалые пьесы для театра, я еду в Москву, думаю, делаю там, и в то же время чувствую, будто она меня привязала, как бычка, на веревку, и тянет, тянет: я рвусь вперед сильнее и сильнее, а она меня тянет и тянет к себе, и чем больше я делаю усилий расширить свой круг, тем он теснее, теснее, и я все ближе и ближе к ней. Я пишу ей, что не приеду, она пишет мне, что ждет и знает, что я непременно приеду. Так веревка становится все короче, короче, и вот она уже прямо тащит меня к себе. Не доезжая последней станции, я делаю последнюю попытку — уехать к себе, я собираю вещи, готовый сойти на станции, но когда поезд останавливается, я сажусь и закуриваю трубку, и так прибываю прямо к ней на балкон: ласковая хозяйка отвязывает веревку, берет своего бычка за уши, гладит, и чешет, и нежит. Еще вспыхивает голубой огонь, но все больше и больше в нем пятнистого красного, дальше, дальше, и вот не разберешь больше ничего: красный

пожар, и она в нем чародействует, меняя лицо каждую минуту, как это наше светило среди спокойных звезд, вспыхивающих то красным, то голубым.

И я, притянутый к жизни живой, в ту минуту понимаю, что нет раздельно голубого и красного, наша настоящая жизнь — безумные действия, где все перепуталось: и зло, и добро, истина и ад, правда и ложь — все одинаково служат гению Рода.

Разобрать выражение ее лица на прощанье: святая, лукавая, преступная и верная, лживая и прямая — Кармен в обществе благочестивых потомков соборного протоиерея отца Павла Покровского.

Коммуна молотит.

Третью неделю не вижу, не знаю, не хочу знать, что делается в народе, как и куда что идет, сегодня наконец душа моя смутно, как солнце через окошко, из закрытого неба заглянула к подземному миру, смотрю — какая нелепица: в усадьбе на дворе скирды стоят, будто нарочно поставлены, чтобы спалить все, и мужики с бабами молотят. Настоящее гумно помещичье за прудом пустое стоит, подъехать нельзя к нему: тут огород, а где огород был, там теперь овес. Посмотрел, как молотят: где у нас человек был один, теперь три, и мы по двугривенному платили, а тут по шесть рублей в день. Солому тут же из-под молотилки увозят кто куда, и зерно выходит сырое, зеленое. Покачал я, как старый хозяин, головой, улыбнулся, смотрю, все смеются вокруг меня.

— На какого хозяина, — спрашиваю, — вы так работаете?

— На Ивана Ветрова, — отвечают, — у нас один теперь хозяин: Иван Ветров.

С серебрящимися на висках волосами встретились мы в нашем краю и вдруг поняли, что напрасно ездили по чужим краям, напрасно искали на стороне друзей: чудесный край был возле нас, и мы рождены были друг для друга. И я понял тогда, почему тянуло меня из родного прекрас-

ного края на сторонку чужую: далекое казалось ближе к далекой, недостижимой. А когда она явилась в мой край, понял бедный человек, что нет лучше на свете места, где я родился.

Прекрасный человек Александр Михайлович и мечтатель, каких я люблю, но есть в его мечтательности что-то меня раздражающее, я думаю так: изживая мечту, он не успевает заглянуть в темный провал жизни (как я заглядываю), как уже загорается новой мечтой, и она, новая мечта, переносит благополучно его через провал. Сказать, что он жизни не знает, нельзя: он рабочий человек и знает все тяжелое, трудное больше меня. Но, подогретый, он приспособляется к жизни и остается идеалистом там, где нельзя оставаться, — это меня и раздражает и создает из него двойственное существо: как будто он, с одной стороны, чересчур даже приспособлен к жизни и как нужно хитер, затаен и т. д., а с другой, непобедимый мечтатель-идеалист. В конце концов получается, что нельзя его ни бить, ни любить. Отсюда, вероятно, выходит и трагедия жены его, прекрасной, цельной женщины: отдаваясь ему, она не может отдаться вполне затаенному, неискреннему человеку, а полюбив другого, она не может разорвать с ним, потому что любит его по-настоящему, и ей нельзя то, его настоящее, не любить. Чтобы разорвать с ним, ей нужно себя разорвать ф и з и ч е с к и, просто разрубить себя топором надвое. Но так как это невозможно, она с ним двойная, тройная, припрятывая в свое глубокое сердце все, к чему рвется душа, и для своего утешения рассказывая ему («подготовляя») по возможности все, что можно...

Не тужи, не горюй, не смущайся, моя дорогая, нашими грехами с «осадками», в конце концов, грехи эти — узлы, которыми нас с тобой кто-то хочет связать.

Рябина стояла под ясенем, в Апреле она стала одеваться сложными листьями-пальчиками. Ясень стоял над нею высокий, неодетый. Последним одевается ясень. Будто глядя сверху, любуясь рябиною, оделся он в Мае такими

же, как она, большими, сложными, сквозными листьями. Рябина цвела в то время скромно белыми цветочками. В конце Сентября ударил первый зазимок, и сразу большие, как руки, опали с ясеня все его листья и засыпали рябину, только ярко-красные и обильные из-под убитой зелени виднелись плоды дерева рябины.

Обратный роман. Она — жена моего друга, я ничего не чувствую к ней как мужчина, я не допускаю себе мысли о ней как о женщине, она мне как родня — жена моего друга, мать двух детей, заключенная в счастливой семейности. Встречается мне на улице по приезде из Петербурга, я ей рассказываю про мужа ее, как он там голодает и как я там голодал.

— Приходите, — говорит, — ко мне сегодня обедать, я вас хорошо угощу.

Друг мой отбил у меня невесту, но Бог с ним: едва слезы мог я удержать, когда стоял в церкви во время их венчанья, но через год сказал: «Бог с ними!», через два — благодарил Господа, что сотворил меня холостым. Через пять лет приехал к другу гостить. Его не было дома, с женой его мы погрузились в воспоминания (солома). Честь друга моего была спасена, я не обманул его доверия, как пять лет тому назад он обманул мое.

***31 Августа.*** Помню, Петров-Водкин писал яблоко во время революции и потом говорил мне, что такое яблоко он мог написать только во время революции. Так, дорогая, и любовь наша могла выйти такой лишь во время революции (первое: время страшно быстро летит, все рушится, собираешь последние усилия, чтобы нажиться, и это дает решимость на такие поступки, каких не мог бы и помыслить в другое время — и многое другое — разобрать это на досуге).

Моя милая, не думай, что это конец, могила, верь, что это падение — начало нашей долгой любви, необходимое, неизбежное начало, после которого мы непременно взойдем на такую высоту, какая нам и не снилась никогда.

Поблагодарим же теперь нашего Бога, что в последнюю минуту не допустил он нас сделать наших близких несчастными. Ты знаешь, отчего мы падаем в тьму? нам темно, потому что мы своими слабыми глазами смотрим прямо в огонь любви, теперь больше не будем так... Если кто-нибудь любит и чувствует там где-то алтарь — не входи туда, напротив, обернись лицом в другую сторону, где все погружено во мрак, и действуй там силой любви, почерпнутой из источника позади тебя, и дожидайся в отважном терпении, когда голос тайный позовет тебя обернуться назад и принять в себя свет прямой. Будем же так жить, как мы жили, ты со своей семьей, я со своими рассказами, только пусть все мелочи нашей жизни теперь будут освещены светом нашей любви.

Так хочу ей сказать сегодня, но, кажется, это только настроение, потому что нет в этих словах какой-то оправдывающей силы, такой силы, которая была бы значительней силы кипящей подземной страсти.

Переход из тьмы зла к свету Христову в женщине нельзя понимать схематически: тут в каждой есть особый дар скрытый, из которого все развивается, — что это за дар? У сестры этого нет дара.

Ее главное: она меня высоко ценит, моя любовь — эгоизм, если я люблю ее только за это, но нет: я ценю ее за глубинность и тонкую нежную душу.

Мне кажется иногда, что сестра моя такая злая потому, что видит добро и красоту ясно, но, не зная, как взяться за это, отдается бешенству зла. Она слишком страстная и умная, чтобы заменить эту силу утешительным состоянием. Пусть она будет исходным типом моих женщин. Мать моя определила ее состояние кратко: «Бешеная, потому что замуж не вышла».

Феврония имела такую же (приблизительно) катастрофу, как Лидия, но почему-то (почему?) страсть свою (она

стала бы проституткой) перенесла на о. Амвросия и ему отдалась, как Жениху.

Обе как евангельские девы: одна темная, другая со светильником.

Типы дев со светильниками: Маня Хрущева (мать Анатолия), двоюродная сестра Маша, двоюродная сестра Дуничка (вспомнить, собрать).

Типы дев темных: в бездне тьмы лежащая Лидия, в бездне гордости и лжи Серафима Павловна Ремизова ([сложный] тип), Маруся Спиридонова (вспомнить, собрать).

Последний суд будет за красоту, только нужно помнить, что это не наш суд, преступление эстетов состоит в том, что они на себя берут это право — судить-рядить по красоте.

***1 Сентября.*** Поэзия разлук и свиданий (горя и радости).

Помнить на Сосне гуся... — искры воды, переплес волн, и совершенно так же у нас: подвижная и спокойная радость; любовь — это движение, даже самая спокойная любовь — спокойное лоно текучей воды.

Ну и пошутили мы над жизнью. Представьте себе землю, где идет борьба за каждую сажень, где закон и суд находятся в руках воров и клейменых убийц, время вообразите себе, когда из усадеб, разграбленных и частью сожженных, разрушенных до основания, убежали все их владельцы, время расстрелов без суда, выстрелов по огоньку в окошке — в это время вихрей по этой разделенной земле, не обращая внимания на границы и межи, из усадьбы в усадьбу, из парка в парк каждый день под руку с веселым смехом, радостным восклицанием, с частыми остановками для поцелуев и всяких шалостей проходит на глазах всех пара — настоящий господин и настоящая дама в одежде столичного происхождения, с манерами того класса культурных людей, который объявлен теперь «вне закона». Они так заняты собой, им кажется весь мир

их личным владением, где они могут позволить себе все что угодно, — встречные крестьяне, вообще-то до последнего сбитые с толку всякой смутой, как пораженные видением далеких барских времен, внезапно останавливаются и, посмотрев на смеющихся, не зная, что делать с ними, снимают картуз, и господа им приветливо кивают: здравствуйте, милые...

Не знаю, зачем счастливому чужую жизнь наблюдать, он как бы идет под зонтиком, и вода вся, падающая на него, скатывается. Несчастный, дойдя до последнего несчастья, вывертывается, как зонтик иногда от сильного ветра — хлоп! и вывернулся вверх чашей, — и вода, падающая сверху, в него собирается.

Девушки, самые чистые и, значит, более других достойные любви, начинают любить, не видя его, сердце двинулось, но кто он — разобрать невозможно, значит, опять-таки лица в любви не видно или оно обманчивое, — лицо не в любви, это претензия, взятая из мира не-любви. И в то же время справедливо, что любовь с этой претензией (на вечность, лицо) только и есть любовь.

Любовь — это борьба за личность (и вечность).

Хорош пример с В. П.: влюбленная в 20 лет говорит: «Лучшее, да, лучшее осталось с вами», а в 35 лет пишет, оскорбляясь за напоминание: «Никогда мое лучшее от меня никто не возьмет, оно всегда со мною».

«Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека внезапно сближаются в течение нескольких мгновений, и сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях» («Дворянское гнездо». *Тургенев).*

***2 Сентября.*** Вчера приехала из города Ефросинья Павловна и рассказывала про N, что приехал он измученный, с проваленными щеками, старый, седой, что прежний петербургский лоск его совершенно слинял, ходит

в косоворотке, брюзжит на детей и очень настойчив в правах своих хозяина дома — видно, что настоящий отец, настоящий хозяин. Она же все время, перекидываясь с одного в другое, тараторит ему, так что он время от времени останавливает: «Ну перестань, не все же сразу».

Живо ее представляю с лукавыми огоньками в глазах, как на прощаньи (в городе), нашу Кармен, и совершенно то же настроение, как на прощаньи в деревне, владеет мною: невозможность дальнейших отношений, отвращение к лжи, случайность-призрачность нашей встречи и вообще какой-то художественный театр.

Кажется, так нужно, так необходимо и так легко это сбросить, кажется, единственный благородный, вообще соответствующий высоте наших отношений при завязке нам остается поступок — расстаться решительно и навсегда. Но недаром годы прошли: прошлый опыт подсказывает, что легкость эта только кажущаяся, эта легкость в своем роде тоже от поэзии любви (обмана), что самая сладость этой легкости и есть одна из форм выражения страсти, что если взаправду знать, что больше никогда не увидимся, то на место сладости должно стать равнодушие к жизни, убожество ее, мука ее, тягота, что заменить сразу это чувство какой-нибудь деятельностью можно только после мучительно сложного мыканья, что и ей это сделать нелегко, и она, со своей стороны, имеет тысячи возможностей показать себя снова манящей царевной.

Я не знаю, что это за чувство мое, когда она с ним, — ревность? кажется, нет... а какая-то неприязненность к ней, что она, моя прекрасная, может быть и пребывать в столь унизительном состоянии лжи. Скорее всего, чувство это есть наиболее пакостная форма ревности: раздетой, обнаженной ревности выход, как в обыкновенной ревности: вскрыть обман ее — убить ее, вскрыть невинность ее — себя убить, вскрыть его, негодяя — его убить, то есть всё бить — бить и любить, тут же выходит, что нельзя ни бить, ни любить по-настоящему, а сидеть на краю стола и дожидаться, пока он отвернется... и хап! себе в рот незаметно безе со сбитыми сливками. «Сладко?» — спросит

она. «Сладко, милая, а тебе тоже сладко?» — «И мне сладко».

Вот я так думаю, что ведь ей-то должно быть еще хуже — труднее, чем мне, и как я себе это представляю — так и поднимается к ней снова завлекающая любовная нежность, происхождение которой в бездне омута или в облаках.

Я — не люблю, исполняю семейный долг, люблю тебя, и если ты готова, я брошу семью. Она — я люблю его и никогда не брошу, но я и тебя люблю, и ты никого не бросай, будь моим тихим гостем, я найду способ рано или поздно дать тебе все твое.

Вспоминаю сон, записанный мною лет десять тому назад: я сплю в одной комнате, а за дверью спит она с другим, она входит ко мне, я быстро прячу что-то под одеяло, и когда она хочет сесть ко мне на кровать, я говорю: «Осторожней, тут спрятан наш грех». Тогда она чувствует, видно, ко мне какую-то особенную нежность и, верно, чтобы устранить, что ли, обиду мою на «другого» в той комнате, показывает картинку из «Сатирикона», в которой один за другим проезжают всадники мимо чего-то. «Вот, — говорит, — видишь, один проехал, вот другой, вот третий. — Показывает на спящего в другой комнате моего соперника и говорит: — Этот уже проехал!»

В том-то и беда, что «наш грех», собственно, уже совершился, и не в грубом (мужицком) виде, а через перепутывание наших общих тончайших ночных — лунных щупальцев, так что распутать их никак невозможно, если кто-нибудь не разорвет со стороны.

Наша луна.

Поздно ночью, верно, перед самой зарей, я выглянул в окно: Боже мой! какое очарование: возле наших ясеней был яркий-преяркий последний тончайший серпик нашей луны со всем дополняющим слабо намеченным кругом, особенно сильная яркость серпика происходила, кажется, от контраста с туманным кругом, и, как бывает перед утром, все особенно крепко-яркие звезды, и Медведица, и Полярная, и утренняя Венера, и какие только еще

есть звезды и планеты — как-то все в одном углу собрались кучкой, собирая всю славу неба к этому последнему серпику нашей луны.

Что бы она там ни говорила про свою любовь к мужу — разница в формах выражения, но существо ее отношений к мужу и моих к Ефросинии Павловне совершенно одинаково.

Как женщина красивая и, значит, до некоторой степени избалованная, она иногда бывает слишком самоуверенна, неотгадчива в мнениях людей...

***11 Августа.*** Вчера собрался уезжать в Хрущево, но, прочитав в газетах, что все послы всех центральных держав выехали, решил остаться и разобрать, почему они выехали: если это означает германскую оккупацию, то надо лучше переждать бурное время здесь. Первая моя мысль об этом была, впрочем, другая: что немцам запахло миром или просто они почуяли необходимость мириться, а так как союзники не признают русского правительства, с которым они дружат, то вот и отозвали послов. Сегодня я на этом остановился более или менее прочно, потом — доставать на вокзал билет на завтра, и узнал, что вчерашний мой поезд потерпел крушение и было много жертв.

Читаю с особенным интересом дневник царя, не выношу всеобщих насмешек над записками царя, потому что документ этот в своей простоте заключает трагедию.

Ульяна продолжает меня занимать, и особенно много раздумываю о ее муже: какой он во всех отношениях хороший человек; почему так выходит у нас и, вероятно, везде, что такое множество встречается хороших людей, а в то же время вокруг такая совершается мерзость? Мне кажется, Ульяне за ним так должно быть хорошо, надежно до конца, она с ним должна быть счастлива и навсегда быть с ним, и всякие помышления на перемены странны.

Все-таки есть в заборе их огорода какая-то трещинка, и лунный свет через нее пробивается, и в нем Ульяна — моя, не хочу, не желаю, злюсь очень много на себя и даже на нее, но... это есть и, верно, так всюду. Вспоминаю, сколько умных, прекрасных во всех отношениях и серьезных людей встречалось в моей жизни, а остаются со светом влияния на меня только самые чудные и нелепые во всех своих жизненных отношениях, и это закон для всей жизни. По-видимому, мораль и разумность бытия занимают вообще очень ограниченное место во вселенной.

Приехал куманек-контролер, посмотрел хозяйство и разорался:

— Скирды промокли — непокрытые, в мякину зерно ссыпают...

Кричал, кричал — есть захотел.

— Пойду, — говорит, — к помещице чай пить.

— Ну, — показывают, — вон она идет, посмотри на нее, на помещицу.

Лидия в огаженной юбке, в сапогах проходит с ведрами — корову доила. Рядом с ней идет с палкой в руке Николай в пальтишке хуже, чем у нищего.

— У этой помещицы, — говорят, — не разживешься чаю, сама не пьет.

Пошел ревизор на огород, съел две моркови и уехал.

Встречает ревизор председателя комитета бедноты, человек живалый, в котелке.

— Такой бедноте, — говорит ревизор, — я руки не подаю! — И отошел. Под вечер есть захотел. — Где бы чаю напиться?

— Можно только у председателя бедноты.

— У этого? а хороший человек?

— Ничего, хороший.

Пришли, напились чаю, три сорта варенья, спиртик. Выпил и говорит:

— Я, товарищи, конечно, кричу, моя такая должность — кричать, а, конечно, вам вреда не сделаю.

На другой день приходят на станцию рожь отправлять, сырая рожь: из мешка не высыпается, сквозь мешок проросла, и один мешок даже вовсе зеленый стоит. Начальник не хочет отправлять.

— Приказываю! — велел ревизор.

И, конечно, отправили. Потом на деревню пошли и уговорили мужиков в знак радости, что Ленин поправляется, послать ему по пять фунтов хлеба с души.

Артем — хозяйственный мужик, жадный как голодный волк, он все понимает по-волчьему, и в его деревенском волчьем гнезде есть своя правда — куманьки ненавистны волку, но, зная, что от них поживиться можно, он надевает овечью шкуру и даже служит у них караульщиком.

Архип — по природе кулак и буржуй деревенский, но есть у него что-то в голове: выпил рюмку, и все добро к черту летит, орет, бушует. Смутной душой своей он коснется высшего закона человеческого, не расставаясь ни на миг с полным обликом зверя, так что чем ближе к человеческому подвинется, тем яростнее начинает орать. Он спорит «накидкой», броском, не вслушиваясь в возражения. Вид имеет гориллы.

Синий — бывший лакей Стаховича, потихоньку услуживает униженным господам: то муки выдаст, то меду и разного — будто с салфеткой по двору ходит; смутное сознание превосходства господ. Впрочем, он всем угождает, на этом построена вся его карьера: всем угодить, чтобы выйти сухим из воды. Он всем сейчас нужен, но нет такого зверя в деревне, который бы не презирал его: у всякого зверя есть гнездо и в гнезде своя волчья, гориллина и всякая правда, но у Синего все ложь, и гнезда у него нет на земле: этот черт, посланный для мужицкой смуты. Все теперь ему кланяются, а за глаза даже дерево указывают, на котором повесить. Только будет так, что ошибутся, другого за него повесят, а он в другой появится губернии (заведовал уборкой хлеба, запутался, сжег, чтобы избежать

отчетности, все запасы и как сквозь землю провалился — уехал в Смоленскую губернию).

Васька — счастливый вор.

Вся жизнь до самых недр своих пропитана ложью, нельзя никому жить, чтобы не входить в кумовство с куманьками. Если бы нашелся безумец, который вздумал бы правду вывести, то весь торжествующий ад поднимется против него с чертовой печатью от всех комитетов бедноты.

Все происходит от какой-то основной неправды...

Это самый тот наш прежний строй, только теперь безобманно и у всех на глазах: какая-то отрицательная школа воспитания гражданина.

Горький затевает какое-то массовое издательство иностранных писателей при Луначарском — интересно, что и н о с т р а н н ы х. По-видимому, в литературе так же, как и в хозяйстве, — куманьки.

Ничего, это ужасное ничего, которое бывает, когда встретишь ту, которой увлекался, за которую жизнь хотел положить — и доведись! положил бы... вот теперь две дороги, обе ужасные: или беда, или это «ничего».

...Вздор! это дождь залил землю, и душа остыла, всякое чувство гаснет — а...

***2 Сентября.*** Везу Леву в Елец. Верный Михаил! помни, что сильный силен со всяким оружием, а у слабого одно оружие: хитрость...

Выйдешь за околицу: все та же земля, и деревни, и усадьбы там вдали с тенистыми парками- садами... Усадьба как труп, кишащий червями...

***6 Сентября.*** Дети: «А у коровы губы большие!» — «Что ты лезешь?» — «Мамочка, я тебя люблю — как же не лезть мне?»

Потерялось кольцо. Семья (дяди, тетки, дедушки) — все верят в значение этой утраты, и она плачет, придавая то же значение простой потере кольца. Чтобы не плакала, нужно разрушить веру, представить как суеверие, предрассудок; любя ее, хочется найти какой-нибудь выход и предрассудок уничтожить для того, чтобы она стала весела, не страдала. Так, вероятно, нигилисты разрушают религию, чтобы избавить человека от страдания, так возникает то, что называется «религия человечества», робеспьеровское Верховное начало — Разум.

Еще в этом есть и эгоизм: все рушится, а я хочу, чтобы она оставалась со мною, я говорю, что там у дедушек нет ничего, все вздор: «Найдется кольцо, еще наскучит носить его».

***8 Сентября.*** Поднял с земли затейливую изукрашенную пуговку, долго смотрел на нее и думал о том времени, когда занимались люди такой роскошью. Вдруг вспомнил про С., и она стала мне казаться среди этого нового грубого бытия затерянной и никому не нужной пуговкой.

Оба мы нежно ухаживаем за А. М.: особый род любви-нежности от сознания своей виновности. И я думаю, что и наше влечение друг к другу имеет свой особенный, утонченный оттенок от его греховности.

Очень мило вышло с крестинами Левы, родные похвалили, а она говорит:

— Я и тебе надену крестик!

— Ну, — отвечаю, — это потруднее сделать, чем Леве.

Не поняла меня, почему потруднее.

— Мне же, — говорю, — надо серьезно.

— Ну что же, — отвечает, — я ему серьезно надела.

О, дорогая моя грешница! как влечет тебя к святому греху...

— Я бы, — говорит, — границы никогда бы не перешла.

— И очень, — отвечаю, — плохо.

— Почему плохо?

— Потому что так больше лжи, да и значит ли что-нибудь эта граница?

— Что-то значит.

Так создается непереходимое поле сладострастия с чувством вечного грешника и лжи — что имеет, конечно, другое значение, чем настоящая страсть, настоящий грех и настоящий крест «за границей».

Я понял, что решаюсь перекопать это наше непереходимое поле — конец! Она ответила, что это невозможно и выйдет так, если только я уеду. А впрочем, ей это «мужское» решение понравилось.

Признание: никогда не испытывала полного удовлетворения чувства в брачной жизни... а сама семейная жизнь — счастливая. Так растет виноградный сад у вулкана.

Как-то вечером неискренно она говорит ему:

— Ты опять на собрание, это ужасно!

— Почему ужасно? я делаю свое, предоставляю тебе полную свободу.

Мы переглянулись: вот начинается!

Я:

— Да, вот вы уходите, а что без вас тут творится...

— Вулканическая природа! — говорит он.

— Неизвестно, — говорю, — для вас: есть теория вулканическая (под землей огонь), есть теория плутоническая (вода), и есть платоническая — все возможно, а вы не знаете.

Выступил я решительно, а он увильнул по-адвокатски:

— Ничего не понимаю, ведь я же о Леве говорил, что природа у него вулканическая.

Она видела сон: рушится и горит великий город, а она с кем-то стоит, смотрит и наслаждается красотой огня, как Нерон. И еще потом стоит, смотрит с горы на белый город в садах, как в Крыму, много фонтанов бьет, и счастье полное в душе льется через край, как вода из бассейнов-фонтанов. Тот, с кем она любуется, уходит зачем-то в пещеру, и тут появляется мальчик, плачет горько и говорит ей с упреком: «Зачем она с ним, ведь это дьявол!» Тог-

да она уходит в монастырь и пишет оттуда «ему», что все между ними кончено, и подписывается: «Сестра Агнесса».

Любование своим собственным пожаром... это наше игривое настроение, когда все горит... Отзвуки прошлого: «сестра Агнесса». А главное: м о я природа этого сна.

Общий осадок от этого быта втроем тот самый, что предвиделся: опошление чувства. Еще чуть-чуть — и поэтическая тайна развеется. Нужно все сделать, чтобы предупредить распадение.

Ее упреки мужу, что он своими делами далек от нее. И постороннему странно: весь день занимался интересным ему делом и ничего не расскажет. Вероятно, у него в этом отношении подобное со многими: жена — уют, а дело делом и так до полного разделения. Я это стал испытывать только в последнее время, когда уже окончательно убедился в невозможности... (или утомился, или разлюбил?)

Она думает, что он не ревнует, потому что не знает, не допускает. А я думаю, что он и допускает, но все-таки не ревнует: ему, вероятно, не то дорого в ней, за что ревнуют. Отвратительно думать, что какой-нибудь циник со стороны имеет полное право сказать: «наилучшие условия для брака втроем».

К сну «сестры Агнессы»: пожар города, огонь. Маленький огонек вспыхнул и сейчас же исчез, словно подумал: «Нельзя! грех!» и спрятался, а вскоре как бы раздумал и вспыхнул сильнее, и снова — нельзя! грех! — и опять затаился, стал синим, едва заметным, — и вдруг сразу большим заревом осветился город. Тогда исчезла в пламени вся затаенность и нерешительность, и счастье пламени, счастье горящего охватило стоящих на горе у пылающего города.

— Помнишь, — сказала она, — как мы боялись чего-то, и вот нет ничего: только радость.

Изучение момента потери обручального кольца.

<*Зачеркнуто: Он пишет у окна и смотрит, как жена его с другом в саду рвут для коровы траву.*>

В садике друг дома (пóшло).

NB. Пошлостью называется состояние, когда идеальное наивно заменяется неизбежно житейским, цинизмом, когда сознательно.

В садике дама (Анна) сгребает траву, господин (художник Дмитрий) делает последний удар косой по бурьяну и говорит:

— Анна, я счастлив!

Она быстро оглядывается на окно: там в окне видно, как, склонившись над бумагами, он что-то пишет. Она делает глаза.

Дмитрий. Анна Михайловна! я думаю...

***9 Сентября.*** Из поэмы «Цвет и крест».

Какая тишина в золотых лесах! далеко где-то молотилка, будто пчела, жужжит, а войдешь в лес, то пчела, будто молотилка, — так тихо!

Так тихо: земля под ногою, как пустая, бунчит.

Светлый прудик тихий, обрамленный осенним цветом деревьев, как затерянное начало радостного источника встретился мне на пути. Тут с разноцветных деревьев: кленов, ясеней, дубов, осин — я выбираю [листья] самые красивые, будто готовлю из них кому-то цвет совершенной красоты.

Источник радости и света встретился мне на пути, и все ясно мне в эту минуту, как жить мне дальше, чтобы всегда быть в свете и радости. Но годы мои... я не раз был у источника и скоро терял его, и теперь в радости встречи думаю: как удержать мне в памяти тропинку, по которой нежданно я пришел сегодня сюда. И в жужжании последних пчел мне слышится голос:

— Возьми крест и передай любимому человеку цвет свой!

Вот в этих цветисто-разукрашенных деревьях выступают — кажется мне — знакомые лица, и совершается великая тайна посвящения: она крест надевает на его шею, он передает ей свой цвет.

Исчезли все сомнения: пусть все цветы потемнеют и светлый источник засыплет прелая листва, закует-заморозит зима все вокруг, засыплет снегом лес — ни пройти, ни проехать. Пусть! крест ее сохранит цвет в душе и в темные осенние вечера, и в зимние ночи.

Выхожу на опушку леса, а там уже все знают о посвящении: сияют радостные скрещенные верхи, ликуя, поднимается в прозрачность последний жаворонок.

Тут уже знают — что совершилось в лесу: вон по скрещенным верхам поднимаются тихо те двое: в подробностях как чудесно изукрашена земля под их ногами: такие тончайшие зеленые кружева!

Они выше и выше поднимаются и вот затерялись на рубеже, поросшем муравою, в полях молодой озими.

Я малодушно растерялся перед наступающей в полях тишиной, но тьма не наступила: еще не успела потухнуть, еще светила заря, а с другой стороны большая поднималась луна, свет луны и свет зари сошлись вместе, как цвет и крест в ярких сумерках.

Я хотел ей рассказать все, но оказалось, что все рассказать невозможно и нельзя: есть личные тайны, которые не только нельзя рассказать другому, но и себе не признаешься в них: их можно рассказывать другому лицу только поступками, а словами сказать — убивать их.

Начало поэмы то: некая Я и те двое на разделенной земле: их путь крест и цвет (соединение), их искушение — разделение: символ разделения — жизнь обезьян.

К обезьянам: на клевере лошадей стрегут: рассказ Глеба о разных изобретениях человека на опустошенной земле: керосина нет — выдумали на блюдечко лампадное масло, рассадили в Лампы на ярмарке, и в Покров все везде засветилось. Изобретение из лака солью спирт добывать... Корова зайцу лапу отдавила: вьется заяц под коровьей ногой. Для живописи: заяц по семиверхам, оборот, гончие — стадо шарахнулось. «А немцы из говна масло делают!» Мельницы запретили — жернова везде ручные, — велосипед и кофейница. О коммуне: Аракчеевщина и ком-

муна (все на чужого дядю): пример, как из свободы является рабство. Принцип коммуны вышел из подвига, формулируя подвиг. Отрицая личный подвиг, формулируют его достижения и даром отдают беднейшему, который настолько совершен[ен], что ему не нужно креста.

Украдкой, робея, что отберут охотничьи ружья, пробираются два охотника убить зайчика.

Она сказала, что невозможно возвратиться к началу. А я думаю, что возможно одно чувство заменить другим: чувство, которое обращено друг к другу внутрь, тем чувством, которое обращено к миру, одно порождает страсть и «последствия» (дети, собственность, государство и пр.), другое порождает любовное внимание к миру.

«Правда, — говорит она, — что если уедешь...» — то есть какая-то внешняя причина должна быть, чтобы изменить русло чувства.

Это неинтересно, это у меня уже было: искусство вместо семьи. Но вот это интересно: быть вместе и удержать себя (посвящение, задача жизни, подвиг).

<*На полях:* *Спирт из завода в глину утек — так вот теперь из глины мужики спирт гонят.*>

***11 Сентября.*** Ефросинья Павловна с детьми в городе, Яша — в Москве, я — один.

Из пансиона Тургеневских женщин Соня ближе всех к Одинцовой — именно тем, что всем кажется холодной женщиной, а на самом деле у нее этот холодный пояс служит только для охраны ее тайны, а в чем эта тайна — она сама не знает.

— Может быть, это моя неиспользованная страсть? — сказала раз она.

Вот эту тайну мне и нужно уловить.

Я подстерег сон ее тайный, который никому нельзя рассказать. Тихим гостем прокрался к ней, и она увидела скромного свидетеля снов своих, который сам как сон, и ему можно все сказать и о всем спросить...

Я — тихий гость, свидетель грешного сна чистой женщины...

Она пришла на то место, где я родился, и сразу поняла меня и сказала, что это место чудесно-прекрасное, а в душе моей зарытыми лежали богатства бесчисленные, и я увидел, что все эти богатства теперь мертвые, которые зарывал, как скупой рыцарь, в землю, она одна может открыть... И она тихой гостьей пришла ко мне осмотреть все тайные богатства мои.

Роковой седой волос выбивается на свободу и будто шепчет:

— Спеши!

В ней есть то же, что в покойнице Маше: она не погнушается никаким человеком, никаким делом, никаким положением и всегда со всяким человеком, делом и положением останется сама собой — истинная аристократка.

Однажды Ремизов сказал:

— Вот бы настоящим критикам разобрать интересный вопрос, почему Пришвин не хочет описывать людей, а все коров, собак и всякую такую всячину.

Это вот почему: потому что сердечной жизни человека (себя) я не понимаю и боюсь трогать это догадкой, спугивать, непережитое отдать бумаге, расстаться с будущим. Тут дело мудрое.

Сплю один в доме — жуть! в углу дубинка, под кроватью топор. Раньше казалось, так трудно, так невозможно убить, а теперь про это думается просто, и даже такой человек представляется, что убить его нужно. Какая-то нравственная мель: всюду песок и камни подводные, с которых сбежала живая вода.

***18 Сентября.*** Коммунистов зовут теперь куманьками.

В 20 лет она любила. В 25 вышла замуж по расчету, что он умный, добрый, идеально настроенный человек, вооб-

ще прекрасная «партия». Жили с ним девять лет счастливо. Только раз как-то в дороге ей встретился похожий на того, прежнего, лицом господин, и она была смущена в чувствах до обморока. «Счастливая жизнь» мужа проходила как в саду, насаженном у Везувия во время между двумя извержениями. В нем много мечтательного идеализма, которым скрашивает он свою жизнь, в ней ничего, кроме «только женского». Теперь у нее сложился взгляд на мужчин: идеалисты — с ними семейная жизнь, люди страсти — насильники. Ограничив семью двумя детьми, в виде праздника она разрешила себе легкий флирт, «как все». Но есть натуры, которым нельзя безнаказанно быть «как все». Бывает увлечение до измены по чистоте, по цельности натуры. Ей встретилась третья порода мужчины: страстного мечтателя; не насильником вошел он к ней, а тихим гостем, обещая будущее безболезненно, непостыдно, свято, мирно и безгрешно. И вот Везувий задымился — что-то будет?

Ощущение жизни настоящей (полной) дает страсть, сущность которой борьба; всякая борьба в конце концов сводится к борьбе с собой. «Счастливцы» браком пользуются, чтобы отдохнуть, собрать силы для новой борьбы. Но это предстает в сознании не как средство, а как совершенно другой план бытия: то страсть, а то любовь, то война, а то мир.

Козлоногий фавн теперь с большим трудом может поспеть за нимфой-бестужевкой. О, как хотела бы она быть достигнутой! но она должна убегать. Оглянулась... далеко в долине козлоногий фавн ее возится с прачкою, а она магистр медицины.

Соня плохо поняла мой союз с Ефросиньей Павловной: она говорит, что мы с ней неподходящая пара; но в том-то и дело, что я свою тоску по настоящей любви не мог заменить, как она, браком по расчету на счастье; я взял себе Ефросинью Павловну как бы в издевательство «над счастьем». Кажется, Соня моя в существе своем большая тру-

сиха, и я очень боюсь, что последнюю черту нашей страсти мы с ней превратим в целое поле, черта переходится — начинается новая жизнь, а поле...

Да и я сейчас, кажется, порядочный трус: она боится разбить свое семейное счастье, а я боюсь расстаться со своей застарелой свободой.

Впрочем, эта трусость у нас только во время передышки, раздумья, а так оба на высоте дерзости...

Не могу себе представить нашей встречи втроем, мне кажется, чувство наше неминуемо должно раздробиться и опошлиться — то, чего боялась она, когда ехала ко мне, и что не случилось, ценою... Александр Михайлович такой страстности, как Ефросинья Павловна, не проявит, и, значит, все рассиропится. Я чувствую неизбежность этого варенья... Это, конечно, ревность к ее «счастью».

Коммунистов мужики называют «куманьками», раньше, бывало, «товарищ!», а теперь: «Куманек, нельзя ли разжиться....»

*[Москва]*

<***Без даты.***> Она, как безбрачная девственница, сеет, а муж ее с двумя детьми как огородник: распахал уголок и думает, будто владелец всей.

А девственность, оказывается, вовсе не в шестнадцать годов жизни от рождения, она может остаться и после многих детей и лет, я глубоко убежден, что семидесятилетняя мать моя умерла девственницей и вся целиком ее душа осталась невинной.

Любовь открывает во всякой женщине новое, нетронутое поле.

Вместо молитвы вечером собираю пережитое, обращаю к... и тогда получается все равно что молитва, потому что она мне в то время как чистая святыня, и мысль моя тогда, получив опору в вере, крепнет и становится действительной.

С ней я не боюсь ничего, самое страшное — жертва, отречение, но я знаю, что жертву она мне сделает сладкой, с ней в отречении найду я себе свободу, какая и не снилась мне в охотничьих лесах.

Дорого знать мне, что все лучшее, что дремлет во мне, она никогда не затопчет, потому что насквозь понимается.

Разве мыслимо интеллигентному мужу-пахарю одному вспахать всю бескрайную целинную степь души настоящей женщины. Жалкий огородник! вспашет немного для себя, огородится и счастлив, воображая себе, будто нашел теперь себе приют на всю жизнь.

Жалкий мещанин! пользуйся своим покосом, спеши — завтра придет настоящий Жених ее и, не ставя заборов, будет пахать всю целину ее.

Желанная! я иду с косою и плугом — косить, пахать тебя, но не знаю, как буду, посмею ли.

Родная моя! может быть, плуг и косу свои брошу бессильный, только клянусь, что не буду ставить по тебе заборов и загородок. Если сил не хватит, я пойду по тебе как странник, обойду тебя всю, окину любовно все твои богатства, и за это, благодарная, наполнишь ты сердце мое любовью по самый гроб.

Так Россия моя, теперь растерзанная, разгороженная, скоро сбросит с себя пачкунов и возьмет меня опять к себе.

Паспорт. Прописаться необходимо, представил документ самый верный, дворник неудовлетворен.

— Сколько вам лет? — спрашивает.

Сказал.

— Вероисповедание?

— Зачем вам мое вероисповедание: церковь отделена от государства, свобода совести.

— Ну что же, — говорит, — свобода [совести, свобода,] а прописаться все-таки надо как-нибудь.

— Люди говорят — православный.

Очень обрадовался, по всему видно, уважает православную веру.

— А звание?

— Ну, — отвечаю, — этого я уж вам не скажу, звания теперь нет: я гражданин.

Этим сам дворник смутился, думал, думал и вдруг говорит:

— Гражданин-то гражданин, это я, товарищ, признаю, а из какой местности гражданин?

— Российский гражданин.

— Какой губернии?

Потом уезда, потом волости, деревни. Как дошли до деревни — кончено, к этому всё велось, и тут всё: неважно, что я гражданин России, важно, в какой точке земли я вывелся, где моя колыбель, пуп, Иерусалим мой: где кто родился, там Иерусалим.

Пришив меня к точке моего рождения, дворник сообразил уже указ.

— Подожди, — говорю, — вот у меня есть паспорт, может быть, паспорт?

Как он обрадовался! С этого бы и начинать!

А вы говорите: граждане!

Мы сидели у старого военного чиновника за кофеем с белым хлебом, и разговор у нас был о хлебе, что если бы иметь хлеба запасец для обмена на мясо, сахар, масло, мыло, как необыкновенно дешева бы нам тогда представилась жизнь.

Во время нашего разговора внезапно входят для обыска два матроса, один останавливается у двери, другой, не здороваясь, прямо в шапке садится к нам за стол.

— Это ваша рояль?

— Наша.

— Реквизируется.

Старик-хозяин ответил:

— Ну — што-шь!

— И велосипед ваш? Реквизируем.

— Ну — што-шь!

Потом оба матроса подошли к бутылке с кислыми вишнями, один понюхал, другой попробовал прямо из горлышка...

Проводив матросов, мы разговор наш продолжили о хлебе, что как дешево представляется цена всех товаров, если только есть запас хлеба и на хлеб все менять.

Подумав, наш старый человек сказал:

— Так же и жизнь наша, какая она покажется дешевая, если иметь, как эти матросы, какой-нибудь запас власти.

Столинский и Марья Михайловна продолжают мучить меня своим идеализмом и поклонением Жоресу — тоже своего рода мещанский огород хороших людей, куда ни оглянусь — проходу нет от хороших людей, и в то же время на что ни посмотрю — все отвратительно.

И что еще: даже самые даровитые и знаменитые люди в своих замысловатейших рассуждениях о русском народе сейчас меня оставляют холодным, и всех их я про себя считаю теми Соломонами голодными, которые грызут кость. Гершензон, испугавшись за себя, что и он Соломон, вчера сказал мне, что не боится «идей» и будто бы я сам такой же Соломон (только капризничаю), — очень может быть.

Тоже овчее дело: тридцать пять тысяч офицеров арестованы, сидят в Манеже голодные как собаки, спят на полу, и все тридцать пять тысяч под охраной немногих китайцев! Один из них послал письмо нам, он числится в списке третьим из десятой сотни.

Я думаю, что следующая стадия мировой войны — это спех на мир под угрозой всеобщего развала (социального).

Я чувствую, как все люди самые лучшие, самые умные и ученые начинают вести себя так, будто на дворе бешеная собака. Это было однажды у нас: взбесилась одна собака и начала душить цыплят, индюков, потом со злобой накинулись на нее собаки здоровые, и люди со злобой накинулись на нее вместе с собаками — убили. А когда одна за другой стали беситься другие собаки, то люди озверели и били, стреляли их у нас и на деревне, избивали, всей деревней бросались на собаку, если заметят, что хвост у нее опущен и пена во рту. Люди, избивая бешеных собак, ста-

ли сами как бешеные со страху. И я тогда — странное чувство! — был на стороне собак. Так сейчас...

Первый раз я увидел ее девять лет тому назад у камина с женихом. Он потихоньку сказал мне, что сошлись за чтением Байрона. Я про себя улыбнулся: он был целых два года влюблен в А. А. С. и рассказал мне, что разошелся с ней из-за Блока. «Эти ученые женщины, — сказал он, — изломаны: Блок, Блок! а сама ничего не понимает. Я хочу отдохнуть, хочу, чтобы кто-нибудь меня приласкал, приголубил — вот я теперь это нашел». Блок развел — Байрон свел.

У камина я рассказывал что-то потешное и чуял в ней что-то враждебное себе. Вдруг она повернулась ко мне и захохотала: «Я, говорит, никогда не видала таких людей, как вы...»

После я бывал у них много раз, философствовал дружески с А. М. и не обращал на нее никакого внимания: она, может быть, и красивая, но казалась мне совершенно поглощенной. А. М. сказал про нее: «Она ничего из себя не представляет, но зато уж верная, вот уж верная!» Он устроился: кончены поиски призвания, растолстел. Я, вероятно, любил его, а то почему же так досадно... Она, мне кажется, постоянно беременна. Помню, раз его не было, она сидела за столом, шила, на столе лежала копна розовой материи, глаза ее черные на синих белках. Я подсел к ней, о чем-то болтал, а когда раздался звонок, мне стало неловко почему-то. Я не любил ее, и она меня очень не любила все девять лет.

Осенью 1916 года в Ельце приходит она ко мне в гости, совершенно другая: стройная, игривая, кокетливая. Я подозреваю, что у нее какой-то роман. Зовет к себе. На другой день я хочу к ней идти, но чувствую в своем настроении какую-то неловкость по отношению к А. М. и не иду. Весной 18 года она встречается на улице в глубоком трауре и еще более интересная...

***8 Июля.*** Попал к ней под арест — попался, но, кажется, и она попалась: пьяные вишни и воровской поцелуй.

Ничего-то, ничего я не понимаю в женщинах и еще мню себя писателем!

Песня турлушки из-под земли делает свое дело.

Она, очевидно, хотела позабавиться от скуки, но... вот она уже спрашивает в тревоге:

— Измена телом называется изменой, но почему если душой, то это не считается?

Я вас не люблю как женщина, хотя почему-то мне приятно, когда вы гладите мои руки.

Скрипнула дверь, она отдернула руку. Мне стало жаль ее и неловко: она изменяла.

«И у вас тоже?» — спросил я.

«И у меня тоже», — ответила.

Теперь я вижу ее лицо: она говорила неуверенно...

За неделю я показал ей все сады и парки души моей, она ходила шальная, пьяная и повторяла: «Как у вас все красочно!» После нашего пьяного утра я поцеловал у ней ногу и сказал ей, что я у первой нее целую ногу, и спросил, что, принимала ли она, кроме меня, от кого-нибудь такое. «Да, раз было». — «Как же тогда?» — «Тогда было ярче». — «Ярче?» — «Ярче». Я спросил, кто же он был и как это вышло, она рассказала все откровенно, что был он инженер, богатый человек. «Было вино?» — «Вино было и конфект много». Я напомнил ей все сады и парки души моей, она опять воскликнула: «Как у нас было красочно!» Потом вернул ее осторожно к последнему разговору о поцелуе ноги и спросил, неужели тогда было лучше. «Ярче», — сказала она.

Так выходило, что с поэтом красочней, а с инженером ярче.

Оказывается, вовсе не так плохо возвратиться к себе самому, — почему?

На прощанье целовала она так страстно, будто со всех сторон запирала меня поцелуями, замки вешала с наговором: «Будь мой, только мой навсегда!»

И вот золотая пряжа любви нашей развеялась по волокнушкам и показалось самое веретено любви — страсть, и мы двое против веретена и вместе с ним вертимся безумно двое по маленькому кругу веретена: я и она, а принцесса моя Грезица давно уже наколола пальчик свой о веретено и спит...

***13 Августа.*** Ну вот, я очнулся: ее нет со мной... мало-помалу теперь будут возвращаться ко мне жизненные мои интересы... Так я благодарен ей за пир во время чумы. Но и она должна благодарить меня: едва ли много теперь найдется таких, чтобы, как я, отдаться чувству с головой, и умом, и волосами, и всеми потрохами своими до забвения всяких обязанностей жизни.

Она звала меня «ясень», я звал ее рябинкой. Любит сесть где-нибудь на окошке, повыше, и у нее чтоб в ногах...

Увлечение и любовь. Последнее прощание у нее в доме: всякие слова, рассуждения, мысль — все украшения наши теперь стали как сухая листва, зато все даже самые маленькие *<2 нрзб.>* расцвели красными цветами, и она сверкала, горела как звезда, показываясь разными гранями: то лукавая, то печальная, то задорная, то нежная, и у меня в душе все кипело: то боялся ее, то жалел, то как победитель гордился, то ревновал к мужу и к прошлому, то казалось мне, что она меня насквозь обманывает, то — что я обманываю ее. Прощаться мы ушли в ее спальню, и тут целовала она меня так страстно, будто со всех сторон на все времена запирала меня поцелуями, замки вешала с наговорами: будь мой, только мой навсегда!

Спросят меня в столице Соломоны-политики:

— Где ты был это время?

Я отвечу:

— Там был, где люди обходятся без политики, там живут счастливо.

— Где же это? — спросят Соломоны.

— Был я, — скажу им, — в одном городе, он был раньше город мучной, там, бывало, из крупчатки напекут ка-

лачи — московские никуда не годятся, и есть там теперь такие мастера, что из самого последнего сорта муки испекут такой подрукавный хлеб, что бросишь калач и скажешь: «Не хочу есть калач, дайте мне подрукавного». Прихожу я ныне в этот город, спрашиваю: — «Есть хлеб?» Отвечают жители: «Овес едим». Вот я и был в этом городе и был счастлив и сыт.

Спросят Соломоны-политики:

— В овсе нашел свое счастье?

— Нет, — скажу я, — не в овсе и не в хлебе, не единым хлебом, друзья мои, жив человек. На краю оврага в этом городе домик стоит...

Ясно вижу источник радости и хочу, и мне верится, что отныне навсегда он утвердился...

Невозможность преодолеть страсть и остаться вблизи... мне кажется, эта невозможность преодолевается подвигом. Последний жаворонок песни поет. Крест и цвет.

## Тихий гость

Мы были весной. Распустился ясень, белыми цветочками под ним рябина цвела. Она была чистая, как рябина в белых цветах — мое любимое дерево.

— Люблю, — сказал я ей.

И она мне сказала:

— Люблю!

— Вы как ясень, — сказала она, — высокий, ясный. Но вы не меня любите, вы создали из меня свое и любите свою мечту: я не вся в этом. Лучшее вы взяли с собою, лучшее мое останется с вами — ваше утешение. Всю меня вы не знаете и не хотите знать. Я не пойду с вами — нет!

Поцелуи наши были глубоки, долго целовались, будто падали с губ ниже и ниже, и лицо, оторвавшись от нее, как у Мадонны; мне она сказала:

— Нет!

Мне казалось, я понял ее: ей хотелось вернуться к началу нашей чистой любви. И я решился... Нет! мы так не будем, святой любовью.

Она почуяла... искренность...

— Ты как ясень, — сказала она.

И вдруг стала опять меня целовать, как в награду:

— Ты — ясень.

Я оторвался, посмотрел: у нее лицо было оскорбленной Мадонны. Нет! Где она?

Через много лет осенью поздней мы с ней на том же месте: большие листья ясеня все до одного упали и засыпали рябину. Из-под листьев ясеня кровавыми пятнами выглядывают плоды рябины.

— Милая, — говорю я, — тебя не пугает, что не всю я тебя знаю и в тебе я люблю только мечту свою?

— Нет, — сказала она, — это меня теперь не пугает, я возвращаюсь к тому лучшему, что оставила тебе на сохранение.

Ночью возле ясеня собираются шарады созвездий, тихим гостем прохожу в ее комнату: она спит, лоб ее, глаза, как у Мадонны, кончик носа и губы, как у колдуньи, и рядом с нею спит ее муж. Я прохожу к себе; вскоре, не скрипнув дверью, она является — будто бы является, садится ко мне на постель и показывает картинку: поле чистое, нетронутая степь.

— Степь — это я, — говорит она, — вон, видишь, всадник проехал, вон еще показывается, вон еще, и смотри...

Она показала рукой на всадников:

— Этот уже проехал, этот проехал, этот, все проехали.

Я спросил о спящем в другой комнате:

— А этот?

— Это муж.

Как будто совсем другое, и ничего не мешает.

— Муж, — сказала она.

— При чем же я тут? — сказал я.

— Ты, — сказала она, — мой первый всадник и ты последний, у тебя все мое лучшее, ты будешь свидетелем грешных земных снов чистой женщины, ты — мой тихий гость.

И стала мне рассказывать свои сны.

***24 Сентября.*** Звездно-яркая холодно-росистая ночь. В тулупах на соломе спят сторожа коммуны.

— Был мороз?

— Был, только росою обдался.

Скоро зима, но теперь все еще, когда разогреет солнце, земля живет летним чувством. И так просыпаемся с тревогой за свое решение: эта тревога — летнее чувство жизни, а решение — зимнее. И кажется, нет и не может быть никакой связи, и моя капризно-узорная мечта о кресте, боюсь, не может стать делом жизни и растает потом как сновидение, как вчерашние легкие фигуры, обступившие на небе луну.

Я молюсь: силу мысли и чувства даждь мне, Господи, на каждый день, на каждый миг!

Сколько забот теперь, чтобы просто прожить как животное: керосину нет, сапоги развалились, где достать к зиме валенки, чем лошадь прокормить, куда упрятать хлеб от грабежа — конца нет заботам!

Мы входим внутрь природы, делаемся составными частями ее механизма, лишенные сознания значения своего участия и удивления.

Ночью на страшной высоте, где-то под самыми звездами, чуть слышные, летели дикие гуси — на мгновенье колыхнулось прежнее чувство красоты и великого смысла их перелета, а потом исчезло как излишняя роскошь: мы сами теперь как перелетные птицы, — быть может, кто-то любуется нашим полетом, но мы пока сами гуси: скрипим мировым пером, следуя неизбежному.

И тоже подумаешь, мы с детства все хотели опрощения и подвига жизни, как Робинзон на диком острове, ну вот — это теперь не мечта, это жизнь, почему же не взяться за нее?

Всюду видишь звериный оскал в человеке, и что называли раньше гуманностью — теперь кажется просто замазкой для отвода глаз от подлинной жизни какому-нибудь маркизу... на каблучках.

Цельности восприятия жизни нужно учиться у женщин: выходит она под руку со мной, вся опьяненно-разнеженная сладостью мечты и объятий, и по речам нашим

и по лицам — мы кажемся люди «не от мира сего», вдруг, как у охотника при взлете птицы, мелькнуло в лице ее стремительное движение: она увидала подметки на окне кожевенной лавки и внезапно, оборвав разговор о том, как пройти черту, разделяющую крест и цвет, говорит: «Зайдем посмотрим подметки!»

Как искусный ездок, она вечно сдерживает себя, холодно всматривается в дорогу, рассчитывает ход, но, бывает, вдруг с улыбкой отпускает вожжи: незачем рассчитывать, незачем сдерживать, исчезло то, из-за чего существует расчет: лети, конь, мчись во весь дух.

— Расшибемся, дорогая!

— Пускай!

— Милая, вылетим.

— Пусть.

Наш хозяин — коммунист Синий, — захватив с собой казенные деньги, сбежал. Его помощник вор Васька сейчас вынес его винтовку и саблю, сдал под расписку старосте. Караульщик Артем, хозяйственный мужик, вполголоса, что «собаке собачья смерть», что когда-нибудь всех куманьков «так»... выгонят и перевешают и т. д. А в то же время он знает, что Синий преспокойно спит, укрытый в его собственном сарае.

Слух о выселении всех землевладельцев, какие еще держатся... и так вообще всё — жизнь как в пустыне среди яростных зверей, без возможности обороняться даже оружием каменного века. И в то же время какой-то неистребимый восторг в душе. Я представляю себе все ужасы: исчезнет семья моя и близкие любимые люди — я буду страдать, но это возвратится и останется, что же это такое? похоже, будто великим постом существует для меня отдельное светлое Христово Воскресение.

***25 Сентября.*** Первый мороз в ярко-звездной ночи. Теперь начнется дружный листопад, потом ветер — и все будет кончено с летом. Матушка рассказывала про Ивана Иваныча — кто он? откуда? никто не знает, но всеми во-

лостными делами правит Иван Иваныч. Будто бы Синий подрался с ним, и потом Иван Иваныч за ним погнался, и лошадь его в погоне пала, а Синий исчез. Куда исчез начальник — неизвестно, и денег с ним пропало будто бы 27 тысяч. Кто-то встретил его ночью в 3 часа — он шел мимо священника. Кто-то видел, что он у богатого мужика в карты играл, кто-то рассказывал, будто он спит у Артема.

## Яркие сумерки
## (Из поэмы «Цвет и крест»)

Какая тишина в золотых осенних лесах! далеко где-то молотилка, будто пчела, жужжит, а войдешь в лес, так с последним взятком и жужжит пчела громко, будто молотилка: так тихо!

Вот как тихо: земля под ногами, как пустая, бунчит.

Я подхожу к людям, пролежавшим возле лошадей ночь на тулупах, спрашиваю:

— Был мороз?

— Мороз, — отвечают, — был, только росою обдался.

Люди эти просты, как полевые звезды, их разговор был:

про зайца, которому наступила корова на лапу, — все смеялись над тем, что заяц вился под коровой, а она жевала и ничего не знала о зайце;

про коммунистов, которых они называли «куманьками», что они хотели дать народу свободу, а дело их перешло на старинку: как и в самое прежнее время, работа выходит «на чужого дядю»;

про то, как из лака с помощью соли спирт добывать;

про немцев, которые из дряни масло делают;

про лисицу, про выборы, про то, где керосин раздобыть и как лампу керосиновую переделать на масляную, про махорку и набор красной армии и про дурное правительство.

Я сказал им:

— Друзья, мы заслужили наше правительство.

Они дружно ответили:

— Да, мы заслужили!

И я удалился от них рубежом, поросшим муравою, в Семиверхи, где сходятся земли семи разоренных владельцев.

Светлый прудик в лесу, обрамленный осенним цветом деревьев, как затерянное начало светлого источника встретился мне на пути. Тут с разноцветных деревьев: кленов, ясеней, дубов и осин — я выбираю листья самые красивые, будто готовлю из них кому-то цвет совершенной красоты.

Вот я вижу теперь ясно, как нужно жить, чтобы вечно любить мир и не умирать в нем. «Друг мой, — шепчу я, — не входи до срока в алтарь исходящего света, обернись в другую сторону, где все погружено во мрак, и действуй силой любви, почерпнутой оттуда, и дожидайся в отважном терпении, когда голос тайный позовет тебя обернуться назад и принять в себя свет прямой».

Источник радости и света встретился мне на пути, я не раз встречал его в жизни и потом скоро терял. Как же удержать мне в памяти тропинку, по которой пришел я сегодня сюда навсегда?

В пении последней пчелы я слышу голос:

— Возьми крест <*приписка:* свой и скрой в себе> и давай любимому человеку цвет свой!

Тогда в этих цветисто разукрашенных деревьях — кажется мне — складываются знакомые лица и совершаются великие тайны посвящения.

Выхожу на опушку леса, а там уже все знают о посвящении: смеются радостно скрещенные верхи, ликуя, поднимается в прозрачность последний жаворонок.

Тут уже знают, что совершилось в недрах леса: вон по скрещенным верхам поднимаются те двое с волшебной палочкой в руке... как чудесно изукрашена земля под их ногами, такие тонкие зеленые кружева!

Они поднимаются выше, выше и затерялись на рубеже, поросшем муравою, в полях молодой озими.

Я малодушно растерялся перед наступающей в поле тьмой, но тьма не наступила: еще не успела потухнуть вечерняя заря, как с другой стороны болота поднялась луна,

свет зари и свет луны сошлись вместе, как цвет и крест, в ярких сумерках.

Какая тишина в ярких сумерках полей. Как пустая, бунчит под ногою земля, зажигаются звезды, пахнет глиной родной земли: невозможная красота является на [вечерней заре] в ярких сумерках.

Вот когда наконец показалась как в зеркале моя семейная жизнь, какой-то яд проник во все поры, и все стало отравлено, все безысходно, и единственным выходом кажется превратиться в странствующего отшельника...

Происхождение наших иллюзий о вечности (семейного) счастья (Маша): Колина жизнь.

***27 Сентября.*** Ложь. И когда они наконец согласились отказаться совершенно от чувственности в своих отношениях и заменить ее сближением духовным, то стало ясно, что близость духовная заставит его страдать еще более, чем обыкновенная любовь.

Не видя никакого выхода, они сказали друг другу:

— Будем лгать!

И позвали к себе Ложь в союз как товарища.

Болезнь Е. П.: она заработается, потом происходит стычка со мной, схватка, после чего начинается: 1) в тот раз истерический припадок, 2) теперь родовые схватки (на почве ушиба).

Есть опасение, что меня, русского писателя, с опасно больной женой и маленькими детьми выгонят на улицу и отберут у нас хлеб, который мы заработали своим трудом на земле, отведенной коммуной. Если это и не сделают, то исключительно потому, что я как-нибудь их перехитрю.

Русский народ создал, вероятно, единственную в истории коммуну воров и убийц под верховным руководством филистеров социализма.

В отношениях с ними теперь все средства хороши.

Трагическая перспектива жизни, которая именуется словом «человек», записанная в Евангелии, предполагает некоторую долю умственного и нравственного досуга.

Пример: «Вы все-таки разбираетесь, а я ничего не понимаю». Потому что я имею досуг разбираться, а у нее двое детей и нужно для них все самой доставать, у нее колом засела в голову мысль, что картошки нет и не будет.

Другой пример: «На такой подвиг (ходить самому за двумя детьми в деревне и учить их) вы не способны».

Я спрашиваю: «А если в Оптину монахом?» — «Это вы можете...»

В том-то и дело, что в «жизни» тесно для человека, она идет сама собою без него. Когда-то явится у людей досуг творить из фактов нынешней «коммуны» историю и трагедию человека, но теперь «человек» ни при чем, у человека живого колом стоит мысль в голове, что и сегодня картошку не привезут.

Пессимист еврей Маркс назвал эту жизнь без человека «экономической необходимостью».

Мы страдаем теперь не как люди, а как животные: нас лишают — мы страдаем...

«Спаситель человечества» тот, кто заставит поверить этих страдающих животных в цель и смысл их страдания и так восстановит жизнь как трагедию человечества.

Сегодня день прошел плохо: виноватым ходил возле комнаты больной и отгонял своих ребят. Коля сказал: «Ты быстро седеешь!» — «Еще бы!» — отвечаю.

Под вечер вышли в поле и вспомнили, как мы начали пахать его без работника, а когда это было, кажется, лет десять тому назад: так много с прошлого года пережито. И все хуже, хуже; если не сумеешь поставить на разрешение своей собственной задачи и будешь так отдаваться ходу вещей, то не дождешься ничего хорошего.

Существует историческое представление фактов (у многих женщин), художественное — у поэтов, разумное — у людей ученых, наконец, религиозное, и все это, в конце

концов, — представление. Теперь время, когда все эти представления исчезли и показываются сами факты голые, а все представления — иллюзии.

Вчера между нами первый раз была принята ложь как средство жизни, и я понял это как ограничение...

***28 Сентября.*** Дети в кустах развели костер и пекут картошку, а старый пес лежит возле них и дожидается, когда поспеют картошки и дети бросят ему: пес не может развести огонь, испечь картошку, для этого нужен ему Прометеев подвиг, и потому находится в рабстве у маленьких детей. Посмотрел бы теперь Прометей, похититель огня небесного, на эту картошку: этой ли свободы хотел он для человека!

Так встали бы теперь вожди Французской революции, посмотрели бы на них: как маленькие дети, подражая взрослым, без всякого энтузиазма личного подвига берут они огонь свободы, поджигают государство, сидят господами, а вокруг них лежат псы, дожидаясь, когда поспеет картошка.

Мы решили, если нас будут выгонять и лишать продуктов своего труда для пропитания, — не уходить, умереть, но не уходить.

— Сгорим! — сказал я.

— Сгорим! — ответили мне.

(Сюжет для изображения интеллигента, в котором пробудился стихийный человек.)

Так или иначе, а нужно не упустить последней черты и поставить свое, хотя бы против всех и всего: нельзя оставаться в дурачках с полной рукой козырей.

Хорошо пишет Чехов, что мечта ребенка о бегстве в Америку есть отблеск дела такого подвижника, как, например, Пржевальский. Нужно бы Чехову также задаться вопросом: отблеском какого подвига является дело Пржевальского?

У всех нас, русских, есть аскетическая мечта о личном подвиге в пустыне (чтобы как Пржевальский), и рядом с этим есть тоже мечта о совместном с людьми подвиге в пустыне (социализм: например, вместе с народом раскопать Алтай): все это, вероятно, обломки нашего старого православия, как наша индивидуальная страстная любовь — отблеск страстного энтузиазма родового каких-нибудь отдаленнейших предков, как мечта об Америке — отблеск подвига Синайского, мечта о социализме — отблеск идеи соборности.

Вот лежит теперь перед нами огромное христианское государство «третий Рим» как великая пустыня, в которой живут и каждый день все больше и больше размножаются звери, — время огненного крещения личности в подвиге любви, творчества человека...

Лучший муж и тем больше, чем он лучше, ...

— За гречихой в поле! — крикнул Яша и оборвал мою мысль, а хотел я о лучшем муже сказать, что он кует самые крепкие цепи жены.

После потери кольца мы сидим друг возле друга, смотрим в глаза, ничего не говорим, будто черту под носом провели: смотрим, смотрим, не смея перейти черту.

***29 Сентября.*** Толстой, тяжеловесно кокетничая какой-то слоновой силой, выкроил из Евангелия неперевариму кувалду, в которой Иоанново Слово называется «разумением».

«Несть бо власти, аще от Бога» нужно понимать не так, что всякая власть от Бога, а что истинная власть может происходить лишь от Бога; или что отношения людей между собою определяются отношением их к Богу.

При описании жизни моей на хуторе нужно ввести зарытую в землю четверть спирта, как она с 50 р. доходит до 1250 р. и больше, и как у владельца, которого все больше

и больше разоряют, остается одна надежда на зарытую четверть. (Между тем, от нее, может быть, осталось только разбитое стекло...)

<*На полях: Четверть (дошла до 6000 р.)*> <*позднейшая приписка: сейчас в 1922 году в Январе около миллиона*>

Второй образ — «Синий» — ловкий, услужливый лакей, которому ничего не стоит сжечь хлеб, даже убить человека, лишь бы кому-то услужить и самому вывернуться; и в то же время он скорее мил, во всяком случае, не ужасен: коммунистов называет «куманьками».

Заливай, гончий здоровенный пес, страдает половым бессилием, он спит с Зорькой в соломе, даже не пытаясь ее удовлетворить, а возле соломы полный двор кобелей: стоят с высунутыми языками, не смея вступить в единоборство с захватчиком и не в состоянии объединиться, потому что каждому хочется захватить Зорьку только для себя.

Так Россия теперь лежит, охраняемая здоровенным и беспомощным кобелем, а вокруг стоит, высунув языки, «буржуазия».

Не забыть, что после изображения мною большевистских зверств Семашко сказал:

— Совершается б о л ь ш о е дело.

Большевики, большое дело и т. д., большой план; творец истинно большого дела не тешится его большевизмом.

Была такая тишина в Семиверхах, мы стояли с Петей у дуба и вслушивались, что это гудит: не то жук, не то молотилка, не то праздничный звон из невидимого города. Почему-то не хочется думать о местах наших встреч, но зато как представишь возможность сейчас вновь тут вместе быть, то вся храмина пустыни, и земля, и небо, и тишина получают свой единственный смысл: «Вот из-за чего всё». Мало того, все прошлые полузабытые восторги в природе соединяются, и как бы открывается огромный запас накопленного золотого богатства. Вокруг всё золотые листья — золото жизни моей! и красная кровь на золоте, везде золото и кровь на золоте, все богатство золо-

того осеннего во мне открылось. «Золото, золото, кровь на золоте», — твержу я...

Странно гулять в этих чужих интимных парках, куда раньше нельзя было войти без согласия их хозяев, чувствуешь себя как нотариус в раздумии между делом изучения семейных архивов... В то же время за кустом, на корточках отдающий естественную дань природе, маленькими серыми глазками из-под козырька солдатской фуражки холодно смотрит на вас «победитель»: вы для него существо ненавистной, презираемой, подлежащей истреблению породы. Погадив возле каменной плиты, где схоронен знаменитый призовой конь, он отправляется по аллее редких голубых сосен к барскому дому с наклейкой от Комитета бедноты. Он, маленький, неуклюжий, нос прыщиком, весь как осенний зарощенный крючковатый огурец и весь кричит и топорщится. Это хозяин-победитель, вечером после заседания комитета бедноты, с гармоньей и полбутылкой спирта с девицами пройдет он по этим интимным аллеям.

Когда делается какая-нибудь сельскохозяйственная работа, то всегда находится один мужичонка, который ничего не делает, а выкрикивает, например: «Поддай, поддай, заводи пелену» и всякий вздор, который не имеет накакого разумного значения и в то же время в условиях вашей работы необходим. Такой мужичонка называется Далдон.

Ефросинья Павловна ненавидит меня по причине того, что не может добиться от меня той любви, которой ей хочется. Только в ее несчастии-страдании пробуждается во мне к ней нежность, и в эти минуты мне кажется, что я люблю ее и всегда любил.

Изобразить Лидю как юродивую помещицу. На барском дворе говорят, что Лиде пришла «выдворительная».

***30 Сентября.*** Софья — именинница. Иду я в город вéрхом; из-под Новой Мельницы выбирается на телеге

Скиф; слышу в молчании полей осенних, где-то сзади уныло просит человеческий голос у лошади поднять вверх: «Но!» звучит как слова: «Пропадем, друг, вызволи как-нибудь, вытащи, а там я тебя не забуду!» И слово человеческое, как песнь жаворонка-неудачника осенью, поднимется немного над полями и смолкнет. Я иду посередине дороги, где лошадь копытами разбархатила землю, где полегче ступать. Слышу, сзади бодрее раздается: «Но, дьявол!» Догадываюсь, что мужик вот-вот, наверно, выберется. Последнее раздается: «Но! домовой! но! провались ты сквозь землю!» — и затарахтел, рассыпалась дробью телега, и какое-то крупное веселое «но-о-о-но!» радугой повисло в полях — выбрался! Проехала телега, и опять смолкло дикое поле, странник показался наверху...

Он догнал меня и, рассуждая о сотворении мира, между прочим, спросил меня: «А что эта сказка, Адам и Ева и прочие монархические предрассудки?» Перейдя потом на политику, он сказал, что царь необходим и если мужики только узнают, что им ничего не будет от царя за погром, то все валом пойдут за ним.

Из похода в Хрущево с Александром Михайловичем. (Дикое поле: сочетать со странником — чужой человек, который догнал меня.)

Они вышли из города и когда спустились вниз, то тишина полей, такая тишина — до звона кузнечиков в ушах — охватила, и что было между ними тайного, и что они раньше в городе так легко обходили, тут, как свинцовая пуля, окутанная какими-то х-лучами, повисло темным пятном в прозрачности. И стало страшно, что он начнет об этом, а уйти нельзя, некуда уйти: поля необъятные до горизонта, как море, жмут всем пространством на двух, как в море плывущих в лодочке.

Ворота у нас так, колышком подперты, дунет ветер — и откроются, а воры не трогают: воры своих никогда не трогают! да и так сказать — вор — человек, кому он плох? только тому, у кого ворует.

Ночь на семнадцатое была беспокойная, к утру дождь, засверкало и загремело, но дождь не пошел, нехотя, тяжело рассвело, и потом день о дожде остался нерешительным.

Как паук подкрадывается к мухе проверить, довольно ли она запуталась в паутине, чуть тронет ее лапкой — муха двинулась — он уж отскочил, как бы говоря: «Что ты, что ты, милая, разве я как-нибудь, разве я что-нибудь, я ничего, я ничего, я — тихий гость» и прочее... так они двое в сетях любви запутывались все больше и больше, но когда они, испуганные приближением паука, начинали рассуждать и давать обещания вести себя разумно, то Соблазнитель, оставив землю, видимо, взвивался под облака и оттуда шептал им о чистой любви... Они, опетые сверху, забыли свои обещания, склонили друг к другу голову, губы слились, и тогда, тихо подкравшись, паук внезапно вонзил свое жало. И началась бессильная жалобная песня...

Природа паука: ложью обходить препятствия. Она: «Нельзя!» Он: «Почему нельзя?»

В браке чувство любви связывается с религиозным чувством, и так рождается дом. Потом складывается быт: крестики, рубашки, лоскутные одеяльца — дом.

В крестьянской избе; где всё на виду, вечная старуха у печки... в интеллигентной семье то же самое. Отдыхающий в семье общественный деятель редко дает отчет себе, ценою какого подвига с ее стороны получает он свой уют.

А куда нас выдворять будут — говорят, в город какой-то, неизвестно куда, и город этот называется Белгород. Другие говорят, что за городом бараки есть для капиталистов, так в барак.

***4 Октября.*** Акварельный рассказик «Дикое поле»: осень, озимь, верхи полосатые, Коровьев верх, осень поздняя: картошку убрали, блестят колеи, как заря догорает

уцелевшая кленовая роща... Тишина. «Но!» (телега) — выступает странник.

Вчера у себя самих воровали ночью колеса. И так время наступило: «С волками жить (с ворами) — по-волчьи выть».

***6 Октября.*** Вчера в мое отсутствие (ездил хлопотать, чтобы не выгнали) — пришла «выдворительная».

Сегодня ездили к Мишуковым, заяц бежал, а мы: «Вот когда-то мы зайцев гоняли, а теперь чувствуем себя сами как зайцы!» — «Что ты, зайцы, — хуже: зайцы бегут и не думают о продовольствии — посмотри, какие зеленя!»

***7 Октября.*** В плену у жизни. Кошмары, вчера было, а кажется, Бог знает когда, время сорвалось... в темной комнате на диване один лежу и думаю про какого-нибудь английского писателя, например, про Уэллса, что сидит он на своем месте и творит, а я, русский его товарищ, не творю, а живу в кошмарах и вижу жизнь без человека. Но и то и другое неизбежно — и человек вне жизни, и жизнь вне человека.

Я в плену у жизни и верчусь, как василек на полевой дороге, приставший к грязному колесу нашей русской телеги.

Похоже на то, будто мать второй и уже последний раз умирает или умерла: тяжко близким, а на улице радуются в ожидании похоронного пирога. — Или на печальную свадьбу? (невеста заплакала и думает о том, что «заплачется до смерти»). — Но от слез не умрешь.

Похоже на то, когда перед экзаменами дня за три сел готовиться, половину знаешь, а вторую половину невозможно выучить за три дня, невозможно, а гонишь, гонишь.

История сухарницы, обращенной в пепельницу.

24 часа — почему именно 24?

Маня сказала: «Как же потом-то всем хорошо будет!»

— Когда потом?

Зорька хозяйку ищет — худая-прехудая пришла.

***8 Октября.*** Ей хотелось быть мученицей, и она создала себе воображаемых врагов и мучила их, вызывая на ссоры, чтобы оказать себя мученицей. Теперь пришло время, желание ее осуществилось: она стала мученицей.

Разрытая могила. Старый дом, на который смотрим мы теперь только издали, похож на разрытую могилу моей матери: черви кишат в нем народа...

Началось время, когда зимние птицы приближаются к дому, когда воробьи громадной семьей разговаривают в саду.

Закон природы: радоваться (из чувства самосохранения) над несчастьем другого — и в то же время коммуна, где всё на любви.

Мы смотрим с Колей из-за кустов на дом наш, не смея и думать, чтобы к нему подойти.

Николай:

— Ну, что ж Бог?

— Причем тут Бог?

— Допускает!

— А ты молился?

— Почему не молился, я всегда молюсь, разве нужно с крестом?

— Что же мне делать? — спросил я.

— Иди в город, скорей лесом, возьми узелок, иди... ребятишек не тронут, а сам уходи...

Меня провожал Василий и голос зайца, а я сам, как заяц, нет-нет и присяду и оглянусь на Хрущево: быть может, последний раз вижу. Так шесть раз оно показывалось и скрывалось.

Архипу я сказал:

— У тебя нет детей, ступай на Украйну с женой.

— А вертаться? не миновать же сюда возвращаться и в голые стены.

— Почему не миновать?

Мы дорогу обходим, потому что стыдно и страшно встретиться с людьми.

По мере того как я ухожу, наши враждебные дома все сближаются... а церкви города будто растут и растут из-под земли, и я клянусь себе, сжимая горстку родной земли, что найду себе свободную родину.

***(23 Сентября – 5 Октября.)*** Прошлая суббота: «выдворительная», я в городе. Воскресенье утром у Мишукова, вечером контрабанда, понедельник: <*зачеркнуто:* (Покров)> «теперь совесть чиста!» вторник: все ждем гостей, среду... в четверг: ухожу в Елец. В субботу известили, что «Замятин был», и Лева отправился пешком в Хрущево. В воскресенье батюшка привез записку, что нас выгнали. В понедельн. – приехал Коля, Петя, Понтик. Вторник – Ксенофонт с возами. Среда в 12 ч. ночи – Ефр. Павл. Пятница – в 11 ч. вечера на четырех извозчиках семья с Ник. Мих. уехала.

Москва слезам не верит.
Старуха Александра: плачет и тащит.

***20 Октября.*** Вчера Лидия приходила. Мне ничего не жалко, потому что разрушение дома и семьи произошло после того, как я это пережил. Голос тайный, напротив, нашептывает, что так хорошо, что сделано то, на что я сам не мог решиться. Я виноват в слабости и нерасчетливости.

Это верно только про теперь, а в прошлом как лесная жена Е. П. была хороша. Теперь она похожа на брошенную любовницу из тех, которые описаны у Алексея Толстого. С. П. не понимает, осуждая Е. П., что видит перед собой не человека Ефр. Пав., а возмущенную женщину-самку.

После отъезда чувствую, как ужасно устал я, между тем уставать нельзя: ведь нужно мне так много сказать.

Соня мало-помалу в моих глазах становится не повелительницей, а какой-то нежной маленькой сестренкой. Правдивость ее чувства изумительна, она ничего не воображает на почве чувства, ничего у нее нет лишнего. Если спросить ее: «любишь?», она скажет: «люблю», и: «надо-

лго ли?» — спросишь, скажет: «не знаю». Смеется — почему? — «не знаю». Плачет — почему? — «не знаю». — всё как девочка.

***22 Октября.*** Вчера ты говорила со мной, и мне так было страшно, будто не только жена ты моя, но еще и... как сказать тебе это: я слышал, мне казалось, как Елизавета при встрече с Марией, что «взыграл младенец во чреве ее». Это чувство не меньше, оно глубже, чем энтузиазм любовный, но странно, как могло переживаться чувство без воспламенения, так, будто не зажигали дров, а печка горячая и пироги готовы.

Живу мышкой под полом, переживаю там великие пожары, а дом стоит.

*28 Октября.* «Как же этот мир устоит против социального переворота? Во имя чего будет он себя отстаивать? Религия его ослабла, монархический принцип потерял авторитет; он поддерживается страхом и насилием, демократический принцип — рак, съедающий его изнутри». *(Герцен.* «С того берега».)

«Прошедший год, чтобы достойно окончиться и исполнить меру всех нравственных оскорблений и пыток, представил нам страшное зрелище: борьбу свободного человека с освободителями человечества. *(Герцен.* «С того берега».)

Эти силы разрушения направлены вовсе не на личности: вчера я жил среди уважающих меня людей — сегодня я попал под декрет, и те самые люди гонят меня как собаку, — я попал под декрет; самое большое участие проявляется, если кто-нибудь задумчиво скажет: «Вот думали, что умный человек и все знает, а оказался дурак» (не успел увернуться, попал под декрет).

Между тем Николай Михайлович не мог действительность воспринимать иначе, как лично, и ему представлялось, что «ни с того, ни с сего» ад опрокинулся на него, он выкопал своего старого, казалось, давно забытого Бога и спрашивал, пробуждаясь от кошмарных сновидений: «Но как же Бог?» (так Евгений в «Медном всаднике»...)

Внесоциальная радость.

К моей биографии: радость, которая часто бывала со мной в жизни, исходила вовсе не от «досуга, обеспеченного спинами трудящихся масс», и, например, у Розанова, у Ремизова и многих тружеников слова. Скорбь Герцена нам непонятна. Радость эта внесоциальная.

Маска русского сфинкса ныне раскрыта...

Прошло всего 18 дней с того дня, когда я с узелком в руке оставил Хрущево, а кажется, год прошел. И у всех так время проходит, наполненное бессмысленной галиматьей продовольственных забот, в общем скоро, а как оглянешься — в месяц год пережит.

***1 Ноября.*** В женской гимназии стон и плач: велели половину девочек перевести в мужскую гимназию. А учитель утешает родителей: «Вспомните крещение во время св. Владимира, ведь тоже насильно крестили».

Выброшенный на остров дикарей-людоедов, ломая руки в отчаянии, сижу я на берегу моря: единственное светлое, что шевелится на дне души, — это что завтра-послезавтра я начну долбить лодочку, которая перевезет меня через море в иной мир...

Я начинаю выбирать себе для лодочки дерево, крепкое дерево — пусть его труднее долбить, но только дерево мое будет крепкое: я должен противопоставить силу насилию.

Широкий разлив души поглощает как песчинку злое дело, но если теперь узеньким ручейком струится душа — как и чем победить царящее зло? Разящей силой любви можно только его победить — где взять эту силу? Они тоже действуют именем любви к человечеству — в чем же тут коренная разница?

Я думаю, в этой борьбе свободного человека с освободителями человечества все кончится какой-то очевидностью: нарыв лопнет, и рана сама собой начнет заживать.

Так, конечно, но каждая отдельная частица жизни (я) должна же рано или поздно встать со своим планом освобождения, и первое, что будет, — это сознание общего дела, и такого коренного дела...

Сейчас все ждут избавления со стороны: Германия, Япония, Вильсон, как раньше были Корнилов, Алексеев и т. д. Нужно сознавать их не отдельно, а быть вместе с ними — вот весь секрет избавления, но как раз для того, чтобы вместе быть, нужно быть и с «пролетариями».

***3 Ноября.*** Он приходит со службы со своими буднями, и душа его на это время как бы распадается — перебыть в таком состоянии немного, и опять начнется какая-то жизнь.

***4 Ноября.*** Холодная, сухая, не покрытая ни травою, ни снегом, голая, желтая, как тело злой старухи, земля, и ветер по ней злой гудит-гуляет.

На улицах рассыпаны кучи желтого песку, будто могилы готовят, и еловые ветки везут, будто устилать путь покойника — собираются праздновать великую Октябрьскую революцию.

***5 Ноября.*** Первый легкий зазимок... Сцены из эпохи русской коммуны:

1. Мужик приехал! (Ксенофонт): мужика чаем угощают, и он раздает кусочки «пирога» и сала детям «буржуазной» семьи (интеллигент[ной]).

2. К ревнивому мужу по ордеру вселяется молодой офицер.

3. Помещица с кусочком мыла в 4 ч. выходит, чтобы выменять себе молоко. «Тетка! — кричат ей, — ты цену поднимаешь!»

4. Мужики перестают быть господами положения.

5. Повадились в садик ходить козы, мы долго их выгоняли и напрасно, наконец придумали доить их и так детям доставали молоко.

6. Квартальная попечительница вчера велела выходить в 6 ч. утра к фонарю с ножом — вышли с перочинными ножами, а нужно капусту рубить.

7. Мужик выкопал в парке деревцо по вкусу и посадил его перед окном, с этого момента у него стал собственный парк из одного дерева, и он стал говорить: «мое дерево». В этом совершилось преображение природы: «мое дерево» — первый необходимый момент сознания, и как отдаленнейший идеал чудится другой момент сознания: «наше дерево».

8. Старш. нотариус Шубин в своем саду по ночам спиливает сучья деревьев для отопления, он же клеит конверты, вяжет чулки и делает гильзы для патрон.

***8 Ноября.*** Вчера видел необыкновенную для Ельца бутафорию: празднование годовщины Октября. Вся красная армия, все гимназисты, и девочки, и чиновники были выстроены в каре вокруг гипсового бюстика Карла Маркса и священной для революции могилы трех пьяниц, по данному сигналу знамена чиновников, солдат и детей склонились — и с бюста было снято покрывало: памятник был открыт. Одна из надписей была: «Дело народного здравоохранения есть дело санитарное, да здравствует Елецкий Совдеп и ЦИК!» Вечером была иллюминация, и на Торговой горели слова: «Кто не работает, тот не ест!»

Я думаю, что единственно серьезное возражение, которое Вильсон может представить на право существования русской коммуны, это что она не работает и не может никогда работать.

Наши отношения дошли до последнего предела, когда в доме уже невозможно оставаться. Вся моя душа заполнена этим чувством, и я не действую, а отдаюсь. Как только себя представишь в действительности без нее, то выходит так: или я действую — тогда нет ее, или я не действую и с ней. А в возможностях с ней единственно возможная деятельная жизнь.

А у нее основное недоверие к моему чувству, что я могу вдруг порвать и променять ее на «широкий мир», то есть

не по существу моему, а вдруг сделаю по нелепости своей. Иначе говоря, ей кажется, что я недостаточно еще привязался к ней.

Странно, что эти чувственные веревки против обыкновения при достижении цели развязываются — тут, напротив, сильнее и сильнее притягивают душу к душе, и только теперь я начинаю ее серьезно любить.

***10 Ноября.*** В любви можно доходить до всего, все простится, только не привычка...

Вы говорите идея, — сказал Ив. Аф., — а я идею понимаю как колпак: сидит колпак на деревянном шесте, и мы поклоняемся.

Софья Михайловна работает башмаки. Лидия вяжет чулки, я говорю:

— В случае переворота надо прежде всего корову выручать!

— Корову! — вскрикнула Софья Михайловна — корову! Не уезжайте, не покидайте нас, я сегодня во сне — Господи! [Заступники,] да как же это так: я видела во сне, нам корову дали — и вы говорите, и я видела.

Бумажное дело. Два дня хлопочу о разрешении выехать в Москву. Чем меньше хлеба, тем больше бумаг, и бумажное производство растет по неделям, как цены.

В милиции дали мне справку, в Учетном отделе поставили две подписи, военный комиссар дал еще две подписи, и на этом день кончился: «Завтра идите в комиссариат финансов, потом в комиссариат внутренних дел, а дальше скажут». На другой день я встречаю человека, добивающегося разрешения крестить ребенка, он стал в очередь, а когда я, совершив много кругов, пришел в ту же очередь — он все стоял, и вдруг комиссар объявил: «Расходитесь, не хватает марок!»

Мы чувствуем, что жить так невозможно, зиму не пережить, и потому расчет делаем на ближайшее время — как-нибудь освободимся.

***15 Ноября.*** Председатель Исполкома Егор Ильич Романов, жаждущий света, деятельный; когда говорит о благе коммуны, то слышно, что не свое. Появление Семена Кондратьевича Лукина (Персюк Бабурный): матрос в кольце каната Маркса читает и вдруг как бомба: характерно, что на попов — через щель неправды церковной — вырывается большевизм с правдой божественной и неправдой человеческой. Диалог с Егором: арестовать попа и весь культпросветкружок и до германцев <*1 нрзб.*> Ленин теперь всему миру приказывает! Лукин едет, и ему на ходу жалятся, и он тут же решительные меры, ему нельзя уже сосредоточиться — весь в деле и вдохновении; его ценное — решительность и ненависть к колебаниям. Егор думал, как ему, на какие деньги сделать ловко библиотеку и пр., и вот до чего дошел: обложить по рублю. Персюк: 100 тысяч с кулаков!

Нельзя сердиться на ветер — на большевиков. Наша коммуна пропускает личность — в этом ее ошибка, она делает строй государства подобным прежнему механическому строю материалистических индивидуалистов (нужно управление человеками, а сводится к управлению вещами): материалистическая индивидуалистика (империализм) и материалистическая коллективность (социализм).

Зазимок, мерзлая земля: выходят слушать на горку выстрелы из пушек за 120 верст, — все верят. Обыватель: «При Николае сало стоило... а теперь...». Вопрос для барышни: умирать в городе со своими или жить с дикими и чужими.

Седьмая звезда в созвездии Большой Медведицы.

Больше нечего написать. Я любил ее весь день как никогда, а вечером она меня охладила умершими царствами (Ассирия и Вавилон). Кроме того, мне кажется, беда любви прибавила. А беда прошла... Я сейчас думаю вот что: я эпизодическое лицо в их семейной жизни, в их шубинской жизни. Еще я думаю: чему она так рада сегодня? По-

мирились? Что такое мир? Не тому ли она рада, что стало можно любить и Михаил остается с ней — это одно, а другое, что и Александр остается. Но почему я стал как-то угрюм? Ассирийские воины, переплывающие реку на раздутых мехах.

***20 [Ноября].*** Москва — приехал вечером в 6 часов. Вспомнил возле храма Христа Спасителя цветущие шиповники и все, что с ними связано. Потом час беседовал с людьми столичными, и в такой странной перспективе представляется наше...

***21 [Ноября].*** Устройство всяких дел и мысль в голове: не поселиться ли в Москве. Хозяйка сказала: «Такой человек, как вы, должен быть здесь уже по одному тому: вся интеллигенция страдает из-за продовольствия, а вы это вынимаете из своей жизни, — что же остается в деревне одному?»

***22 [Ноября].*** Политические разговоры: 1) Будет ли в Германии разрушительная революция? 2) Европа поведет революцию или реакцию? 3) Что будет — переворот или реформы совдепов?

За полтора месяца со дня разорения спрашивают меня, что я делал. Не написал ни одной строчки первый раз в литературной своей жизни. Не прочел ни одной книги. Что же делал? И так жутко подумать: что? Сладостный сон, полный, летаргический (лампада, диван). Ночь, полночь глухая и сон, и тут она со своим вопросом: «Почему не пишете?» Это когда вообще вопрос над всей Россией стоит — почему не живет?

Боже, дай мне дождаться первого проблеска света — это поможет мне увидеть, где я ночую, куда мне идти.

Оставить так — гнус, нельзя так оставить, а чтобы все распутать — свет нужен, дай, Господи, увидеть свет!

***23 Ноября.*** Гершензон — акробат на тончайшем канатце своего самолюбия.

Поэт Борис Леонидович Пастернак — юноша, во всяком случае, духовно одаренный. Он меня наводит на мысль (в связи с моей Грезицей, где выступают государства-планеты) изобразить в свете планетном выступление человека (не созданного старыми людьми из Аполлона и Дианы, а такого, как он есть).

Гершензон уже перевернулся: два месяца тому назад говорил, что немец без труда жить не может и потому революция их не будет разрушительной, а теперь говорит, что будет «ужасная резня». «А впрочем, как Вильсон...» Ошибка этих людей в оценке большевизма состоит в том, что они критикуют не идею большевизма (не тех, кто создает его), а те национальные формы, в которых он выражается.

В конце концов, конечно, большевики, творя зло, творят добро. (Легкобытов, прежде чем достиг своей коммуны, мысленно разрушил государства всего мира, нынешние большевики только выполняют малую функцию того человека. Мережковскому Легкобытов казался демоническим существом — почему? Смотря на Легкобытова — видишь источник в о л и матроса.) Легкобытов и Персюк Бабурный.

<*На полях: — Ну, чем же кончилось? — спросил я.*
*— Его уже нет! (расстреляли, рассказ Васьки про Мишку)*>

***24 Ноября.*** Дорогой мой друг, три дня я не мог Вам написать из Москвы, потому что нигде не находил конвертов: писчебумажные магазины национализируются. У своих любимых хозяев я занял уже спичек, которых тоже купить нигде нельзя, перьев, и язык не повертывается попросить конверт — так и откладываю изо дня в день письмо Вам. Опустошение жизни за два месяца моего отсутствия в Москве ужасающее: Москва теперь совершенно умерший город. Мороз, снежная метель, голодный, с ревущим кашлем иду я вчера по Пречистенке, высматривая где-нибудь открытую лавочку, и вижу, идет навстречу мне красивая дама с гордым измученным лицом, она отверты-

вается от встречных, глядит куда-то в подвальные этажи, каждая черточка ее лица говорит, как постыл ей свет. Злая месть, злой камень и дума, что вот съем привезенный фунт соли — что тогда есть?

Так в поисках спичек, конвертов я зашел в «Русские Ведомости» к Игнатову. Старичок по привычке ежедневно ходит в редакцию, и несколько других старых сотрудников: там они сидят час-два, обсуждая события.

***1 Декабря.*** Вчера приехал в Елец.

В столице Совдепии. Теперь как никогда Москва, отрезанная от всего мира, похожа на большую деревню: в деревне выходят на горку слушать какие-то выстрелы (в чаянии освобождения) — здесь в Москве все ждут чего-то от Америки. На Кузнецком среди забитых магазинов, выискивая себе какую-нибудь лавочку с мелочью всякой купить хоть что-нибудь, чувствую себя как те, кто описывает Москву после 12-го года. Остался единственный уголок (Мартьяныч), где собирается буржуазия (мелкие спекулянты), там половые по-прежнему в белом, играет орган, и за куском конины обделываются мелкие делишки.

В домах холод: в «Русских Ведомостях» я встретил Игнатова, сидит в шубе, ходят старички по привычке слушать друг от друга новости. Вячеслав Иванов у себя в 4-хградусной квартире в шубе, в шапке сидит, похожий на старуху... — «Можно ли так дожить до весны?» Оптимисты говорят: «Нельзя! должно измениться». Пессимисты: «Человеческий организм бесконечно приспособляется»...

Русская и германская революции — не революции, это падение, поражение, несчастие, после когда-нибудь придет и революция, то есть творчество новой общественно-государственной жизни.

По пути в Елец.

Купе наполняется дамами. Входит начальник реквизиционного отряда (Новиков): «Удалитесь!» Занимает сам, со своими дамами. Написал что-то на бумажке, поплевал,

приклеил к двери и пошел обыскивать. Возвращается с мешками отобранного добра, запирается. Две бабы, плачущие Магдалины, становятся возле двери купе: «Отобрал 5 аршин миткалю и фунт дрожжей». Умоляют: «Товарищ, товарищ!»

<*На полях: Товарищ комиссар!*
*Тогда заскрипела дверь ржавого аппарата профессора гуманитарных наук, и он сказал (про нового соседа): – Нет, подумайте, он жалеет, что вернулся на родину!*
*– Вы за плеть!*
*– За плеть: это лучше, чем [пуля] в бок и пуля в лоб.*>

Разговоры:

– Молчи и молчи!

– Русский человек – русский: русский со всем согласен.

– Вы сказали «русский», а ежели, например, немец или американец?

Тихий голос:

– Америка у нас через две недели будет!

– Через две! через неделю!

– Сказано в Писании: «Всякое дыхание да славит Господа», но посмотрите кругом, птица петь-летать не может, голодная собака падает!

– Под маскою большевизма скрываются элементы!

На Павелецком вокзале.

На голой полке буфета лежат два куска гуся за 25 и курица за 50 рублей. Я беру кусок гуся, за мной идет несколько мальчишек, я сажусь, за мной стоят, «ждут косточки»: «Мне корочку, мне косточку!» Солидный человек: «Разрешите доесть!» Косточки расхватывают из-под рук, тарелку вылизывают. Я говорю соседу:

– Говорят, коммуна, ну, смотрите, какое это равенство, когда будет настоящее равенство?

– Когда гуся не будет, тогда будет равенство.

– Вы думаете, что тогда все будем служить и получать равный паек?

— Может быть. Или могила сравняет.

— Может быть.

*6 Декабря.* Рябинки.

Гершензон — маленький спекулянт на идее: «Выскочил, спекульнул».

Счетовод сказал: «Наши коммунисты все с подкладкой, настоящего нет ни одного, а социалисты есть». Еще он сказал: «И все это необходимо».

Коммуны христианские распадались, потому что не смогли справиться с экономической стороной жизни, социализм устремляется весь в экономику, он хочет создать внешние (экономические) условия для христианских идей.

Программа лекций: община Велебицкая, Толстовская.

После всяких душевных и физических мытарств я наконец нашел пристанище, какую-то берлогу у Павлихи.

Крестьяне сказали: «Нет у нас буржуев, была одна буржуиха, да и ту до костей обобрали, первое, землю отняли, второе, намедни воры выгребли все со двора, и третье, коммунисты все реквизировали». Забыли только душу Павлихи. Превосходно Павлиха продолжает обделывать свои делишки с верными людьми. Я сказал ей вчера:

— Шерстяное платье есть у моего кума.

— Ну, батюшка, скажи своему куму, что богатый он человек! — И шепнула: — Свинья у меня кормится, восемь пудов веса, еще пудиков пять хлеба, и к Рождеству сало будет!

Так жизнь моя подвинулась вплотную к свинье...

В Павлихе — радость жизни, вечно правдивая, н е и с т р е б и м а я. Павлиха то же, что и мать моя. Анализировать, обнажить от кулачества и довести через несчастье до человека, через основное чувство жизни.

И все-таки есть какая-то сладость в Совдепии: ужасно отвратительно, а когда подумаешь о тех, кто теперь удрал на Украйну, — не завидно.

Война за социалистическое отечество — в начале века, — новой земли, где Москва и пр. новая география.

Эта революция тем ужасна, что она есть следствие поражения. Не забыть встречу с ветеринаром в Гродно на вокзале: плюгавенький человечек говорил, что ему все равно, он хочет жениться.

Два банкира в 1913 г. играли в карты, один, выставляя шашку, сказал:

— Я думаю, что Россия и Германия должны погибнуть.

Другой ответил:

— А мы посмотрим.

Воет метель, заносит снегом деревенские домишки, я — в склепе погребенный мертвец... Мне хорошо, я доволен, что меня схоронили: я покоен. Где-то под корою льда бьется живая жизнь, или я до конца не умер? я слышу глухие удары жизни, только внутрь меня, как раньше, до самой глубины сердца они не проникают.

Жалко мне женщину больную, с которой лучшие годы прожил, теперь она у разбитого корыта больная лежит на милости родных мужиков, а я почти равнодушен, разве только временем чуть-чуть шевельнется жалость.

И новый друг... это ли прежняя любовь с воспаленными небесами! В темноте шумного склепа, не колыхаясь, с одинаковой тенью на стене, как лампада перед иконой, не для богослужения, а по недостатку керосина, горит моя любимая.

Так притягивает к себе этот лампадный огонек, и тут же давит тьма. Еще собираешься с силами: уйду, уеду! но ехать некуда: склеп ледяной и в склепе лампада — огонь любви мертвеца.

— Да, какие времена! Когда я думал, что птицу продавать буду: бывало, к празднику двадцать курок зарежем, штук пяток гусей, а останется — на полаткѝ посолишь.

— Да, время переменилось.

— Переменилось, батюшка!

***8 Декабря.*** Семейным человеком я, конечно, никогда не был и охотно п р и с о е д и н я ю с ь ко всем, кто дает возможность быть самому с собой.

Русская революция как стихийное дело вполне понятна и справедлива, но взять на себя сознательный человек это дело не может.

***9 Декабря.*** Женщина в горячке вырвалась в злую метель, никто не удержал ее, все лежали в горячке. Нынче охотник пришел сказать председателю, что в Немой лощине занесенная снегом лежит какая-то женщина — не она ли?

— Что, батюшка, дочка говорит, насчет хлеба никак нельзя: боится, детки голодные останутся.

— Ну что же, ну что же, бабушка, ничего, где-нибудь достану.

— Да где же достанешь-то, ведь тебе ни за что не понесут.

— За начальство примут?

Она не поняла меня и говорит:

— Уважут, очень просто: примут за начальство и уважут.

Александра Ивановна, коммунистка-учительница — нужно разузнать, почему она стала коммунисткой: влюблена ли в прапорщика-коммуниста или по женственности натуры и ее внешним запросам отдалась внешнему?

Кружок крестьянской молодежи коммунистов очень похож на кружок наших студентов-марксистов.

И все самые заклятые враги считают мысль о коммуне делом святым.

Я люблю С., но все-таки мы с нею пали, и не потому, что перешли черту, а с тех пор пали, когда появился А. М. и мы стали урывками жить, торопясь, дробясь, вечно вздрагивая, закрывая-открывая крючки, завешивая окна. С тех пор, не переставая друг друга любить, падали в бо-

лото и там глядели на огонек лампады. Нет в этом пламени движенья, сиди в болоте и смотри на огонек.

***10 Декабря.*** Липатыч (коренной мужик) и Епишка (новый чиновник).

Деревня сидит молчаливо, не зная ходов, не найти пуда муки, а ходы двойные: через коммуну и через кулаков. Ольга, темная замученная девка с лицом цвета рыжей ваксы, владеет всеми тайными путями.

Австрияк, как отставший гусь, весь в лохмотьях, бился, бился и застрял у нас, и такой жалкий, что хозяйка зовет его Яшей, хотя имя его Стефан. Такой несчастный, что даже на нем имя не держится.

Лизавета Алексеевна вздумала пробраться в театр на паточный завод и только со двора — реквизиционный отряд явился с обыском, и все обобрали.

Кружок коммуны во главе с учительницей Александрой Ивановной, ячейки: ребята против отцов и всё, как бунт сына против отца.

Епишка (богородица): как-то его выбрали — сам Липатыч выбрал, как-то он пролез в какие-то делегаты, всех провел, всех обгадил и в конце концов устроился в городе Епишкою.

Вспоминаю катастрофическое появление С. в Хрущеве, и как потом вдруг сдунуло Хрущевскую жизнь как сон, и вот переворот: нет этого гнезда, нет семьи, и, что всего страннее, ничего и не было.

***11 Декабря.*** Старуха растрепки делает и говорит: — Проспала! встаю, думаю — далеко до рассвета, встала тесто посмотреть, ан, рассвело. Проспала!

Александра Ивановна — коммунистка, то среднее существо между Марфой и Марией, которое называется мироносица. Далеко оставила за собой Марфину печь и тоже не может идти рядом с идеей, она идет за идеей, как тендор за паровозом: идет, согревает идею, которую узнала по хорошему человеку.

Весь этот строй основан на силе насилия, но не на силе убеждения. Наша ячейка выгнала из школы попа, убрала иконы, а сама тут же в школе устроилась. Вот уже три дня дети не учатся, потому что коммунары в школе делят ситец.

О нет, ты никто! нет, нет, ты никто! (то есть непричастный). Я побеспокоился, не попасть бы мне в историю между большевиками и кулаками. Иван Афанасьевич успокоил меня и сказал:

— Ты никто, будь спокоен, ты никто.

Надо отметить наблюдения: подземный источник коммунизма (надземный: западные идеи) — разрыв с отцами. Вопрос: о чем спорят отцы и дети? Внешний вид коммуниста: бритый, крепкая челюсть, серьезность фанатическая и напряженность.

Если бы кто-нибудь из дворян, озлобленный на свой народ до крика «пороть, пороть!», захотел бы выместить простому народу, сорвать свою злобу, ему бы надо поступить в коммунисты.

Нужно собрать черты большевизма как религиозного сектантства: 1) идея коммунизма ощущается сектантством как всемирная, всеобъемлющая.

Источник нашей классовой борьбы — борьба отцов и детей (крестьяне и рабочие).

***12 Декабря.*** Раннее утро: почти темно. У старухи уже гость с улицы.

— Ну, что, батюшка, слышал?

Слышал: красноармейцы говорили, ее выгнать нужно, а мужики: что ее выгонят и т. д.

Есть такое мнение, что коммунисты деревенские везде молодежь и такого типа, которые деревенскую работу не делали.

Самое тяжкое в деревне для интеллигентного человека, что каким бы ни был он врагом большевиков — все-таки они ему в деревне самые близкие люди.

С раннего утра суета, кутерьма, подумаешь, к Рождеству убираются, а это готовятся к обыску.

Исчез страх: и дети-школьники обратились в разбойников.

Положение: мужики идут в город в поисках власти и когда находят главного начальника, он им говорит: «Власть на местах!»

Две девицы-кувалды, им замуж не выйти, в прежнее время повязались бы черными платочками и стали черничками, теперь идут в школу просить учительницу готовить их на кооперативные курсы.

И в школах все хорошо, оживление, пробуждение, только это все кажется поверхностно: нет дела...

***13 Декабря.*** Ячейка занята распределением ситцев в населении, репетицией к спектаклю на шестое Декабря, вечерними курсами, и пр., и пр. А у нас, у кулаков, идет приборка днем и ночью.

— Детские заготовочки и подошвы забыли, в сундуке остались.

— Ах ты, ах ты! самое главное, детские заготовочки, как же детки разумши ходить будут! ах ты, Лиза! ну чего ты горячку порешь, ведь это значит: пустая голова ногам воли не дает! Батюшка, Михаил Михайлович, дозвольте вам под книжки детские заготовочки скрыть.

— Да я не знаю...

— Ну, ну, я скажу — мои, нишь я на вас укажу, я скажу: я спрятала... Сон-то, сон-то какой, будто темно-темно, а я не знаю, скоро ли рассветет, глянула в окошко: батюшки! рассветает! с печки слезла — светло, только будто лохматами еще темная ночь на небе — лохматами-лохматами осталось. Хватила я за щеколду — раз! подушка на меня

сверху падает. Я как закричу: «Вор, вор!» — а он меня за руку держит — давит, а я кричу, кричу, и сама слышу, что кричу, а встать не могу. Ну, проснулась, вышла в сени: дай, думаю, перья-то уберу. Стала перья в наволочку убирать, смотрю: комиссар, черный, самый наш страшный комиссар. «Еду, — говорит, — Чашина разорять, к вечеру у вас буду!»

Рябинская Зажора: Кулачиха («Муж мой крестьянин, а я, батюшка... из дворян»), был шинок, скупала наделы, сколько человек из-за нее жизни решилось; талант как у Марфы Посадницы, а питание — [таланта] из болота («Я ли не трудилась, я ли не трудящая!»). Так все государство жило высасыванием, и монархия была не Рябинская, а Всероссийская Зажора. Рядом с этим интеллигенция: кадеты-европейцы, разные народники и потомки славянофилов — все они не революционеры и, бунтуя с поверхности, в существе своем имеют гармонический склад идеала (рай был прекрасный сад), все они имеют в душе «культурную собинку», с которой, как люди в высшей степени благожелательные, они хотят подойти к народу и даже слиться с ним... В то же время в народе зреет нарыв. Интеллигенция с «собинкой», бунтуя против царя, имеет готовый идеал жизни для народа, в сущности, христианский идеал смирения и всепрощения. Революционер из народа (большевик) молится и живет одною молитвой: «Помоги все понять, ничего не забыть и не простить!» Идеал такого человека — движение, сдвиг, возмездие.

В быту встречается реквизант-грабитель от коммунистов и кулак от буржуазии. Разбойники и воры — земные тени небесной грозы — встречаются с корнями райских деревьев, погруженных в навозные и болотные лужицы, с кулаками. Цветы небесные невинны, — пусть корни их погружены в болота, они уже вынесли крест и тем, что расцвели, — искуплены.

Что же я спрашиваю?

Вот что: я признаю движение, очистительную грозу революции, но смотрю на людей (например, семью Шуби-

ных) совершенных, искупивших жизнью своей грех: как понять их страдание?

Нет, они не страдают и не гибнут, цветы совершенные неба цветут, но венчики из небесных цветов стали огненными и наполнились кровью.

Высохли райские венчики небесных цветов, теперь революция — буря: пересохшие венчики цветов наполняются кровью, и лепесточки их стали огненными...

Цветы небесные, венчики небесных цветов стали огненными и наполнились кровью.

Дело Распутина, успех его — на развитии того психологического момента при совокуплении, когда те, кто боялся греха, — чувствуют неизбежность, что не ушли совершенно, а избавились от греха.

Павлиха засыпала богородицу попреками, а она ей: — Дайте мне смолоть, а потом засыпайте!

Слышу за спиной: богородица, у! бродяга подлая-расподлющая богородица!

Разговор о том, почему не удается коммуна:

— С турками воевали, с немцами, с англичанами, с кем только ни воевали — и еще ведь побеждали! коммуна, я так понимаю, есть армия против врага — голода, но почему же в коммуне еще голоднее стало и нет ситцу и всего прочего?

— Потому что воры.

— Да что же воры, чем воры хуже нас; вор плохой человек только тому, у кого ворует, а для прочих он, может быть, получше нас с тобой, нет, друг, не в ворах дело, а в тех, кто видит вора и молчит.

— Да как молчать: намедни у нас одного всей деревней как собаку забили.

— Так, верно, деревня маленькая ваша, а в большой деревне тот — кум, тот — сват, никто и не посмеет правду открыть.

— В деревне, но почему же в вагоне: отберут у бабы 5 аршин миткалю, и все молчат, так и надо.

— Непросвещенный человек русский, всего боится... на свое гумно ночью боится пройти, держит в уме: «А ну как черт». Будь он человек настоящий, так он смело идет — нет чертей на свете, нет на моем гумне... как опять черти есть, так ходить вовсе не нужно. А наш думал, что нету, а как на гумно идти ему — и [как] шибанет: нет, нет, а вдруг как-нибудь да и выскочит?

— На войне — там под палкой, а работа по нашим временам из-под палки плохая — вот почему, я думаю, и не выходит война... а голодом, палкой нельзя, а по воле никто не идет на работу.

Иван Афанасьев о коммуне так рассуждает: я так понимаю будущую жизнь, как разнообразие всяких способностей: сапожник будет сапожником, писатель писателем и всякое прочее, но чтобы не быть ему только сапожником — что это за жизнь, только сапожник, не человек, а сапог! то вот для этого коммуны устраивают, кроме своего личного дела, всеобщую полевую жизнь. Одно сомнение: а что, если такой человек талантливым явится, каких на свете почти не бывает, такая способность особенная и в коммуне не предопределенная — как такому человеку выскочить.

— Коммуна, — я так понимаю, — это стены, чтобы все в стены, в чан и там все вместе не выходили до срока и сидели, когда все понимать будут так вот в чем-то одинаково и в этом мешать друг другу не будут, тогда власть будет не нужна, и жить будут без власти, личность будет понимать себя вместе со всеми и освободится. Сейчас же, если кому что удастся, — тот вроде как вор: украл себе свободу, сам свободен, а другие в плену.

Епишка сказал:

— Ну что ж, ежели по христианству, сказано, что скинь последнюю рубашку — и бедному...

— Бедному... Почему ж рубашки-то наши не бедным попадают?

Павлиха — радость жизни, кулачиха.

Дочь ее — не кулачиха, а хранит... радость жизни, сама несчастна, а сажает цветы... во имя цветка страдание.

***14 Декабря.*** Вечером на печке Илья, бывший гвардеец, и голый австрияк Яша беседуют о былых боях.

Илья:

— Тогда наш аэроплан забрал вверх и ну, и ну поливать из пулемета, ваш-то и заковылял вниз.

Австрияк:

— К вам упал или к нам?

— Промеж вас и нас.

Я сказал:

— Вот враги!

— Врагов не было! — ответил Илья, — теперь только поняли мы, кто враги наши.

— Кто?

— Капиталисты.

— Опять будет война, хотя бы с Японией.

— Это когда-нибудь? ну, так тогда не будет у нас предателей!

— А какое государство-то было! — сказал Яша.

— И все впрах! — ответил Илья.

Это небывалое обнажение дна социального моря. Сердце болит о царе, а глотка орет за комиссара.

Анализировать каждую отдельную личность, и дела настоящего времени получаются дрянь, а в то же время чувствуешь, что под всем этим шевелится совесть народа.

За печкой таракан Иван Михайлович боится, что до него дойдет реквизиция, гусей у него отберут, и чуть что, спрашивает, шевеля усиками-шейками: «Ну как, не слыхать, далеко Америка?»

На Руси все, кто обладал даром и вкусом хоть как-нибудь сносно устроить свою личную жизнь, во время революции вдруг все себя как бы ворами почуяли и сдали все свое почти бессловесно при тихом запечном ворчании.

Сейчас все кричат против коммунистов, но по существу против монахов, а сам монастырь-коммуна в святости своей признается и почти всеми буржуями.

В четверг задумал устроить беседу и пустил всех: ничего не вышло, втяпились мальчишки-хулиганы, солидные девы, что стоят в сторонке, наливаются-дожидаются, ког-

да слова прожурчат и начнется настоящее... Мальчишки разворовали литературу, украли [замки] из книжного шкапа, а когда я выгнал их, то обломками шкафа забаррикадировали снаружи дверь и с криками «Гарнизуйтесь, гарнизуйтесь!» пошли по улице. Вся беда произошла, потому что товарищи коммунисты не пришли, при них бы мальчишки не пикнули.

Теперь приходится пускать по билетам, совершать отбор. Так и в истории коммуны часть первая будет называться «Все разом!», а вторая — «Отбор и строительство».

Кумовство — это подпольная сторона России (женственность), это чем всякие дела делаются и что мешает вступиться за правду... (шурша по кустам украденною сухою бычьею шкурою, озираясь, прислушиваясь, шли куманьки...) Видел, все видел, а сказать не могу, немыслимо сказать: заедят. Кумовство — это несвобода, кумовские связи — это веревки идеала. Этими веревками на Руси притянута правда к земле и платочком повязана: кум и кума (Распутин своим способом хотел покумить всю Россию — для этого нужно сделать так, чтобы у каждого стало рыльце в пушку).

Настало время, товарищи, снять платок кумы с правды и обрезать веревки, быть может, для этого времени нужно отрезать русскому человеку пуп от Бога, потому что это не Бог, которому мы молимся, а кум наш.

— Ты Александру знаешь?
— Какую, Терехину?
Вытаращил глаза.
— Чего ты глаза выпучил?
— Да чего ж ты спрашиваешь: она мне кума.

Иван Афанасьевич сказал:
— Мое правило такое, не беги туда, куда все бегут, ничего не достанется.

Правило:
— Ходи по ровному месту, не ходи по косогорам, никогда сапоги не собьешь.

Распутин наш всеобщий кум: «Для милого дружка сережка из ушка». Бесятся кумовья в стремлении окумить всю Россию, а небесный цветок все наливается кровью, и ярче и ярче разгораются лепестки его. Переполнилась наконец чаша кровью, и полилась кровь по огненным листикам.

Павел Трепов землю никогда не работал, не знает, как соху держать, как зерно в землю ложится, говорит: «Я — коммунист, мы преобразим землю!» А я ему: «Чего ж ты раньше-то ее не преображал?»

***15 Декабря.*** Егор Михалыч из Нижнего Тагила, председатель земельного комитета, организатор коммуны, белый свято-жулик, белым дымком стелется, выискивает местечко прекрасное для коммуны, как древние подвижники для обители, и чувства его, конечно, прекрасные. Сидит у буржуихи, распевает песни, наливается чаем, наедается салом — чего дожидается? Взятки!

Мы спросили Егора Михайловича, — он был до революции городовым, — как это Бутов стал начальником, ведь он до революции служил стражником.

— Не стражником, а городовым, — ответил Егор Михайлович, — стражник — это полицейский, а насчет городовых есть особое разделение, потому что городовой не полицейский.

— А кто же? — спросили мы.

— Стату́й! — ответил Егор Михайлович.

Еще сказал Егор Михайлович: — Насчет религии не беспокойтесь: в Карле Марксе есть все Евангелие.

Буржуиха сказала:

— Что вы говорите, Егор Михайлович, все ученье Христово там есть?

— Все положительно, кроме, конечно, житий святых и разных там пророков, да ведь это все лишнее.

— Конечно, батюшка, лишнее.

Илье сказал я:

— Что, Илья, давай в коммуну поступать, корову дают.

— Подожду в коммуну, боюсь, казаки закуманят.

Читатель спросил, где же теперь писатели, сколько печаталось книг всяких, и нет ничего, куда подевались все?

— Умные уехали на Украйну, средние — в Сибирь, а я вот глупый, так сижу с вами, дураками.

И хорош бы человек, да сладость земная обманывает... Старуха меня закуманила своими ласками, разболтался я, сегодня к дочери подхожу:

— Вы мне одну лепешку сделайте.

— Муки мало, самим не хватает.

Я ушел, а старуха на дочь:

— Дура ты дура, для нужного человека я от своего отниму, а ты...

Знаешь, дорогая, нас не чувственность отравила, а появление е г о и та мимолетная ложь, которая вошла к нам вместе с его появлением, — это стало подтачивать изо дня в день... Невозможно быть втроем и [приживаться], не сживаясь, а когда сживаемся, то входит на помощь тот услужливый гость, которого мы называем ложью.

***21 Декабря.*** С понедельника до пятницы пробыл на горе Венеры.

Привез сюда Леву. Бедный Александр Михайлович, он как-то отмирает. Мало-помалу все проникаются новой моралью и на мало-мальски обеспеченного смотрят с завистью и хочется уравнять его со всеми. Теперь уже мало остается людей, у которых можно было бы что-нибудь спрятать: следят. То, что раньше было как идея, теперь участвует стихийно: разрушение для равновесия: действует сила первоначального равенства, которая сметает индивидуум, то есть домик личности, внешнюю его оболочку — вместе с этим сама собой сметается вся наша культура, основанная на отборе индивидуумов. «Под нею хаос шевелится» — хаос начался и его сила равнения.

С плачем провожают свои стулья, столы, скатерти хозяева, и обезличенные вещи складываются и разворовы-

ваются именем коммуны. Стужа в домах у всех, как у собак, лающих холодной ночью, пар валит изо рта. Холод и голод, грабительские обыски, болезни.

В деревне все-таки преувеличивают городской голод: там не учитывают претензии культурного человека. В городе преувеличивают деревенскую сытость, не учитывая воздержанность обычную примитивных людей.

***22 Декабря.*** Метель такая, что едва не погибли по дороге в баню и потом... В городе помыться нельзя: бани по недостатку дров закрылись; в домах холод, как в окопах, развелась на людях тельная вошь. В деревню приехали помыться! Борьба со вшами и тут же забота о театре для народа. Мучение совести за кума и молчание с той стороны.

Жизнь пчел...

Иван Афанасьевич недоволен всеми книгами, ему кажется, что он все их читал когда-то, ему нужны книги новые о новом времени, ему представляется новая жизнь, новые государства, в которых нет больших городов, а в маленьких городах все дома украшены садами, и нет больших сел, а люди расселены по хуторам, расположенным по шоссейному пути или каналам... Когда я сказал ему, что все эти мысли уже существовали и в старой стране, что они даже в значительной мере осуществлены в Англии, — он очень удивился.

— Значит, — сказал он, — «нового нет ничего»?

***23 Декабря.*** Мы вступаем в область общей жизни (быта), где личность друга чувствуется уже, как в прошлом, невидимой за цепью житейскою.

Мало-помалу мы уходим от себя, или, как говорят, мы привыкаем друг к другу. За горами-за долами остается первоначальное, и уже сладко вспоминать о нем. Странник, влюбленный в степь свою, поселился в ней, огородился и поливает капусту и не видит всю степь. Это ограниче-

ние целого и закрепление в привычках (использование) составляет сущность быта, через который, как в сновидениях, просвечивают начальные встречи духа. Тут все совершается бессознательно, тут все — Судьба... Как слепые идем мы по пути, создавая себе из привычки бога, пока этот бог не обольет нас своими вонючими помоями и, очнувшись, мы не восстанем на судьбу свою. Так выходят на пути нашем три росстани: одна росстань счастливого, кто всегда остается сам с собой и общается в духе лишь с себе подобными, другая росстань тех, кто размножается, делится, дробится, чтобы в конце всего восстать и, разбив все созданное, — вернуться к началу, третья росстань тех, кто, претерпев в смирении своем до конца, выставляет крест плюющему богу дробления и кончает жизнь свою земными цветами.

Теперь бунтарь наполнил все время и устанавливает для всех одинаково свои законы видимые, помяты земные цветы, небесные цветы наполнились кровью.

Мы, русские люди, жили, не зная обнаженного духа, мы жили во плоти, и небесный цвет, мы верили, живет где-то в Элладе-Европе, мы были у росстани смирения и ждали, что вот-вот крест наш рассыплется сам и земля наша покроется земными цветами, воплощающими всю красоту неба. Но, кажется, у самого конца наших страданий мы вернулись назад и пошли по пути третьей росстани: бунтаря, и так мы возвращаемся к первоначальному. Молоды мы, сильны — мы создадим новый мир в духе новом и ясном, стары — мы умрем бунтарями, и потомки наши странниками рассыплются по всей земле.

Лучшее, друг мой, что я в себе таю, открывается, когда я с Вами расстаюсь, и оно все растет и растет. Я все больше и больше в этом нахожу себя и работаю и действую. И так до момента нашей встречи, когда я бываю счастлив и могу ни в чем не разбираться. Потом мало-помалу начинает забираться в душу тревога за это счастье и что-то похожее на раскаянье. В чем? я не знаю. Мне кажется тогда, что я утерял тайное лучшее, которое берег для Вас, и утратил его, отдаваясь нашему общению. Вот теперь я возвратил-

ся к себе, и мне хочется встретиться с Вами так, чтобы потом уже больше не терять себя. Мне кажется, если бы это осуществилось, то совершенно невозможно было бы тревожиться за нашего третьего, и ему бы все можно было сказать и не чувствовать себя вором.

Маруся, отдавшая себя служению раю-обществу, я думал, приветливо смотрит на наш роман. Если бы это было так, она бы была тем необыкновенным существом, которое нарисовало мое воображение, но она оказалась обыкновенной старой девой. «Влез в семью» — про меня! Влезают с расчетом, но какой же я мог иметь расчет?

Как тоже стрельнула холодная сила отталкивания в руки Б. — она думала: «Вот человек, бросивший свою семью и разрушивший семью своего друга».

Приходит к Павлихе Семен:

— Что это у тебя, Павловна, самовар гудит? Ведь перед пропастью.

— Какая же, батюшка, еще пропасть больше — шкуру содрать?

— Мало ли какая: может, из дому выгонят и в острог, а там по миру с ручкой.

Иван Сергеевич наложил на отца своего Сергея Афанасьевича контрибуцию в три с половиной тысячи, и отец после того сказал: «Будь ты проклят отныне и до века!» Проклял, а сын был любимый, единственный сын.

Крестьянский труд весь в сбережениях: это не труд рабочего фабричного. И вот сюда, в это самое сердце собственности — удар: враг в нем, вражище действует!

***24 Декабря.*** Всматриваясь в А. М., я нахожу мало-помалу, что за это время он мне нравится больше, чем я себе, я ревную его не к ней, а к самому себе, такому себе, какого теперь, оказывается, нет на свете. Он занят, живет своей общественно-мечтательной жизнью и не делится с ней

этим, она одна. В эту Ахиллесову пяту она и направляет все свои стрелы.

Он достиг наконец сознания того, что он делает настоящее дело. Он отдался этому делу, но жена его за это время потеряла надежду видеть в нем героя и стала относиться к нему иронически: упрекать его, что он на собрании, а она одна.

Есть что-то в Успенском такое, что убивает охоту к художественному творчеству, и кажется, в ничтожном виде бывшая попытка...

***25 Декабря.*** Солнцеворот.

Завтра день прибавляется. Керосиновый вопрос решен. Через 3 месяца решится дровяной вопрос, а хлебный в неизвестности.

О нашем русском деле теперь уже можно и предвидеть, чувствуется, что под руками уже есть все, но мешает усталость, (связанность).

Надо взяться за себя, чтобы не пропадало время...

Кажется, сейчас больше дает чтение старого, чем наблюдение настоящего, которое стало однообразным. Успенский как провидец русского несчастия.

Вчера приходила ко мне учительница коммунистка Александра Ивановна и говорила мне, что личность свою надо забыть.

— Личность, — отвечал я ей, — нельзя забыть, в личности заключается и ваш коммунизм, я в своей индивидуальности не более как слуга личности, как же мне ее забыть? Вы смешиваете личность с «личным».

Она не понимала меня и продолжала говорить, что нужно «отдаться». Я же отвечал ей, что уж отдан.

Я всегда чувствовал безнадежную серость русской жизни и какое-то тупоумие культурных работников. Пусть все гибнет, что подлежит гибели и что хочет гибнуть, это гибнет частное, я отделяюсь от него и прославляю жизнь. Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти, я готов принять

крайнюю форму нищенства, лишь бы остаться свободным, а свободу я понимаю как возможность быть в себе...

Скажут на это, что и другие так бы хотели жить. Я же отвечаю, что другие не хотят так жить: огромное большинство цепляется за деньги, вторая масса — за власть, третья масса жаждет отдать себя власти. Жить в себе и радоваться жизни, вынося все лишения, мало кто хочет, для этого нужно скинуть с себя лишнее, перестрадать и наконец освободиться.

Задача моя состоит в том, чтобы возбудить других к тому же, хотя это не в том смысле задача, как действие, нет! это мое лишь пожелание, так как при этом легче, скорее, полнее приблизиться к радости жизни.

Мальчику я дал книгу о Египте и спрашиваю, как показалась ему книга — интересная?

— Ничего.

— Понял?

— Все понял: без воды им худо было, и они воду Нила почитали как Бога.

— А у нас из чего худо?

— У нас из земли, и тоже землю почитают как Бога.

Мысли Ивана Афанасьевича.

Победа мужика: сам он ее не сознает, а все-таки победа, то есть трудящемуся человеку, смирному, Бог дал в трудное время кусок хлеба.

Наказание интеллигенции: Ленин был в университете, и Столыпин тоже, и между собою поспорили: я хочу быть царем, я хочу, и Керенский тоже. А нам не все равно, кто царь?

Интеллигенция — и себе враги, и темному люду.

Дармоед: всякий, кто не пашет, не сеет, не веет, а живет лучше.

Я Павлиха, я — буржуиха, я — кулак, я — саботажница какая-то.

По понятиям темного массового русского крестьянина интеллигент — это всякий человек, пришедший, во-первых, со стороны (неизвестной родины), во-вторых, он не пашет (не занимается физическим трудом) — не сеет, не веет, а живет лучше. В общем, он не разделяет участи жизни [идущей] от земли (и фабрики). <*зачеркнуто:* — Кулак, наоборот, человек местный.>

***26 Декабря.*** — Бедная интеллигенция! — сказал Иван Афанасьевич. — Может быть, заслужила? Конечно, заслужила! — с злорадством продолжал он.

Основное различие народной психологии и интеллигентской состоит в том, что народ трудится в подневольном состоянии, а интеллигент в свободном...

***27 Декабря.*** Интеллигенция, как Прометей, хотела похитить с неба огонь — свободу для народа и теперь за это наказанная, разбитая, растерзанная, в голоде и холоде пропадает в городах.

Простой деревенский народ жует хлеб и размножается: деревня победила город, но сама осталась без головы.

Глубокие молчаливые слои деревни с начала революции оставались бездеятельными, деревня, как наседка, села на яйца-идеи и дожидалась, что выведется: гусята, утята или кукушкины дети. Теперь она решила, что вывелись кукушкины дети (дармоед, вся вина на интеллигенцию, Ивана Афанасьевича). Коммунисты — кукушкины дети.

Проезжая необъятные пространства России, путешественник изумляется, всюду, равно как в перенаселенном центре — и в лесистом севере, и в дебрях Сибирской тайги, и в степях пустынных — он слышит этот крик: «Земли, земли!»

Спрашивает путешественник:

— Какой вам земли, вот воздух, земля!

Отвечают местные:

— Эта земля неудобная!

Правительство как загипнотизированное, бьется, как добыть мужику земли, и ничего не может выдумать, хотя вулкан дымится все сильней и сильней. Переселения, хутора — ничего не удается, Государственная Дума — не удается, и обещания Временного правительства не удовлетворяют, и, наконец, крик: «Хватайте кто может!» не удается: теперь, как никогда, земли мало; наконец коммуна объявляет всеобщее право на землю и всеобщий труд, что земля ничья, общая, что вот только работай и будет сколько хочешь. Смутно где-то в глубине души сознает земледелец русский верность основы мысли, но никогда он не чувствовал себя таким беспомощным...

Что же такое эта земля, которой домогались столько времени? Успенский. Земля — уклад. «Земля, земля!» — это вопль о старом, на смену которого не шло новое. Коммунисты — это единственные люди из всех, кто поняли крик «земля!» в полном объеме и дали обещание вместе с землею — отдать все.

***28 Декабря.*** После многодневной куры́ прохожу по засыпанной снегом деревне, вот сугроб, и в нем огонек сверкает, как милость он, каким уютом в сугробе, каким теплом в холодном снегу привлекает он меня к себе. Я подхожу, проламывая наст, к окну: там керосиновая лампа, привернутая до половины огня, чуть освещает избу — невозможно читать! и нет никого: все на печи, в избе, видно, холодно. Я стучусь, и в ответ, как из улья, раздается, отзывается шорох, кряхтенье. С печи слезает старуха, дознается, кто я такой, зачем.

— Я пришел к Сергею Филипповичу за пшеном.

— Нет пшена! а вы чьи?

Я назвал себя по фамилии:

— Василия Евдокимова внук, у Василия Евдокимова была вальцовая мельница, внук его...

Как шарахнулся на печи Сергей Филиппович:

— Внук! такая громкая фамилия, и ко мне за пшеном в такую страсть. Ой, ой-ой! — такая громкая фамилия, и за пшеном!

Теперь ни на кого не надейся: на себя самого надейся.

Про коммуну: я своим скотининым разумом думаю, что и им не лучше от этого, и я не свой.

Сугробы намело глубокие-высокие, как Ледовитый океан в бурю застыл, дороги засыпало, вагоны как остановились, так и стоят среди поля, и снег теперь с крышами сравняло. Засыпана деревня, траншеи прокопаны — подойдешь к избе, сверху смотрю вниз с сугроба, и там, в глубине сугроба огонек, и видно, как при огоньке там старичок лапоть плетет, там мальчик книжку читает.

Сыграли!

— А так или иначе, а я все-таки признаюсь, что личность должна быть свободна.

— Во всем виновата интеллигенция!

— Разложение рус. госуд. началось, когда вас не было.

Иван Афанасьевич сказал мне в ответ на мысль мою о невидимой России: «Это далеко — я не знаю, а село свое насквозь вижу, и не найдется в нем ни одного человека, кто бы против коммунистов говорил без чего-нибудь своего личного».

Все вместе с Советом воруют для продажи в город дрова.

Кулаки натравливают бедноту на коммунистов тем, что коммунисты грабят, а им не дают. Они рассуждают так, что спихнем коммунистов, а с беднотой разделаемся.

***29 Декабря.*** Нутро массы всем недовольное, грабительское, та чернь, которой до времени пользовались большевики, теперь склоняется к кулакам (дрова — все воруют, коммунисты против).

Павел, коммунист, пробывший 15 лет в каторге, сказал:

— Нет, лучше не надо оружия, пусть лучше погибнет 200 коммунистов, зато сохранится идея коммуны.

Разнообразие коммуны в деле осуществления — путь очищения, вероятно, пойдет по русскому пути приятия личного неисцелительного страдания (Раскольников).

А что никто не может возвысить голос против коммунистов по существу — это показывает, что или коммунисты правы, или не существует совести народной.

***30 Декабря.*** «Товарищи, не забывайте нравственность!»

— Паровой плуг... но соха... как же так: брошу соху, а плуг не поспел (зачем вы сохи отбираете? мы — паровой плуг). Масса: она ужасна, как заявил, но вдруг из нее голос о Христе, культура: повернуть к гармоньи (от Христа к гармоньи).

***31 Декабря.*** Литература — зеркало жизни.

Разбитое зеркало.

Человек, разбивший зеркало (ненужное)...

М. М. ПРИШВИН

ДНЕВНИКИ

1918

# 1919

***1 Января.*** Вот вопрос: время величайшее историческое, а мы тут мечтаем, как бы поскорее перескочить его...

***2 Января.*** Вчера в Новый Год был по моей инициативе литературный вечер, и я первый раз в жизни своей выступил как оратор, и мне было радостно понять, что я имею нечто близкое с народом, что «Крест и цвет» есть идея народная — намеком мелькнула возможность нового дела.

Это скорее не вчера было, а когда приезжал Коноплянцев, и сами же слушатели потом говорили, что речь Коноплянцева была непонятна, а моя, гораздо более сложная, — понятна.

***3 Января.*** Брат мой лежит, умирает, раненный в грудь, а я здоров и готов любоваться каждой росинкой. И то правда — чувство страданья, которое испытывает брат мой, и это чувство радости жизни — правда: так живет природа. А человек начинается там, где, радостный вокруг себя, он внутри принимает от брата страданье (сострадание) — муку за муку берет в свою душу.

Иван Афанасьевич:

— Удивительно, что, если разбойника сделать судьей, он будет судить, и, может быть, лучше человека порядочного.

Иван Афанасьевич собственник. Шесть раз лопатой огород вскопал, справедливый по отношению к себе, не может понять, что его идея встречается с [чуждой] ему идеей работы не на себя, а на общество.

— Да я же для себя делаю, а это вовсе не в пример другим, мало ли что я делаю для себя: вот очень люблю крепкий чай, а мальчику наливаю жидкий, и он мне говорит:

«Мне вредно, а почему тебе не вредно?» — «Вредно, — говорю, — я большой, я могу для себя, не в пример маленьким. Ты складываешься, а я сложился, и мне все равно, я могу пить крепкий чай».

***6 Января.*** Я уезжаю от Коноплянцевых под впечатлением их семейной суеты. Встречаюсь с ней одной, счастливой от моего приезда. Расстаюсь смущенный, встречаюсь обрадованный.

Можно не любить мужа и выполнять свой долг в семье, но требовать от него исполнения долга и в то же время на глазах у него любить другого — это не эгоизм даже, это запутанность.

Нужно идти на заседание, а она требует идти за дровами и расчищать снег, по праву требует, потому что самое скучное деловое заседание является мечтательным отдыхом в сравнении с дежурством на морозе за дровами и последующим боем за каждое полено. Эта жизнь есть проба на мечту: какая мечта выдержит это испытание на необходимость столь ужасно неприкрытую?

И стоит только вообразить себе жизнь как [испытание], как теперь, а [с мечтой] так легко бы соединилась необходимость идти за дровами с желанием быть на собрании.

Не встреться Михаил на ее пути, какие бы вопросы могли бы теперь стать между ними? Даже физиология, но какая тут в истощенности может быть физиология? Когда бы попала в руки баранина жирная или гусь, и после баранины ночью он покусился бы, и она холодно, «естественно», по-супружески отдалась ему и ничего бы не почувствовала бы, отдала бы свой половой долг и уснула. И встав наутро, деятельно, не отдавая себе отчета по существу своей жизни, провела бы свой день, если бы зашла к ней вечером подруга и спросила ее по существу, она бы сказала, что исполняет свой долг.

Этот «долг» в обручальном кольце? В приданом с девичьими инициалами, в милых тетушках, в старинном доме с поющими дверями?

Обручальное кольцо потеряно, с тетушками ссора, в щелях старого дома клопы, двери не поют, а визжат, и хрипят, и кашляют, и Бог знает что, как будто двери эти больны всеми болезнями отцов и призывают к ответу за все их грехи.

Обдумав все положение и спрятав вопросик, в полном ощущении силы своей в случае чего выполнить свой долг жены и матери, она подала ему руку и сказала: «Да». И когда целовала крест, то избыток этой силы нести в случае чего крест исторгнул из глаз ее слезы... Только священник в этот миг сделал странную ошибку, он сказал, что венчается Софья не с Александром, а с Михаилом. Она не отдала себе отчета в том, что «вопросик» в эту минуту шевельнулся явственно в душе ее, и тут же забыла ошибку священника, и только [годы] спустя тетки напомнили ей ошибку священника. Теперь ошибку хорошо заметили.

Она рассказала мне про жизнь Оли Володиной, и нам стало совершенно ясно, что мы все погибаем в буквальном смысле слова... Мужчины преждевременно делаются стариками, женщины сморщиваются, подсыхают. Мы погибаем! мы тонем!

Новое ощущение законности всех средств в борьбе за фактическое существование, что в этой борьбе, в этих заботах о хлебе насущном весь смысл истории.

(Происхождение еврейского пессимизма).

После бури — оттепель, потом хватил мороз, и снега покрылись ледяной коркой.

Я еду в поле и вижу — впереди на дороге куропаточки клюют лошадиный помет, мы наезжаем на них, они отлетают дальше, и так гоним их далеко вперед себя, потому что им деваться некуда: на снегу наст, им не пробраться до зеленей, и единственное, чем они могут поддержать свою жизнь, — клевать по дорогам навоз, в этом теперь их единственное назначение.

Так и мы теперь, как птицы-куропатки — лишь где-нибудь что-нибудь раздобыть...

Лучше всех евреям: эти корни народов, лишенные земли, давно уже приспособились питаться искусственными смесями...

Победа женщин. Как ни худеют, ни стареют женщины, но все-таки они заметны, их видишь всюду действующим лицом в жестокой борьбе, а мужчина куда-то вовсе исчез, бродит тенью, вертится на какой-нибудь ужасно беспокойной должности, как бумажный акробатик.

По дорогам в базарный день, как военные обозы, едут по ухабам в розвальнях «скифы» в город, их розвальни кажутся совершенно пустыми, но под соломой в них спрятано немного пшена, немного муки, свинины — немного нужно взять с собой, чтобы выменять в городе ботинки, шерстяное платье, старинные часы, — вся эта культурная утварь переходит в деревню.

Скиф въезжает в город самодовольным хозяином, как будто высказывая сожаление, сокрушение, видя работающих господ, но в душе торжествует.

Там, в деревне, они порядочно ущемлены коммунистами, но здесь они господа.

Хлеб в основе всего и земля, корни живые в земле... пожелтели, зажухли стебли цветов, покрылись снегом, и снег покрыт ледяной коркой. Только живы корни подземные озими — ржи и, замерев в холодной земле, выжидают.

Зима вокруг, снежная пустыня, по ухабам на розвальнях завернутые в дорогие овечьи шкуры едут скифы, и впереди их, урывками поклевывая навоз лошадиный, бегут куропатки, серьезные птицы...

Смеются скифы над куропатками и говорят:

— Вот бы ружье, вот бы ружье! — и примериваются... И рассуждают: — Во всем виновата интеллигенция.

К женщине долга. За острогом за городом в снежных полях стоит барышня с четвертинкой.

«Милая моя, отчего ты стала такая?» — «Какая?» — «Нехорошая, некрасивая». — «Я, знаешь, мне на минуту представилось, и ты такой же, как Александр Михайло-

вич, что все такие эгоисты-мечтатели, что вы по природе своей не можете вникнуть в жизнь». — «Но что с тобой? Ты сейчас мне тоже не нравишься. Я тоже подумал сейчас, что слова твои я уже где-то слыхал, они мне знакомы, как скрип дверей на старых петлях, я вспомнил Ефросинью Павловну — она мне точь-в-точь говорила так, я всегда защищался от нее тем, что она не может вникнуть в мою душу, принимать к сердцу мою мечту, как свое необходимое дело. Ведь мы с ней из-за этого разошлись, а теперь у нас это же повторяется: я, дорогая, этим смутился».

Свобода просто избитое слово, она стала похожа на огромный хомут, в который одинаково проходит и слон, и лошадь, и осел: всякое животное может [легко] пролезть через этот хомут и не [задеть], а воз остается на месте. В истинной свободе хомут по шее всякому животному и воз по силам, так что не слышно, что везешь воз или не везешь. И эта свобода есть лишь другое название любви.

Мы говорим о Леве, что он украл портмоне. «Это, — говорю, — ничего, вы не знаете мальчика, почти все мальчики воруют, и я маленьким крал на базаре яблоки, булки, а теперь разве я способен?» Шальным нечаянным словом она ответила: «А теперь вы украли у друга жену». — «Милая, я этого не хотел, вы знаете, это вышло против моей воли: это вышло». — «Я знаю». — «Ну, так что же, и потом, все же это избитое, умыкают в деревнях, но украсть бестужевку... дорогая, вы говорите вздор, или, в конце концов, бестужевки ничем не отличаются от гаремных жен».

Занятно подумать о физиологии Анны Карениной: если она физически никогда не была удовлетворена, ни разу: а так бывает постоянно, родятся дети, а женщина ни разу не испытала то, что испытывает каждое животное.

***7 Января.*** Рождество. Нет, свобода — это еще не любовь. Свобода — это путь любви, или: свобода — это свет любви на кремнистом пути жизни.

Церковь — цирк. За стеной говорят (партия коммунистов) — они говорят, что церковь есть цирк, а цирк есть народное развлечение...

Христос — вождь. Человек на собрании сказал: «Я не понимаю, из чего народ поднимется и явятся у него всякие таланты, народ без Христа не может подняться, без Христа, я понимаю, то есть без вождя».

Пора бросить придавать значение этим разным словам революции: «большевизм», «коммуна» и пр., все равно, как бы ни называться, где бы ни быть, нужно оставаться человеком, и потом из этого сами собой возникнут настоящие живые лозунги. Конец.

К нам подошел неслышными шагами новый враг: он стал раздражать тебя и без всякой причины выводить тебя из себя, ты стал в присутствии его некрасивый и злой, несправедливый.

Враг более страшный, чем все, о которых мы думали, потому что там было сострадание, тут нет ничего, только раздражение.

***8 Января.*** Мальчик мой спит, все спят. Тихий утренний час. Не вижу, но чувствую над снегами звезду утреннюю. Мое призвание — вбирать в себя, как губка, жизнь момента времени и места и сказочно или притчами воспроизводить, я цвет времени и места, раскрывающий лепестки свои, невременные и непространственные.

Вчера приходил ко мне мальчик от революции и спрашивал, как ему быть с поручением партии взыскать налог с деревни: как член партии он должен выполнить поручение, но жалость к людям мешает ему это сделать.

Я ему сказал, во-первых, о власти, что русский человек до сих пор вообще избегал власти, отстранял ее от себя, и если соприкасался с нею, то погибал. И так во время революции дело власти воспринял как мерзкое дело. И что у нас нет призвания властвовать.

Говорит о коммуне: что это слишком широкое понятие, большой хомут, через который пройдет даже верблюд. В будущем коммунисты превратятся, с одной стороны, в подпольных вероучителей, а с другой — в деятелей земледельческих производительных коопераций.

О социализме и религии. *Социализм революционный есть момент жизни религиозной народной души: он есть прежде всего бунт масс против обмана церкви*, действует на словах во имя земного, материального, изнутри, бессознательно во имя нового бога, которого не смеет назвать и не хочет, чтобы не смешать его имя с именем старого Бога.

О настоящем русском моменте революции: теперь зима, гибнет все, что тянулось ввысь, и укрепляется подземное, коренное. Там, в недрах подземных, где в тьме необходимости каждый корешок для себя ищет тепла и питания, только тепла и питания, выживают те, кто этого больше хочет. Тут, в подземной жизни, нет ни радости, ни любви, ни надежд, и ничего нет от сознания (экономическая необходимость), только женское, только еврейское, одно беременное чрево.

Злоба дня. Ветер доносит лай гончих, заяц вскочил и бежит, и опять лег, и опять встал искать себе пропитания. Я вышел из дому с больной ногой искать себе пшена и по сугробам в городской одежде иду... Я достал себе 10 ф. пшена, и мне хорошо — пшено желтое, зернышко к зернышку — я радуюсь. Я достал себе 5 ф. свежины и немного соли, учусь солить ее, сложив в ящичек, ночью беспокойно просыпался, не тронут ли крысы, ставил на шкап, сомнение — рассолил, хорошо бы корову — корову! мечтаю о корове. Променял 2 ф. леденцов на шерстяные чулки. Обещали мне, если достану подметку, дать полпуда муки. Гуся купил за 100 р., а жир-то весь на кишках, и кишки хозяин взял себе — долго спорили о гусиных кишках. За рюмочку чаю мне принесли к празднику моченое яблоко, за 1/4 фун. сахарку 3-хфунтовый пирог. За воз дров для

*<1 нрзб.>* в городе обещал мужику шерстяную голубую кофточку.

Лавочник вернулся из плена и лавки своей не нашел и места себе не нашел, как буржуй, ни земли, ни хлеба. Только невеста его осталась и плюет на все: он хочет жениться: только вот бы разжиться где-нибудь валенками: съездил за 30 верст, достал конопляного масла и выменял себе валенки. Родители невесты обещают дать ему угол на время. Жизнь: мука, пшено, картошка, мясо и сало (хорошо бы достать нутряного), тулуп.

Литература теперь как указание.

Вот все это: подземная жизнь, экономическая необходимость, женское, еврейское – и странник (ничего не нужно, только странствовать): изловленный странник... Эгоизм корневой (общий) и личный (духовный). Странник (интеллигент) – дармоед. Найти в страннике силу против корневой силы (личность и стихия): сила странника нести крест до того момента, когда корневая сила выгонит цвет.

Евреи сильны тем, что знают необходимость (мы ее видим только теперь): жизнь еврейского народа — это зима человечества, тут провал — пропасть, и личное в этом как невозможное и невозможное...

Я был искренним, и прав я был, когда весной сказал ей: «Моя любовь не может помешать или взять что-нибудь у вашего мужа». Я с тревогой узнаю, что любовь мою предают, и кто же предает? — она, моя любимая. Земная, чувственная женщина в ней пробудилась о своем праве быть.

***9 Января.*** Иван Афанасьевич приходил вчера, и его мнение о будущем народа такое: или народ наш иностранцы превратят в чернорабочих, или опять у нас вернется прежнее.

На село наложена контрибуция в 150 тысяч рублей.

Полный иней на рассвете, над березой звезда. Спят все люди. Я одинок. И это счастье, это единственное счастье,

и все мое счастье. Этого я ни с кем разделить не могу. Это я теряю вдвоем. Об этом тоскую вдвоем: это вспоминаю зимой, как оно было осенью, будто купался в золоте, это весной у берега реки.

Она может быть некрасивой, дурно-чувственной, больной, но что в ней — это я сам, и все то внешнее принимается, как свой сор, как свой пепел, как своя спальня.

И вот когда это — я сам, или сама — исчезнет, то сор, и пепел, и спальня — все это внезапно делается чужим и внушает сначала раздраженье, потом опрощение и невыносимость бытия. Они уже говорят между собой о дурном дыхании и кроватях в разных комнатах.

«Душа в душу» — точное выражение. «Слиться» — точное выражение.

Ее сила не во власти, как она думает, а в цельности души и тайной готовности во всякое время отдать все свое временно нажитое за неизведанное настоящее. Ее эгоизм — это знак лично-настоящего над всею нивой сомнительного долга. Она выполняла свой долг в течение многих лет, но втайне сомневается самой идеей этого долга: в этом сомнении тайная, живая и моя, в исполнении долга — холодная, иная женщина.

Сладки воспоминанья лишь в надежде на сладость вкусить в настоящем и будущее. Занятно, когда видишь намеки его в настоящем, как в февральской утренней ледяшке видишь весну. Но воспоминания пережитого и невозвратного и умственные выкладки о будущем с надрывной верой в него — мне чужды. Я люблю настоящий момент как связь отдаленного назади и ожидаемого впереди, я люблю разыскать чувством этот момент как ничтожное зерно-зародыш среди чудовищных нагромождений ни с чем не сообразного. Как охотник в дебрях лесов, я ищу эту птицу радости, не жалея слов своих, не считая времени, и потому душа моя вечно живая и детская. Мое дело такое отдельное, никому не мешает, так же, как моя детская воображаемая Америка не мешает Соединенным Штатам. Вот почему я злюсь даже на самых злейших лю-

дей, лишь когда я схвачен ими, а как вырвался, то все обиды свои забываю и смеюсь только над своим положением, что попался в лапы гориллы и она меня по недоразумению чуть-чуть не съела.

Звезда наша и звезда Вифлеемская. Я очень уважаю социалистов, баптистов, евангелистов за их веники и чистоту помещений, за их Вифлеемскую звезду. Я не буржуй и в их свиной дворик хожу на рассвете только «до ветру», — но вот тут-то — чудо из чудес! — над этим двориком, наполненным навозом, окруженным склоненными в инее березами, вижу чудо из чудес! не Вифлеемскую, а настоящую нашу утреннюю звезду. Через несколько мгновений она исчезает в лучах восходящего солнца, приходят серьезные люди чистить дворик буржуйки, имея в сердце звезду Вифлеемскую. Я очень уважаю их, но ухожу, скрываюсь от них, как звезда обыкновенная, как детская сказка, рассказанная старухой [на лежанке] в тот час, когда раздается звонок школьного учителя.

***10 Января.*** Декорация. Режиссер: «Зрители, вместо размалеванных холстов, на которых кое-как изображен зимний день, вообразите себе, как мало-помалу рассветает зимой в деревне...»

Площадь в селе, кудрявые от инея деревья, солнце. Среди разукрашенных инеем деревьев — одно похоже на старика с седой бородой. Снег по склону весь закудрявился, как деревья, следами детских сапог, берег реки высоко на той стороне ровной белой чертой обрезает небо. Мальчик с санками, показывая на дерево, похожее на старика с седой бородой, говорит: «Смотри, вот сам Мороз!» Другой мальчик: «И вон там!»

Как иней садится. Накануне инея: ровный туман, в тумане кустик, будто лошадь черная мало-помалу становится белой: «Иней садится!» Наутро царственный день...

Нападение мальчишек на библиотеку и школу: стихийный вызов просвещению.

Иван Афанасьевич говорит, что во все времена во всех смутах была виновата интеллигенция, и самая вредная мысль ее о том, что людьми можно управлять без насилия, без казни.

— Да ведь это Христос не велел убивать.

— Убивать Христос не велел людей — это правда, но разбойников казнить он не запрещал.

Виноваты все интеллигенты: Милюков, Керенский и прочие, за свою вину они и провалились в Октябре, после них утвердилась власть темного русского народа по правилам царского режима. Нового ничего не вышло.

Коммунистка Анна Ивановна публично срамила истомленную, изголодавшуюся интеллигенцию, что она из-за куска хлеба теперь хочет работать с народом.

Эта власть основалась на обмане, на ложных обещаниях: они пришли к народу через обман...

Одни пришли к народу через обман обещаний, другие пришли за хлебом: преступники и нищие. Теперь преступники посмеются над нищими — какая жалкая картина! и это называется учительский съезд.

Ряды большевиков наполнены или преступниками, или святыми прозелитами, подобными «святой скотине» на передовых позициях в линии огня.

Хлеб. Частица жизни очень неясная, брошенная в Скифию, покрытую снегами ужасных буранов последней зимы.

Буран перестал, инеем преображенная береза стояла как чистая девушка, у ног которой Буран сложил свои силы в белом сиянии... Частица жизни очень неясная, брошенная в Скифию, насильно погружена в землю, под снег искать себе там вместе с корешками озимых растений необходимого тепла и питания.

Среди камней, земли и пепла, засыпающих все живое, я ищу соприкосновения с тончайшими волосками живых корней, опущенных частицами земли, в молчании подземном, готовящем гибель буранам зимы и воскресение жизни для всех.

***11 Января.*** Буран, хозяин всей Скифии, изначала веков пугавший других стран народы, бушевал в эту зиму всей мощью своей.

Засыпаны города, поезда остановлены в поле, и от вагонов торчат только трубы, как черные колышки, села погребены в сугробах. В нашем селе каждое утро возле дверей и окон роют траншеи. Вчера вечером с высоты сугроба я заглянул вниз и в сугробе увидел огонек очень тусклый, при котором дедушка лапти плетет. С трудом я спустился внутрь этого сугроба и постучался в дверь. В ответ мне, как из улья, раздается шум, похожий на пчелиный шум — это зашевелились лежащие на печи.

— Чей ты, чей, откуда, зачем?

— Я пришел к вам достать немного пшена.

— Нет пшена, дорогой, теперь ни на кого не надейся. Сам на себя надейся. Да откуда сам ты, чей?

Я назвал себя: Василья Евдокимова внук, у Василия Евдокимова была вальцовая.

— Внук Василья Евдокимова, мельник, такая фамилия, и ко мне за пшеном! ой-ой-ой! ну, времена!

И все заговорили о новом времени с тяжкими вздохами.

Оказалось, мой дедушка сделал когда-то добро этой семье: деду столетнему, что сейчас на лавке лапти плетет, он когда-то дал семнадцать рублей на свадьбу, десять пудов муки и два пуда пшена. Так вот за это меня теперь хором принимают и все расспрашивают про мельницу.

Я же не знаю даже, кому она теперь принадлежит, где стоит.

И пшена мне обещали, и пригласили пожить. И я живу под сугробами теперь, мне кажется, я живу в тайниках подземного питания растений, погребенных буранными силами-снегами.

Старик мне каждый день повторяет, будто учит молитве корни растений, погребенных буранами, лишенных зеленых листьев и цвета, обреченных терпеть, нащупывать во тьме питание земли.

— Теперь ни на кого не надейся, — учит старик, — только на себя надейся, всякий о себе теперь думает!

1) 12 заповедей подземной жизни — против коммуны.

2) Брат не может с братом жить — делятся, а они хотят вместе все.

3) У них тракторы, вперед получи трактор, потом соху отменяй.

4) Войну отменили — опять на войну.

5) [Против] шахтеров — управляют, кто работать не может.

Так, я слушаю, и все другие говорят, когда приходят к нам в гости, с этого всегда начинают:

— Теперь ни на кого не надейся, всякий теперь о себе думает.

И начинают рассказывать новости.

— Неделю назад тому времени Сергея Филиппова жена Мария в горячке вырвалась наружу, убежала.

— Что же ее не окоротили?

— Кому же окоротить: вся семья лежит в горячке, некому окоротить...

— И убежала?

— Ушла неизвестно куда.

— Поискать бы, поспрашивать.

— Спрашивали, и нет нигде, а поискать — где теперь поищешь, слышишь, как воет!

— Ну, что же протчие?

— Протчие лежат все в горячке, как вот теперь жить без хозяйки.

— Ох-хо-хо! теперь ни на кого не надейся — времена такие: на себя только надейся!

Сказали: Новый Год, в школе Новый Год празднуют.

— Сказывают, потом и мы будем Новый Год встречать в это время?

Царственный день — иней. Утром снег разгребал лопатой, делаю траншеи, вывожу к другим, взбираюсь наверх и вот вижу с высоты сугроба — в одной избушке свечи горят, тишина; пригляделся: покойница лежит, и кутья, и смотреть на покойницу со всех сторон собираются.

— Кто она такая?

— Да вот что намедни в горячке убежала: охотник нашел, вся в сугробе, буран занес...

Никита даже дрожит от радости, что на соседа контрибуция.

— Антихрист твою душу выешь!

Основной закон жизни корней, что их шепот, их слова, их поверхностное сознание: ни на кого не надейся. Я узнаю все тайны из намеков, из разговоров. Я узнал личные тайны этой семьи: зарыта бочка с вином, свиное сало в трубе, а самая большая тайна: в бутылке сколько денег — эта тайна не раскрыта.

Ожидание «переворота» (весны): переворот жизни людейпреобразоватьвестникаприродыпереворотом — весны: слова корней растений, их видимые поступки одно, — а их молчание другое: тот крест, который некогда процветет (весной). Это молчание можно раскрыть лишь в задушевных беседах с отдельными людьми, когда видят — встречают Бескорыстного и совершенно правдивого, тогда они преображаются...

Канитель мужицких разговоров: она тянется с утра до вечера.

— Ты думаешь, нам не будет ответа, — не минуешь, увидишь! сейчас это так, а не минуешь!

— О-о, Бо-оже мой!

— Будет наказание, погодите! А что «к стенке», это я не считаю за наказание. Погодите, поблагодарим вас.

— За что же наказание: молодой квас затирают.

— Затирают — затрут им квас! погодите, коммунисты — закуманя́т вас! Я Тимофей и он Тимофей, посмотрим, какой Тимофей одолеет.

У Дмитрия Сергеевича хранится заветная тетрадь, где описано о свободе. Тетрадь эта вся пропахла йодоформом, в лазарете списывалась учителем, раненным вместе с ним, потом читалась в плену три года...

— Я слы́хал, — постой! Ефросинья, поджарь нам картошечек.

— Я слы́хал, на Гудкова 30 тысяч контрибуции.

— Здо́рово, вот здо́рово!

— На Матвеева, слы́хал я, двенадцать тысяч.

— Здорово!

— На Евдокима Феофилатовича десять.

— Ох!

— Охаешь, охаешь: десять тысяч приди получай! Ну-тя, на Аникина тоже десять тысяч, на отца.

— Ну, Аникину уж взять негде.

— И на сына пять тысяч.

— И на сына!

— Ну-те, на Кира Конова пять: Поеду, говорит, издыхать в холодную, а свое говорить буду: «Нету у меня денег».

— На Артема десять, на сына Артемова пять, на другого сына пять. Артем отвечает: «Валите все на Рыжего, Рыжий все берегет!»

— Грабиловка!

— На Федора, ну-тя, на Федора ничего!

— Ничего на Федора, ах они, сукины дети: да у Федора на огороде двести дубков, а дубок в два обхвата — десять тысяч стоит. Как же тут ничего?

— Ничего! Ну-тя, придет время, и Федор зацепится: все будут ходить, поглядят все по <*1 нрзб.*> («мирски») будут ходить, с востоку на запад, и с западу на восток будут блудить.

— Где же слова Евангелия? Одно самолюбие.

— Конешно, самолюбие, но будем Господа просить, чтобы сократил время.

— Ну, ведь есть же люди добрые.

— Добрым людям скорбеть, добрым людям болеть, а настоящее время не минуешь, ох, не минуешь, будет распятие!

— Ну-тя, с Авдотьи Степановны двести рублей, есть, говорят, деньги? нету! есть деньги? нету! есть деньги? — расставайся с коровой!

— С коровой, ну, вот посмотрите, земля на весну не будет пахаться!

— Пусть соберут на весну коммунию да что-нибудь приобретут.

— Приобретут: ты будешь сидеть, а я работать, вот посмотрите, увидите, весной земля не будет пахаться.

— Ну-тя, а как же на попа, наложил ли что на попа?

— Как же, на молодого двадцать тысяч.

— Двадцать, ну хорошо, это маленечко разблажит.

— И на старого десять.

— На покойника.

— На покойника: ведь он после расклада умер.

— Как же вы так на покойника-то?

— Очень просто: молодой внесет за покойника.

— Ох, ох, хо, покойников трогать начали, не быть добру... Ну-тя, а на Евдокимова?

— На Евдокимова...

И так без конца.

Жизнь в исполнении долга — это среднее состояние души, управляемой рассудком, когда ничто не разволнует, чтобы злость выплеснулась через край, а стремление к добру не выползнет из дома.

***12 Января.*** «Жить по долгу» — душевное состояние, соответствующее физическому, когда живут, залечив неизлечимую наследственную болезнь (например, чахотку). Тут нельзя размахнуться, и сосед на пиру, безжалостно наливающий своему здоровому соседу кубок Большого Орла, избегает соседа с неизлечимой залеченной раной.

А то еще называют долгом особое холодное и осмотрительное состояние души, плетущейся на деревянной телеге и упустившей возможность впрыгнуть в колесницу промчавшейся тройки («И зачем ты бежишь торопливо за промчавшейся тройкой...»).

Из первой категории больных долгом выходят люди, скрывающие свою болезнь и благословляющие бойкую, звонкую жизнь, из второй выходят педанты, ненавидящие все живое. Первые никогда не говорят о долге, потому

что это есть их молчаливое состояние, вторые — вечно твердят о долге.

Софья Павловна странно двойственна: по отношению ко мне она принадлежит к 1-й группе, по отношению к мужу — ко второй. Впрочем, я это понимаю: первое состояние — по природе (основное), второе — нажитое (не существенное), это все равно что мое раздражительное требование от Ефросиньи Павловны хозяйственности, бережливости и прочих достоинств куриных, свойственных всякой женщине, все равно как состояние души, достигшей христианских высот и попавшей в связь с людьми, не имеющими представления о всякой заповеди Моисея.

Как верно у Метерлинка «полночное солнце царствует над зыбким морем, где психология человека приближается к психологии Бога», и «не отправляйтесь в Исландию отыскивать розы».

При чтении «Молчания» Метерлинка мне пришло в голову понять наше говорливое трескучее время со стороны молчания: понять, о чем русские люди молчали во время коммуны, не умалчивали под давлением внешней силы, а молчали, потому что этого нельзя сказать. Кто знает, быть может, еще цензурное насилие над словом играет роль снега, засыпавшего теперь наши поля: он губит стебли и цветы, но сохраняет молчаливые подземные корни.

Вежливость тараканов. Время страшного молчания и пустейших слов, ведь когда за стеной целый день слышишь мужицкую «буржуйскую» канитель против коммуны, в то же время в молчании тех же буржуев передается: «Заслужили, заслужили, так нам и надо, и поделом». Ведь ни одного ясного звука не произносится против существа дела новых властелинов, и нельзя произнести по тому простому... вот почему: если я, например, Максим Ковалевский, всю жизнь просидел в библиотеке, подготовил слова для Гаагской конференции мира, и вдруг, когда я именно улучил наконец момент пустить свое слово за мир против

слов за войну, в этот самый момент под всю Гаагу кто-то невидимый подпустил удушливый газ. Ну, что тут скажешь против войны, так у нас выходит и с властью: весь народ от мала до велика готовился против царской власти, и когда свергли власть, то будто дырку прорвали, и власть, как вонючий удушливый газ, вышла из ж... народа и удушила его.

Вся литература дореволюционная как скошенная трава: на лугу ничего нет, их интересует на лугу лишь разобраться в корнях, много ли на лугу корней многолетних растений.

Власть — вонючий газ. Большевики с вонючим газом.

Потому без всякого сопротивления и ведет «буржуй» в комиссариат последнюю корову, там ему говорят: «Вернитесь домой, принесите еще подойник!» — и он спешно возвращается за подойником, потому именно, что у комиссара все общее, а у него свое, как ни вонюча власть комиссара, а все-таки она именно и есть власть, а он владел коровой в безвластии.

Жареное из соловьиных язычков. «Саботажник» интеллигент никак не может не петушиться, хотя на глазах у всех обращается в жареное из соловьиных язычков, и притом для народа (наши подвиги народного просвещения). Поскольку он интеллигент — он непременно это жареное, а если он по убеждению разорвал с интеллигенцией и стал большевиком, то непременно путем логического преступления, как студент Раскольников: его самолюбие и властолюбие — вот мосты, по которым он переступил (приступил) к народу (так что слова Ивана Афанасьевича «во всем виновата ан-теллигенция» — совершенно верная формула, потому что все равно какая, жареная или преступная, то есть переступившая, она, именно она продырявила баллон с вонючим газом).

Порядок и вольность (френч и чуб). Посмотрите на человека власти, взявшего от варягов френч и от казаков чуб на лбу, какое отвратительное явление представляет эта смесь френча английского с казацким чубом, и таков

представитель власти, комиссар — момент соприкосновения варяжской идеи порядка с многими карманами и русской чубастой удалью.

И ничего нового — по существу, только новая форма в гениальной ясности; вся революция русская имеет ценность лишь в доказательстве через доведение до абсурда.

В молчании скифских занесенных снегом полей скрывается таинственная сила подземных корней, которые дадут весною цветы.

Цветы из-под снега. Ленин — чучело. Вот и нужно теперь, и это есть единственная задача, постигнуть, как из безликого является личное, как из толпы покажется вождь, из корня, погребенного под снегом, вырастут цветы.

Крест молчания. Молчание — общий признак, характеристика сил земных, рождающих цвет, и если я сейчас назову эту силу молчания русской земли — крест, то это слово верное не будет словом действенным, потому что оно слишком рано вперед забегающее слово.

Потому раннее слово, что в молчании, наверно же, крестном молчании, не чувствуешь близкого восстания праведных сил, напротив, все принципы по приговорке: «Так нам, подлецам, и нужно».

Чрезвычайный налог всюду в деревне называется к о н т р и б у ц и е й.

Слышал, ругали большевиков: «Антихрист твою душу выешь».

Слышал, что меня называют контрреволюционером, и во враждебном тоне, называли же люди — противники коммунистов, по-видимому, за то, что я не их круга человек, что я интеллигент, который и создает всю эту кутерьму.

Миколка жив! Орефьевна принесла за мое мыло пирог и сказала с проклятием, что на нее 3 тыс. контрибуции наложили.

— Вот, — говорит, — Миколку обругала, когда последнего сына взял на войну, не за Миколку ли отвечаю?

— За покойника?

— Какой там покойник, жив!

С точки зрения мужика: обойти. Иван Афанасьевич сказал:

— Ученый человек имеет, конечно, точку зрения и ежели видит препятствие своей точке зрения, то делает тут же вывод, что надо устранить, а с точки зрения мужика, то есть мужик, положим, не имеет точки зрения, ну, я так говорю, что с точки зрения мужика нужно не свергнуть, а обойти.

После этого он привел пример, как обращается с хлебом интеллигент и как крестьянин, который считает грехом уронить крошку хлеба на землю.

Хозяйка Татьяна Павловна испытывает перед контрибуцией последний день приговоренного к смерти, и с их половины слышится:

— Дуравей нашей России не было страны, земли не было, а все хлеб тащили от наших бедных людей.

— Что такое Россия? это есть то, что есть для всех, и в такой стране разуты-раздеты! И Россия есть, где на одном конце солнце заходит, а на другом всходит, и на таком большом пространстве люди разувши-раздевши ходят.

***13 Января.*** Вот голос радости Метерлинка, — я не читал его раньше, — но как близко им написанное, будто он был моим другом и учителем.

— «Интеллигенция» как наша, русская, только русская с е к т а теперь погибла навсегда. В народе ее сейчас быть не может, потому что там или свои известные люди, или представители власти (тоже из своих)...

Людей нужно выслушивать — это прежде всего даст им облегчение, и выслушав, нужно не говорить им учительно, а п о д с к а з ы в а т ь; в этой деятельности есть основание радости. Подсказывать известное всем, но забытое, быть суфлером.

У наших попов есть чувство этой радости, но путь их уже избит, и они сами уже не помнят происхождения этого чувства из движения и смешивают с покоем.

***18 Января.*** Так... встретили мы старый Новый Год, эх, Михаил, Михаил! как встречают меня, кто когда так встречал? Только нехорошо, что друг мой зачем-то повесил в моей комнате подаренные мною когда-то рога. Как величайший скряга-хранитель, она сохранила нетронутую в себе женщину, и когда все государство, когда-то величайшее государство мира, было разбито до основания, и мир был весь потрясен, и общество было выкинуто, как выкидывается на улицу нашими крестьянами зола, тогда она раскрыла свои сундуки, и мы стали с ней пировать на золе сгоревшей родины. Так мы встречали новый год.

Никто из наших стариков не запомнит такого инея. Иней целую неделю оседал и наседал, так что в конце концов всюду ломались верхушки и ветки дубов. Среди берез было *<1 нрзб.>*, а потом березы будто испугались и, склоняя ниже и ниже оледенелые вершины, казалось, шептали: «Что ты, мороз, пошутил, ну, пошутил и довольно!» А мороз все больше леденил и склонял все ниже и ниже их ветви и отвечал им: «А вы как думали?», и вот уродливо изогнутыми вершинами деревья стояли замерзшими глыбами...

Телеграфно-телефонная проволока дугами в разных местах опустилась до земли, потом обрывалась и падала на дорогу, а скифы наши скатывали ее в крендели и развозили к себе по избушкам. Так во всем уезде у нас погибла телефонно-телеграфная сеть, и, когда остались только столбы, и то в иных местах покривленные, в газете было объявлено, что за украденную проволоку будет какое-то страшное наказание, вроде как «десять лет расстрелу».

Ораторы еще говорили «Граждане!» и призывали к комунальному строительству государства, а скифы скатывали в клубочки оборванную инеем и бурей телеграфную проволоку и уносили ее домой по избушкам и выбрасывали по-прежнему на проезжую дорогу из печей своих золу — драгоценное удобрение земли...

Ленин призывает к труду всех, не считаясь с политическими взглядами («Пора бросить предрассудок, что одни коммунисты могут работать»), а на местах коммунисты жмут все сильней и сильней.

За 40 р. купил для друзей 10 мешков навозу, еду на мешках с Сенной площади, а люди спрашивают:

— Чего везете?

Кричим весело:

— Пашеницу!

Vita![1]

На седьмом небе.

Трагедия каждого дня (из Метерлинка): «Существует каждодневная трагедия, которая гораздо более реальна и глубока и ближе касается нашего истинного существа, чем трагедия больших событий...» «Чтобы обнаружить ее, нужно показать существование какой-нибудь души в ней самой, посреди бесконечности, которая никогда не бездействует...» «Разве легкомысленно утверждать, что настоящая трагедия жизни — трагедия обычная, глубокая и всеобщая — начинается тогда только, когда то, что называется приключениями, несчастьями и опасностями, миновало? Разве у счастья руки не длиннее, чем у горя, и разве оно не ближе достигает души человеческой?»

Идеал — движение: горе и счастье одинаково могут открыть и закрыть путь.

Каким счастьем казалось во время голода выпить рюмку водки и съесть сибирских пельменей! В Новый Год достигли счастья: выпили, съели, и что же? первое, что все почувствовали, было несоответствие, малость действительной радости с ожидаемой, потом заболел живот. После этого говорил с Метерлинком, что у счастья руки длиннее, чем у горя. Тут вопрос в том, чего достигают: если жареного гуся или пельменей — одно: в этом счастьи комедия, если же ожидают, например, весны, чтобы поню-

[1] Жизнь! *(лат.)*

хать любимый цветок, и когда его нюхают наконец, не бывает удовлетворения, насыщения, напротив, охватывает новое волнение от непонятности мелькнувшего в запахе цветка видения, и с оборванным цветком в руке идет человек, время от времени возвращается к нему, собирается всем существом — еще раз припасть к нему и разгадать, объяснить, объявить всем непонятное чудесно-мелькнувшее, и нет его! в сорванном цветке уже какой-то вынюханный, чисто травяной запах. Приходит новая весна, новое ожидание, и опять: оно мелькнуло, и нет его. Радость и горе. Тут какая-то небесная радость, но и в гусе жареном есть своя земная радость, и тут показывается на мгновенье...

Есть счастье и счастье, и есть горе и горе. Тут смешение, и мы часто называем счастьем то, что есть горе, и наоборот, горе называем счастьем. Недостижимость (не есть ли это название движения) одинакова в горе и радости, только в горе недостижимость первого рода (как бы физическая), а в радости второго рода (душевная). Горе происходит от заграждения к движению (недостижимости), оно есть остановленное движение.

Брат на брата. Прохорка на брата своего Митрошку пришел говорить: «Что вы с него берете тысячу, с него можно семь тысяч взять!» Вот уже сбывается, что при конце века брат на брата восстанет.

Мясоед. Ласковая старушка почувствовала большое уважение к ученому лектору и спросила его после лекции: «Скажи, батюшка, велик ли в этом году мясоед?» Спросила, когда уже все мясо в уезде было съедено, все гуси, куры порезаны и ни на одном дворе не было съедобной овцы. Лектор очень смутился вопросом: слово «мясоед» ему было с детства известно хорошо как звук, так известно, что никогда не приходилось задуматься и определить его значение, и «мясоед» выходил у него похожим на «муравьед». С одной стороны, он был таким невидным и выпуклым, как муравьед, а с другой стороны, он совершенно не мог постигнуть, откуда он начинается и где кончается.

А когда спохватился и сознал, что мясоед не животное, а время между Рождеством и Масленицей, и что в это время простые люди едят мясо, то сейчас же подумал: «Ведь все мясо съедено, зачем же это нужно?» «Не знаю, — ответил он старушке, — в этом году не вышел Краткий календарь».

Спросили коммуниста, какая у крестьянина нашего душа — не та душа, что в словах, тьма, в словах нет души, а та, что в молчании. «Какая душа, — он ответил, — душа буржуазная».

Оба совершенны в отношениях к людям, кажется, искренни до конца, душевны. Но все их совершенства есть приспособление, внутри же тайна. Чем больше они стремятся расплавить свою тайну, тем глубже она прячется. И «слиться» для них невозможно, «душа в душу» невозможно... при всей видимости совершенного семейного счастья, при задушевности бесед — «Вечный муж» Достоевского, Ремизов, Розанов — Горький, Шаляпин.

Легенды: 1) «Контрибуция» собирается для побега большевиков, 2) Ленин теперь отступился от коммуны, он за учредительное собрание, а это все жид Троцкий.

Старуха Павлиха готовится к «холодной», порезала кур, сварила: лапшу будем есть в Крещенье все, а кур в запас на время сиденья. Сидят, рассказывают, в амбарах, а потом с воспалением легких их переводят в больницу.

Жизнь по приказу. И все-таки при общем стоне идея коммуны у мужиков не встречает другой уничтожающей идеи. Когда слышится голос против: «Какая же это жизнь — по приказу?!», то его встречает другой: «Ну, а когда мы жили не по приказу?»

Говорят, что беднейшее (анархическое) крестьянство против коммуны.

Когда мы говорим, что идеал недостижим, мы этим хотим сказать: «Мы смертны, мы ограничены материально

и не можем слиться с общим вечным движением». Счастье и неудача, радость и горе одинаково могут останавливать, заграждать наше движение и тоже могут и открывать. Наш путь то откроется при небесах, покрытых светлыми облачками-барашками, то закроется все небо тяжелыми тучами. Наше настроение бывает то радостное, то мрачное, а путь и там, и тут все одинаковый. Сильному горенеудача открывает новую силу, слабому горе-неудача погибель. А счастье-радость губит сильного и служит слабому. Радость в конце концов дается несчастному, и через это он становится счастливым.

Вот после этого и говори, что «у счастья руки длиннее».

Радость. Свет незримый совершенной радости ожидает и счастливого и несчастного одинаково, если свет земли — счастье — не ослепило счастливого и тьма горя не закрыла путь несчастному.

Путь в лощине. Можно представить себе человека радостным и счастливым и во время такой «страсти», как нынешняя, и даже плывущим на бревне разбитого судна. Спросят, как же это можно так быть радостным и счастливым, когда все вокруг гибнут. «Друзья мои, — отвечаю, — да я уже в этом вашем горе-несчастье был, а может быть, я такой, как вы, давно погиб: я живу не вашим горем-радостью, а тем светом, который увидел я, погибая, светом, незримым для вас, в долинах, закрытых горами, в горах, закрытых туманами, в граде, глазам вашим невидимом.

И вот вы меня теперь спрашиваете: «Укажи нам этот путь, если правда ты видел нечто для нас закрытое». Отвечаю вам: «Несчастные, сейчас все вокруг закрыто туманами, я знаю, что там, но указать вам не могу».

«Не можешь! — кричите вы, — уходи, зачем ты тут, с нами?» — «По несчастью, — отвечаю, — по несчастью с вами, и уйти от вас никуда не могу и не хочу. Я иду с вами вместе по этой темной лощине, и мне с вами вместе идти и, может быть, погибнуть, но я знаю, что вот за горою свет, а вы не хотите знать».— «Что, — отвечаете, — нам до этого света, если здесь, в этой лощине, всех нас как скоти-

ну порежут прасолы». И выйдет один из вашей толпы человек Отчаянный и скажет: «Хорошо так говорить, что тебе дано было свет повидать, что ты набиваешься к нам с твоим светом. Хочешь за нами идти — иди и молчи, будь как мы: слова тебе к нам нет...»

И шли мы молча лощиной, темным днем и ночью, шли голодные... И стало так, что кого-то из нас съесть бы надо: съедим, может быть, кого-нибудь и дойдем, нет, и нас нет. Тогда вышел Отчаянный и взглянул на меня «Вот, — сказал он, — человек, видевший свет, он видел, а мы не видели, съедим его». И они ели тело мое и пили кровь мою. Радостно отдал я им все и радостно слился с Отцом своим в светлых далеких и открытых горах, а они все шли и шли по темной лощине, поедая друг друга, кровавя уста свои человеческим мясом...

Был юноша среди них, прекрасный лицом, и они положили на утро зарезать его. Я пришел к нему, когда все спали... и был с ним до конца, и наутро стал со мной навсегда.

Из Метерлинка: «То же самое можно сказать о печалях всего человечества. Они проходят путь, подобный пути наших личных печалей, но путь этот длиннее и вернее и должен привести к родине, которую узнают лишь последние из живущих». (Сокровище смиренных. Звезда.)

«Человек всегда свой властелин. Во времена греков он считался гораздо слабее, и на вершинах царила судьба. Но она была неприступна, и никто не смел вопрошать ее. Теперь же ей предлагают вопросы, и, быть может, в этом великий признак, отличающий новый театр».

«Чувство любви, оставшееся последним убежищем для того, кто слишком болезненно ощущал [дело] жизни... Но теперь нам показалось, что мы любим не для себя самих. Нам показалось, что...

Трагедия каждого дня у С. П. Василиса, ускользающий учет, то муку, то керосин продает, то исчезает до вечера.

Очередь: вши сыпного тифа переползающие. Протекция — вне очереди. Расспросы на улице где, что. Глубже и глубже гвоздь, что муж на собраниях. Детские дела: де-

тский эгоизм. Хлопоты по дому: печь, угольки и паутинки. Оказание трагедии. Забыли именины Алика. Муж: — Как ты это могла забыть. — Жена: — А ты всех нас забыл, ты только помнишь эти твои собрания. — Да, я помню свое, а ты свое не помнишь. — Свое? А разве дети тебе не свои? — Тебе это ближе. — Нет, я хочу, чтобы одинаково. — Он: — И я хочу, чтобы мое дело с тобой было одинаково, да вот... — Что вот? — Вот я не встречаю с твоей стороны интереса к своему делу. Я прихожу домой, ты уже хочешь спать. — Я рано встаю, а ты спишь до 12-ти. — Да, я ложусь только к утру. — В чем же дело, о чем наш спор? — Мы начали с Алика, что ты забыла день его именин, а я считаю, виновата ты. — Может быть, почему это тебя так сильно волнует? — Потому что? мне кажется, мать никогда не может этого забыть: это основание. Мне кажется, у нас основание затронуто. — Я думаю, больше: у нас не было никогда основания. — Как? — Вспомни, когда мы жили в Петербурге: ведь все 9 лет я тебя не видала, ты приходил ночью, когда я спала, я вставала рано, шла за провизией, а ты уходил без меня. — Но почему ты сказала мне только теперь? Почему ты сразу теперь это все вспомнила и обобщила. — Потому что забыла именины Алика: то забыла, а это вспомнила — что у нас никогда не было основания.

Вторая сцена более сильная — потеря обручального кольца. И так все нарастает и нарастает.

В самой <*зачеркнуто*: христианской> любви мы подчиняемся неизменным приказаниям толпы. Нам показалось, что мы живем на тысячу веков от себя самих, когда выберем нашу возлюбленную, и что первый подходящий жених есть не что иное, как печать, которую тысячи рук молящихся о рождении налагают на уста избранной им матери.

Несчастье всего нашего существования в том, что мы живем в стороне от нашей души и что мы боимся малейших ее движений.

Нужно, чтобы каждый человек нашел для себя лично возможность жить жизнью высшей среди скромной и неизбежной действительности каждого дня.

Для того чтобы душа наша стала мудрой и глубокой, подобно ангельской, недостаточно мельком взглянуть на вселенную в тени смерти или вечности, в свете радости или в пламени красоты и любви. Такие минуты бывают в жизни каждого человека и оставляют его с пригоршней бесполезного пепла. Недостаточно случая — необходима привычка.

Гораздо важнее увидеть жизнь, чем изменить ее, потому что она сама изменяется с того мгновенья, как мы ее увидали.

Можно быть ни добрым, ни прекрасным, ни благородным среди величайших жертв, и у сестры милосердия, умирающей у изголовья тифозного больного, может быть мстительная, мелкая и жалкая душа. И может быть достаточно, чтобы несколько мудрецов знали, как нужно поступать для того, чтобы все люди поступали так, [как] если бы и они знали всю истину.

Можно сказать, что единственная [тайна] нашей души — это красота.

***19 Января.*** Крещенье. Нет-нет и выскочит, и все чаще, у крестьян о весне:

— Вот пока за дорогу, а растопчется, тогда...

И свету прибавилось больше часу, перевалила зима на вторую половину.

***20 Января.*** Бывало, пишешь рассказы и себя чувствуешь существующим для переноса жизни в какое-то зеркало Светлой Европы, светила мира, а типографии, издатели, критики литературного общества, кружки и т. д. — все это помощники мои. Теперь все связи разорваны, а та связь, высшая, еще не найдена.

Мужицкий митинг по вопросу международного положения Советской России, косматые головы, бороды, облака махорки — задуха, галдеж, и вдруг протягивается рука с письмом... тысяча верст, нет, сотни тысяч верст! Люблю этих дикарей, и тут какая-то связь:

о н а и эти дикари, все равно, как в детстве Катя Лагутина и американские тигры, дикари и прерии.

Доклад о войне и смысл доклада: союзники могут двинуть на нас войной только летом, а до тех пор нужно овладеть Доном, Украиной, Сибирью и добыть хлеба. Решительные дни.

Щель между прошлым и будущим — вот наше настоящее.

Настоящее как узкая щель между прошлым и будущим, настоящее — голод, болезни, прошлое — невозможность, будущее — счастье коммуны:

— Мы пустим тракторы, пустим фабрики, мы преобразим землю.

Возражение неверующих:

— У нас сейчас нет ничего, все создается постепенно, как же мы из ничего сделаем паровые плуги? Мы сейчас берем готовое, созданное прошлым, и в то же время отрицаем прошлое, а нового ничего не создаем.

Голос «трудовика»:

— Как же, из ничего сделаем, как от ничего перейдем ко всему, так перейдем пропасть настоящего.

Амбар холодный и амбар общий.

Начало при Керенском: речь Владыкина про общий амбар.

Конец при Ленине: холодный амбар.

Этапы земледельца-хуторянина: разорение, холодные амбары, воспаление легких, лазарет и земля.

Доски на театр и на гробы. После доклада оратор приглашает высказаться, и вот гул со всех сторон: «Хлеба нет, керосина нет, соли нет! Сажают в холодный амбар. Амбар! Амбар!..»

Председатель культурно-просветительного кружка приехал реквизировать доски для устройства подмостков в театры. «Не дадим, не дадим! — кричат. — Они определены на гроба». Спор... Со всех сторон вздохи тех, кому нужны гробы: «Ну и жизнь, вот так жизнь, помрешь, и не похоронят, зароют как собаку!»

Не к шубе рукава. После речи о счастье будущего в коммуне крики толпы:

— Хлеба, сала, закона!

И возражение оратора:

— Товарищи, это не к шубе рукава! Товарищи, все мы дети кособоких лачуг, все мы соединимся.

— Соли, керосину, долой холодный амбар!

— Товарищи, все это не к шубе рукава!

Фомкин брат.

Власть — это стальная проволока, провод необходимости, из оборванного провода необходимости вылетают искры свободы, дикий свет этих искр зловещим пламенем осветил тьму, и так будет, пока ток не будет заключен.

Тогда вышел какой-то разноглазый Фомкин брат и начал с своей «точки зрения»: он дикий анархист, ворует лес, разрушает усадьбы — «змеиные гнезда», и что ему надо жить — аргумент против коммуны. Эта чернь косоглазая преступная уже отмахнулась от коммуны, и ей... Что они, анархисты? — Монархисты. Их существование как подтверждение монархии, их может удовлетворить только бесспорная власть, которая насядет так, что и пикнуть невозможно, они оборванные концы провода необходимости (власти) с вылетающими искрами свободы, дикий свет этих искр освещает тьму, пока ток не будет замкнут и сила заключенная не двинет винт фабрики, поезда, машины.

Тут собрались и шалыган, и маленький человек (трудовик), которые всю жизнь собираются, и без надежды не может жить и буржуй.

Три класса: шалыган, маленький человек, буржуй — все против коммуны.

Начало рассказа:

— Вот теперь стало ясно, что солдат для того существует, чтобы его убили и чтобы он убил, и больше в солдатах нет ничего, а раньше я служил солдатом и был ефрейтором и фельдфебелем и ничего такого не думал, служил и служил...

— Город Талим. Читал я в какой-то книге, а может быть, это мне снилось, будто вот где теперь станция Талицы, раньше был город Талим, в том городе были стены и башни, через эту местность проходило множество всяких народов, захватывали город попеременно, и под стенами города кости скоплялись разных народов — вот это, значит, родина, и что вот в Талицах теперь человек живет — это называется русский человек, и все вместе — русский народ, и место это моя родина, мое отечество, — как вы думаете, это моя родина и отечество, и этот народ мой, и город мой, и место — все это есть ценность? — Почему бы ценность? —Никакой ценности, нет родины, нет отечества, нет русского человека. А между прочим, я жалею родину и русского человека, ну что это значит?

Так что у нас теперь нету фабрик, ситца, калош, сапогов нету, ничего нету, и продуктов земли даже: хлеба и соли, у нас только одна земля. И то же самое про человека, что нет у нас закона, религии, семейности, нет человека, и один только косоглазый Фомкин брат. Так что родни нет и нет родного человека: земля, и на земле живет Фомкин брат?! Так что национальность погибла, и, говорят, по всему земному шару все националисты погибнут, и у немцев тоже будет все равно как у нас Фомкин брат, и у французов, у англичан, у японцев — везде голая земля и Фомкин брат, и все тогда под одного Бога.

Ну, один Бог для всех — это, я считаю, правильно, это все совершенство, все равно как паровой плуг и подобное несовершенство, как наша соха. И позвольте мне вам сказать и спросить вас: ежели говорят мне, что брось соху, и мы тебе дадим паровой плуг, то как я поверю без видимости плуга, как мне бросить и остаться ни с чем, а только с одним обещанием, выходит какая-то щель... То же самое и про старенького нашего православного Бога, я оставлю его, а общего Бога не окажется — одно только обещание, ведь это тоже щель. «Коммуния, — кричат, — коммуния», — хорошее дело, слов нет, хорошее, а поди перешагни к ней через щель! Вы посмотрите не на слова, а на жизнь, какая у нас жизнь: были у нас тряпичники, ездит такой человек по деревням, собирает где тряпку, где кость, где

жестянку, и так год, два, десять, через двадцать лет до того приладился, что склад устроил в Ельце и сам не ездит, а сотни других для его дела ездят, и в конце концов из тряпок этих выходит бумага. Теперь человек этот буржуй, разорен, сидит в холодном амбаре, а тряпок никто не собирает. Бывало, человек сортир чистит, смотришь на него — мнет ситник, сыт и весел, а теперь этот же самый человек, ведь они теперь все те же самые люди, стоит чистит нужник, ситника ему теперь нет, а нужник остался, ну вот, подите, скажите ему, что скоро будет на земле коммуния и все люди пойдут под общего Бога.

— После всего сказанного вами что же вы ожидаете от переворота?

— Мало ли что, ведь это я свои соображения высказываю, а бывает, не сходится.

Я ужаснулся пропасти неверия, в которой жил этот человек, и сказал ему:

— Вы поймите, как это наше бедное мгновение выйдет в общем плане: накануне войны народы Европы были как в деревне братья: когда умирает отец, они уже готовы погрызться из-за дележки. Старый Бог умирал, нового не было, и лучшие люди бродили странниками среди богатств великих, мертвых, не смея назвать им нового Бога. Умер Отец, начались дележи — война и потом ответ на войну — революция, социализм. Они, социалисты, не любят называть Бога, потому что из-за ошибки в этом Божьем плане они и появились, как появляется ураган, то есть движение воздуха. Мы видим в социализме только движение материальных частиц, они засыпают нас, как пепел из огнедышащей горы. Настанет время, установится равновесие, и мы тогда поймем, из-за чего и для чего дул ураган...

— Все это очень хорошо, — сказал Иван Афанасьевич, — только разрушается одним словом, я вам скажу его, вот это слово.

Откачнулся, просмотрел меня сквозным взглядом и сказал свое слово:

— Амбар!

Чему-то обрадовался и продолжал:

— Холодный амбар! Сейчас вы так говорите, потому что ученый вы человек и у вас есть досуг подумать о жизни общей народов прошедших, при отдыхе подыскать связь и об ней написать, но если вас вдруг в холодный амбар? Я вот огородник, вывожу капустную рассаду, и ежели меня в амбар, я перестану выводить. Так и вы перестанете свою связь выводить, ежели вас в холодную.

— Мое дело не пропадет!

— Конечно, не пропадет, после вас кто-нибудь другой, такой же летун прицепится к вам и установит связь, но ведь на одно то мгновенье был, значит, перерыв, когда вас посадили замерзать и вы от холода перестали думать и наводить связь? Жизнь в настоящее время, я так думаю, есть холодный амбар для всего человечества.

— Спасение в спасении от холодного амбара, — сказал я, — вам известно. Христос переходил через смерть свою и «смертию смерть поправ», — вы это признаете?

— Я сознаю это, конечно, это учение хорошее, потому больше, что жизнь-то наша убитая, и для этого нашего человека оно создает будущее: тот свет. Я против этого ничего сказать не могу...

— Зачем же тогда холодный амбар?

— Необходимость! раз я огородник, и душевой земли нет у меня, и равенства с прочими крестьянами нет, потому как я с утра до вечера копаю землю и только что шесть раз огород перекопал лопатой и продал капусту, а они рассчитали неверно мой доход, и контрибуцию в пять тысяч не могу уплатить, что необходимо попадаю в амбар, и огородное мое дело прекращается, именно на мне оно и кончается, я — конец, и тут щель. После чего все человечество будет копать огород уже не лопатой, а паровым плугом: один будет пахать, а девяносто девять заниматься чтением книг, полезных для установления общей связи во всем человечестве, одна баба полоть паровым способом, а девяносто девять заниматься с детьми.

Лидия — сохраненная девичья душа.

***21 Января.*** Радость. Откуда мне это? мать ли, не отдавшая отцу моему свое девичье лучшее, не ведавшая сама того, неизведанное и сохраненное богатство свое нетленное передала мне, сам ли я, не молясь, намолил себе у неведомого Бога эту тихую минутку утреннюю, когда еще не сошла с неба звезда и птицы спят на деревьях и люди в своих лачугах, — в эту минуту, похожую на утреннюю звезду, я испытываю радость необъяснимую. Тогда мне кажется, я в каком-то равном союзе и со звездой, и с этим бледнеющим месяцем, и со спящими на деревьях птицами. Все тогда радует меня: и громыхание где-то далекое единственной телеги или скрипение полоза саней, и внезапный лай проснувшейся собаки, и кот на крыше, и свет голубой на снегу — все, я со всеми, со всей землей, со всеми мирами, со всей вселенной радуюсь.

Может быть, это солнце восходит, и погребенный под снегом, сохраняемый матерью-землей корень и в корне будущий цветок предчувствует свое весеннее воскресение и передает мне радость свою?

В эту минуту, когда кажется мне — я один как первый признак восходящего солнца существую, ничто человеческое не может погасить мою радость.

Может быть, я не выйду и останусь у постели своего больного ребенка, или с воткнутым в душу со вчерашнего дня словом-кинжалом лиходея в судорогах корчусь у себя в комнате, или так, от разного павший, разбитый, растрепанный лежу на постели — все равно: это совсем другое, и я это заслужил, я в этом виноват. Но когда я потом рано или поздно встречу свою утреннюю звезду, я пойму, что и тогда она была, а я не был, и это мое небытие не считается во вселенной, и некому, и незачем, и не нужно говорить про то, потому что это совершенно и вечно — великое. Я знаю также, что если бы можно было обойти крест и заглянуть в лицо Распятому, Он улыбнулся бы, как мы в смертельных болезнях все-таки улыбаемся маленькому, что прикованный к скале Кавказа и терзаемый орлом Прометей непременно бы моргнул и подмигнул и, может быть, сказал бы как-нибудь по-мужицки: «Во-на́! вольте, ребятушки, не глядите!»

В эту минуту спит, улыбаясь, дитя, и солнце восходит.

Нет, не потому, что я, избранник и особенный, говорю, что я — Я! и ты, и все, и всякий это знает... чувствует, и с ним бывает это, и совершается в нем постоянно, нет, это не я, это мы все, но я как богомолы в степи при наступлении весны взбираюсь по сухому стебельку как можно выше и своей лапкой указываю, как богомол указывает, страннику путь. Весной даже мышь взбирается куда-то повыше на воз и оттуда пищит; кто выше забрался, тот и весть подает всем спящим, и спящие мало-помалу просыпаются.

У вас больной зуб, вы хватаете комок земли и бросаете его в сиреневый куст, чтобы прогнать соловья — он перелетает на другой куст и оттуда поет. Вы слышите, он поет, пострадаете немного, это пройдет, зубы успокоются, вы улыбнетесь себе, когда вспомните, как в соловьиный куст бросались землей.

М о л е н и е. Молюсь об одном, прошу об одном, чтобы избавиться от намеренного страдания, внушаемого людям людьми, в живых мертвыми.

Молюсь, чтобы миновало меня случайное страдание — зубная боль, живота, разорение, кражи, разбой: чтобы все это снести и найти в себе силу улыбнуться.

Молюсь и прошу избавить меня силой души моей...

И прошу, чтобы прошла мимо меня чаша необходимого страдания.

Но если это необходимо, Господи, я Тебе предаюсь и знаю, что ты рано или поздно покажешь мне и в страдании свою защиту утреннюю.

Есть существо?

Есть!

Конечно, Богу молись, а не шахтеру — шахтер человек маленький.

Есть Существо!

Председатель Потребилки Бирюлькин сказал:

— К о м м у н и с т должен быть п р а в и л ь н ы й ч е л о в е к, не картежник, не пьяница, не вор, не хулиган, не шахтер, не разбойник, не обормот, коммунист должен быть правильный человек и средний крестьянин, чтобы

он корнями держался твердо за землю. Ну как-нибудь Господь поможет, есть же такое Существо, есть! Вот со мной было: рубил я дрова, насадил глаз на дерни́к — свет пропал. Иду к бабе, говорят, баба у нас одна языком болезнь достает. Иду по полям, остановился, молюсь: «Матерь Божья, Скоропослушница, помоги мне!» Вдруг эта баба мне навстречу, тронула, полизала бровь и всю боль согнала. Нет, что ни говорите: есть Существо!

В собрании крестьянском был гул, русские говорили про разное, и ничего разобрать нельзя было, только из гомона долетело до меня, слово это было: «Каин».

Я пришел к ним и сказал:

— Вот бы хорошо было поговорить теперь, почему Каин убил Авеля.

Тогда вдруг все стихло, и на вопрос мой никто ничего не ответил, и потом стали между собой шушукаться, и все собрание, словно вода из ручья, убежало куда-то далеко...

После я спросил знакомого крестьянина о причине этого.

— Причина этому, — ответил он, — что среди собрания был убивец.

(Я встретился с ним глазами, видел его на горе.)

***22 Января.*** Иван Афанасьевич, с которым я так много беседовал с глазу на глаз, вдруг накинулся на меня при людях, бранил Льва Толстого, которого никогда не читал, и всех ученых людей, которые погубили Россию... Брехал он без толку, без смысла. Мужик, заговоривший на людях, как пьяный, что у него на уме, то теперь на языке, и лишь бы переговорить, лишь бы перекричать.

Я ему сказал из глубины души, что он ни во что не верит, и если бы не страх, то он и Христа бы изругал, что он не знает, не верит и в Христа. В ответ он расстегнул рубашку и показал мне свой медный крест.

Коммунист Алексей Спиридонович расхохотался...

Корень чертополоха. Этот Иван Афанасьевич похож на корень чертополоха, его возражения против коммуны те же самые, как у черносотенцев против ученых, — тут пессимизм, сознание безвыходности человеческого рода,

безликости человечества, бессилия личности. А коммунисты против этого, пика против пики: у тех человек безгранично свободен...

Печаль моя — только печаль свою безмолвную могу я дать, вот почему: свобода, как и любовь — это тихие гости, нельзя кричать о них, нельзя их как принципы вводить в систему государства, как нельзя сохранить цветок, вынося его на мороз...

Погибнет всякий цвет на морозе... и я думаю, что ваш Мороз, губящий цветы, с печалью губит их и с возмущением на того, кто выносит цветы на мороз.

Так черносотенец Иван Афанасьевич сказал мне в ответ на всю мою песнь о свободе и свободных людях Прометее, Христе:

— Одно слово все разбивает.

— Какое слово?

— Амбар!

Представителя свободы коммуниста Алексея Спиридоновича я спросил:

— Как вы можете, вы, люди, вынесшие цветы из дома и уверяющие, что цветы могут жить на морозе, как вы можете сажать людей в холодный амбар?

— Это необходимость, — ответил он, — и вы, и всякий посадит, если ему нужно будет собрать с наших крестьян чрезвычайный налог. Сами виноваты плательщики: он приходит, плачет, на коленки становится, уверяя, что у него нет ничего. Его сажают в холодный амбар, и через час он кричит из амбара: «Выпускайте, я заплачу!» Раз, два — и пошла практика, и так повсеместно во всей Советской России начался холодный амбар. И вы сделаете то же самое, если встанете перед государственной задачей собрать чрезвычайный налог.

Долго слушал нас человек мрачного вида, занимающийся воровством дров в казенном лесу, и сказал:

— Я против коммуны, я хочу жить на свободе, а не то что: я сплю, а он мне: «Товарищ, вставай на работу!»

Сказал Бирюлькин:

— Когда я свободен был: при старом режиме день весь из холода не выходишь, ночью в лес в ночное стеречь лошадей, кто мне приказывал — сам я себе? да разве я по своей воле стал бы в холод лезть или в лес махнуть ночью? все равно и тогда не было воли, и все равно теперь в коммуне: значит, зачем же сопротивляться?

Нигде так учительницы не работают, как у нас, и в то же время нигде нет в школе такого бесчинства. Вот факты.

Во время урока не раз учительнице в лицо попадала шапка. Не раз учительницу в ее комнате запирали на ключ. Раз полено попало в ногу учительнице, и она упала, а на другой день на литературном вечере декламировала стихи Никитина. Последнее событие: мальчишки выбили окно учительнице и наложили между стеклами говна.

Сопротивление отцов.

Все эти действия не что иное, как <*зачеркнуто:* отражение> оказание настроения отцов против коммуны. Необходим холодный амбар для детей...

Как только получил человек власть, с ним уже нельзя познакомиться, как с человеком, расспросить о его жизни, которую раньше он так охотно рассказывал. Теперь больше для этого у него времени нет: он занят и существует только в поступках.

Матрос Лукин любил рассказывать про себя, как он в Маркса поверил. Я вижу по этому рассказу в море корабль, вот все матросы у работ, одного нет: он спрятался возле каната, свергнутого кольцом, и там читает «Капитал» Маркса, и ему по вере его в Маркса раскрывается для всего мира блаженная жизнь. Мрачные мысли ученого еврея про экономическую необходимость молодой русский матрос преображает в полную свободу личности. Теперь матрос Лукин состоит комиссаром по земледелию, ему теперь некогда рассказать про себя и вспомнить легенду о жизни, созданную им в минуту свободы внутри каната, украденную им из необходимости двигать корабль. Нет больше легенды, он властвует.

— Дави кулаков! Посадить в амбар! — кричит он на каждом шагу.

***24 Января.*** Все что-то везде мешает, и не как раньше, а совершенно мешает, так что и времени никак не найдешь быть самому с собой: то забота о продовольствии, то дети.

Вероятно, это потому, что жизнь сама по себе рассыпалась (жизнь внешняя) и обыкновенные условия для работы исчезли, эти условия стали в идеал неосуществимый. Вероятно, нужно привыкать жить на ходу, пользуясь мгновеньем ясности духа, считая это мгновенье за все, что может теперь дать жизнь.

***28 Января.*** Смерть старухи — лежит неподвижная, чулки снимают — деньги. Торгуются. Исчезновение ее быта: домик штукатурится.

Семья Истоминых у чугунки, среди замерзших комнат (холод страшнее голода).

***29 Января.*** Помещица Красовская, вся истерзанная, голодная, с озлобленным лицом явилась в деревню, откуда ее выгнали, и мужики ее не то что накормили, а завалили пищей, и теперь уже, несмотря на все прежние распоряжения о выселении помещицы, — поселили ее в своей деревне.

Вчера получена бумага, что Коля 19 Января в Тамбовской губернии в советской больнице умер. Мне сказал об этом Лева, и первое, что промелькнуло у меня в голове: «Да ведь он давно умер». Это не потому промелькнуло, что он был «живой труп» (нет, он был живой еще человек), а время такое, что к смерти близких мы уже приготовились.

Лидия сказала: «Вот послушался советчиков, оставил меня, не нужно было меня оставлять»...

По поводу Колиной смерти. Все вопросы. Мой брат был русский человек, очень мало делал, но зато думал о всех, со мною делился своими мыслями, по-

стоянно записывая их иногда под числом проходящего года и числа месяца, в порядке времени они были единственной связью стыдливых дум этого застенчивого человека. Теперь он заболел в поезде, занесенном метелью, и умер одинокий в чужом городе в губернской больнице, вероятно, сделал последнюю напрасную попытку мыслью своей установить какую-нибудь связь в пережитом.

Правда, не было никакой связи в тех мыслях, которые передавал он мне и записывал на бумаге, но теперь, когда он умер, я вдруг понял связь между мной и им, мы были родные и оставались родными до конца — мы любили друг друга, это было нашей связью, и я понял, что мысли, которые чередовались, казалось, бессвязно, внутренно связаны той же самой родственной любовью ко всему живущему.

Как вспомнишь всё — все вопросы жизни прошли у нас в разговорах во время работ наших в саду, в поле, когда мы вечером на закате солнца сидели на лавочке, слушая птиц, или выстругивая в амбаре лыжи для зимней охоты, или зимой, возвращаясь домой с убитыми зайцами.

Забулькало на воде — болтовня любящей пары; как скучно слушать постороннему все, что они говорят... между тем сами они говорят в согласии с игрой зыбушки, и вот гусь этот нырнувший отряхает воду с крыльев — у них похож на мальчика.

С в е т л ы й  ч е л о в е к. Я помню однажды, когда нам было плохо, брат мой сказал:

— Все омерзительно вокруг, верить никому нельзя, и жизнь свою нечем вспомнить, но почему же, откуда эта вера, какое-то смутное чаяние, что есть где-то или явится когда-то светлый человек...

С к а л а  б л о х. Власть — это скала блох... Кто-то из умных сказал, что если бы у человека были на ногах мускулы, в соответствии с тяжестью тела его столь же сильные, как у блохи, то человек мог бы прыгать через Альпы. Власть — это Альпы нашей жизни, и человек, прыгая че-

рез них, воображает, что у него ноги такие же сильные, как у блохи.

Зима. Светлеет, голубеют снега. Солнце правильным крестом восходит над снежной пустыней, а по сторонам два радужных столба...

Крещенские морозы эти запоздали немного, и среди дня их побеждает солнце. Сверкает... Ветер в тыл, не слышно ветра, и только скоробегущая метелица-поземок курит-дымит. На всем пространстве от неба-солнца до земли, не доходя до земли на собаку, ясно — ярко-светло, а где метет, курится, в этом снежном мареве волки бегут и то исчезнут в куреве, то покажут огромные уши...

Переход от осени к зиме: стала река в великой славе...

Земля моя родная! трава была тут высокая, где мы с головой скрывались в детстве, — нет травы! снег. Дом стоял наш тут — нет дома, сосед жил — нет ничего: снег, пустыня, крестом восходит солнце с двумя радужными столбами по сторонам.

Мы чаяли, что за все наши страдания отвяжется ненужный крест и упадет с шеи в цветы, и цвет жизни станет вместо креста; вот все замерзло, и даже само солнце, рождающее цветы, стало крестоподобной серой равниной.

Юродивая помещица: «Ветер, ветер — чего ты дуешь? Кто это дует — черт это дует или Бог это дует? Ветер, ветер! Черт дует? Ну, черт с тобой. Только, праведный Господь, ты что это смотришь! А если это Бог дует. О, Боже, Боже, зачем ты губишь нас».

Холод хуже голода... Мне кто-то мешает, меня кто-то вяжет, студит, чужой, совершенно посторонний вошел в мою интимнейшую жизнь и не дает мне думать, не дает мне писать и любить вечно любимое. Холод-злодей стал мне на пути.

Гремит лед: самовар насыпают. В тулупе — пишу.

Встаешь угретый и как вор — сырой.

Я бы знал, как бороться с тобой, враг мой, да лыжи мои украли, а ружье реквизировали.

Еще не устали пустыми словами наполнять воздух о коммуне, а в душе уже каждый человек узнал, что теперь он зверь, а раньше жил коммуной, и это, казалось, такое ужасное существование монархического государства Российского было коммуной, только мы не знали об этом.

Так мы не знаем, владея клочком земли, что земля эта наша общая земля, и момент бытия нашего на ней считаем вечностью (что собственность есть момент бытия нашего, принятый за вечность).

В тишине души своей каждый понял, что мы и раньше жили в коммуне, только расчет свой вели на себя...

Поняли, что, спасаясь от голода и холода, теперь мы живем все для себя, а расчет свой ведем на коммуну. Что расчет наш не больше как запись в конторскую книгу, и что теперь бухгалтер объявил себя творцом жизни.

«Да вы покажите нам на деле!» — вопили мужики.

Мужики проверяли общественного человека так: до точности — если, например, коммунист, называя себя коммунистом, ошибается в делах своих на волосок, то они говорили: «Какой же ты коммунист?» Тут чуть сфальшивил — и все пропало. Проверка шла по словам в делах. «Делами, делами оправдайте слова!» Они брались за дела, и все говорили: «Вот так дела!»

Привык русский человек молиться Богу в далеком монастыре, а свой близкий монастырь... да кто же не знает у нас, что в близких монастырях Бог не живет.

Как во время самодержавия говорили, что не царь виноват, а чиновники, так теперь не коммуну винят и Ленина, а тех, кто служит коммуне.

Свои чиновники оказались куда горше царских — лезли к власти, как мухи на мед, воры, всякие неудачники, обиженные на учителя, выгнавшего их из гимназии, сознательные воры-убийцы и самолюбивые гении, выгнанные из 3-го класса городского училища.

Все, кто прыгал через блошиную гору, падали в грязь, и все видели грязь и говорили:

— Вот так власть!

Добивались невидимой правды, обвиняли все невидимое и даже то вечно целое, в чем невидимое было как видимое.

Шла проверка всего на живую совесть, и в совести живой гибло все.

***31 Января.*** Вчера молодой коммунист Иван Афанасьевич сказал мне:

— Вы говорите, что эгоизм есть название тюрьмы, в которой находится плененная личность, скажите, как различить эгоизм и сознание личности — это раз, и каким способом освободить личность из плена — это два.

Я ответил ему:

— Личность освобождается от плена любовью к другой личности, и так она узнает (сознает) себя.

Мне рассказали сегодня подноготную о коммунистах, и все предстало так, будто находился в стране лилипутов: видимо, что я сам создаю, желаю того простонародного гения-революционера, которого в действительности нет. И, по-видимому, неправильно делил я их на стоящих у власти и живущих в деревне-оазисе. Нет оазиса безвластия и в деревне: маленькая власть, зависть, крошечное самолюбие опутывает их всех крепкою сетью.

Чувство страха перед физической смертью мудрым человеком переживется, так как его страшит без сравнения больше — смерть духовная. А физическая смерть для такого человека так же далека, как заповеди Моисея для среднего человека нашего времени.

***1 Февраля.*** Оратор говорит народу в холодном помещении о коммуне и будущем счастье народа, а пар из его рта так и валил, как у голодной собаки, лающей холодной ночью на луну. И казалось нам, эти слова его о коммуне тут же валятся из рта и падают белыми кристаллами сне-

га, и весь этот снег нашей зимней пустыни сложился из кристаллов пустых, умерших слов, похоронивших под собою живую жизнь.

Прозелиты, пребывающие в состоянии мелкого распыления самолюбий до тех пор, пока вождь не возьмет их с собой и не укажет место им стрелков на передовых позициях.

Они все жаждут вождя, как земля дождика, и как земля в ожидании влаги пылится и трескается, так и они мельчают в самолюбии и происках власти.

Кто больше: учительница Платонова, которая не вошла в партию и, выдержав борьбу, осталась сама собой, или Надежда Ивановна, которая вошла в партию и своим гуманным влиянием удержала ячейку коммунистов от дикостей?

N., изгнанная из родного угла дворянка, смысл жизни своей видевшая в охранении могилы матери, — возненавидела мужиков (ее дума: тело этих зверо-людей ели вши телесные, а душу ели вши власти). Она живет в голодной погибающей семье и ради маленьких чужих детей идет в свою деревню, измученная, обмерзшая, в истрепанной одежде — нищей приходит в деревню, просит помощи, и мужики заваливают ее ветчиной и пирогами.

План мой на Февраль: до 15-го — две недели — извлечь библиотеку Стаховича, свою, вещи Николая. С 15-го до 1-го — Петровское, Ананьево и пр. плюс 13 дней до наступающего 1-го Марта и потом перебраться в Елец.

Сборы: письмо, телеграмма Сперанскому, пшено Лиде и Шубиным — 20 ф., белье на две недели, грязное — выстирать, шкатулку с документами, главные рукописи с собой.

— Другу не дружи и другому не груби, Богу молись, а черта не задевай! вот какая жизнь, вертись, как на сковородке жареный бес! Ох, жизнь, жизнь, антихрист ей душу выешь.

Как Адам.

— Из ваших красных слов и пралича не получается, а вот что я думаю: собери всю пролетарию, будет ей баба-то строчить, да с удочкой рыбу ловить, а собери их всех, голоштанников, да воз кутузок привези, да обделай их, чтобы они работали как мы, трудовики, как Адам, первый человек.

***2 Февраля.*** Сегодня еду в город, везу Прекрасной Даме пшено.

Кончик всего нашего мотка находится все-таки на ее стороне, и она его с самого начала взяла и держит и почти знает это сама, а я держусь, потому что она держит... (конечно, я говорю про высшее, а так разве можно меня чем-нибудь удержать?).

Сильнее и сильнее выделяется из деревенской массы голос крестьянина-трудовика.

Первый намек на рассвете при полных звездах открытого неба — какая радость! Неужели я забуду когда-нибудь, умирая, эти счастливые минуты и ничего не скажу в защиту жизни...

Что это — сохраненная юность или начало старости? той деревенской, старушечьей старости, когда хоть денечек еще, а хочется пожить (Дедок)...

Изобразить черты ребенка в жизни взрослого.

Сидят мыши, чрезвычайная комиссия и гибель Европы.

***5 Февраля.*** Я думал, что необыкновенный мир открывается мне и все это ново и никогда ни с кем не случалось, а теперь начинаю думать, что это испытывает каждая обыкновенная женщина.

Зинаида Ивановна выхлопотала себе место в больнице на случай сыпного тифа (в больнице все занято, не только лежат, но и сидят на койках...).

Поиски лекарств: доктора дают сразу кучу рецептов — что найдется.

Холод — губитель уюта.

Мороз сломило, мгла наполнила воздух, с бронхитом хуже стало. Несут гроб, поп сопровождает похороны одиноким бормотанием. Разговаривают про то, что хоронят в гробах держаных (на две категории гробы: заразных и простых).

Навстречу гробу солдат несет чучело громадного филина: переносят женскую гимназию в мужскую. Несут карты географические, везут на салазках физический кабинет: смешиваются гимназии.

Мы разговариваем о гибели мощей Тихона Задонского: комиссия открыла гроб, сняла картоны и бинты, а кости рассыпались и стали костяной мукой. На рогожке вынесли на двор монастыря костяную муку и написали: «Вот все, чему вы поклонялись!»

Народ создает легенду, что Тихон ушел, а нечестивым показался костяною мукой...

Вот все, чему мы поклонялись...

Миссия России — показать всему миру рогожку с костяной мукой. Там где-то (в Европе?) есть непобедимые силы житейского строительства, их деятельность будет [сомнительной] при существовании рогожки с костяной мукой. — Ну, а если... (Бутлеров — член чрезвычайной комиссии и гибель Европы.)

Старушка подслушала наше чтение о гибели Тихона Задонского...

***6 Февраля.*** Иван Михайлович спросил:

— Ну, что новенького?

Я ответил о мощах Тихона Задонского, что мощи разобрали и оказалось, нет ничего, череп, кости, тронули — кости рассыпались, костяную пыль высыпали на рогожку, положили возле церкви и написали: «Вот чему вы поклонялись».

Няня сказала:

— Ушел батюшка.

Иван Михайлович:

— Дюже нужно. Я думал, какие новости...
— Какие?
— Насчет внутреннего.
— А это?
— Это внешнее.
— Мощи Тихона Задонского?
— Ну, что ж.
— А внутреннее, какое же еще вам внутреннее?
— Да такое, как жизнь, меняется ли, или какое новое совершенство, или новый край: мы же на краю, а вы говорите: мощи.
— Мы на краю, это верно: вот тиф сыпной губит человека за человеком, вчера за одним столом сидели, а нынче его нет.
— Ну-те!
— А хоронят в гробах держаных: досок не хватает.
— Так!
— Деревянные дома разбирают на топку.
— О, Господи, ну, скажите, дальше-то, дальше-то как?
Няня:
— Ушел, ушел батюшка, скрылся и невидим стал злодеям, показался костью и мукою.
— Куда же скрылся?
— Куда скрылся-то — куда? Тут же, тут батюшка, только невидим стал — Божиим попущением и грех наших ради.

Ивану Михайловичу мощи кажутся так, внешним, неважным в сравнении с грозными днями текущей жизни.

— А вы говорите: исчезновение интереса к литературе, искусству. Да что вы! даже смерть близкого человека разве значит теперь то, что раньше. Даже мощи нашего святого — все это «внешнее» в сравнении с важностью дней текущих.

***7 Февраля.*** Андрей изменил своему отечеству ради прекрасной польки.

***10 Февраля.*** 16-го в Рябинки, 17-го в Петровское, 18 — 1-го марта в Ельце.

*11 Февраля.* Выехал в Секретарку. Ночевка в канцелярии Райкома. Метель.

— Вышел до ветру, сел и конец отморозил, — что теперь старуха скажет, разве она поверит?

За умываньем утром.

— Хотел ехать в Хмелинец, а вот сиди!

— Не так живи, как хочется, а как, ну, как вы скажете: Бог?

— Бога нету!

— А кто же метель посылает?

— Это причина, так сказать...

— Ну, Иисус Христос?

— И все равно Иисус Христос тоже Бог, а не причина.

— А тебя зовут Иван? нет, врешь: причина.

— Говорится, судьба.

— Пустое! дурь наша, а ты говоришь: судьба, поезжай сто человек спасать и твое дело с ними связано, это будет судьба, а ежели я в такую метель кинусь — это моя дурь, и пропадать буду, услышат, никто не поможет, скажет: зачем его в такую метель понесло!

На горе между домами последними в городе просвечивает Скифия, страшная, бескрайняя... Выезжал, закурилось, и все исчезло милое, дорогое, нежное среди вьюги...

О, зачем я выехал в эту Скифию! дорогая моя, если бы можно было вернуться; ты стала мне тут как самое нежное видение...

В канцелярии Райкома часы рококо с кругленькими ангелами на шифоньере Ампир, заваленном газетами «Вестник Бедноты». Возле него на голубом диване с волнистою спинкою, на грязной подушке, накрывшись тулупом, лежит председатель коммунистической ячейки. На лежанке с изразцами спит-храпит бородатый мужик в шапке-маньчжурке, раскоряча колени, и почесывает во сне между ногами.

Секретарь Исполкома принес мне кусок сахара, долго бил его, мял, трепал, наконец отгрыз себе и остальное мне подал:

— Вот вам!

Я спросил его, есть ли тиф у них.

— Много! далеко нечего ходить, у меня в доме все в горячке лежат.

Мягкая мебель собрана из имений Хвостова, Бехтеева, Лопатина, Челищева, Поповки. Великолепные часы с инкрустацией... Барометр ртутный у окна...

Мальчик все спрашивает о зубчатых колесах, нет ли такой книжечки, и вдруг увидел; я сказал, это высшая математика, а он:

— Ничего, я разберусь...

Среди книг, которые записывались механически, вдруг открытка: «Христос воскрес, милая мамочка!»

Шкафы с книгами. Библиотекарь сбежал. Ищут отмычку — долго искали, библиотекарь и ключи увез. Написали бумагу, ответили, что библиотекарь законным порядком подал прошение, получил отставку и уехал. Думали, думали, что делать, и решили в дом перевести Исполком.

Когда разбирались книги:

— Вы не обижайте деревню, а то все для города!

Одни говорят:

— Берите, берите все, спасайте... все пропадет!

Любовь — это свой дом: я дома, зачем мне смотреть куда-то в сторону, я достиг всего, и ничего мне больше не нужно. Мой дом не такой, как у вас, бревенчатый, мой дом воздушный, хрустальный, скрытый в сумраке голубеющего раннего утра... Милый друг мой живет рядом со мною, друг, которому я писал о голубом доме всю свою жизнь, — рядом со мною, мне говорить больше нечего...

Утро: скифы жарят сало на сковородке и, поставив на лежанке, едят с черным хлебом...

— Ешь, Михаил, чего упираешься, не хуевничай в Божьем храме. Освобонитесь, пожалуйста, где бы наша ни была, все народное, мы не считаемся! ешьте, ешьте.

***13 Февраля.*** Двое суток в канцелярии Райкома. Граммофон и за стеной Потанин.

Инвалид на лежанке и пляски молодежи под граммофон: дождался! Совершенно отдельный мир простого народа; как могли жить помещики у вулкана!

Яков Петрович — Заведующий Отделом Народного Образования.

Григорий Иванович — косой, браунинг.

Члены чрезвычкома.

Я читал о тиграх (смерть показалась в образе подобного зверя) — и вошел человек, мертвый взгляд (Потанин).

Под лезгинку:

— Потанин замерзает.

— О?!

— Кряхтит!

В амбаре: портреты, кресты, детские рисунки.

— А где?

— Он умер. Ах, эти? — Сбежали.

Машины Исполкома: тут был и вор, и разбойник, но все не раз шло, как нужно было идти по времени: сторож — вор, мальчик — беженец, воришка при волости.

Итальянские окна, лежанка, два шкафа — на одном тулупы, на другом картины неизвестного художника вверх ногами. Рассказ члена чрезвычкома о правильности всех жестоких мер, исходя из дикости народа...

«Не обижайте нас!» А я: «Вот вам книга о восшествии Николая на престол».

***15 Февраля.*** Страшные будни... Те серые будни, в которых жили так долго люди, будто серые домашние куриные птицы долго-долго высиживали, и вышли из них теперь черные страшные летучие птицы.

Милая! видишь, вон из бурьяна Скифии нашей к нам в город черная птица летит и реет с метелью вместе над нами?

Слышишь, там за стеною юродивая, помещица шепчет:

«Ветер, ветер, чего ты дуешь, кто это дует? Бог дует или черт дует? Черт дует — черт! а Бог? Ты Бог, какой ты Бог!»

Черная птица с железным клювом вот-вот расклюет нас, а мы, прижавшись друг к другу, под защитой соседнего дома смотрим на гору в Черную Слободу, и там, где кончаются дома и начинается поле белое и все курится и крутится там белыми летающими клубами, там, в этой Скифии, под защитой домов читаем волшебную сказку нашей родины...

Я шепчу:

«Ну, дорогая, нам нужно расстаться, думай о мне, как я о тебе, в буране белом ты увидишь меня и услышишь, я тебе расскажу из бурана человеческим голосом про эту страшную Скифию, которую боялись еще так древние люди у теплого синего моря. Вот она опять пролетает, черная птица — с железным клювом, ты узнаешь: это летит древний орел клевать грудь человека. Ну, прощай! вот я уже еду, вокруг меня белые клубы бурана, я не вижу тебя позади, город скрылся, но ты ясно смотришь теперь на меня впереди, и зовешь, и манишь меня к себе, а я еду, еду».

Какая странная природа нашей родины: вокруг меня бежит-движется как ветер в море сыпучая, белая, жесткая, холодная пыль, я вижу только половину лошади из этой белой пыли, пролетающей, убегающей.

А небо ясное, солнце восходит над серой движущейся равниной правильным золотым крестиком, по обеим сторонам его все семь цветов радуги собраны в два столба. Солнечный крест сияет над Скифской равниной, и радужные столбы вокруг него — цвет небесный.

Что это? обещанный весенний расцвет земли, крест процветающий?

Морозная стужа бьет мне прямо в лицо. Скиф, завернутый в овечью шкуру, смотрит в бесконечное пространство, и через его голубые глаза я смотрю и вижу на небе крест, и вижу на небе цветы.

Скиф, указывая на землю тяжелой своей рукавицей, и говорит:

— Вот там волки бегут!

Это волки? там из метели то покажутся, то спрячутся их серебристые спины, то уши мотнут, то скроются.

Волки, волки!

И вот метнулось и скрылось черное крыло пролетевшей птицы, она скрылась в буране...

Я вспомнил тебя, дорогая! не покидай меня!

Сильнее подул морозный ветер, моя лошадь скрылась в буране, а небо ясное, и все еще крест горит вечным огнем, и сияет цвет возле него: крест и цвет Скифии, моей родины.

— Мы не сбились с дороги, кажется, нет, мы ехали верно.

Скиф мне сказал:

— Вот мы приехали!

Твой, дорогая моя, дом, твой волшебный дворец, утонувший наполовину в потоке несущейся пыли белой снежной, белые колонны по-прежнему твердо стоят и ясени окружают крышу.

Скиф мне сказал:

— Волость!

Я улыбнулся: твой дворец теперь называют волостью. Вокруг все по-прежнему: там направо людская, курник, домик приказчика, налево большая конюшня, амбары.

Я спросил скифа, кто теперь живет в доме приказчика, он сказал: там теперь исполком.

— А в людской?

— Там райком.

— А в большом доме?

— Там чрезвычком и все канцелярии исполкома, райкома и кружок культурно-просветительный.

***16 Февраля.*** Религия демократии скрывается, вероятно, в тайниках жизни семейной: тут происходит прикосновение ко всякой нечисти, ее преображение, одухотворение всякого вещества, всякого труда.

День начинается: ворчунье няньке дается валерианка — тем и живем, а то бы съела! Тиф: несут покойника, а нянька: «Все мимо, все мимо» (смерть обходит ее) — плачет, с виду горюет, а в душе рада: похоже на церемониал отказа в гостях от кушанья, хотя есть очень хочется. Со-

вестно жить, а хочется. Водовоз (рубка льда для самовара). В саквояже — окорок.

Тиф: размышления о том, что делать, если кто-нибудь из нас заболеет...

В деревне: добыл для нее сахару, пшена, подхожу — взять нельзя: тиф.

После морозного бурана вышли на дорогу с обмерзшими крыльями зимовалые грачи, стучат носом о лед дороги — далеко слышно, шатаются.

— Замерзают: голодные, вот так и русские люди!

— Русские...

— Да, голодные, холодные, шатаются.

Оказалось, что народный университет — рассадник эпидемии тифа.

***17 Февраля.*** По всему городу твердый слух, что занят Петроград, а кем — неизвестно. Петроградская диверсия внезапно повернула с юга на север. Чугунка и командир Иван Львович. По козе канун.

М и ш и н  д н е в н и к. Недра семейной жизни — вся сокровенная женщина с железными когтями, которая никогда не выпускает (куда мы идем?).

Старуха (на том свете не все друг друга узнают).

Вечер — звезды: Медведица на стомиллионном расстоянии и вечная загадка, а решение на земле: то есть между нами же есть люди, которые знают, но не могут всем нам передать свое знание. Это и есть то, что хочет сказать старуха своими словами о загробной жизни, что люди не узнают друг друга...

Начало нашей духовной природы — чувство приобщенности к космосу, середина нашего жизненного пути — борьба разума, конец — включение разума в космос и тайное примирение.

Наш день: оттепель; удалось обрушить вниз замерзшее и выпершее из отверстия; достали поперечную пилу, а то-

поришко чуть дышит. Что-то кружится голова... Не тиф ли? что будешь делать, если тиф? Зачесалось в голове — не вошь ли? О, эта страшная тифозная вошь — русское... нет дров, нет бани, путешествуют вши из деревни в город, все теперь, не стесняясь, говорят про вошь (нет частых гребешков): нас губит вошь. И в это время Иван Львович, командир Красной Армии, должен ехать воевать с англичанами, занявшими Петроград (вшивая коммуна). Зашли к Владимиру Николаевичу Шубину — тот ли человек? Дом запирает — в двух, в одной комнате — детвора, теснота: «Ну, не лезь ты, не лезь, мучитель мой!» Один мальчик мечтатель и раздражает своей медленностью, другой слишком быстрый и дерзкий.

— На кой он вихор кладет их в корма?

Ранняя птичка носок обивает, а поздняя — только что очищает.

Нянька, выражающая мне сомнение:

— Народ едет на базар, а ветер воет! ветер воет — приехали, как-то уедут!

Уехали скифы. Мы стоим и смотрим вслед (Начало Скифии) — судьба, судьба, да ежели я в такую войну кинусь и сто человек от меня зависят — это судьба, а ежели я по себе для пустого дела своего в такую страсть поеду, то какая это судьба, это дурость моя! и пропадать буду, закричу, и услышат меня — никто не пойдет спасать: «Сам кинулся, пойду я дурака спасать!»

Газеты писали, астрономия предполагала, что метель будет, но такой метели никто не ожидал.

Наружность — это дверь, через которую входишь, а как вошел — так все равно: «Я и лысенького любить буду».

А. идет за дровами, я за водой.

— А где книги?

— Унесла.

И сама в очередь за хлебом. Пока ходила в очередь, муж ускользнул на службу. Несу дрова. Дров напилил до-

статочно. Пишу в штабе свободного дивизиона, а весь дивизион — 27 человек офицеров — разбежались. Бочки замерзли, колю час-два. Пришла повелительница, идем за водовозами: на улице угли, и все говорят:

— Вот 12 рублей, а раньше 12 копеек.

Водовоз. Металлическое повеление:

— Несите, несите.

И вдруг одумалась по пути:

— Михаил Михайлович, пожалуйста, это ведро снесите в умывальник, а это в чугун. Печник явился, поработает час — 25 рублей. Это он сковородку унес. Хотела уют создать, затопили — дым.

— Не топите!

Завихрилось, выхожу на улицу: луна (а вошь все кусает, все кусает!). При луне птица черная, снежная — вы похожи на птицу, которая реет, реет. Металлический крик «Василиса!» утром, а вечером на полуслове засыпает. Птица-необходимость — это не орел, не коршун, не филин, не Алконост, это птица, которой назначено клевать грудь Прометея, и другая птица, утренняя победа, свобода (упрек: у всех есть время свободное), а на другой стороне беременность, холодный амбар.

Пришли пшено менять и мыло и сказали: «Холодный амбар теперь бросили, теперь действуют по трафарету — выжигают на лбу буквы Н. К. (не платил контрибуцию)». А член чрезвычайки сказал: «Нечего делать, такой народец: не смотрите слишком далеко и слишком близко, смотрите прямо на мужика, кто он? и вы будете сажать в холодную». «Взявший меч от меча и погибнет»: идею давно потеряли, и необходимость государственная давно уже сама по себе вянет и собирает территорию.

Услыхал, что дивизия отправляется воевать. Солдат сказал: «Надо идти». — «А если убежать?» — «Да как убежишь, ведь это на риск, за это к стенке». Почему же власть все-таки оставалась, и против нее никто не боролся? Потому что обманываться больше уже никто не хотел.

***20 Февраля.*** Рябинки. Дети прыгают: «Мама, мама». А она им отвечает: «Отвяжитесь вы от меня». Дети про-

сят: «Дядя Миша, заведи мою уточку». — «Не смейте входить в мою комнату!» — кричит дядя Миша. Итак, все похоже, как на охоте, когда птица подстреленная бьется у ног охотника, а он, счастливый удачей, вновь заряжает ружье.

Дружеский контроль. «Ты от меня сейчас далеко, далеко». И подойти не могу, мне что-то мешает, я сам не знаю что. Уезжаю от нее далеко, и снова ближе к ней [оказываюсвь], встречаюсь с ней где-то на каких-то планетах. Жалость вместо любви — это пытка для обоих: ему пытка, потому что он вышел из положения несчастного кроткого, он делается ей ненавистным. Ей пытка, потому что нечего и говорить почему. Металлический звук ее голоса, когда она кричит сверху вниз прислуге: «Василиса!», я слышу его, и по отношению, когда она распоряжается в своем муравейнике: это власть.

Я думаю, что власть можно так понимать: власть — это есть сила распоряжения людьми, как вещами. Любовь, радость жизни наоборот: эта сила одухотворения даже вещей. Власть и любовь — противоположные силы. Я люблю, и все мертвое оживает, природа, весь космос движется живой личностью. Я властвую, и все живое умирает, превращаясь в мертвые вещи. Разум как буфер становится между силой власти и силой любви, но что же такое разум, если ослабела любовь и власть стала бессильной? Тогда разум лежит, как счет по двойной бухгалтерии. Власть, наступая, [захватывает]. Любовь отступает и вдруг победно является. Когда любовь отступает, опустошенную территорию захватывает власть. Захватывает власть только слабое, а любовь может быть только между равными. Власть — это сила враждебно столкнувшихся масс и количества, а любовь — это сила личности и качества. В любви — свобода, во власти — неволя. Люди бессильны в любви друг к другу, и только тем объясняется государственная власть: ее основа — неравенство.

Власть нашего времени — наше бессилие в любви, это наша власть самая настоящая, народная.

Власть — это действие рока или судьбы: злого рока, злой судьбы. И как может власть быть доброй, если добро в любви, а любовь отступила... В любви — добро, во власти — зло.

Но зло — это пробный камень добра и власть — пробный камень любви.

Эгоист — носитель власти — безличен, а мы жертвы — личности.

Неверно: л о г и ч е с к а я ошибка.

Я хочу сказать: властелин порождает мир властелинов маленьких (эгоистов), а деятель любви порождает мир общий. Наше время: власть называет себя коммуной, она одевается в чужое одеяние, она — волк в овечьей шкуре. Это пародия на самодержавную власть, которая одевалась в одежды православия. Властелин на властелина [бросается], как собака на собаку, и мир ему пуст. Деятель любви порождает из себя целый мир.

Вот разобрали мощи Тихона Задонского, народ ответил на это верой, что Тихон Задонский ушел и стал невидим. Так в царстве [явное] зло — власть, все любовное стало невидимо, и всякое слово добра умолкло. Мы отданы року и молчим, потому что нельзя говорить: мы виноваты в попущении, мы должны молчать, пока наше страдание не окончится, пока рок не насытится и уйдет: ему пищи не будет. Тогда вдруг все мы скажем:

— Да воскреснет Бог!

Нужно знать время: есть время, когда зло является единственной т в о р ч е с к о й силой, все разрушая, все поглощая, оно творит невидимый Град, из которого рано или поздно грянет:

— Да воскреснет Бог!

Как может корень растения под снежной пеленой дать стебель, и стебель, пробившись через снег, дать цвет на морозе. Но время придет, снег растает, цвет раскроется, и люди скажут:

— Светлое воскресение: любовь, мир.

Вот приходит ночь весенняя, звездная, теплая, реку взломало, как из пушки ударило:

— Да воскреснет Бог!

Широко на разливе, спадает вода, лед очищается, зеленеет, цветы расцветают, и все понимают друг друга в одном:

— Бог есть любовь.

Мне кажется, человек — это младенец, и вся разница его жизни с жизнью природы в том, что он хочет сделать все по-своему, как будто до него ничего не было. Но в природе было все то же самое, только человеком называется такое существо в природе, которое действует так, будто нет Бога, закона и вообще нет ничего, кроме человека — царя природы.

В этом самообмане — все существо человека.

Проделать опыт той же самой жизни природы за свой страх и риск — вот цель человека.

Всем перемучиться, все узнать и встретиться с Богом.

Блудный сын — образ всего человечества.

Мудрость состоит в знании времени, когда следует указать людям, что согласно со временем года нужно рамы в окна вставлять или раскапывать завалинку.

Мудрец знает закон природы и закон бунта человеческого и там, где рвется человеческий нерв, штопает обыкновенными льняными нитками связи.

Зачем он это делает? потому что любит человека, потому что сам человек, свое дорого.

Был ли Христос мудрецом?

***21 Февраля.*** Ночами этих страшных дней снов у людей не было, ночи этих дней проходили так. И было тяжко просыпаться без сна, как будто душа покрылась пробкой для защиты от ударов дня или тучи закрыли небо души. Но раз оборвалась завеса, и я увидел сон.

Мирская чаша. Мне снилось, будто душа моя сложилась чашей — мирская чаша, и все, что было в ней, выплеснули вон и налили в нее щи, и человек двадцать Ис-

полкома — члены и писаря — деревянными ложками едят из нее.

Поездка в Афанасьево-Петровское 21 Февраля.

***22 Февраля.*** Ухаб такой, что передок саней, когда выбирались, закрыл и лошадь, и дугу, и половину неба.

Поля Скифии: февральский наст, по насту оборвался с ветки сухой дубовый листик, бежит и шумит. Ветки пригнуло к снегу дугой, и кажется — арка великая. Лисица, потревоженная шумом полозьев, встала среди бела дня, ждет так, ужимаясь, оглядываясь.

Сестра расстрелянного помещика Елизавета Лопатина учит народ грамоте и состоит председательницей культурно-просветительного кружка.

Проезжая Дубки—Лопатино, вспомнилась-представилась весна: чернозем, как черное море, запах земли и там пашут, и из Дубков, как из сердца кровь дедов, здоровье — распоряжение-благословение... связь. А теперь нет ничего: каждый из скудости. Я заехал в одну усадьбу: там учительница живет и в валенках, закутанная колет дрова: день поучит, два дня отказывает: очень холодно... «И если бы немножко соли, за соль будет все!»

Сход — крики! жара, нет махорки: вошь выползает. Розвальни встретились и поцеловались с нашими санями. Два воза ворованных дров везут — как их обогнать? решили свернуть и застряли, другой раз попробовали и застряли, бились, бились, а возы все впереди.

Какая же это деревня? у колодца стояла молодая женщина — надо ее кликнуть: «Тетка!» — обидно. «Девушка!» — не похожа на девушку. Пока я раздумывал, как спросить, Иван Михайлович крикнул:

— Дамочка!

Она обернулась.

— Как называется эта деревня?

— Секлетарка! — ответила дамочка.

Труся рысцою за нашими санями, председатель культ.-просв. кружка повторял:

— Пьесок, пьесок пришлите!

А название имения все то же: имение Джорджия, на Кавказ ездила барышня и влюбилась в грузина.

Тулуп оледенел, положили на телегу, озноб или это уж лихорадка, вошь и укусила: страшный укус (кровь чужая...).

А звезды сверкают, с восточной стороны звезд все больше и холоднее, звезды стали при солнце холодные (вошь укусила).

Сумрак.

Голубое, все голубое вокруг — между голубым небом и голубым снегом туман и в нем столб, мельница.

***23 Февраля.*** Любознательному человеку надо нам послать приглашение приехать и посмотреть: «Вот вам жизнь без всяких догадок о ней, смотрите, какая она...».

...Например, Штирнер: у него о коммуне все сказано и все предсказано. Да и мало ли кто говорил, а коммуна все-таки вышла. Видно, говори, не говори, а раз бросили мясо в котел, оно там сварится.

О любви... не нужно говорить: это слово такое же широкое, как свобода. Моя любовь — не любовь, а радость.

Из Штирнера: «Если оно (общество) угрожает моей самобытности, то оно становится властью как таковой, властью надо мной, недостижимой для меня властью, которой я могу удивляться, которую могу обижать, почитать, уважать, но осилить или поглотить не могу, потому что я отрекаюсь от себя. Она существует благодаря моему самоотречению, моему бессилию, называемому смирением. Мое смирение создает ее мужество, моя преданность обеспечивает ее господство».

***24 Февраля.*** Галдеж: мужики делят сахар, по полфунта на душу.

Оттепель полная, как весна. За стеною. Я сказал Ивану Афанасьевичу:

— Вы коммунистам не отвечаете, они вам дают идею, а вы им говорите, что живот болит.

— Конечно, так, — ответил Иван Афанасьевич, — но где же ее найти, врасплох попали, не сообразишь. А вы имеете такую идею, есть такая?

— Есть! — сказал я.

И рассказал ему про Штирнера: вся власть заключается во мне, если кто-нибудь взял у меня власть, все равно, коммунист или монархист, значит, я сам виноват, я поддался, я ослабел или просто проспал... Была моя живая воля, теперь надо мной стоит воля насилия, воля общества, государства. Нужно разбить государство-общество и создать союз отдельных.

— Этого я не могу признать, — сказал Иван Афанасьевич, — потому что...

Он задумался и вдруг сказал:

— Я признаю черту.

— Какую черту, где она?

— Вот воробьи сели на окошко, я возьму одного, отверну голову и брошу — для чего это, какой смысл, ну, скажите, какой тут смысл?

— И я не вижу смысла в этом, вы и я составляем союз, чтобы воробьев не трогать.

— Так-то так, — задумался Иван Афанасьевич, — я сейчас о другом вспомнил, рассказать что ли, или не надо? Ну, расскажу: теленка вечером я собрался резать, наточил нож, лег спать. Слышу, в полночь кто-то ребячьим голосом плачет, проснулся, прислушался: теленок! ну, что это значит?

— Как что?

— Да так: стало быть, он понимал, что его резать будут?

— Ну, понимал.

— А мы этого не понимали, что он понимал.

— Ну...

— Вот и все.

— Мы же с вами говорили про союз отдельных.

— Да и я к тому же веду: союз наш будет в понятном, а как же непонятное, не говорю. Промысел и подобное, а ведь всего не обдумаешь, то-то как без союза пойдет, как бы нам из-за малого большое не просоюзничать?

Семидесятилетняя старуха сидит в холодной за неуплату контрибуции, никто не возмущается этим беззаконием и считает возмездием за то, что она деньги наживала кабаком. Говорят, будто бы в день Светлого праздника она заготовляла в кабаке освещенную пасху и зазывала к себе разговляться: ели пасху, разговлялись, наедались, напивались, а к вечеру пьяных выталкивала из кабака, и они в грязи валялись...

Пример поругания мощей Тихона Задонского и встречная легенда, что «батюшка ушел!» показывает всю бесполезность борьбы с религией таким способом.

«Вообще никто не протестует против своей собственности, а только против чужой. В действительности нападают не на самое собственность, а на то, что она чужая. Хотят получить возможность назвать своим больше, а не меньше; хотят назвать своим все. Итак, борются против чуждости. И как думают помочь себе? Вместо того чтобы превратить чужое в собственное, разыгрывают роль беспартийного, и требуется, чтобы вся собственность была представлена третьему (например, человеческому обществу). Требуют возвращения чужого не от своего имени, а от имени третьего лица. И вот эгоистический оттенок удален, все так чисто и человечно!» *(Штирнер).*

«Если все свести к собственности, то собственником будет господин. Итак, выбирай: хочешь ли ты быть им, или же господином должно стать общество? От этого зависит, будешь ли ты обладателем или нищим. Эгоист — обладатель, социалист — нищий. Но нищенство, или отсутствие собственности, является смыслом феодализма, ленной системы, изменившей в течение последнего столетия ленного господина, ибо она на месте Бога поставила "Человека" и стала принимать от него то, что раньше получали милостью Божией. Выше мы показали, что коммунизм с помощью гуманных принципов приведет к абсолютному нищенству, одновременно мы показали, как

это нищенство может превратиться в самобытность. Старая феодальная система во время революции была так раздавлена, что с тех пор все реакционные хитрости должны были остаться безуспешными; ибо мертвое — мертво; но воскресение должно было показать свою истинность в эпоху христианства: в потусторонности, в преображенном теле воскрес феодализм, новый феодализм, воскрес под главенством ленного господина — "Человека".

Христианство не уничтожено: верующие правы, считая, что всякая борьба, вынесенная христианством, служит очищению и усилению его; и в действительности христианство было лишь просвещено, и "новооткрытое христианство" стало "человеческим"».

«Как человек я могу иметь право, но ввиду того, что я больше чем человек, а именно о с о б е н н ы й "Человек", мне, как особенному, может быть, будет в этом отказано».

Изумительно, когда, читая никогда не читанного автора, встречаешь эти мысли как родные, пережитые, свои. Борьба анархизма с социализмом (личности и общества) — борьба качества с количеством. Трагедия количества: качество, распределенное на всех, перестает быть качеством, оно становится бесцветным, как выстиранный линючий ситец. Пример: библиотека помещика, распределенная в деревенские публичные библиотеки (подумать особенно). Или: богатейшее имение, от раздела ставшее ничем. Другие примеры: золото во дворце царя — медь в руках солдата.

Трагедия качества: не знают, что творят.

Синтез: отдельный кабинет в публичной библиотеке, отдельный номер в общественной бане (так называемый «семейный»), роман с проституткой в публичном доме и т. д. «Национализация специалистов», «обобществление талантов».

Штирнер говорит: «Не познай себя, а реализуй себя».

Последняя ценность, по Штирнеру, есть самобытность.

Избушки, занесенные снегом, словно взявшись за руки круговою порукой, стали на пути.

В селе защита — дом, село, а хуторянин один на хуторе.

Реализовать себя — значит (по-моему) отделить себя от общества, выделить свое качество, происходящее «не от мира сего». После этого обыкновенно происходит надувательство: за свое качество я беру деньги, а не может быть такого обмена ценностей не от мира сего с ценностями потребительского общества.

Кажется — тут основная ошибка Штирнера.

Меня купить невозможно, но я — не могу и продать себя: я — дух.

Поэт никогда не продает себя, и если получает деньги за книги, то относится к ним как к чему-то постороннему, и общество (подсознательно) без счета швыряет деньги любимому певцу. Тут установилось отношение на деликатности.

Влюбленные — это эгоисты, любящие весь мир.

Оттепель. Буланая старая лошадь везет больную женщину. У больной вокруг глаз большие черные круги.

По навозной дороге плетется буланая лошадь, ее черные круги вокруг глаз будто черные лужи по навозной дороге. Пятнистый тиф у женщины, влекомой буланой лошадью.

А сон так и не выходит из головы: что же делать?

Иван Афанасьевич принес мне 13 ф. хлеба, бутылку молока и сказал, что это так. Удивился я полученному, но теперь понимаю, это он принес за то, что я буду слушать его и не перебивать.

— Я робкий человек, — сказал он, — мне высказать некому, и что нужно сказать, я не знаю.

Она никому не изменила и довольно сильна, чтобы сознавать это и отстаивать. Единственное, что смущает нас, это действительные страдания нашего друга из-за лишения уюта и, главное, из-за детей, что дети лишаются до некоторой степени матери. Стало быть, нужно просто быть более внимательным — и все!

Она исчезла, ее нет, но мир любви остался, и мало-помалу я освободился от нее и сделал мир любви своим миром. В каждом цвете, в каждом отличии дня и сменности времени года — я вижу радость свою.

А впрочем, она тут ни при чем: разве пуговка кнопки, нажатая рукой младенца, взорвавшая гору.

Как одушевлено крестьянское утро, посмотрите на бочку, на ведро, на коромысло... как живые! Вот девушка взяла на салазки бочку у колодца и убежала куда-то. Бочка на салазках стоит и дожидается терпеливо, совершенно так же, как лошадь, и каждый прохожий осматривает бочку и оглядывается, спрашивая себя: кого это дожидается бочка?

Я согласился с Штирнером, что все мое и мысль чужая — моя, но не нравится мне подчеркнутость этого, как будто к этому сводится все, к вопросу о собственности. И потом «самонаслаждение»: из себя глядя — все хорошо, но если взглянуть со стороны? Вот любовь: я вижу, пара влюбленных вышла из дома: прошла — некрасивы, смешны! Представляю влюбленных таких, чтобы другие приходили в восторг, и нет-нет! Аполлон, Венера, Бог, но не люди...

Она отношение ко мне представляет мужу как гимназистка. А мне она в отношении к мужу представляется мещанкой. Уют ее, принадлежащий мне и уступленный мужу, кажется мещанским. Я ревную ее к мещанину (не Ал. Мих.). Тут малейшее вызывает в душе целую бурю, а она спрашивает: «Почему ты со мной сегодня так далек?» Словом, жить втроем — невозможно.

***25 Февраля.*** Думаю, как бы разбить эту ледяную корку бунтующей мужчино-человечины.

Ну, вот засело и засело в душу, что они у меня хотят мою печку отнять, — как это глупо! А ночью это же представляется в облике змеи с женским лицом. Лицо прекрасное, потому что любит-любит! А чешуя и хвостовые позвонки шумят и звенят из чужой спальни, и я это слышу!

Шум и звон чуждого мне змеиного мира. Змея любит охотника и воина и хочет заключить в свое яйцо.

За дверью в потребилке второй день ругатня-срамота: мужики сахар делят. Австриец говорит: «Как скотина, сколько галдежа, мерзких слов выкинуто в воздух из-за полфунта на душу украинского сахару». Едут обозы в Старый Оскол за солью: у нас 15 руб. фунт, там 2. Почему так, если там и тут одна власть?

Чтобы не быть смешным — глупым, нужно сдерживать себя, но если сдерживать, то это идет в счет любви, и дружеский [голос] спросит, почему ты так далек?

***26 Февраля.*** Вчера был в Казаках. Я был тут 32 года тому назад. Долго мучился — узнать домик, где мы жили с Дуничкой, и не узнал. Мне сказали, что он стоял на том самом месте, где теперь стоит директора паточного завода... Домика я не узнал, но Дуничку себе ясно представил как никогда — что это такое, как это выразить? маленькая, строгая, светлая, остросамолюбивая, страдающая неиспытанной жизнью женщина, всегда с народом и бесконечно далекая от него, всегда со своим ученьем (с «Русскими Ведомостями», «Русским Богатством») и всегда против царя. Ни малейшего компромисса, ни милейшей хитрости...

У нее тут в Казаках был домик, она купила его, приехав из-за границы, с целью устроиться здесь для дела — подвига среди народа.

Ее брат из «Русских Ведомостей» и Варгунин — все это одно поколение из одной группы интеллигенции, которая, отколовшись от подпольной эмигрантской интеллигенции, задалась целью просвещать народ на легальном пути. Все они гуманисты-европейцы по идеям, а упрямство в морали, вероятно, происходят от предков-староверов.

У Варгунина дом-дворец на каменистых обрывах Варгли, живописно, как в Швейцарии, чудесные парки, великолепные конюшни, жизнь, отданная просвещению народа, множество прекрасно выстроенных школ и в личной

жизни множество жен-учительниц. Кажется — вот счастье! вот счастливый человек, барин из разночинцев. И в то же время что-то отталкивает, не знаю, что: дом его, кажется, не свой дом, это швейцарский дом, и конюшни швейцарские, и мысли его иностранные, и жены его — жены-учительницы, удобные, из-под руки, отношения, вероятно, полуполовые, полуидейные (детей — ни одного, он доктор). Это не богатство, не счастье, это все тоже Дуничка, только во дворце.

Недавно я проезжал мимо Лопатина, где выросла большая дворянская семья, где грязновато, много мух, но столько уюта. Я посмотрел туда зимой, закрыв глаза,— и весна черноземная, человек, тонущий с сохой в черном море, волнующие запахи земли, фиалки под кустом орешника, ландыши, сорванные с росой на «валу», и чего-чего ни представилось! а липовая аллея, запах липового цвета, жужжанье пчел в жару и после обеда большой стол с самоваром-вареньями.

Какая чудесная старина! а тут, у Варгунина, все как будто и лучше, и нет ничего, напротив...

Я — чуждый им, и они мне чуждые при всем «несомненном моем уважении». Я прихожу к ним и расписываюсь: «Искренне уважающий вас».

За все великие заслуги этих людей, подготовивших свержение царя, революция не выгнала их со своих мест, но и только. Им оставили возможность существовать на месте, кормиться тут, и только!

Варгунину дали в замке его две комнаты и прислугу от Совета. Он старик, седой, лысый, похож на старого профессора в отставке. В гостях у него сидел председатель Исполкома и три местные актрисы — его ученики.

Я рассказал им, как бежал за моими санями в Петровском председатель культурно-просвет. кружка и кричал: «Пьесок, пьесок пришлите!» Как всюду играют одну и ту же пьесу: на пороге к делу, и как все это однообразно и скучно. Я предложил деревенским актерам самим сочинять пьески и пользоваться материалом тех сказок-прибауток, которые рассказывают крестьяне вечно друг другу по вечерам.

— Но как это сделать без интеллигенции? — сказал Исполком.

— Без барина? Пишите сами.

Что тут поднялось!

— Нельзя это пустить! — сказал Варгунин.

Пустить-то можно, конечно, но он хочет сказать, что если пустить, то...

И так ясно видно, как девственно наивна наша революция: эти мужики — рабочие полуграмотные ухватились мозолистыми руками за обломки царского скипетра и не пущают, и не пущают никого. «Медведя поймали, медведя поймали» — «Туда его!» — «Да он меня не пущает!» Обида большая на интеллигента, что он не идет к ним, а интеллигент сам обижен.

Варгунин:

— Человек с историческим образованием разве может в это поверить, взяться за это? Этот скрежет: «Дави, дави! мы поймали, мы зажали, мы сокрушили!» — разве можно это разделять?

Исполком:

— А при Керенском интеллигенция была с буржуазией, с белогвардейцами, разве так лучше? Мы взяли власть...

Я сказал о власти по Максу Штирнеру — удивительно! Единственное возражение, что за власть кому-то держаться необходимо, иначе не будет государства, и все пойдут друг на друга.

И он держится за власть и песенку поет точь-в-точь, как при монархии:

— Мы избавились от Николая!

— Мне, писателю, было лучше при царе, тогда можно было хоть что-нибудь писать, теперь ничего.

— А мне лучше.

Еще бы: он у власти, он может ходить по паркету, судить, давить...

Дубы рубят (кулаков).

Они очень наивны, эти самодержцы милостию «Человека», держат скипетр и кричат: «Пьесок, пьесок!»

А Варгунин:

— Это опасно пустить.

Разбитый скипетр самодержавия, как разбитое зеркало, осколком своим попал в наши сердца, и мы видим в осколках этих искаженное отражение мира.

— Как же мы будем писать, мы не умеем.

— Пишите, творите.

— Это делают немногие.

— Все могут быть творцами.

— Все не могут быть творцами.

— Вы создайте массовый творческий процесс, а потом явится творец Шекспир.

— Мысль и в них.

Мысль сквозь них пролетает, а где головище реки? Это разливы, а вы скажите, где родник, где головище реки — антиллигенция!

Мужики не поверили, что Бутов назначен опять.

— В газете читали: Бутов Сергей.

— Тот Михаил.

— Ну, что ж, брат его — все равно.

— Это все равно!

Иван Афанасьевич, прочитав Успенского, сказал:

— Вот оно откуда началось, это «общее». (Писатели виноваты.)

Большевики теперь свободны от всего, теперь они «закрепляют свободу».

— Они стали на волчье место, а хвост кобелиный!

В этот день Лизу описывали и на другой день должны были выслать. Вечером она дала мне поужинать, я съел, что дали, и ушел к себе. Слышу: «Кашу забыли! я сейчас принесу вам». Наложили кашу, хотели отнести, но поставили на столе и подумали: «Может быть, он не придет», — а я слышу, что «кашу ему приготовляем». Я долго после дожидался и не дождался. А утром мою кашу съели большевики.

Весь день за стеной мечут жребий о катушках: кому черная, кому белая.

«Исторический человек» — история — и заключение истории в Я.

Потихоньку каждый деятель — эгоист, а вслух он служит «Человеку» — себя отличает, других равняет. Так сильные эгоисты (капиталисты), создав индивидуальность, уничтожали самобытность слабых.

Творческий процесс

1) Я бродил, встретил новый мир, удивился, обрадовался, забылся, полюбил, поверил и стал не-я.

2) Вышел из этого мира, оставив в нем воплощения Я.

В 1-ом я как бы вошел в утробу.

Я жил — мне порядочно лет — в утробе моей матери, — берусь за перо, чтобы освободиться из нее и быть только Я.

***1 Марта.*** Я — ничто и Я — всё.

Анализ:

1. Я — маленький.
   Анализ всего.
   Всё существует, но я маленький — не могу взять.
2. Я — ничто: я себя убиваю (самоубийство).
3. Я — во всем (я отдаюсь всему).
4. Я — всё.

Значит, два этапа Я: Я — ничто и Я — всё (я — бог). По пути страдает и самоубивает среднее Я (бытовое, маленькое).

***2 Марта.*** Нянька:

— Кошки закричали: остается месяц до полой воды.

Петр. Варфол. привез 10 пуд. дров. Ал. Мих. получил по ордеру 30 пуд. — нет сомнения, до тепла мы в тепле проживем!

И свет — как свету прибавилось! Достал ко всенощной свечей восковых.

В деревне сказали о мне:

— Ушел, не хочет работать с нами (рабоче-крестьянское), интеллигент! конечно, не желает работать с нами интеллигенция!

Устроился уютно жить на вулкане: у кратера огнедышащей горы поем «Покаяния отверзи мне двери, Жизнодавче!»

— Я сам бог, и чтимые боги мои старшие или младшие товарищи.

— Вы это подумали, а на самом деле и В. чувствует над собой тот же закон. Как возмездие, «Аз воздам!»

Мать говорит, что в этом деле добывания себе пищи участвует теперь вся семья, и муж, и маленькие дети, раньше она была в этом одна и страдала от одиночества, — что никто, кроме бедных женщин, не понимает тяжести этого мелочного труда, — а теперь это разделяют все в семье, и она стала не одинока, ей стало лучше...

Не забыть, что сказал Иван Афанасьевич, прочитав Успенского «Крестьянский труд»: он целиком стал на сторону описываемого Успенским кулака, а что Успенский от себя говорит про общее дело, то считает вздором, началом греха интеллигенции, проповеди общего человека.

— Я, — сказал Иван Афанасьевич, — верю в дело только отдельного человека, верю в союз отдельных людей, но из поравнения получается вывод, а дела не может быть никакого.

Были наборщики и ставили буквы свинцовые, буква к букве, как избушка к избушке, и строка за строкой, как деревня за деревней по белому снежному полю, избушка за избушку, буква за букву держатся круговою порукой, ручаются за странных: «Броди, где хочешь, мы ручаемся, что в последнюю минуту поддержим тебя, приходи в нашу деревню, мы допоим, докормим тебя!» Ручались буквы наборщика за писателя: «Пиши, что хочешь! мы поддержим тебя и поставим тебя со всеми твоими небылицами в связь со всем миром странников-писателей, и ты будешь

нам как те». Теперь нет наборщиков, буквы наборов рассыпаны: я теперь не в селе живу, а как обездоленный хуторянин, выгнанный из своего угла-приюта...

Как счастлив был тот телеграфист, который, стоя по колено в воде утопающего корабля, до последней минуты, пока вода не добралась до его рта, по беспроволочному телеграфу давал знать о гибели, призывая на помощь. У меня нет телеграфа! я пишу в свой дневник, но завтра я погибну от эпидемии тифа, и никто не поймет моих записей, не разберется в них. Я не знаю даже, [как] сохранить эти записи от гибели, почти неизбежной: разве я не видел тысячи тетрадей, написанных кем-то и теперь брошенных в печь, в погреба, наполненные водой, на дороги: письмами матери моей оклеены стены какой-то избушки...

Тропа моя обрывается, я поминутно оглядываюсь, стараясь связать конец ее с подобным началом тропы впереди, вот совсем ее нет, и на снегу виден единственный след мой, и поземок на глазах заметает и мой единственный след.

Друг мой! существуешь ли ты где-нибудь, ожидаешь ли, что я приду к тебе?

Я не жду твоей помощи, нет! я сам приду к тебе, только жди, жди меня!

Только бы знать, что ты ждешь меня!

После всего пережитого, после этого великого поста печати как может начаться она вновь теми же песнями? Кто-то сигнал дает начинать, и вот самое важное — о чем и как начнет писать первый.

***3 Марта.*** Интеллигент и книга.

Лева поет «Интернационал»: «Кто был ничем, тот станет всем».

В этих словах замысел: творческое Ничто переходит во Всё и становится Богом. Сочинитель песни был метафизиком. Преподаватель политики воплотил это в образе «беднейшего из крестьян», и так наш Хрущевский вор Васька Евтюхин как председатель Комитета Бедноты стал осуществлять метафизическое Ничто, ставшее Всем.

Я однажды потерял в соломе свою трубку и встретился с нею глазами в тот самый момент, когда встретился с нею и Васька. Я успел ее поднять раньше его. «Жалко, — сказал Васька, — ведь она теперь четвертушку стоит!» — «Украл бы?» — спросил я. Он ответил: «Взял бы». — «Воры, — сказал я, — вот какой народ...» — «Какой?» — «Да нехороший». — «Чем нехороший? неправда! вор одному человеку нехорош, у кого крадет, а другим, всем чем он плох? Вам, например, согласны вы, что вам я верно служу, как первейший приятель?» — «Согласен, — сказал я, — согласен». Правда, все мое существование теперь держалось на Ваське, без него теперь нельзя было шагу ступить, он мне все доставал, во всем помогал, даже скарб сложил совершенно бесплатно, даже обещался отвезти в город моему голодному куму казенной пшеницы. Но вдруг я был признан собственником, подлежащим уничтожению, и вдруг все переменилось. Встав однажды утром, я увидел жену его на своем картофельнике, и при появлении моем она не уходила, а когда я спросил, почему так: «Теперь это ничье», — сказала она.

С этого момента я стал тем единственным, кому вор Васька плох, у кого он ворует для всех. Вид его, обращение со мной совершенно изменились, и в последний момент, когда меня выгнали из дома, я видел, как он сам резал мою свинью и всем, кто приходил, давал кусок сала, и все как бы причащались свининой. А испить свою обиду я и не мог ни на ком, потому что тут все было по закону: беднейший из крестьян стал всем, и все были в нем, в его законе. «Мы-то при чем, — говорили потом причастники, — разве мы что-нибудь против вас, Михаил Михайлович, имели, мы вас не гнали, мы понимаем, что вы первейший у нас человек, да ведь так всем».

Иван Афанасьевич потом говорил:

— Это не они, это какую-нибудь мысль через них продувает, какую мысль, откуда она, где ее начало, родник, головище?

— Головище, — сказал я, — в голове: Ничто становится Всем: «Кто был ничем, тот станет всем».

(Усадьба, кишащая трупными паразитами: они делают свое дело: Ничто — Всё.)

Всюду сомнение в творчестве этого Ничто, на месте разрушенного нет ничего.

И когда самих деятелей спрашиваешь, почему они ничего не создают, они отвечают: потому что интеллигенция с нами не хочет работать.

Интеллигенция как созидательная сила. Сила разрушения уже устала, она молит и вопит: призыв варягов уже совершился, а варяги не идут.

Причины причин.

Раз Ничто склоняется, значит, оно теперь уже не есть творческое, другая сила должна стать на его место. Другая: сила не интеллигенции, а сила отдельного.

Абсолютный монарх есть идеал, абстракция силы отдельного человека.

Беднейший из крестьян есть осуществление силы общего человека. Там богатство, дворец. Тут бедность, хижина.

Там Николай, тут Васька: последние будут первыми и первые последними.

Власть отдельного в русской монархии была изжита до конца, власть общественного человека в русской коммуне была также изжита до конца.

Если бы наше государство было изолированным, то теперь у нас опять бы с новыми материалами стала монархия, но тут всё разрешается компромиссом.

Просвещение народа, основанное на силе разума, умеряет, это создает меру движению и буферы между классами (либерализм), это есть новейшая мудрость (штопанье разорванных живых связей обыкновенными нитками).

Нечто новое истории будет выражаться в новом соотношении (компромиссе) силы отдельного (силы творческой) и силы общего человека, то есть совершится перемещение точки действия и точки противодействия.

Публичные интеллигенты.

Интеллигент в коммуне имеет судьбу, подобную книге: хотят сделать публичного интеллигента, как из книг,

служивших частным лицам, — публичную библиотеку. В этом движении всеобщем к публичности отдельному человеку, отдельному читателю остается единственный путь — добиться отдельного кабинета в публичной библиотеке.

Характерно, что каждая волость, село хотят удержать книгу у себя и не дать ее в другую волость и особенно в город (курьер с библиотекой Варгунина, обслуживающий большой район, что хотят ее перенести в Рябинки, жаждут этого).

Раньше, во время империи, частное переходило в общее, теперь общее переходит в частное.

Так было всю революцию: обще-идея, обще-человек, обще-книга, обще-платье — всё это стремится из города в деревню, универсальное помещается в партикулярном. Раньше было обратно: частное переходило в общее.

Кулаки, мещане, скряги и т. п. не эгоисты, а не осилившие эгоизма люди, рабы эгоизма.

***4 Марта.*** Старуха все с м о г а л а с ь, а в прощеный день руки от работы у нее совсем отвалились, и все хозяйские мелочи как дождь каменный стали сечь Софью Павловну: с раннего утра, как ноги с кровати спустит, забота начинается: лучинку — самовар поставить — и ту ведь надо с вечера припасти, в печь сунуть, чтобы высохла, а не сунешь — час и два проведешь, пока разгорится самовар.

Лучинку припасти, а вода? все кадушки с водой замерзли, не вода, а лед, с вечера надо льду наколоть, в печку чугун со льдом поставить, чтобы за ночь растаяло. И рубить лед надо спешить, а то водовоз воду привезет, он не ждет, сливать некуда, повернулся и уехал. Надо снег от ворот отлопатить, снег, бывает, горой завалит ворота — не отворить. Водовоз кричит: «Отворяйте, отворяйте, так ждать везде — где же мне свое выработать!» И правда: ведь овес-то вскочил в пятьдесят рублей пудик! А скоро ли снег отгребешь, намело до середины ворот!

Работает, лопатит Бестужевка Софья Павловна снег и при том ласковым голосом упрашивает, она с этой стороны, а нянька зайдет с улицы, тоже уговаривает: «Водо-

возушка, родимый, вот жизнь-то, вот до чего дожили». — «Дожили, матушка, дожили!» Уговорят, умаслят, откроют ворота. Господи, твоя воля! на двор ворота открылись, на дворе расчищено низко, а с улицы стена отвесная стоит и наверху водовоз, как у края пропасти. «Водовозушка, водовозушка, — молит нянька, — обожди, родимый!» И давай сверху скапывать снег... Устроили спуск, слили ведрами воду, проводили водовоза, закрыли ворота. Ух!

Квартальная крыса приходит, навещает, чтобы заделать к завтраму все ухабы на улице против дома, а не заделаешь — 500 рублей штрафу. А ребятишки, все еще неодетые, сидят на кроватях, сердито орут: «Мама, мама!»

Ну, как тут жить без старухи, и тут еще от холодной воды стали нарывы на пальцах показываться. Стали для экономии, чтобы меньше посуды мыть, на все кушанья по одной тарелке, глубокая тарелка из-под супа, она же и под картофель, и под кашу, потом перешли на общую чашку, и все, как крестьяне, стали есть из одной миски.

Иван Львович, студент и командир батальона, реквизировал комнату, две железные печки привезли; только привезли, вдруг повернул батальон на север, уехали, и печь осталась. Слава тебе, Господи! собралась вся семья в комнату Ивана Львовича и стала печку топить стульями.

Как вечер, топор под пальто и на промыслы: там доску от забора отбил, там столбик возле дороги срубил. С добычей домой!

Эпидемия тифа: перестали бояться. Нянька рассказывает:

— Пришел мальчишка, весь в волдырях. Доктор: не отживет. А какой мужик-то вошел! А звали его Тимка. «Есть что у тебя?» — «Пьяная мать, больше нет ничего!» Намедни встречает — узнал (пшено принес). Анна Григорьевна говорит: «Приходи чай пить под яблонку, погодка славная, приходи!» Прихожу, а она черная под яблоней лежит. «Ты, — говорит, — посмотри, что в избе-то!» и проч. Доктор говорит — умрет, а они все выживают, и какие люди-то хорошие!

Так мало-помалу и думать забыли, что есть эпидемия и что она страшна: кому суждено умереть — умрет, а я, может быть, и выживу.

***5 Марта.*** Чуть светает. Чайник вскипел на чугунке. Нянька со своим чайником приходит пить: ее чайник белый с розовыми ободками, со свинцовым носиком, крышечка привязана тесьмой, и пьет нянька траву зверобой. Она вспоминала: сегодня 19 Февраля, когда «волю читали». Ей был 14-й год. Я спросил ее: «Заметно чем-нибудь стало, когда волю дали?» Она ответила: «Нет, незаметно».

Нянька моя, и вот такая же нянька через 25 лет будто воскресла.

Есть в душе чувство такой любовной различимости людей, через это находят подобное, и это дает основу сказать про жизнь бесконечную. Обратно этому чувству теперь: минуя свободно-любовную отличимость, прямо объявляют, что все няньки есть одно и то же.

Предвесенний свет открывает голубые царства в славе и блеске, все крепнет и крепнет мороз по утрам, но по вечерам и утрам по дорогам остаются неисчезающие следы полдневного угрева. С каждым днем полдень все сильней и сильней разгорается.

***6 Марта.*** Какое безумие: стереть пушок с крыльев всех бабочек и сказать потом, что все бабочки одинаковы. Какое безумие!

***7 Марта.*** «В Боброве...» — «Где это Бобров?» — «Город есть Бобров, не знаю, где это находится». — «Ну, что там в Боброве?» — «Сказывают, что в Боброве большевиков нет и все дешево, как при старом правительстве».

Сказка-сон: я будто бы звонюсь к себе, открывают дверь, я говорю: «Знаете, неужели не знаете, да как же вы не знаете! ну, слушайте, не слышите? Откройте форточку, ну?» Через форточку явственно слышно — играют трубы и поют: «Славься, славься, наш русский царь!» Старуха,

крестясь, становится на колени и шепчет: «Слава тебе, Господи, дождались батюшку!» Мальчик Лева, возбужденный музыкой, поет свой «Интернационал»: «Кипит наш разум возмущенный, на смертный бой идти готов!»

— Славься, славься, наш русский царь!

***9 Марта.*** Говорят, что четверть населения Ельца спит на соломе, в валенках в помещениях, более месяца неотапливаемых, — источник эпидемии тифа.

Сегодня говорит:

— Я Анна Каренина! или: — Я в церковь не могу войти.

Завтра:

— Я не чувствую в себе измены — я его люблю. — Не люблю, совсем не люблю как мужчину его.

Привязанность, жалость, дети, хороший человек. Основа колебаний — неуверенность в серьезности моих чувств.

***10 Марта.*** Третий день дождь, оттепель. Это еще не весна. Где моя былая охотничья радость! Никуда не уехать — тюрьма. Кто ездит — привозит тиф. В какой дом не пойдешь — везде тиф. Мы перестаем вовсе бояться заразы, относимся к этому как простой народ.

Печник Софрон, который настоящего не сознает и живет по-старому.

***11 Марта.*** Поколеблены такие основы, нельзя было предположить, чтобы мог старый бытовой человек при этом жить, а он живет. Все объясняется приспособляемостью человека.

«Видел, няня, во сне царя». — «Какого царя?» — «Николая». — «Жив ли батюшка-покойник?»

Искусство: монах творит, эстет питается — вот жизнь искусства, а филистеры учат народ уму-разуму.

***12 Марта.*** День свержения царя. Накануне видел во сне Николая.

— Няня, я видел во сне царя Николая, к чему это?

— А как видели?

— Будто бы он денег мне дал на Рябинскую библиотеку.

— Это ничего, не насильно же взяли у него, сам дал, это ничего. Он жив ли, жив ли батюшка-покойник?

Я видел сон, будто я в дороге, еду с поклажей неизвестно где, неизвестно куда и со мною Лева. Останавливается моя лошадь, и вижу я, будто нахожусь во дворе перед нашим старым домом, сижу уже один, без Левы, на семейной нашей старинной линейке. Вокруг меня все родное: вот направо от входа лимон, посаженный еще покойницей няней, вот по двору по траве-мураве тропинка к леднику, работал с покойницей. А стекла в доме все выбиты, дом пустой, внутри, видно, разломано, как теперь. Но мне удивительно и радостно видеть все свое, родное, во всех подробностях, мне сладостно впиваться чувством во всякую мелочь, всякий камешек, всякую мертвую для всех безделушку природы, я смотрю — пью в себя и удивляюсь и благодарю кого-то, что дал мне видеть. И моя часть именья, где я трудился три года, мне видна отсюда, но как видна! Ясени будто всей массой подошли к старой конюшне и всею густелью свешиваются через старую конюшню, и смотрю — вижу, будто одна ветвь с широкими листьями кланяется мне. «Так это мне показалось, или ветер качнул?» — думаю. Но ветра нет, и гляжу, другая ветвь кланяется, третья, весь парк широлапистыми зелеными свежеизумрудными листьями шевелится, кланяется.

Под конец выбегает из пустого дома Лева и говорит, увидев меня:

— Ну, я так и знал!

Таким тоном: я папочкино знаю, он как сел, так и сидит, он большой чудак, как сел, так и сидит!

Родина моя, за сколько тысяч верст сейчас я от тебя!

Какое счастье, что хоть во сне удалось повидать тебя.

Сын мой, завещаю тебе смело и прямо идти на родину.

Белая ложь. Он (Горшков) сказал старухе, чтобы о муже она не беспокоилась. А на другой день велел его расстрелять.

— Вы спрашиваете про Лопатина? — сказал ей солдат на другой день. — Какой он из себя?

— Старик, высокий, белый.

— Лицо красное?

— Да, красное.

— Одет в синем?

— Да, в синем.

— Он, знаю, вчера расстрелян.

Белая, преступная ложь (Смердяков?), почти аристократическая, гениальная обворожительность обхождения, и за ней прозорливец, как через марево, видит всю лестницу преступного русского: там очаровательно нежный разбойник Васька Морячок, вор-форточник Петька-брех, и тяжелый лошадный вор Ржавый, и бесчисленные русские ребята, молодчики-неудачники. Все они вышли теперь из подполья, у всех свое дело, и жалованье, и френч, и все в обществе, и компания, где собственник-буржуй лишается собственности ради общего блага, все они микробы, разъедающие труп частного, переделывающие собственное единственное в безликое общее.

Революция как преступление. Нужно знать историю русского преступления, и поймешь русскую революцию. Недаром в конце Империи преступники государственные перемешались с преступниками уголовными, и постоянно в ссылке уголовные выдавали себя за политических.

Завет революции: мщение всем, кто знал благо на родине.

П о д-лость,

совершил Яша: живет, ест хлеб-соль у женщины, сидит вечерами у нее на лежанке, любезничает и в то же время пишет о ней в газете, называет кулачихой, предает.

Он знает, что мать этой женщины помешалась, замученная в тюрьме за неуплату «контрибуции», и все-таки

предает тайно, написав статью и скрыв свое имя под Лость.

А что такое Лость — это известно каждому русскому, это блестяще-гладкая шерсть хитрого и сильного битого зверя, ныне выпущенного на свободу под именем беднейшего из крестьян.

Добро пересилит зло. Награда за дело злое в руках, а наказание неизвестно когда будет. А за добро часто наказание, а награда Бог знает когда придет.

Ох, потянуться бы, поднатужиться да поднять с собою всю Русь.

***13 Марта.*** Ежедневно утром, днем и вечером смотрю на преступный Аграмач и думаю — представляю себе всю революцию как «наше преступление».

Достоевский изобразил интеллигентное преступление — «Бесы», Родионов — народное.

За добро часто немедленно получают наказание, а награда настоящая, верная награда обещается в той жизни. Злое дело вознаграждает немедленно, а наказание в той жизни. И несмотря на это вывод: добро перемогает зло.

Мы, конечно, находимся во власти преступников, но указать на них, сказать: «Вот кто виноват!» — мы не можем, тайно чувствуем, что все мы виноваты, и потому мы бессильны, потому мы в плену.

Революционер и контрреволюционер — одинаковы, у всех рыльце в пушку. Спасет нас не добро одних-других, а наше страстное желание жить, победит «трудовик».

***14 Марта.*** Мой доклад на театральном съезде о самобытном русском театре.

Я запрятал в него анархизм, славянофильство, и успех у коммунистов громадный, потому что все эти «революционеры» наши в существе своем мещане и факт анархизма достаточно гарантирует бытие их мещанской самости.

«Самобытность» по-ихнему значит жить самому хорошо...

***15 Марта.*** С неделю — вода. Если еще дня три тепло, то дорога испортится, река пойдет. Через три дня новолуние: можно ждать, что за эти дни схватит мороз, и так дорога останется еще недели на две.

Стало тепло: есть заметно стали меньше. Вчера ввели военное положение, слухи о военных бунтах. И так по исторической логике видно, что назревает конец власти через разложение армии. Скоро ростепель отрежет путь, пошлют тогда солдат для усмирения мужиков?

Съезд деятелей театра

Председатель, заведующий подотделом внешкольного образования, сын диакона, в фуражке студента коммерческого института (образованный) Германов («балда») — глушит коммуной, как балдой. Похож на соборного протодьякона, когда ему сказали, что архиерей подъехал, и он замахал кадилом, а нет архиерея, и диакон упорно машет и машет кадилом.

Артист Диосей (с большим флюсом) год был деревенским инструктором театра, разочаровался, простудился, подал прошение назначить его в городской театр первым попиком — хочет карьеру сделать, берет слово и начинает:

— Господа!

Балда:

— Лишаю слова!

Диосей:

— За что?

Балда:

— Слово принадлежит тов. N. Я лишил т. Диосея слова за то, что он сказал «господа».

— Я ошибся...

— Слово принадлежит...

Футуристический «фабричный гудок» дошел до слуха коммуниста и стал играть роль: нет равенства, нет любви, остается «фабричный гудок».

Идеал коммуны в понимании нашем (субъект перешел в объект) психологически исходит от мещанского домика (уничтожение субъекта — мещанства).

Дама из центра: клубный инструктор от военной организации, одета в солдатскую шинель с императорскими гербами на пуговицах, коротенькими семенит ногами, ужимается, улыбается, читает доклад по тетради, плохо разбирая, и никто ничего не понимает, употребляет выражение «выжатый лимон» — про интеллигенцию.

Диосей (вскакивает):

— Вы хотите нас, артистов, выжать и выбросить за окошко?

Балда:

— Совершенно верно, это одна из основных диктатур про-ле-та-риата: выжать всю интеллигенцию и выбросить вон.

Недоучка из коммерческого училища, сын дьякона, ныне коммунист, заведовал отделом, внешкольным отделом — называет себя вождем народа (от лица народа).

Они (социалисты) правы, пока говорят о равенстве материальных условий и достижениях разных индивидов, но когда они на практике хотят сравнять самих субъектов — получается абсурд.

Спор, волнение, Балда грозит мандатной комиссией (им):

— Приходите завтра в ячейку, там поговорим!

Балда:

— Мелкие пороки, описанные буржуазными писателями, Шекспиром и пр. — это всё насмарку, всё: ревность и любовь всякая. Пролетариат жаждет воспеть фабричный гудок и машину.

Иронический голос студента:

— Подобно тому, как Акакий жаждал песни о своем стуле, на котором высидел сорок лет!

Голос:

— Любовь и ревность — это естественная страсть, а не пороки.

Возражение:

— Нет, порок нужен!

Балда:

— Страсть есть тоже порок.

N.:

— Но естественный.

Балда:

— Нет, не естественный: воспитанный порок. Отмените брак, и не будет ревности: жена уйдет, и кончено. Отменят денежную систему, и нет скупости, а вы говорите: «Скупой рыцарь» Пушкина. Не нужно нам таких пьес.

Директор музыкальной советской школы Шулькин. Художник Стрежнев с ассирийской бородой и штаны клеш из матросского сукна.

Отдел — вертеп просвещения.

Пьесок, керосину, соли. «На что же соль?»

Заскорузлый местный художник против [сцены]: кустики, цветочки. За — коммунист, [сцена] — движение вперед. Председатель захолустного культкружка за (как коммунист), но, не понимая в этом, говорит про кустики-цветочки. «Нет пьес!» (Пролетарских и всяких.)

Пьеса: «Ванька-Пролетариат». Идея пьесы: воспитать культурную молодежь для образования человечества, чтобы создать всем понятное и всем приятное.

В собрание попал мужик-скиф, я спросил его, как он смотрит на такое собрание:

— Поклоняются Акулькиной ноге.

...в этот момент речи культурного деятеля его укусила сыпная вошь.

— Выше вы говорите: все в будущем, но где же цвет души вашей?

— Нет его, я отравлен.

Самобытность мою они поняли по-своему, и за ней скрывалась «национальность»: они закричали против Европы.

Революция — творческий акт, субъект которого есть народ, 1-я часть — нигилизм, обнажение творческого Ничто (нет ничего), 2-я часть — выступает «трудовик» и под

знаменем самобытности создает нацию, которая фиксируется в государстве.

Горький, Евгений Ник., Мар. Мих. и т. д. — делают себе фетишей из «культурных ценностей» (Европа, «Летучая мышь», курсы и пр.).

Анархическим клином вошел Горький в росщеп интеллигенции и народа, Ленин объявил интеллигенцию лимоном, из которого народ должен выжать все соки и потом выбросить. Народ тяпнул обухом по лимону, брызги разлетелись в разные стороны. Огородник Иван Афанасьевич пришел и сказал: «Во всем была виновата ан-тиллигенция!»

***16 Марта.*** Со временем дело социализма перейдет кооперации...

Тело социализма — кооперация.

Социализм со временем распаяется надвое: на кооперацию и на анархизм.

В доме у нас электричество, а прислуга, нажимая кнопку, говорит: «Вздула огонь».

«Я» мое в жизни много раз умирало-рождалось — это понятно-просто (наше тело тоже много раз сгорало и возобновлялось), но удивительно, что одно «я», каждое «я» помнит другое, что между всеми этими моими «я» существует связь.

Нарисовать картину жизни данного человека — это значит связать все «я» его жизни, рассказать про эту связь.

Внешняя связь — это условия рода и общества, исключив все это, остается Я неизобразимое, Я непознаваемое. Мы видим лишь момент его воплощения — рождение и момент исчезновения — смерть.

Например, нужно описать, как я был марксистом, значит, как Я пришел к этому, как воплотился (я — марксист) и покинул эту оболочку.

***17 Марта.*** Сладость — мать лжи и всех пороков.

Уважать нельзя, а любить можно.

Масса и коллектив.

***18 Марта.*** «Я трудящийся человек — трудовик и хочу создать всем полезное и всем приятное». — «Не беспокойтесь, товарищ, ваше время придет». — «Пока дождь пойдет, роса глаза выест, — что я, безглазый, увижу? Нельзя соху отменять, пока нет трактора, лишиться видимого из-за невидимого».

Все железные дороги остановились: только товарные, как на войне, вся жизнь становится похожей на то, будто мы все едем ближе и ближе к позициям.

***20 Марта.*** Творчество Софьи Павловны (жить втроем). А я, как лоцман, веду по рифам лодочку с женщиной (что сохранило ее?).

***21 Марта.*** Молоко с 30 руб. четверть дошло на этой, третьей неделе поста до 15 руб., и какая радость. Так от маленького начинается поворот к новой жизни...

Я теперь понял, почему коммунистам никто не возражает по существу (идея против идеи), это потому, что сама жизнь этих бесчисленных обывателей есть существо: жизнь против идеи.

***22 Марта.*** Сóроки. Лютый мороз. Получилось известие, что у меня родился сын Михаил. Язвительно спросил меня Александр Михайлович: «Как же вы его воспитывать будете?» Чуть не сорвалось: «Как бы вы воспитали без Софьи Павловны своих детей?» Между нами разлад: я могу жить один, сам с собой, а она не может. Он — монах (полумонах).

Встал в 8 по-новому, по-старому в 6 ч. Ссора из-за Левиной лежки. Софья Павловна сказала:

— Я делаю о д о л ж е н и е, что занимаюсь.

Я подумал: я тоже ей делаю разные одолжения. После она смягчила слова и сказала, что она это для Левы говорит. Нужно внушить ему, что это одолжение. Заставила

Леву десять раз просить у нее прощения. Ходили с Левой за несгораемым ящиком. Встретился страховой агент Соловьев:

— Несгораемый, — говорит, — как?

— Так, несгораемый.

— Сгорит! — сказал он странно.

Был на душевном допросе у Соф. Павловны.

— Почему так далек?

Объяснился, что хожу оглушенный нашей историей в безвыходности. Не очень поверила. Это и правда, но я сам не знаю почему.

Приехал Ксенофонт, привез Маню. Она сказала мне и С. Павл., что мы с лета постарели лет на 20. Тогда вдруг мне вернулась в душу вся нежность к ней. Ксенофонт и Маня обругали моего врага Мишукова страшным словом «жуплан». Привез Ксенофонт 2 фунта плесневелого, зеленого, а сам забрал у меня 16 пуд. ржи: он пес, и жена его псица.

Перед обедом А. М. спросил: «Как вы будете воспитывать своего нового сына?» Яд не подействовал. Теперь я знаю, что он без Соф. Павл. тоже не воспитатель (хуже меня). Их отношения никуда, расклеилось склеенное: она чужая в его деле, он чужой в семье. За обедом говорили о кризисе продовольствия. В 7 веч. он на службу, мы в гости к Ольге Михайловне. Гадали мне на картах: в делах успех, в любви любовь, в кознях козни и т. д. Говорили о судьбе, что можно ее обойти или никак нельзя. Без меня приходил за пилой Сытин. Как-то завтра я буду готовить дрова без пилы. Вечером затопил свою печку, а Соф. Павл. собрала детвору, мать пела с ними песни, вовлекала меня, это было очень похоже на Ефр. Павл., и я внезапно пришел в скверное расположение духа. Пришел мрачный Ал. Мих., и мы при лампадке мрачно сидели втроем, перекидывались фразы о водовозе, о муке, о том, [что] ничего неизвестно про политику, что спартаковцы совсем не то, что большевики. Легли не поздно, чтоб встать пораньше. С. П. сказала А. М.: «Мне приятно, что ты стал рано вставать, что ты с нами». Оба они выработали себе замечательное искусство говорить друг с другом и не договаривать до са-

мого последнего конца, говорить, не договаривать, жить, не доживать. Благодаря этому создалось такое состояние, что ложь нельзя прямо назвать ложью (а может быть, это не ложь — неполная), измену — изменой, любовь — любовью. В таком пористом состоянии можно устроиться третьему и получить одну треть.

***23 Марта.*** Мороз сломила холодная злая кура́. Вот как рвет и метет сверху и снизу, вот как бушует! Последние дни зимы проходят. С. П. давит, как государственная власть давила меня, подошвой — достал подошву, теперь чай вышел, чайными щипцами ловит. Не будь рядом А. М., все было бы понятно, но я всю зиму им все доставал и, кажется, имею право хоть на месяц отдаться своей работе так, как А. М. отдается своей.

***24 Марта.*** Кура́ стихла. Легенький утренник, солнце. Весь день медленно таял лед отношений, сложившихся из-за чайного дела, и вместе с тем тягостное чувство — как будто мы друг друга обокрали. Читал Гамсуна «Лес зимой» и другие рассказы: так мало леса и так много себя. Раньше казалось мне, что Гамсун, уходя в лес, показывает нам природное начало человека-зверя и противопоставляет этому, как Толстой, верхний, оторванный от природы человеческий слой. Теперь у меня иной взгляд — я думал, читая пребывание Гамсуна в лесу, что вот как богато жило общество, до того богато, что отдельный человек мог находить удовольствие жить в торфяной юрте и общество находило интерес выслушивать его рассказы.

Все угорели. В сумерках прошелся по Орловской вдоль бесчисленной тротуарной толпы. Какая все мелкота гуляет, какие обломки общества! и никто-то не знает, куда и для чего все так творится-варится в этом чану. Может быть, так нужно для какой-нибудь далекой настоящей коммуны, чтобы все негодяи отобрались, оказались (да, «оказались»: это они гуляют, служат, управляют — это и есть «оказание»).

Роль неудачников в революции, «недоучек» в момент их озлобленности (убить Розанова). Я думал о своем перевороте, когда увидел, что моя мысль о счастьи «всех» — эгоизм.

Вечером приходит А. М., при свете лампады мы погружаемся в полумрак ночи, в тоску, в беспросветное будущее, мутными глазами, мутными чувствами, мутным разумом ищем хоть какую-нибудь опору для будущего.

Третий день служит нам коротконожка Маня, гадкий утенок, читает романы, а мать: «Ты только раздражаешь себя романом, читай Евангелие». Одно утешенье, что подбирается (если это конец мой) к моему концу семья хороших людей (лебеди): семья Шубиных.

Надо разработать миф о беднейшем из крестьян, от смирнейшего («барыня») до гордейшего (Смердяков — Горшков), ком навертывается: барыня, Пашка, Николка, Васька.

***25 Марта.*** Мчится мороз по метели и все слабеет, слабеет — вот-вот, дожидаемся, оборвется все и побежит. В щелку все-таки ухитрюсь как-нибудь выглянуть из человечины в Божий мир, как-нибудь ухитрюсь, это единственная радость.

***26 Марта.*** Пост пополам хряпнул. Мороз-утренник схватил метель. Чистое небо, яркие звезды, при которых рождается мороз, это же и губит теперь мороз: восходит солнце богатое, и к полудню является весна.

Щекин-Кротов в Отделе говорил о «диктатуре недоучки», о Лебедеве, заведующем отделом (кабинет разделил щелевкой на канцелярию и собственный кабинет, где склад мебели Заусайлова и заведующий отделом сидит как приказчик): Лебедев гонит бумагу, поправляет испорченную карьеру, называет себя рабочим, а рука маленькая, чистая и фигура не рабочего.

Смерть учителя Висококосова — женился на горничной, пять человек детей, она им помыкала и даже белье заставляла стирать, мучился, что служил у большевиков. Во время болезни (сыпной тиф) семья пять дней не ела и пять

дней не топились печи. Подписной лист. В канцелярии сказали: «Одним чернописцем меньше» и «А рабочие как умирали?». Щекин-Кротов — интеллигент — юродивый в Отделе.

Приходила учительница Казинская с Лидией Михайловной Климовой, толковали о преподавании Закона в школах.

***27 Марта.*** Мороз победил метель и воцарился, как в Крещенье (он у звезд просил защиты ночью, и звезды согласились, у месяца — месяц молодой согласился, а солнце — отказало).

Она сидела в моей комнате, и когда раздались его шаги в галерее, быстро вышла, через окно он увидел мелькнувшую ее фигуру и на весь день насупился.

У Володиных продовольственная победа: променяли два старых пиджака на масло, муку и пшено на тысячу руб., и какая радость в доме, какой чай с деревенским ситником и творогом! И потом до вечера разговор: «А капусту можно достать...» Из овса кисель, как рушить овес на кофейнице, рецепт из Москвы.

— «Вы худеете!» — «Да все так». — «Нет, не все, вы от чего-нибудь другого худеете...»

Четыре дня газет не было, сегодня пришли известия с речью Ленина, в которой он призывает товарищей основываться на социализме. Смысл речи был, что капитализм находится «в душе».

Другие советовали дать льготы крестьянину-середняку, привлечь его на свою сторону (пролетариата) и потом эксплуатировать в пользу пролетариата.

Читаю Соловьева о славянофилах и просматриваю насквозь свои русские инстинкты. Правда Петра и правда староверов (Ленин и буржуа).

***28 Марта.*** Зародился план исследования берегов Быстрой Сосны и Тихого Дона.

Голодные салоны.

Установили: в мае если определится неурожай, надо бежать, если благополучно — переезжать в деревню. Итак,

за эти два месяца нужно сделать всю работу (консп. записки).

Две женщины — одной, дикарке, испытание жить в культурных условиях, другой, культурной — в диких.

***31 Марта.*** Из истории коммуны: переводя часовую стрелку на два часа вперед, она воображала себе, что распоряжается временем. И правда: чиновники слушались, вставали на два часа раньше, но в деревнях солнце всходило по старому времени, и по старому времени выгонял пастух в поле коров, и черный бычок с белой звездочкой, похожий на Аписа, жевал свою жвачку точно, размеренно, по столько-то жевков в минуту, и вес его увеличивался по старому счету.

***1 Апреля.*** Соф. Павл. похожа на слепую орлицу, не видит, а рвется в высоту. Бродит — натыкается, клюет камни и дерево, складывая неестественно крылья. А возле нее живет унесенный ею когда-то в высоту и упавший вместе с нею барашек. Клевать бы его, а не может — жалко. У барашка свои радости земные, луговые, он пробует ей рассказать иногда о них, но она его не понимает.

Написать по Андерсену сказку: орлица несла барашка в горы, выстрел: слепая упала в ущелье, охотник не нашел ее, и она некоторое время жила у барашка. Или так сделать: я много охотился, и раз со мной случилось нечто, отчего я научился понимать язык животных. С тех пор я бросил охоту и слушаю животных. Слепая орлица — барашек и всякие животные (муравьи и пр.) в отношении к слепой орлице.

Я описываю себя и раскрываю себя в отношении к другим Я или описываю других; как они понимают меня — он.

Я — как они мне кажутся, он — как я кажусь им.

Можно изображать жизнь людей двояким способом: 1) как люди мне представляются (от первого лица рассказ <*приписка:* лирика>), или как я представляюсь людям

(другим) — веду рассказ про «него» (героя) — эпос, или же чередуя одно с другим, или, наконец, сочетая то и другое внутренно — драма.

Поэзия как «нет» родовой любви и как «да». Она пришла осмотреть все богатства мои, которые я зарывал-хранил, я пришел к ней как тихий гость быть свидетелем грешных снов чистой женщины.

***9 Апреля.*** Этнография — описание жизни народа.

Утренняя прогулка в Печуры. Свобода духа. О краеведении.

Любовь своего края через собственность...

Любовь или привычка. Отличить: нужно взглянуть со стороны. Странничество. Для этого нужно воспитать свой вкус.

Хлеб нашей души есть красота.

Бессознательно мы ею питаемся. Нужно создать себе в этом привычку.

Цель моих статей — указать такой путь, чтобы каждый, прочитав и обдумав написанное мной, мог бы немедленно приступить к делу изучения своего края. В основу своего дела я положил чувство прекрасного, настоящая красота есть пища души.

Изучение есть дело любви. Мы все любим свой край, но не знаем — что, не можем разобраться, различить с высоты.

Герой моей повести — народ, описание масс. Мы все будем творить одну повесть — о народе. Наш Елецкий уезд — пасынок в литературе.

Хлебопашец.

Как свое дело, свою задачу — чтобы каждый понимал изучение края.

***12 Апреля. Вербное Воскресенье.*** В постели при первом утреннем свете я думал о пьесе Гамсуна «У врат царства», что как хорошо у него изображена «крестьяночка», без всякой иронии дано общеженское начало; и я переводил это на Ульяну — очень похоже; только щемила за душу мысль о своей роли... думал о сложности нашей, сколь-

ко времени нужно было нам вместе с Ульяной пахать и боронить наши интеллигентские души, чтобы можно было поцеловаться, — еще я думал в связи с Алекс. Мих. и Иваном Афанас. о наших консерваторах, — какие они на вид ласковые и какие по существу злобные люди, у меня этого нет, чтобы дорваться, и судить, и вешать врагов.

Думал про покойника Дедка и дядю Колю, про их подвиг жизни скромнейшей в обожании природы и вне человеческого бытия, думал про наше политическое положение, старался угадать, будет нарыв рассасываться постепенно или будет переворот, ничего не мог надумать: все идет само собой... как война; я только боюсь, что наше поколение засыплет и разделит от нового (американского типа) громадный земляной вал, что когда-нибудь, очень нескоро нас будут выкапывать из-под земли, как в Помпее...

Я встаю с постели, одеваюсь, выхожу на террасу: по реке плывут остатки льда, вода спала, день пасмурно-нависший, на горизонте до тумана виднеется освобожденный от снега чернозем. «Маня! — говорю, — мы пойдем на Пасхе в Хрущево?» — как хочется, и чувствую, что нет, все там отравлено, не хватит духу обрадоваться.

Пил чай, курил папироску ценою в 40 к. и думал, что хорошо бы променять вчера полученные лоскуты кожи на сухари, тешит меня составить запас провизии на дорогу, а куда, неизвестно, лишь бы чувствовать, что захочу и двинусь куда-нибудь...

Думал еще, что а вдруг окажется, я связан с нею больше, чем даю себе отчет, и когда захочу серьезно уйти, то и не пойдешь. Ее ведь (любовь-то) не знаешь: рванулся и больше запутался...

Потом я опять подошел к окну, смотрел на Печуры, на вид реки с нашего высокого места и думал, что вся проповедь моя (если я буду этим заниматься) будет состоять в том, что я буду учить их, как всходить на возвышенные места и так создавать себе праздник...

Поэзия тишины зеркальных вод с отражениями и людей с глазами ясными, но слепым разумом, виновато-скромной улыбкой за свое неразумение и тайное дело любви...

Как вспомнишь себя после всего пережитого, как оглянешься — не я, а безродное дитя блуждает по жизни в поисках своих родителей...

Никогда, о, никогда не верно думать, будто когда Я мое обрывалось и перерождалось во мне, то дитя блуждающее тоже умирало и возрождалось, — нет! оно явилось на свет и оставалось неизменным само по себе, перемещалось после в разные слои, как молоденькие деревья постепенно перемещаются из года в год в более высокие слои воздуха с другими горизонтами.

Почему же так кажется мне, что когда я перемещаюсь в другую среду жизни своей, то я становлюсь другой?

Оглянитесь вокруг себя на своих сверстников, скажите нам, ну есть ли хоть один человек, кто не остался в существе своем таким же, как знали мы его в детстве?

***15 Апреля.*** Из Влад. Соловьева (В защиту Петра Великого). Старообрядчество распространялось там, где к русскому населению примешивался финский элемент (буквальность и заклинательный магический характер религии финнов; родоначальники магии, халдеи, были угро-финского происхождения).

Сущность распри: «Чем определяется религиозная истина: решениями ли власти церковной или верностью народа древнему благочестию».

Спор кончился тем, что власть церковная заменилась властью «доброго и смелого офицера», а верность мирянина потеряла путеводную звезду (мое изложение).

«Я даже затрудняюсь назвать его великим человеком — не потому, чтобы он не был достаточно велик, а потому, что он был похож на великанов мифических: как и они, он был огромною, в человеческий образ воплощенною стихийною силою, всецело устремленной наружу, не вошедшею в себя. Петр В. не имел ясного сознания об окончательной цели своей деятельности, о высшем назна-

чении христианского государства вообще и России в частности».

Был у Над. Алекс. Огаревой по делу спасения книг Стаховичей, и пахнуло на меня (из меня) той прежней сословной ненавистью к дворянству. Верно — мало кто научился чему-нибудь из опыта своего беспримерного страдания...

Они все мечтают об одном, как бы возвратиться в свои владения, на этом пути они родину никогда не узнают, и деревья им не поклонятся, деревья их родины срубят.

Я встречаюсь на улице и говорю:

— Колчак идет!

— Идет?

— Идет!

Им до сих пор не наскучило ожидать помощи извне...

Продолжение Невидимого града:

Вот моя книга окончена. Я хочу ей дать название и думаю: откуда же, в конце-то концов, произошли представления о Невидимом граде, не может быть, чтобы до этого дочувствовался самостоятельно заволжский старовер. «Кто бы мне об этом лучше всего рассказал?» — думал я, и Мережковский сам собой навязывается, вспомнил, что в Китеже встречали Мережковского, я пишу ему про это письмо, и он мне отвечает немедленно и назначает час.

К лекции о краеведении:

Вспомните, когда вы блуждали в лесу или зимой в поле, и вот показался лес, показались деревья, это лес ваш, это деревня, где вы выросли, но вы не узнаете места и рассматриваете его как посторонние, — как оно вам кажется, как представляется? Но вот вдруг вы узнали его — и все очарование исчезло — свое место, цветы, вы обрадовались другой радостью, что можно отдохнуть в нем, и забыли очарование, как сон. Это два совершенно разных чувства. И вот еще два разных чувства: вы смотрите на землю и луг, покрытый цветами, и вам кажется, что это только у нас так хорошо. Но вы смотрите на разлив, и вам представляется океан и радость всего мира. Чтобы узнать, чтобы по-

нять свой край, нужно заблудиться и увидеть его вновь, и удивиться, и полюбить, и узнать по-новому.

Поэт, писатель, ученый, открывающий в нас новые чувства, дающий нам новые знания — все они, чтобы дать новое, внутри себя разбили старое, заблудились в обломках и увидели новый свет.

Но это были отдельные немногие лица, теперь весь народ сломал свое старое, и каждый может, если захочет, — и он должен это сделать — посмотреть своим глазом на свою родину.

Мы, кто имел личный опыт в этом, должны помочь этому человеку, указать ему пригорок, с которого он увидит.

Тяга и любовь.

Итак, два чувства: земли и моря, чувство своего. Третий пример: вещица эмалевая в магазине, и когда вы ее купили, она ваша.

Тяга земли — к земле, внутрь, войти в дом, и тяга моря — выйти из дома на Божий мир.

Наша история: 1-й период, Москва — тяга к земле, второй, Петербург, — к морю.

Сейчас время, когда то и другое скрестилось.

Теперь нужно соединить то и другое чувство: дело собирания Руси и дело собирания человека. Что соединит то и другое? — человек, то есть существо творческое, своим творческим процессом человек должен соединить то и другое.

Задача наша — помочь каждому желающему стать на этот путь.

***17 Апреля.*** Любовь всегда бывает с перебоями, во время которых любящие говорят: «Нет, ты меня не любишь!» А потом, когда начинаются приступы, повторяют: «Я тебя люблю!» И так всё мотивы — любишь, не любишь.

Национальный вопрос в России. Влад. Соловьев.

«Личное самоотвержение, победа над эгоизмом не есть уничтожение самого ego, самой личности, а напротив, есть возведение этого ego на высшую ступень бытия».

Надо бы условиться, что ego означает, ego и индивидуальность, которая есть домик личности, сознающей себя во всех и во всем, так что эгоизм (национализм) означает бытие на земле — это одно состояние, и совершенно другое состояние вне этого домика, то есть духовное.

«Полное разделение между нравственностью и политикой составляет одно из господствующих заблуждений и зол нашего века».

(Государство во время войны восходило как красная планета, движущаяся не по нашим человеческим законам.)

— Лучше отказаться от патриотизма, чем от совести.

— Эмпирики. Англичанин имеет дело с фактами, мыслитель Немец — с идеей: один грабит и давит народ, другой уничтожает самую народность.

— Идея культурного призвания может быть самостоятельной и плодотворной только тогда, когда это призвание берется не как мнимая привилегия, а как действительная обязанность, не как господство, а как служение.

— Мы различаем народность от национализма по плодам их.

Национализм есть «народность, отвлеченная от своих живых сил, заостренная в сознательную исключительность и этим острием обращенная ко всему живому».

(Те же слова о коммунизме):

«Самозванная миссия»... (большевики) или «историческая обязанность».

— Человек все-таки есть существо логичное и не может долго выносить чудовищного раздвоения между правилами личной и политической деятельности.

— Христианский принцип обязанности или нравственного служения — совершенный принцип политической деятельности.

— Высшее и безусловное добро есть дело всемирного спасения... достаточное основание для всякого самопожертвования... тогда как на почве своего интереса решительно не видно, почему своими личными интересами должны жертвовать интересу своего народа.

— Народность не есть высшая идея, которой мы должны служить, а есть живая сила природная и историческая, которая сама должна служить высшей идее.

Такой взгляд является «национальным без эгоизма и универсальным без капитализма».

— Для того чтобы народ был достойным предметом веры и служения, он сам должен верить и служить чему-нибудь высшему и безусловному: иначе верить в народ, служить народу значило бы верить в толпу людей, служить толпе людей.

— Народ в своей самобытной особенности есть великая земная сила. Но чтобы быть силой творческой, чтобы принести плод свой, народность, как и всякая земная сила, должна быть оплодотворена воздействиями извне, и для этого она должна быть открыта таким воздействиям.

— Поэтому можно и должно дорожить различными особенностями народного характера и быта как украшениями или служебными атрибутами в земном воплощении религиозной истины.

— Пробуждение национального самопознания, то есть познание себя как служебного орудия в совершении на земле Царства Божия.

— Мы как народ спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоотречением.

***20 Апреля.*** Второй день Пасхи. Читаю Бунина — малокровный дворянский сын, а про себя думаю: я потомок радостного лавочника (испорченный пан).

Два плана: сцепиться с жизнью местной делом или удрать.

***22 Сентября.*** Слышал от коммуниста, что Мамонтов пойман и отправляется в «Центр», от N. — что Мамонтов был окружен в Боброве, но подоспел Деникин и Мамонтов сам окружил 8-ю армию и взял в плен штаб, а что Курск взят уже дней пять тому назад.

— Теперь только начинаешь понимать, какое золото, какая редкость, как нужно ценить эти силы, призывающие к любви к людям и радости жизни.

— В газетах объявлено, что начинаются занятия в школах, а учителям позволено идти в Лучковский хутор и собирать себе картошку и свеклу. Утром напрасно посылал Леву в гимназию, а вечером видел, как директор гимназии с женой пёрли картошку и свеклу.

— Юдофобство у коммунистов — органическое явление.

— Уехал благородный человек Иван Сергеевич, и родственники (черви мещанства) бросились его грабить: так бывает, когда улетает душа, и черви земли… Так Россия умирала, и ели труп ее черви, и моя душа была при этом, она была как хрустальная чаша, наполненная червями. Труп ели черви, а задавил Россию Удав.

— Из белой недели: посмотрел в окошко Лева, а по улице едут три богатыря, Добрыня Никитич… Посмотрел еще, а на Сретенском углу чудище (Лева: «Говорят о свободе, и нет свободы, а те ничего не говорят о свободе и свободны».)

***23 Сентября.*** Появление Елизав. Вас. с вестью: их жилец, коммунист, прибежал к жене: «Укладываться, казаки!» Сытины. Проверка слухов в Отделе: эвакуация жен, выдача денег. Слух о восстании крестьян. Нарастание паники. Вечером квартальный: «На полевые работы!» Вечерний слушок: «Шкуро идет из Касторного, послезавтра будут тут, «с твердой властью».

Семейная ссора из-за кусочка мыла: вот как заплелись нервы.

Ночью в половине второго просыпаюсь: на дворе у евреев и коммунистов движение, огонь, забивают ящики, и все живет, как будто в Последнюю ночь; слышу: «Вместе едем в одном вагоне». Эвакуация… Ночь теплая, как летняя, звезды.

***24 Сентября.*** Евреи и коммунисты переселились «на колеса», тремя огромными эшелонами живут в вагонах.

Сожители Гордоны выехали «на колеса», в их квартире показался на минутку штаб бригады. Слухи, что заняты Ливны. В газете наконец: пал Курск. Наши Елецкие вожди коммунизма, видимо, истрепаны и неспособны уже к делу — не так ли всюду? итак, событие конца можно представить себе объективно (дело коммуны) и субъективно (личность коммуниста Горшкова). В Изволях восстание крестьян: прогнали реквизиционный отряд. Говорят, что «мирно ликвидировали, без единой жертвы», то есть просто убежали.

***25 Сентября.*** В Отделе панику остановили, прекратили выдачу денег за октябрь и слух пустили: в Касторном нет казаков, Курск взят обратно и даже Ростов... А на улице в насмешку говорят, что красные войска переплыли Ламанш и взяли Лондон. Так успокоительно было весь день, над Лучком кружились два наших аэроплана, и под вечер бабы стали говорить, что из Задонска мужики едут с казаками.

Из Лебедяни приехали дети арестованных и отправленных в Москву заложников, по обыкновению, рекомендовал их Семашко, очень обрадовались, дали кусочек хлеба в благодарность.

Мелочные дела идут само собой: реквизировали имущество соседа Сахарова за уход в деревню. Улицы как будто ожили немного: продают опять пуговицы, мелкие груши, кое-что.

Приехал знакомый Ростовцевых с фронта и рассказал (теперь все от очевидцев), что Касторное, Воронеж, Ливны — заняты. Словом, к вечеру начали думать, что утренние сведения вымышленные.

Если нет на той стороне плана прочно занять Елец, и уехать отсюда будет нельзя, и город будет переходить из рук в руки, то мы тут будем жить как клопы в доме без хозяина, обратимся в клопяные шкурки, сухие и злые. И есть сухое сладострастие, оно охватывает внезапно, берется из ничего и переходит в злость и ненависть.

Возня с вещами хозяина (остроумный способ). Постоянное ожидание удара по дому и нашему хозяйству. Кого-

то видел за день, кто-то рассказывал, что хорошо жить теперь в Варшаве, город блестит, магазины, рестораны. И тут у нас... какая ужасная жизнь, дикая, невыносимая среди семей отцов, приговоренных к расстрелу неизвестно за что, увезенных неизвестно куда, в вечном страхе, в вечной тревоге за продовольствие, живем как куропатки под ястребом в голом поле: и спрятаться некуда. А день был — коронный день Сентябрьской осени, я смотрел на скалы Печур и думал: «Вот вечное, и вот наши настроения».

Говорят, что в школах пробуют начать занятия, надо завтра Леву послать: он одурел.

Счастьем своим я считал бы теперь, чтобы можно было выйти из города, стать на опушку леса и с ружьем дожидаться зайца: я больше ни о чем не мечтаю. Впрочем, хотелось бы жить где-нибудь в углу и знать, что он твой и никто без твоего зова в него не войдет.

Пытка наша теперь сверх всякой меры, сверх всякого смысла так ужасна постепенностью, длительностью и сознанием какой-то бесконечности: это ад, а современное имя ему — коммуна. Маленькие коммунисты ругают заправил, заправилы ругают столичных заправил, что они не сдаются, все ругают коммуну. Спасение будет в решимости переменить место: здесь вся почва отравлена.

Пришла баба, сказала, что из Задонска едут мужики с казаками. Прошла рота с двумя пулеметами, пели песню, шли стройно, только выделялись походкой два труса, и от этого казалось, что вся рота при встрече разбежится. Он стоял у окна, и ему пришло в голову, что эта рота пошла навстречу казакам: так связалось, так он рассказал, и так пошло по городу.

А колокольни все стоят запечатанные, и нет звона церковного, благовеста людям.

Обыватели попадают под действие вещей, как, [например,] раздел сахара, а политические деятели — под влияние слов, они спорят, придерживаясь формулы своей программы, пока их не выгоняют. Гипноз пустых слов по примеру Яши (Яша: «Я — карьерист»).

***26 Сентября.*** Я один теперь хозяин на всем дворе, да еще полоумная старуха во флигеле, мать коммуниста, и то не знаю, тут ли она, занавески сняты, огня нет. Боюсь, что ее оставят, эту старуху, которая по сыну считает, что коммунисты русские, и просит Бога, чтобы им было хорошо.

Прошла тяжелая сентябрьская ночь, осилил рассвет дождевую мелкоту и туманы, кричит на улице молочник: «Соха и молот!» — великая радость в «Сохе» и ликование, я подумал: «Правда вчера говорили, что Курск взят обратно и опасность Ельцу миновала», — почитал, нет! про Елец и Курск ни слова, а радость по случаю побед в Туркестане и какому-то благожелательному повороту в Лондоне общественного мнения по отношению к большевикам.

Однако надежды на восстания в тылу Деникина не совсем вздор, и решение вопроса состоит не в силе Мамонтовского кулака, а в устройстве тыла. И все это необходимо знать, напр., купцу Сахарову, чтобы решить вопрос о сохранении своей мебели.

Перерождение души обывателя, когда вдруг совершается невозможное: он расстается со своим имуществом и высказывает новую формулу: «Жизнь дороже имущества: продай все, лишь бы жить!»

Любовь-понимание и любовь-осязание, и все это облака, а род...

Нет ли выхода из тройственной му́ки такого: отдаться в распоряжение обиженного и все открыть ему и дать слово никогда больше ничего от него не скрывать?

К чему свелась классовая борьба: преступник и мститель и между ними инструктор-интеллигент (выжимаемый лимон).

Гида — еврейка, тонкая, белая, жизненно умная, жестокая, ненавидит русских, неуловимая (еврейская «Чертова Ступа»), — и казак, который, разорив всех евреев, почувствовал зубную боль. Спрашивает зубного врача, ему называют женщину: «К бабе не хочу, к еврейке не пойду».

Но боль заставляет его идти к единственному уцелевшему врачу Гиде, и так они встречаются.

Инструктор-интеллигент в конце концов должен превратиться в «жида» и с тайной ненавистью к среде самосохраняться своей культурностью.

Козырьковые вороны (шибаи) сидят, свесив козырьки над глазами, на бревнах, между собой ничего не говорят и если скажут, то все равно никто не поймет их языка. От жидов они отличаются пищей: их пища — родина, они паразиты нации, евреи — паразиты культуры.

Евреи — паразиты культуры, они льнут к культуре, как мухи к сладкому. Шибаи — паразиты земли (родины), они льнут к мужикам. Между евреями и шибаями война.

Сейчас совершается процесс оголения интернационала до «жида», русские неудачники и недоучки (среди коммунистов) чувствуют себя одураченными и с ропотом и злобой возвращаются в свое первобытное состояние.

Существует два интернационала: христианский универсализм и еврейский паразитизм, то и другое сочеталось в социализме и вовлекло сюда еще русского мужика.

Кусачие сентябрьские мухи остались в покинутом хозяевами и жильцами — евреями и коммунистами — доме, мы с Левой живем среди кусачих мух, днем бегаем за продовольствием и слухами, в 7 часов вечера запираемся (по осадному положению) и сидим: мухи засыпают, слышится по улице изредка топот копыт отдельных всадников или грохот телеги, да колотушка все еще изредка стучит — остаток прошлого.

Пришли, рассказывали, что будто бы вечером был действительно переполох, аэропланная разведка показала в 7-ми верстах мужиков: едут по Задонской дороге на Елец мужики. Но почему-то не пришли. А еще говорят, что сегодня эвакуируют аэропланы: бензину нет. А еще, что на Елец идет красное китайское войско, «и хорошо организованное», и в 60 тысяч.

Был Г. и сказал, что этой ночью мужики были действительно в 7 верстах от Ельца, а тот отряд с двумя пулеметами действительно пошел ему навстречу, мужики по-

бросали винтовки и ушли, но в другом селе, «поправее», началось другое восстание.

Говорят (кажется, правда), наши аэропланы сегодня эвакуировались по недостатку бензина. Пришел вечером Яша, весь в лентах с пулями, говорил, что всю ночь с отрядом ходил по зеленям и усмирял мужиков (семерых расстреляли).

***27 Сентября.*** «Пали» — значит, перешли из одного состояния чувства в другое. Они ходили по городу под руку, а после им стало стыдно ходить по городу под руку.

Любовь-понимание и любовь-осязание. Понимание берется за хорошее в человеке, поднимает его, указывает путь. Осязание все нащупывает и создает то раздражение, которым живет мещанство (не удовлетворяет).

В осеннем прозрачном воздухе сверкнули белые крылья голубей — как хорошо! Есть, есть радость жизни, независимая от страдания, в этом и есть весь секрет: привыкнуть к страданию и разделить то и другое.

Единство сознания, Я, вероятно, имеет свое реальное основание в том зерне, из которого развивается характер. Те, кого мы близко знаем с детства, например, из наших Елецких сограждан, взрослыми нисколько не удивляют нас своими поступками, нам кажется, что по существу они остались такими же (например, Чиж Паленый): родовое, природное данное, и к этому его личное, его единственное сознание себя, его Я.

Утрата единства сознания...

Жизнь в слухах. Я слышал сегодня от одного парня, что он в понедельник как очередной возил красноармейцев в Ливны и там во вторник пришел Деникин с регулярными войсками, наши будто бы сдались без боя, а на предложение расходиться ответили, что желают оставаться, потому что дома их все равно мобилизуют; не в пример Мамонтову, будто бы Деникинские войска не занимаются

грабежом, напротив, водворяют порядок; а идут они будто бы сначала на Орел и потом на Москву.

Это похоже на правду, потому что иначе непонятна Елецкая паника: что Курск взят, что не может быть этого — далеко, а что, как они сами говорят, по случаю крестьянских восстаний, то эта брехня, напротив, подтверждает предположение о чем-то более серьезном. И у них же сегодня напечатано, что бои в 50 верстах севернее Курска... А еще совпадение дней: во вторник будто бы заняты Ливны, и во вторник у нас началась паническая эвакуация, и еще что во вторник говорили, будто бы наших подсудимых пробовали везти в Ливны и вернули. Понятно теперь, что в четверг они спохватились и пустили навстречу панике вздор, будто ни Касторное, ни Ливны не взяты и даже Курск занят красными, и даже Ростов.

Итак, гипотеза: Ливны заняты. Встречаю Л., говорит: «Ливны заняты регулярными войсками». Обыватель: «А я верю и не верю», обыватель стал настоящим исследователем слухов, верит — не верит и распространяет, не веря, черт знает что: будто бы некоторые казаки в бытность Елецкую Мамонтова заказали себе у наших портных гимнастерки сроком изготовленья — приход Деникина.

Вечером говорили у Р., что наших Елецких заложников 4-го разряда выпустили в Орле и один из них приехал сегодня, он рассказывал, что видел в Верховье большое скопление войск, прибежавших из Ливен, которые заняты, и что главная масса войск осталась у Деникина, не захотела бежать; будто бы Деникинские аэропланы бросали в Орле прокламации: «Будем в воскресенье». Рассказывал он еще, что наши заложники Марья Иван. Горшкова, Екатерина Ивановна, студенты, священники вычищали поезд Троцкого и видели они самого Троцкого — в черной паре с синим галстуком, смотрел на них из салон-вагона и хохотал, а за салон-вагоном будто бы вагон-спальня, потом кабинет, потом вагон со свиньями, вагон с курами, вагон с крупой, с вареньями и другие вагоны со всяким продовольствием.

Говорят, что в Москве расстреляли 50 человек кадетов, известных профессоров и других почтенных людей, пой-

манных в заговоре против Сов. власти, и сегодняшнее известие о бомбе в комитете партии объясняют как ответ на расстрел.

У N. долго спорили, выгодно ли променять самовар на козу и что если казаки вернут им корову, то пользоваться ею или променять на другую (своя корова отбилась от двора и стала бодливой): Т. Н. говорила, что променяет, но все признали, что это она говорит только, а со своей коровой, какая она ни будь, никогда не расстанется.

***28 Сентября.*** А денек за днем, и такие чудесные сентябрьские дни откалываются и падают бесследно, потому что события извне совершенно поглощают личное дело и оставляют нам о себе только слухи; но все-таки в такой коронный день на минуту охватит чувство природы — и вот будто на святую гору поднялся далеко от всего: сам свет осенних деревьев, и роса плотная, сизая, и запах осенней листвы, и за садом в церкви «тайно образующе» — все это горнее свое кажется истинным, вышним и вечным сиянием над темными тучами внизу, поливающими землю осенним мелким дождем...

Анекдот: дети играли в красные и белые, красные вскочили на забор, крикнули: «Казаки!» — и целая рота настоящих красных солдат бросила ружья и бросилась бежать в разные стороны.

У меня мелькнуло сегодня, что белыми не кончится дело, непременно придут европейцы. Политика большевиков — демонстрация сил перед Европой: спекулятивная армия Троцкого.

Сверкает пламень истребленья,
Грохочет гром по небесам,
Но вечным светом примиренья
Творец небес сияет нам.

*Гёте.* Фауст.

Я на святой горе в вечном сиянии под голубым знаменем неба, на котором горит золотой крест, я на святой горе под голубым знаменем, и тут видно, что чем сильнее льется кровь на земле, тем здесь больше сиянья: бедный

мужик, которого вчера убили, — здесь. Нужно описать это чувство, как «хочу творить зло, а творю добро» — «частица силы я, желавшей вечно зла, творившей лишь благое» — «благое» над тучами, это что, например, Ваньку держит (по его глупости и умному чувству) в коммунизме: когда он видит что-нибудь новое и хорошее в народе, то относит к счету коммунистов.

Под тучами

Стихия мщения, возмездия.

Сегодня утром вычитал в «Центральных Известиях» от вторника (23 Сент.) — все того же рокового вторника — о раскрытии заговора в Москве и расстреле 67 кадетов и меньшевиков. В «Сохе и молоте» объявлено, что все, кроме активных работников коммуны, — враги народа. Настроение совершенно такое же, как в зените якобинства: такого настроения раньше не было, это новое; если так продолжится, то могут спихнуть меня и с моей святой горы... да нет... это невозможная задача. Но дороги к мирному концу теперь все отрезаны. Сегодня ночью и после обеда беспрерывно тянулся отступающий с юга (из Землянска или Касторного) обоз, на некоторых подводах раненые, значит, за ними идут наступающие? А войск отступающих почему-то нет, проходят отдельные солдаты.

***29 Сентября.*** С утра летает над городом красный аэроплан. Звук мне казался из комнаты такой, будто все колокольни распечатали и зазвонили. Я вспоминаю, как во время Мамонтова в Ельце истерически повышенное, приподнятое настроение N., который вдруг сказал: «Все понимаю, все принимаю, и если нужно «Бей жидов!», я и это принимаю все на себя, и это нужно».

— Я ни за белых, ни за красных.

Лева:

— Значит, ты ни рыба ни мясо?

— Нет, я человек, я за человека стою, у меня ни белое, ни красное, у меня голубое знамя.

— Голубое! вот хорошо, голубое, голубое!

— Это голубое, как небо над нами, и на голубом золотой крест.

— Какое особенное знамя, как хорошо, а винтовочку мне дашь?

— Мы будем действовать словом, не пулями, мы слова найдем такие, чтобы винтовки падали из рук, это очень опасные слова, нас могут за них замучить, но слова эти победят.

Яшин браунинг: у Яши нет ничего, кроме револьвера, — это все его значение и его отличие от нас, не имеющих права иметь его.

Телега с пятью солдатами-дезертирами, два отобранных барана и еле живой от страха мужик, правящий лошадью...

Яше сказали: «Зачем вам уезжать, товарищ, завтра, может быть, мы все уезжаем».

Приехал человек из Орла, сказал, что, верно, взят, когда уезжал, были в 30 верстах и все вывозилось.

Везде, на улицах, в отделах кутерьма, а публика вполне уверена, что вот-вот, и только спрашивают: «Когда?» — «Завтра, послезавтра». Король слышал: «На 29-й версте». А. И. рассчитывает, что через полторы недели: сколько от Нового Оскола до Касторного, столько же до Ельца. Привезли раненых, встретился Р-й (тип). «Когда?» — «В среду». — «Как так?» — «Кубанцы сказали, что в среду утром уходим мы, а вечером вступают донцы». Пришел В.: «Между Тербунами и Долгоруковом». Пришел К.: «В Тербунах».

Пришел Яша прощаться: «В Тербунах, завтра мы уезжаем». Говорят, что Горшков созвал медицинскую комиссию и заявил, что у него мания преследования, просил отпуск. А у дам уже такое настроение, что ну, придут, а что же дальше? Служащим заявили, что кто не эвакуируется, тот увольняется с двухнедельным жалованьем, а на вопрос «Всех ли возьмут?» отвечают, что нет, не всех. Между тем распределяем себе уроки в гимназиях, и я хочу брать уроки географии.

В связи с недавним прошлым какая трагедия должна быть в душе у Сони (и «вся изолгалась»), между тем у ме-

ня в душе сухо, пусто, главное, что нет соответственного отзвука. А когда подумаешь, если это т а к, — не чувствуется той священной ответственности, какая была у меня всегда, хотя нет ни малейшей мысли, чтобы уклоняться: какое-то отупение, вероятно, от общих событий, от привычки жить с расчетом лишь на завтра-послезавтра и от неуверенности, что доживешь до настоящей жизни. Иногда воображаешь себе свою казнь, и тоже ничего особенного не получается.

Был Кир, деревня прожила эти три недели, не признавая Сов. власти, и хоть бы что.

Ждут казаков, да вот как! коты на крыше гремят, а наши думают — пушки Деникина.

***30 Сентября.*** Именины Софьи Павловны, много было сладкого, и за обедом называли: Мамонтов Сахарный, а на улице большевик говорил: «Накормил тебя Мамонтов сахаром, посмотрим, чем Шкуро накормит!»

Чего мы ждем: первое — что узнаем, как живет Европа, что делается вообще на б е л о м свете и есть ли основание в б е л о й силе, второе — что, может быть, создастся наконец, что в комнату рабочую не будут без спроса входить и можно будет работать и запастись продовольствием, третье — что можно будет куда-нибудь уехать в лучшее место.

На улице н и ч е г о обыкновенного, как раньше было, то есть посмотришь, например, на человека и сообразишь, что такой-то непременно идет на службу, или на базар, или в церковь, или едет в деревню покупать что-нибудь, или из деревни приехал за чем-нибудь, — теперь что ни человек, что ни подвода — всё загадка и всё чудеса: коляска, какой в Ельце никогда не бывало, а запряжена в нее сивая кляча, и все пять пассажиров хлещут по ней кнутом.

Обозы и части войск из Тербунов движутся непрерывно будто бы на Тулу, где будет «последний и решительный бой» за Москву. Но в Узловой, говорят, теперь уже так забит путь, что дальше ехать и невозможно. Я думал, глядя на бесчисленные обозы, на красные шапки советских ка-

заков-мальчишек, какая связь этого парня-кубанца с идеями Маркса?..

Из виденного и слышанного в конце дня оседает какой-нибудь факт, вчера осели Тербуны, сегодня, вероятно, занято Долгоруково, но не в этом дело, важно, что сегодня уже нет никакого сомнения, что завтра-послезавтра, вообще на этой неделе совсем с корнями вырывается наше Елецкое советское время и наступает новое, и люди тревожатся уже за это новое. Может быть, и опять временно будут красные, но уж не те...

Ехал себе человек из-за Сосны в город, и на Старо-Оскольской пересек ему путь обоз, и вдруг какой-то из обоза взял его лошадь и поставил в обоз. Засосенский кинулся было с кулаками и руганью, а они окружили его и: «Товарищ, товарищ! нельзя ругаться!» — другой, третий, все уговаривают не ругаться, так вежливо, корректно уговаривают.

Я подумал еще: «Вот молодцы, какой они себе стиль за два года выработали обхождения», — а тот-то, Засосенский, бьется, бьется, кричит.

Вдруг один бритый, челюсть такая круглая, загорелая, говорит: «Товарищи, да ведь это кадет, конечно, кадет!» — руку в карман (за револьвером), подходит в упор к Засосенскому (тот все еще бьется): «Вы кадет?», и те, другие, тоже спрашивают: «Вы кадет?» Смотрим, тише, тише Засосенский, как зверь, опутанный сетьми, и ничего, совсем стих, ворочает глазами круглыми красными совершенно бессмысленно, ему поправили лошадь, наложили чего-то в телегу, и пошел Засосенский человек с обозом в Тулу. В публике сказали: «Пошел кадет в Тулу».

***1 Октября.*** Утро — тишина, единственный человек несет на дрова уворованную скамейку (так похоже это перед входом неприятеля).

Через три дня будет месяц, как православный человек не слыхал благовеста.

Разумник прислал хорошее письмо вчера, и стало так, будто и не было этой пропасти времени.

Ребята-коммунисты держатся, видимо, прилично, только вождь Горшков совсем сплоховал: ничего не боится, только боится одного: расстаться с жизнью.

Прошли обозы, артиллерия, кавалерия, пехота, теперь остается только казакам пройти.

***2 Октября.*** Попросил у одной дамы кусочек мыла — не дала (а у самой много, запас), попросил у другой два урока географии — не дала (а у самой уроков по горло), — каменные бабы. Захватывали сахар, кожу, теперь захватывают уроки (Чертова Ступа). Так чувствуешь в себе талант, способность что-то сделать и не делаешь, потому что нет сцепления и что этому мешает Чертова Ступа.

В городе картина последнего опустошения: тащат мешки с морковью, капустой с советских огородов, какая-то скамейка, какое-то бревно. Увезли Павла Ал. Смирнова заложником (Гордон), увезли, говорят, под арестом и нашего верховного диктатора Горшкова (конец: неврастения), будто бы Венька уехал учиться в Москву, а старший следователь Чрезвычайки отправляется в Тулу что-то доследовать.

Подводы уже гремят только изредка, конец. А слухи, что пришли 4 дивизии латышей и казаки ушли не только из Долгорукова, Тербунов, но покинули и Касторное. Публика мало этим интересуется, потому что главный факт (эвакуация и пр.) больше этого любопытства, главное, что нас покидают и мы одни.

Написал бы Разумнику, да не веришь, что дойдет письмо, и еще как-то не хочется из[-за] того, что он пишет так, будто мы с ним расходимся в том же самом. Неужели он ничему не научился за это время? Я не примкнул к ним оттого, что видел с самого первого начала насилие, убийство, злобу, и так все мое сбылось.

У них не было чувства жизни, сострадания, и у всех от мала до велика самолюбивый задор — их верховный водитель, и что было верное, например, «царство Божие на земле», то все замызгано. Между тем все это наше, и большевики с коммуной, все наше; это очень важно чувство-

вать: что это все наша болезнь, ничего тайного, что не стало бы явным.

***3 Октября.*** Видели без позолоты, чинов и дворцов все нутро своей государственной гражданской жизни, видели своего человека там, где кончается всякое рассуждение и оценка: видели, видели. Между тем все это в скрытом виде было и раньше.

Ночью был, вероятно, мороз, и воздух даже в комнате был холодный, и с ним угроза холодной зимы проникла в сознание: еще один месяц — и начнется борьба с холодом, которая поглотит все сознание. Переехал Сытин. Обыск.

***4 Октября.*** Публика думает, что много внешних событий и писателю много наживы, а это неправда: о, нет! писательство — это моя минута, это мой бог, это я; минута, когда в этой вашей чепухе (ч е п у х а — вы сами это признаете) я все понимаю, и есть то, что я пишу. Сейчас Я в тюрьме, я заперт.

События вчерашнего дня: улицы завоеванного города, в котором военная телега, обозы, поломанный автомобиль — действующие существа, а люди-обитатели — мухи. Проходят волы украинские, провозят куда-то гаубицу. Слухи стали еще темнее, как в деревне: казаки отступали от Тербунов к Касторному, продвинулись от Ливен к Измалкову-Россошному, идут, чтобы отрезать путь в Боборыкино.

Солдаты поют? — Тикáют с песнею. Взял бы торбу, хоботье и пошел на Украину. (Гитара, женщины.)

Обыск и реквизиция в квартире Кожухова: следователь Гордон (ложь), сыщики (по карманам, очки потеряли), и нужно «быть с ними вежливым».

***5 Октября.*** Материя, общество — все это по существу враждебно художнику (личному), но быть он может только в соприкосновении с этой враждебной стихией и в пре-

образовании ее тем в новый мир. Коммунисты (материалисты) хотят, чтобы художник стал частицей материи (это все равно как если бы вышел декрет, чтобы мужчина стал женщиной).

Возвращаюсь к «Дезертиру» — теперь это Горшков, который ценит жизнь (убегает с поля боя и достигает диктатора города Ельца).

Дезертир-Диктатор. 1. Погибает от дезертирства собственной армии. 2. Бунтующий раб (во имя жизни, социализм помогает, царство на земле, а не на небе): Смердяков. 3. Судьба слова: оно становится пустым, как мебель без хозяев, складывается в формулы (в общее), а конец: «Соха и Молот» — брехня и голод.

Собрались безработные учителя, говорили между собой о том, что если через месяц наше положение (Елец — фланговый город, брошенный властью [на произвол]) не изменится, то все мы должны погибнуть, и тут возник вопрос о возможности победы красных. Потом стали доискиваться, как мог возникнуть самый вопрос. Анализировали: Щекин, перепуганный Мамонтовым, ищет выхода в компромиссе: красные победят и передадут дело строительства жизни интеллигенции. Возражение: «Ни красные, ни белые не способны к организации, организуют иностранцы». Щекин: «Русский народ в революцию проявил колоссальную способность к организации». Русский народ проявил способность только к одной стороне дела организации: к пассивному началу... Разберите психологически активное начало, кто эти деятели столицы и провинции, вспомните, кто? И создали что? Совнархоз и Упромат — одно прикосновение белого генерала, и все белое на улице: листки бумаги... (все бумаги и словесные формулы: мещанство слова). Итак, победа белых — иностранная капиталистическая организация России, победа красных — значит, революция в Европе, разрушение Европы, новая революция в Америке и т. д. — мировая катастрофа.

В деле организации участвуют элементы Воли (активность) и Сострадания (пассивность): победа женственного.

Доктор Гольберг, еврей, огромная голова, широкий жабий рот, маленького роста, широкий корпус, говорит иностранными словами («персонифицирую»), он за деньги сделал такой паскудный аборт, что докт. П. А. Смирнов спустил его с лестницы, за это через два года, убегая из города, Гольберг донес на него в Ч. К., и Смирнова увезли заложником (он сделал так, что донос возымел действие два дня спустя после его отъезда); он был так мерзок, что сами евреи хотели убить его...

Большевик Барбиман, мещанин, проявляет активность доносами, больше ни на что не способен: донес, что генеральская дочь Ковальская назвала Маркса сумасшедшим. Ч. К. оправдала Ковальскую, а он сказал: «Ну, я ее изведу другим способом».

***6 Октября.*** Пришла С. П. и звала идти в Козий загон копать себе картошку в Воронце, говорила: «Все учителя копают, и занятий не будет!» Не пошли — обиделась, как ребенок, очень капризная женщина.

Небо медленно с утра расходилось, на синем показался аэроплан и сейчас же исчез в облаках.

Новости поступать перестали, потому что новым может быть только вступление белых. Эпоха разгрома Мамонтова, эпоха эвакуации, перемещения фронта, исчезновения властей, и теперь эпоха пустоты, безделья, ожидания голода и холода, тревожных звуков (копыта, телеги или пулеметы, удары молотка или пушек).

***7 Октября.*** Вчера вечером были сведения, кажется, верные, что казаки опять наступают с Касторной и дерутся возле Набережной с 42-й дивизией коммунистов. По улицам вчера несли раненых. С Тербунов двигались обратно обозы. Ливенская группа казаков, говорят, дерется в 7-ми верстах от Верховья. Общая картина: отступление

красных войск в Тулу для защиты Москвы и задерживание частными боями наступления с юга.

Щекин не прерывал своего дела в Отделе, его мнение опять, как весной, что ликвидация большевизма долгое дело и пока что нужно работать в условиях дня (человек приспособления). Учителя бросились копать картошку, перессорились там: «Никогда не видали интеллигенцию в более жалком состоянии» (глава: Козий загон).

Выжатый лимон: мягкосердечный интеллигент Писарев поехал в деревню выпить спиртику с большевиками, выиграл там реквизированного индюка, выписал от Отдела, будто бы для командировки, хлеба, выкормил индюка, и наконец жена заставила срубить ему голову; отвернувшись, он хотел ударить по индюку, но отсек себе палец, прорубил сапог и задушил индюка ударом плашмя.

Мищенко, прозванный Нищенкой, лег на подножий корм.

Рында, директор начальной школы, старичок с большими претензиями, воображает, что он похож на Тургенева, напечатал о нем что-то бездарное, и все потому, что Стахович, видя его из окна с ружьем, сказал: «Вот Иван Сергеевич Тургенев идет».

Начинает давать знать о себе холод ночей, а мы разговариваем о Кавказе, о бананах, винограде и о том, как медведь приходил на дачу, как дикий кабан увел свинью и она привела с собой поросят.

На улицах вчера везде расклеено, что Мамонтов в плену, никто этому не верит и, читая, говорят: «Брехня».

Святость Ал. Мих-а, капризы Софьи Павловны, оба истощены, худые, голодные.

***8 Октября.*** Вчера утром сидели (учителя и доктора) на дворе дома Черникина в ожидании выдачи соли, получил 4 ф. — будем есть шинкованную капусту. «Отдел функционирует», хотя и без помещения, и даже назначен новый заведующий Клоков. Говорят, что бой в 40 верстах от Ельца, между Долгоруковым и Тербунами, это будто бы

Ливенская группа, направляясь через Тербуны на юго-восток, хочет отрезать часть красных войск, запертую между Осколом и Касторной. Переносили свой сахар домой по пуду на плечо. А наш доктор сам принес свой гонорар из деревни — мешок картофеля. Бабы на базаре меняют яйцо на фунт сахара. В Изволье мужики громят [советские] имения — они громят, а их хватают и заставляют неделями скитаться в обозах. Ночи лунно-прохладные — высшая краса осени нашей, а гулять можно только по дворику.

Наступило состояние душевного равновесия в пустоте, душа облекается пробковым слоем. Узнал, что наш бывший заведующий отделом народного образования Лебедев арестован как известный провокатор (похоже, что и Горшков служил в охранке, а Бутов — стражник), — всё старые слуги империи, вот чем и объясняется их страстная ненависть к интеллигенции (между прочим, попы мало пострадали), так что под шкурой Ленинских формул действовала старая сила.

Когда нас покидали казаки, в пустом городе творили волю пьяные калмыки, а когда покидали красные — агенты Ч. К.

Товарищ покойник. Сегодня на улице несли с музыкой красный гроб и речь говорили о том, что всех ждет такая же участь, как «товарища покойника», если не будем защищать свободу, а «товарищ покойник ее защищал». В публике говорили: «Защищал — получил, и не будем защищать — получим, как же так?»

С юго-запада (от Чернова): за городом все слышали артиллерийскую стрельбу, есть слухи, что в Столовой разъезды и что Мамонтов в Пензе (а пишут: в плену). Пробуждается нервность, говорят про обыски теплого платья. Жестокости: раненые сами копают картошку, жители без хлеба, от детей городских коров увели. Слухи, что Деникин идет с продовольствием.

***9 Октября.*** Чего не понимают обыкновенно, что радость есть просто благо без отношения к будущему (что

выйдет), обрадовался и получил, а там завтра — это другое совсем. У нас обрадовались сегодня, прочитав в «Сохе и Молоте», что Воронеж — Графская взяты, что бой в 40 в. от Ельца и пр., тому обрадовались, что шубы у нас не успеют отобрать коммунисты.

Сцена на дворе госпиталя: озлобленные красные раненые роют сами себе картошку и сговариваются убить раненого белого.

Доза-Дора. Снилась Эйфелева башня и на ней несуществующая дочь моя Доза-Дора, принцесса, родственница балерины Айседоры Дункан, она предупреждала меня, что красные заняли верх башни и разрушили все лестницы.

Винный король заявил, что главное действие вина — умягчение души: все черствые души, входя к нему, мякнут.

***10 Октября.*** Ждут барина.

Ждут в Ельце отряда Стаховича, и так, вероятно, повсюду: каждый город ждет своего барина. Революционеры и контрреволюционеры — все ждут одинаково: первые — чтобы можно было вырваться из мышеловки, вторые — отделаться от грозящих обысков и получить свободу «жития».

Говорят, что Деникин идет с пансионом гимназистов, студентов и с ними идет продовольствие.

Наши роют окопы возле Ельца, говорят, что вчера пробовали наступать, но безуспешно. Погода держится на волоске, пойдет дождь, но теплый, дунет ветер и остановится.

Задонское и Липецкое «самоуправление», скоро так и у нас будет: власть отомрет, и мужицкий базар определит жизнь.

Медведь. В красном обозе медведя везли, и силачи вступили с ним в борьбу.

Половой акт: факт — извержение семени, ранее этого взлет, после — падение, весь акт — микрокосм любви;

природа микрокосма-акта: наши чувства любви все записаны облаками и лучами на голубом знамени неба и цветами на темной земле, игрой бриллианта в магазине ювелира, жалобным писком синицы в осеннем саду (и далее): беременность — долг — труд — кормление, дети — зеркало прошлых чувств.

N. — бежал от белых; в Харькове белый хлеб 6 р. фунт, черный — 5 р., всего много, солдатский паек такой, что, поев, он заболел (голодный набросился); и все-таки бежал. Пуришкевич проповедует «монархию снизу» и говорит, что иностранцам не нужна великая Россия. А иностранцы оккупировали Крым. Помещикам возвращают землю и $^1/_3$ посева. Евреев бьют, потому что за русским коммунистом Ванькой стоит Ицка. Ученья еще нет, но будет по старой системе.

Значит, победа белых обеспечена тем фактом, что у них продовольствие, а здесь голод. А дальше, кажется, так обстоят дела, что и на той стороне ничего нет, кроме продовольствия...

Одни говорят «поравнять» (а потом пустить), другие «уравнять» (навсегда).

Я думал сегодня о том, что идея социалистического равенства питается, в конце концов, тоже национальной идеей (я видел мужика, похожего на Игнатова: Игнат мужик и редактор Игнатов, разница только в выучке, а в природе (в нации) они равны, загордился, забылся Игнатов — Игнат восстанавливает равенство), это «буржуазное» представление революции, социалистическое равенство только хочет закрепить это положение навсегда, и вот способ к этому и есть социализм.

***11 Октября.*** N. сказал:

— Мое участие в действиях белых будет короткое, я открываю ворота родного города, передаю ключи и ухожу в сторону, в какой-нибудь чужой город. Передаю ключи белым, ибо так нужно Времени: всему свое время.

Социалист, сектант, фанатик — все эти люди подходят к жизни с вечными ценностями и держат взаперти живую жизнь своими формулами, как воду плотинами, пока не сорвет живая вода все запруды. Так теперь, конечно, не в Пуришкевиче дело, а в той лопате, которой он разрывает плотину. Вот почему К., так страстно ждавший возмездия белых, как только услыхал о Пуришкевиче, повернул свои мысли в сторону красных: пусть бы и Пуришкевич делал да молчал, имя его одиозно.

Дребезжит благовест единственной позволенной колокольни с разбитым колоколом. Дождик идет осенний, в окно слышатся отдаленные выстрелы пушек. Нет никому дела до природы, разве только вспомнят о ней, когда холодно и через недостаток дров. Но я шел сегодня мимо церкви, и когда услыхал пение, то заметил возле себя красивый облетающий клен и подумал: единственное место, где сохранился уют, — церковь, вот почему и заметил я при церковном пении облетающий клен. Так наше представление о космической гармонии сложилось под влиянием строительства нашей жизни (а может быть, наоборот: мы создавали уют, созерцая гармонию космоса?). Так или иначе, а не до космоса людям, потерявшим домашний очаг. Когда бушует вьюга на дворе, а дома уютно с лампой вокруг стола, то и пусть себе бушует — дома еще уютнее. Но когда дома все расстроено (государство-дом), то какое нам дело до луны и до звезд. Сейчас нет ни у кого дома, но церковь осталась, и кто верит, у того в душе — дом. В этом доме на скрижалях написан завет:

I. Мы, все живущие, живем как рабы мертвых.

II. Мы, все живущие, переживаем следствия одной-единственной войны, в которой победитель — Смерть, а плен — Живот.

III. Истинною властью пользуются только мертвые, власть живых есть бунт, претензия, самозванство и насилие.

***12 Октября.*** Антонина Николаевна Сафонова, учительница математики, она живет, ежедневно решая зада-

чи все новые и новые, на каждый день и час новые задачи у этой общественной деловой женщины, решаются задачи ею верно и точно, а в душе остаются неизвестные, ее душа — половина уравнения, где находятся все неизвестные, ее жизнь — половина, где все ясно решается. Теперь дороги люди, с которыми жить хорошо, и она такой человек.

Социализм — попытка решить задачу с бесконечным числом неизвестных.

В нашей жизни мы частично решаем ее, ограничивая решение временем и подчеркивая результат; это верно на день, два, на год. А социализм решает навсегда и Бога заключает в формулу.

Во всем городе звонит к обедне только одна слободская церковь с разбитым колоколом (на Аграмаче).

К полудню о б о д н я л о с ь, усилилась канонада с юго-запада, даже в комнате слышно.

Разгадка «Мамонтов в плену» — взята деревня Мамон.

***13 Октября.*** Вместо газет мы теперь рассчитываем по пушкам: вчера была ближе стрельба, как будет завтра? Все ждут перемены, а кто идет, мы совершенно не знаем, мы как в самой глухой деревне и по отрывкам, долетающим до нашего слуха, делаем свои предположения. Так, рассказал коммунист Сальков, что Пуришкевич будто бы говорил солдатам о «монархии снизу», о том, что иностранцам до нас нет никакого дела и что нам нужно готовиться к новой великой войне. Мы это расшифровываем так, что Пуришкевич держится германской ориентации, а кадеты, вероятно, Антанты и что существуют теперь на юге только две эти партии, временно заключившие союз для борьбы с большевиками. Так мы ждем здесь освобождения при выстрелах с горизонта, а совершенно не знаем, кто нас освобождает, мы живем, как жили мужики в темных деревнях, и ждем от освободителей только хлеба, как ждали мужики только земли.

Жизнь без идей, идеи кажутся тайными коварными вражескими замыслами.

И незаметный нам ужас нашего существования, когда мы, делая расчеты на зиму, утешаем себя: «А может быть, как-нибудь и переживем», — мы не замечаем, что говорим «быть может» о немногих годах, даже месяцах и днях остающейся нам жизни: мы переживаем нашу жизнь, но во имя чего мы ее переживаем — не знаем, какой-то инстинкт говорит нам, что за этим переживанием будет истинная, мирная жизнь; остается сделать еще один шаг и сказать, что за нашей жизнью будет настоящая жизнь (загробная). (Покойник-товарищ, церковный уют.)

Происхождение идеи жизни загробной. Грех.

Мы все последствия одной войны и все несем ее грех и проклятие, но живой человек не может подчиниться этому, мы цепляемся за соломинку, я воображаю себя счастливым дезертиром, что я уезжаю на Кавказ, живу на берегу моря, рассаживаю там новый сад в стороне от войны.

Грех существует, когда есть страх, и страх бывает, когда близко наказание, но если нет страха и опасности, то нет и чувства греха и делай как хочешь. Ланская, после своего «падения» (она считала это состояние победой), мучилась своим грехом («я вся изолгалась») до своего месяца; когда это благополучно прошло, она, как ребенок, обрадовалась и опять то, что ощущала как грех, стала чувствовать как победу. Так легкомыслие мчалось на коне Случая, минуя до поры до времени волчьи ямы Греха.

Медведь и танки. Сегодня в ночь прорвался нарыв: 42-я дивизия отступает, белые наступают фронтом от Степановки до Казакова; опять переселение народов, и на улице в обозе показался нам знакомый медведь, он шел тогда с обозом на юг в Долгоруково, теперь отступает на север в родные берлоги; в обозе были быки и верблюды; рассказывают, что задержка белых была в Набереж-

ной, где белые поднимали мост; а дело решили танки, такие же предметы ужаса, как казаки.

Мы собираемся опять нырнуть и затопиться, пока не обозначатся из этого половодья новые берега.

Как это может прийти в голову — увезти из города пожарные машины! теперь идет спор, увозить или оставить инструменты в родильных приютах.

Сегодня я назначен учителем географии в ту самую гимназию, из которой бежал я мальчиком в Америку и потом был исключен учителем географии (ныне покойным) В. В. Розановым.

***14 Октября.*** Покров. Покрыло наш дворик морозным кружевом. Лева спрашивает рано: «У нас белые?» — «Нет, верно, еще красные: звона нет в церквах». Выглянул на улицу; с юга бредут поодиночке, по двое зазябшие солдаты отступающей 42-й дивизии.

***15 Октября.*** При оценке существующего нужно вдуматься и в Левино дело: он говорит, что ему никогда не жилось так хорошо, как теперь.

Вчера мы вставили рамы, и ночью звуки уличные от этого изменились: я проснулся, прислушался — бой! то, что непрерывно журчит, я принял за сливающееся тарахтение многих увлекаемых бегством повозок, а что волнами ухает — за удары пушек по бегущим. Несмотря на холод, я встал, оделся, зажег лампу, вышел — и вот вся война: дождь журчит и ветер порывами шумит садом, гремит крышей.

Пришли з е л е н ы е, сняли подвал за фунт соли: хотят тут перебыть пустоту между красными—белыми и «тикать» на Украину.

Говорят, что «пустота» может быть продолжительна, что пустота в Задонске пришлась по вкусу жителям, завели свободную торговлю, все подешевело, пришли будто бы казаки, их встретили хлебом-солью, приняв за белых, а оказалось — это красные представились белыми и здорово всыпали задонцам; вот как бы и нашим ельчанам так не пришлось — да нет! ельчане после Мамонтова намота-

ли себе на ус кое-что, может быть, и это задонское дело они же и выдумали для острастки.

Уличная картина такая, что все тащат себе жители кое-что, разные обóрухи, власти постепенно исчезают.

Слухи неопределенные: что будто бы [весь] район едет в Становую... казаки и не сегодня-завтра к нам придут. Отделы то закрываются, то вдруг объявляют, что «функционируют», и нам даже выдают жалованье.

Тревога в ожидании «пустоты» (боязнь самих себя), появление зеленых.

Мечта Бебеля о катастрофе всего мира соединилась с бунтом русского народа, и так возник большевизм — явление германо-славянское, чуждое идее демократической эволюции Антанты. Вообще бюрократизм и социализм пришли к нам из Германии, очень хорошо, если русские испытают на себе влияние идей эволюционной демократии Англии и Франции — за это, вероятно, будет борьба кадетов, за первое — монархистов.

Слух, что броневой поезд «Пролетарий» не выполнил своей задачи (взрыв моста), пролетел в Орел к белым.

Определилось окончательно общественное настроение в о л н а м и, которые, близясь к концу, становятся все короче и короче: в 12 дня еще мы говорили с Юдиным, что, может быть, и не придут, а жить так нельзя, и что нужно и д т и, что ли, а там разберут, все-таки это у нас комиссары поголовно знают д о  д е л е н и я, а там... а часов в пять определилось, что сегодня из города уходит всё и вся и что белые в семи верстах (в Воронце и в Казаках).

В отделе битком набито учительницами, стремятся получить жалованье и, может быть, соль, говорят, что кто-то дал фальшивую подпись на соль. Судьба учительницы Рязановой, которая дня не дождалась, одного дня, и выкрикнула солдату, что Троцкий негодяй, и даже расписалась об этом в Чрезвычкоме. (Отдел-бардак.)

Дезертиры нащупали у нас в подвале гнездышко. Все войска, все начальство к вечеру выходит. Когда стемнело,

попер во все стороны дезертир. На облаках свет прожектора.

Неподвижный пункт — грузовик № 6 переехал от Ростовцева и окончательно остановился, брошенный, у наших окон. Другие неподвижные пункты: свинья на мураве, медведь, верблюды, коза. «Дезертир» сказал: завтра.

***16 Октября.*** Идут рано-рано, бегут, поддавая с радостью, люди с картошкой, с бревнами, солдатик на голове несет стол, на № 6 едут мальчишки.

Рябь на воде — не волна

В 8 утра Влад. Викт. пришел с улицы и сказал: «Горнист играет!» — «А у красных нет горнистов?» — «Нет, у красных горнистов нет, это белые зорю играют». Через 15 минут кричат: «Соха и Молот!» — и тот же Влад. Викт. входит с газетой. Я спрашиваю: «Как же совместить эти два факта: горнист и “Соха”?» Он отвечает: «Горнист-то, должно быть, красный».

Постепенно появляются вооруженные всадники, обозы, матросы, и начинается обыкновенная красная беспросветная жизнь. Волна спала, мы опять на мели, и что говорили вчера — все вздор, ничего не знаем. Завед. отделом народного образования закрыл отдел и сказал, что через два месяца мы вернемся и заплатим жалованье.

Соли и ваты!

Едет всадник (политком), за ним рысью служащие отдела народного образования и учительницы: он обещал дать им немного соли и ваты. Потом один вернулся назад и сказал: «Обманул». Говорят, это где-то политком раздает бесплатно помощь. Нелепость о казаках дошла до того, что говорят, будто они теперь идут на Боборыкино за хлебом для населения. Даже к мнению сапожника серьезно прислушиваешься: «Зачем им Елец, они едут на Тулу, когда придут туда, хвост придет в Елец, и в хвосте будет сам Деникин, который все и устроит».

Завтра иду в гимназию давать урок по географии; программа 1-й лекции:

До XVII в. боролись между собой два представления о земле: что она есть блин и что шар; 1-е мнение было основано в общем на чувстве, второе — на знании (на разуме). Коперник в XVII в. окончательно доказал, что земля есть шар с двойным вращением, и с этого времени география в полном смысле слова стала н а у к о й.

Наша Россия как родина наша очень маленькая, такая, какой мы видим ее с нашей родной колокольни, чувство родины дает нам представление, подобное тому чувству, которое в древности создало образ плоской земли. Когда к чувству присоединилось знание — земля стала шаром. Так наша родина Россия, если мы узнаем ее географию, станет для нас о т е ч е с т в о м: без знания своей родины она никогда не может быть для нас отечеством.

Вопрос: что обозначает слово родина и слово отечество — какая между ними разница? Ответ: родина — место, где мы родились, отечество — родина, мною сознанная.

Путешествие как средство узнать свою родину и создать себе отечество.

Путешественники (Нансен) и «Америка»: личное мужество и знание (Нансен соединяет в своей личности то и другое, это выражается в его скромности — личное впечатление от него). Экскурсии в каникулярное время.

Главы: север и юг — монах и казак.

Россия: север, средняя Россия, черноземная и окраины.

Средняя — губернии вокруг Москвы — по Оке, Верхней Волге и их притокам.

Заключение: чтение из «Черного Араба» о пространстве России.

Можно усердно молиться годами Господу Богу и просить у него пищи на каждый день и сделаться очень хорошим человеком, но в то же время знать о своей планете только, что она есть блин.

И можно сосчитать звезды и знать подробности движения светил, но не уметь у Бога попросить себе хлеба: чувство и разум.

***17 Октября.*** По примеру нашей связи с семьей Сытиных насквозь видно, что не пол основание семьи: это само

собой, начинается и проходит, как жизнь природы, а это основание непроходящее — Семейный долг как основа брака — обращен против чувства половой любви, неудача такого построения потому, что... (смесь соли и сахара — вздор, а са́хар сам по себе — сахар, соль — соль). И так подумаешь: церковная смесь «любвей» — чем она лучше, чем нынешняя смесь всего в коммуне, а теперь кто это сознает? Моногамия.

Брак по любви — смесь соли и сахара. Прекрасная дама на брачной постели — моногамия!

Условия борьбы между интеллигенцией и вооруженными уголовными в Совдепии осложнялись еще тем, что уголовные комиссары питались мясом и жирами, а интеллигенция исключительно постной пищей.

Всякая власть, уходя, оставляет за собою говно. Дождь, грязь, да, истинно, истинно говорю, всякая власть, приходя, обещает рай и, уходя, запирает общество в собственный нужник. Ждут пришествия белых, как второго Христова пришествия, и не могут дождаться и впадают в безверие. А тут еще говенного цвета листок «Соха и Молот», который даже уличные мальчишки выкрикивают: «Брехня и голод», — возвещает, что доблестными красными войсками взят Киев.

Воры под мостом.

За рекою на горе — что это? Кавалерия. Овцы? Нет, не овцы, всадники. А вот поднимается туда наш знаменитый вор Бурыка (комиссар социального обеспечения), да, да, да — эти всадники — наши комиссары, они высматривают сверху, нет ли близко казаков; они живут теперь там, за поломанным Лебедянским мостом в поезде: это где-то совсем далеко, будто воры под мостом. Сегодня туда от учителей посылали гонца насчет жалованья, и воры смилостивились, прислали 500 тысяч. Один из них (Гаранин), говорят, удрал с 2-мя миллионами.

Мой 1-й урок географии прошел внешне занимательно, а внутренне без всякой связи с детьми: весь урок провел

я на козырях, наговорил целую гору, из чего дети, верно, очень мало усвоили. Положим, и мудрено теперь говорить о любви к отечеству...

Подвалы в домах набиты дезертирами. Власти где-то «под мостом». Властвуют матросы, 600 человек: где-то среди ночи отняли самовар, там лампу, в женской гимназии зачем-то разграбили физический кабинет.

Неподвижный автомобиль № 6 перед нашим окном осужден на гибель за то, что он неподвижен: мальчишки мало-помалу его разберут.

Ночь темная — глаза выколи, власти где-то под мостом: возвратились в лоно своего истинного призвания. Дождь на всю ночь. Доктор забыл о визите к младенцу и решил запить на три дня. Дождь журчит на всю ночь. А воры-комиссары зачем-то наводят из своего «под моста» на темный город прожектор.

***18 Октября.***

Скука собаки

Тяжелый рассвет, собака добрая зевнет от скуки с голосом и привоет до следующего зевка, опять зевнет с голосом и опять тонко привоет без конца...

Ну, все в один голос говорили вчера, что приезжал от белых парламентер и красные в 6 ч. вечера обещали сдать город, — что выдумают! Не дождались. Я думаю, что белые из Долгорукова идут на Казаки, потом к Ефремову, и так мало-помалу Елец окружается, и оттого власть красная постепенно удирает, а когда все будет пусто — приедет к нам какой-нибудь разъезд, мужики осмелятся ехать в город, и так мало-помалу начнется жизнь моей родины для личного потребления. Возможно, что красные дадут где-нибудь вблизи задерживающий бой, и волна этого боя создаст в чувствах обывателей уже известную картину нарыва прорванного.

Пушка и кошка

Пьем утренний чай. Голодная кошка прыгает на цветочную тумбу, и пустой звук тумбы чудится нам как от-

даленный пушечный выстрел. «Пушка?» — «Нет, это кошка!» Голодная кошка, как леопард, на дереве следит за кусками на столе, и чуть что, бросается и вырывает у детей из-под рук.

Страх за С[оню], невозможно то, что мы делаем, невозможно, о, Боже мой, как это представится, если вообразить себе на минуту свидетеля со стороны, во что превращается это рассуждение о разделенности полового чувства и семейного долга. Так, все так, но обман, страх — это нельзя. И можно было переживать, но пользоваться, — а сейчас идти — значит пользоваться.

Весь день (8-часовой) на юго-западе был слышен сильный артиллерийский бой, ночью шли обозы (отступающие на Становую). Видимо, сбывается мое предположение о задерживающих боях по пути к Ефремову. А положение города становится отчаянным, истомленные ожиданием жители уже не верят больше выстрелам: «Так, пукают».

***19 Октября.*** Видел рассвет на пустой улице и как вышла первая темная фигура из-за угла и раздался первый пушечный выстрел.

Нечего вспомнить — что я делал, писал, кого чему научил: нечего! Впрочем, кто же может вспомнить свои дела и назвать их делами? только глупый самодовольный человек. От дел у человека ничего не остается, ничего не прибавляется, ничем не связывается прошлое и настоящее (Толстой даже отказывается от своих писаний). Остается связью бескорыстное (что это?) радование жизнью (младенческое восприятие мира): было хорошо, есть что вспомнить и поблагодарить кого-то за это — вот все, что остается. Какая благоговейная святыня бывала в душе, когда видишь, бывало, первую иглу зеленой травы, прокалывающую слой прошлогодней листвы, или первую пушинку снега, слетающую к ногам при наступлении зимы... Или утреннюю звезду, когда она бывает совсем близко от рожка месяца.

Смотрю на педагогов наших, вспоминаю прежних своих учителей, и опять пробуждается бунт в душе, тот самый бунт, вот этот самый, что перед глазами в ежедневной действительности. Психология бунта: Я: «Вы — палачи! Я безобразен, но я прав. И даже против Бога!» Ненависть к чистому. Сладость компании (ватага). И такая есть святыня, перед которой Я-то, конечно, подлец, только вот вы ее покажите в себе, докажите-ка ее, и что вот ваши эти добрые дела и чистые воротнички, это самое мне ненавистное, этим вы закрываете святое. Итак, основное в бунте (большев.) — лучше мерзость перед Господом, чем... лучше убить нищего, чем дать ему копеечку. И полнота существа в данное мгновенье и мгновенье как вечность. Шутовские комитеты и формула о беднейшем из крестьян.

Преодоление бунта и подавление: извне — подавление, изнутри преодоление, то есть в личности (Пугачев: «Через меня, окаянного, Господь Русь наказал»). Свобода: лампада бывшего разбойника. Святой огонек лампады не дрогнет, горит на том месте, где лес был и гуляли разбойники и потом виселица стояла, — все скрыто в огоньке лампады. И сколько крови, сколько муки в этой почве, на которой вырос весенний цветок и создалась Венера Милосская.

— Вы дайте некое время быть моему безобразию и увидите, что я вас всех за пояс заткну в тех делах, которые вы теперь делаете на пользу отечеству.

Новые возможности: чувство личного таланта и общей бесталанности и фарисейства.

***20 Октября.*** Конечно, так говорится, что ужасная сейчас жизнь, но я и так ее люблю: люблю свой утренний чай до свету, когда все спят, и я брожу мыслью по миру, люблю своего мальчика Леву и тех людей, которые меня так счастливо окружают везде.

Результат боя от 5 Окт. (18): большевики говорят, что прогнали белых и даже Чернаву взяли обратно, а мужики рассказывают, что белые большевиков прогнали к Становой, гонят к Ефремову, заняли Казаки и Рябинки.

Запись на кизяк.

После урока пришел в учительскую, там кучка собралась — что это? — запись на кизяк.

Есть слух, что белые очутились в 60 верстах от Тулы. Между тем отделы крепнут. Стрельба много дальше и вдруг под вечер совсем близко.

***21 Октября.*** Коммунист: «Кто не работает, тот не ест!»

Саботажник: «Кто не ест, тот не работает».

Для некоторых загадкой было, почему поэт не творит в это время, между тем все понимают отлично, что нельзя в это время строить дом.

Звезды всю ночь были яркие и виден был Млечный Путь — мороз! Утренняя звезда сошлась близко с рожком месяца — мороз, зима скоро. Маленькие люди давно уже таскают себе на двор чужие заборы, а наши учителя усердно готовятся к урокам, отводят себе душу, хотя знают отлично, что через две-три недели мороз остановит занятия.

Революция сказала поэту: «Мечты твои есть coitus interruptus[1]». Розанов мечту свою изобразил в форме coitus.

Из романа: она с горечью замечала, что чем смелее он прижимается к ее телу, тем холоднее становятся его поцелуи, что он как-то уходит с каждым днем глубже и глубже вниз и наконец он совершенно исчез у нее где-то под юбками. Было грустно в душе и в то же время сладко и радостно, и ему простительно: чем больше он уходил вниз, тем больше он похож был на мальчика, он мальчик, ребенок, ему простительно.

Через некоторое время стало, что его и там нет, и то ему чуждо, а вместо него бьется, живет, трепещет новое существо, и стала к нему в внимании, она стала вниманием... Вся любовь как воплощение, переход от своего к другому — третьему. Любовь есть субъективное чувство прихода Другого — Третьего. Он может явиться на свет без этого чувства (без любви). Любовь — это заря прихода

[1] Прерванное совокупление *(лат.)*.

Другого — Третьего, это его свет, и сила этого света в том, что он кажется как наш собственный свет.

Восход. Заря была прекрасная, а светило взошло ни на что не похоже, и так главное, что заря зарей, а светило самостоятельно где-то за крышей делалось и когда вышло из-за крыши, то никто не обращал на него внимания, потому что мерзость показалась вокруг вчерашнего дня без всякой надежды, что завтра получшеет.

Возобновляются учреждения, ревтрибунал, новый приказ о дежурстве и остановке грабежей, а винтовок не дали: голыми руками останавливать грабителей.

Вышло три летучки, одной объявлял о себе вновь организованный Ревком, другой назначались мы, безоружные, дежурить по ночам и останавливать заготовляющих себе топку чужими заборами, третьим просто велено было слушаться под угрозой расстрела на месте. Это оживление учреждений смешало все карты, стали понимать, что красные одолевают и белые слабы, в газете объявлено, что взят Орел, почти взят Воронеж...

Оседлые. Я долго не знал, как назвать все это, что сменяется, движется, исчезает на улице так, что свинья, коза кажутся единственным остатком оседлости (оседлость великое дело!), сейчас пришло в голову: все стали проходимцами.

После обеда пробую заснуть и не могу заснуть, слышу выстрел, не придаю ему значения: мужик с точностью сообщает место боя — в Предтеченской волости, 25 верст от Ельца, далеко и безуспешно; слышу звуки телег, едет обоз и что-то долго едет, начинает интересовать это движение где-то далеко в глубине души, а сердце сосет мысль о хлебе, о том, что ем чужой хлеб и, кажется, этим очень огорчаю милых людей... А движение усиливается на улице, встаю: едут матросы, везут пушки. Доктор пришел: «Казанка оставляется, занят Задонск». Потом выстрелы из пушек внутри города, разрыв снарядов над городом. Мое дежурство. Восстановление легенды о перехваченном радио (хотя радио в городе нет), что придут белые вот сего-

дня. Какая-то цепь за Сосной. Вечером расходимся с осторожной формулой: «Очень возможно, что Елец завтра займут белые».

Воскресший дезертир: оказался плотником, и все его стали звать не дезертир, а Максим.

Я, дежурный, генеральским окриком разгоняю толпу мальчишек, ломающих грузовик № 6.

Задыхающийся Лева повествует о снаряде, разорвавшемся над крышей гимназии, и как мальчишки, охраняя девочек, бежали, как их чуть не задавили конные матросы.

В городе доскребали последнее: увезли из лечебниц зубные инструменты, матросы разграбили физический кабинет в женской гимназии.

В деревнях начисто очистили: овец, хлеб, свиней. В отделе народного образования красный офицер рассказывал:

— Пришел я в деревню, ничего не дают. Я говорю: «Красным даете, а белым ничего?» — «Да разве вы белый?» Говорю: казачий штабс-капитан. Они угощать меня. Подходят наши обозы. Тут мы отлупили их нагайками и обчистили.

***22 Октября.*** Историческая справка: Мамонтов пришел в Елец 18 (31) Августа.

Предполагаемая стратегия белых: в Тербунах свернули с ж. д. пути и пошли по Предтеченской волости. Там и был все время бой, некоторое время спустя другой отряд из Тербунов — Долгорукова загнул к Задонску и неожиданно появился под Ельцом со стороны Задонска.

Есть слух, что красными Орел был взят на два часа, и в эти часы уже действовал Ревком.

В 8 ч. утра по улице прошел солдат со светлыми пуговицами и крестом на ранце.

Все власти уехали, пусто; казаки в Пушкарях; коммунисты (100 человек) и матросы пошли за Сосну в наступление; на Сенной батареи под прикрытием города; ожидается бой с разрушением зданий, с пожарами.

Пушки на Сенной.

— И так может быть, что казаков немного, отступят, а наши обрадуются — и сейчас же Ревком. И очень просто!

Пришел Щекин, прозревший в эти тяжелые дни Достоевского, и разговаривал со мной о Достоевском и, между прочим, о Писареве (Овечья Голова), что Писарев вчера, когда пушки гремели на горизонте и все власти покидали город, написал бумагу в Совет гимназии, почему Пришвин и Сытин назначены учителями без утверждения отдела народного образования (сам запасся керосином: пыль бюрократии).

— Ну, — сказал Щекин, — надо идти, а то кто ее знает...

— Может, — отвечаю, — и так пройдет, белые посмотрят, что батареи в городе, и отступят, не станут по городу стрелять.

После ухода Щекина начался бой в половине первого и продолжался до темноты: уход на позиции и появление матросов. Латыш с ручною гранатой. Наш подвал. Слух, что «кавалерия грабит на Торговой» (опять прятание). Бой сноснее, чем обыск.

Белые заняли Казинку (3 версты от города), красные палят туда через город от монастыря и с Аграмача.

Вышел в 9 ч. вечера на двор: темно, как в жопе арапа, и тихо так, что слышен крик утки на весь город.

На ночь загадали: уйдут красные ночью на Лебедянь или останутся и завтра опять будет бой (можно ли уйти-то?).

***23 Октября.*** Мелким дождичком, как через самое тонкое сито, сеет, в саду пищит синичка осенняя, на крыше две враждебные вороны сцепились и, гремя железными листами крыши, скатываются вниз, падают на землю, взлетают, опять схватываются, одна, видимо, слабеет, и множество ворон прилетают — и та щипнет, другая щипнет — защипанная вконец перелетает низко под деревьями, укрывается под листвой, но и тут ее настигают и щиплют...— это же, кажется, и у ворон гражданская война или свержение старого режима?

Слышал, что за увезенного от нас доктора Смирнова взялся хлопотать Центросахар.

8 ч. у. Сытин с утренней разведки пришел (ходил за водой): через мост не пускают, а улицей ниже — угол Старосельской — солдаты разместились уже в частных домах, — что же это будет?

Лева пришел в 10 утра с пустым ведром: нельзя подступиться к воде, стреляют из пулемета по уткам, тут же убили свинью. Говорят, что ночью отступали большие обозы, значит, наши еще есть за городом, повезли им мясо, хлеб. Наверно, казаки заняли Казинку малым числом, и весь этот бой — наш бой, стрельба по случайным целям на горизонте.

Стихия моря — женщина. Едут на лодках мужи: сильный сечет, сильный веселый, хитрый — лукавством, слабый и добрый — бочком лодку по волнам: не он едет, а его несет — встретиться на море с бурей или встретиться в жизни с женщиной — характер мужа покажется одинаково.

Стремление живого человека властвовать есть претензия на трон покойника, чтобы жить в истинной жизни, нужно отказаться от власти.

Задача социализма — отнять жизнь у общества, овластить эту жизнь и сделать государство без общества.

Жизнь человека общества, «жителя», обывателя есть (система?) естественный порядок охраны жизни ребенка — теперь эту задачу хочет взять на себя коммунизм: кажется, будто разбойники хотят украсть младенца у матери.

Поэт говорит сестре милосердия: «Ухаживать за стихами — дело не менее трудное, чем за больными...»

Доктор пришел: «Занято Царское». Что Орел красными взят — ерунда. Бои возле станции Боборыкино.

Наши куда-то стреляют из пушек, нам ничего неизвестно.

За Сосной, по-видимому, постепенно устраиваются белые, здесь красные. Район казарм и вокзала за Сосной об-

стреливается шрапнелью, и у нас тоже рвутся снаряды, вероятно, из недолетающих красных.

Расчет красных состоит в том, что белые не будут стрелять по городу, и потому они распределяют пушки среди населения, все население города, таким образом, стало заложниками, наоборот, если бы красные были в положении белых, то положиться, что они стрелять не будут и не разрушат весь город, нельзя. Если спросить у них объяснения, то они ответят приблизительно так: «Мы не признаем нейтральных, кто не с нами, тот наш враг, если бы вы были с нами и записались в нашу партию, то вы бы эвакуировались в безопасное место». – «Но как же бедные, больные, старики?» — «Ну, что же, мы эвакуировали даже тифозных».

Вообще з а л о ж н и к – это такая же страшная и бесчеловечная абстракция, как «беднейший из крестьян» и пр.

Вечером говорим о возможности ночной атаки — очень хочется, чтобы скорее кончилось это ужасное положение: вся душа возмущается, а когда становишься на их точку зрения – правы! мало того, если принимать принцип классовой борьбы — правы!

Мне белые нужны прежде всего – пройти в деревню достать свой хлеб, починить мой запрещенный велосипед, откопать на чердаке зарытое охотничье ружье, выкопать из подвала несгораемый ящик с рукописями и зарытый талант свой откопать — все закопано, все откопать.

***24 Октября.*** Праздник двухлетия большевистской власти. По случаю праздника говорю:

— Эту обезьяну (коммуну) выдумал немец и выходил русский мужик (бунтарь).

П о м н и: происхождение идеи социального равенства Яши. Обобществление из обобщения: как дикарь делает свое первое обобщение и вывод, – получается в голове з а р у б к а и потом секта и свобода; несправедливость по отношению ко м н е – основа, а после вывода «я» претворяется в «мы».

Сегодня было раннее утро, то мое утро, когда в комнате чуть светит небо, и на небе звезда утренняя сходится с месяцем, — чудесно. Солнце взошло в морозе — все крыши белые. Потом пал туман, и благодаря ему днем не было стрельбы, удалось сходить за керосином, а главное, к винному королю и облизать копытца.

Узнал, что ночью была атака красных на вокзал и им там «набили морду», а Казинку брали белые в числе двенадцати человек, это было видно с чердака у короля.

Будто бы сегодня на 12 часов белые прислали ультиматум сдать город, иначе будет бомбардировка.

Часов в пять вечера закипел вокруг нас (у Сосны и Лучка) бой и посейчас (7 вечера) кипит: ружья, пулеметы, пушки, и все, как смеются, по 12 казакам.

Вчера Никольский пробовал зайти в отдел народного образования, открыл дверь — на него кинулась оттуда собака, — едва успел захлопнуть дверь, очень сердитая собака и рыжая.

Сегодня, когда мы вышли с доктором от винного короля (нагруженные), Старооскольская улица на все свое видимое огромное пространство была пуста — кто сидел в подвале, кто в каменном флигеле или сарае, только были куры на улице, раньше незаметные, теперь далеко виднелись, куры были хозяевами улицы и соблазняли ловить себя, выпивший доктор пустился за одной с палкой, едва удалось удержать его от преступления.

К восьми вечера бой закончился, и я разобрался в нем, оказалось, что кашу из невообразимого создавало эхо выстрелов от Сосны в нашем саду, так что вся стрельба слышалась вдвойне, втройне; кутерьму подняли, вероятно, все те же «12 казаков», может быть, выпили в Казинке самогончику и разделали штуку, а наши стрельбой из пушек и пулеметов создавали «завесу» у переправы. И когда же их черт унесет!

На ночь думали, нельзя ли всем перебраться в Хрущево, решили дня три переждать, пока прояснится горизонт Елецкого фронта.

Так вот и закончился праздник двухлетия большевистской революции: год тому назад меня изгнали из Хрущева, два года назад из литературы — всё гнали, гнали, есть чем помянуть!

***25 Октября.*** Теперь существуют всего две партии: наша Городская (красная) и Засосенская (белая), все остальные партии разделены от этих гуманитарно-просветительной завесой. Население очень склонно одевать и белых флером гуманности: не стреляют по городу, а наши в городе пушки поставили. А вся «мораль» такая: у белых уничтожение индивидума является делом стихии и несчастием, напротив, индивидум (в лице монарха) — цель государственного строя, у красных цель — коллектив, и уничтожение индивидума совершается сознательно: так, говорят, что Орел был занят красными всего на два часа, и в эти два часа уже действовала Чека. А когда в день возвращения красных я увидел приказы и сказал своим евреям, что, видимо, хватать направо и налево не будут, потому что создалась какая-то организация, то евреи сказали: «У евреев всегда организация». Я спросил тогда: «А кто это комендант Лазарев?» Они сказали: «Это Софон Давыдович, двоюродный брат». Несомненно, принцип Чека исходит от евреев: почему ведь, бывало, у газетных хроникеров при распределении билетов на Сенсацию такой поднимался спор и кагал: потому что принципиально каждый хроникер имеет равное право на получение билета, а каждому в отдельности тесно в этом равенстве, и он, возглашая равенство, втихомолку протискивается поближе к столу с билетами, чтобы как-нибудь принципиально стянуть.

Нет, пусть же меня лучше застрелит пьяный калмык, чем засудит Чека!

Страх [от] калмыка — ужасен, но после него — Голубое знамя, любовь, а страх от Чека — презрение к людям, равнодушие к жизни.

И вот у нас и получилось так, что на бумаге (принципиально) записана мораль социализма и согласно декретам на каждый час жизни, на каждую минуту часа без

пропуска (без случая) действует организация Чека, но индивидум не попадает в сферу действия Чека: попадает масса, безликая жертва, обыватель; индивидум, втихомолку пробравшись к столику с билетами, захватил себе и был таков.

Конечно, и во время монархии воровство было велико, но оно не было неизбежно (развитие самоуправления, свободы личности вполне совместно с монархией), и бывшее у нас подавление личности было несовершенством механизма данного времени...

Сейчас (на рассвете) в саду заметил, что каждая мокрая галка, опускаясь на купол Сретенской церкви, производит шум, подобный отдаленному выстрелу из пушки с севера, так что, когда я в этом не разобрался, мне представилось, что с севера (от Ефремова) идет замыкающий отряд белых... Мимо Сретения проехало 7 всадников, старший спрашивает: «Вы использовали эту церковь?» — «Как то есть использовали?» — «Пробовали поставить пулемет, обстреливается?» — «Нет, не использовали». — «Надо попробовать».

...Итак, монархия, по-видимому, есть государственная (то есть бытовая) форма анархического учения об обществе, форма жизни (эволюции) анархизма, а коммуна есть принципиальная (нежизненная) форма социализма (заключение бесконечного в конечное).

Есть разумность безумия — создание Бога и б е з у м и е  р а з у м н о с т и представить Бога как формулу $2 \times 2 = 4$. Надо проследить психологически возникновение этой силы, ибо это есть одна из действующих сил современности (дерзновение разума в формах уголовщины) — «Русская коммуна как дерзновение разума, выраженное в формах уголовщины». И все это не ново, и все это было и будет продолжаться, хоть тут пропади все: а нужно узнать эту силу и повернуть на благо мучному искуснику, Елецкому купцу Митрофану Сергеевичу Жаворонкову и его работнику Балде, чтобы в конце концов $2 \times 2 = 4$ обратилось в капитализм = социализму, то есть в ы д у м к а  и  т р у д  е е  в ы п о л н е н и я не спорили между собою

в разделе барыша и не заставляли всех и вся заниматься этим спором и освободили бы силу любви к жизни.

Высшее воспитание, образование личности они решили использовать на потребу своего спора, как силу пороха, силу железных дорог и т. д., они это и сделали: красная армия держалась этой силой интеллигента, хотя его нравственный мир оставался на другом берегу. «Овечья Голова» тем отличалась от прочих, что отдала сюда и свой безбрежный нравственный смысл. ...И стал один берег Сосны — белый, другой берег — красный.

8 утра. Тихо. На улице ни одного человека и два голубя.

Приходит 3-й день сну Анны Николаевны, что будто бы к нам на двор пришел большой добрый медведь, — сон действует на три дня. Наши сны и пророчества, если не сбываются, указывают на наш действительный (идеальный) мир.

Туман опять весь день. Слухи, что казаки ушли, а почему же так работают пушки и пулеметы? К нам под бок подтащили батарею и палят, заснуть не дали после обеда. Лева даже перестал интересоваться, и мы читаем: я — «Горе от ума», Влад. Викт. — Гюго, Лева с Олей — Диккенса. В окно разговор. Броневик стреляет с моста. «Во что же он стреляет?» — «В туман». — «А казаки?» — «Их прогнали под Тулу». — «Ну, пойдемте-ка лучше в преферансик сыграем».

Сегодня отбил атаку трех вооруженных людей с мандатом на изъятие телефона: вошел один из них в комнату и напал на древесный спирт, едва-едва отбился.

Легенды все одни и те же: по обыкновению, что взят Петроград, занято Бологое, что парламентер от белых — очистить город в 24 часа и т. д., все это творится желанный мир.

Война с туманом! Когда сбываются все слухи и что говорили вчера, то сегодня стало фактом, — это ничего не говорит о человеке, а вот когда слух не сбывается, то это

указывает на творчество человека, на его желанный мир, и будущее мы узнали лишь из этого желанного мира, потому что оно есть дело желания...

...Сейчас в сумерках у нашей лавочки на улице слышал новости: будто бы казаки в Талицах, значит, то, что делается ими за Сосной, — демонстрация, чтобы захватить войска с севера, — это очень правдоподобно и соответствует желанному: недаром с утра, когда мокрые чайки садились на купол, мне чудились выстрелы с севера...

Щекин, прекрасный лектор, очень увлекается в своих рассказах звукоподражанием, манера очень рискованная; теперь, наслушавшись звуков стрельбы, он не говорит, а шипит-свистит: «Тах-тах-тах!» (пулемет), «Жж-ш-ш-ш» (полет снаряда), «Пах, пах!» (разрыв) и т. д. — невозможно слушать.

Сегодня мне сказали, что мальчик Ростовцев на вопрос, как ему понравился новый учитель Пришвин, ответил: «Я знаю его, и мама знает, и бабушка, они мне говорили, что он дурак, рассказ его бабушка читала какой-то и сказала, что он дурак». Ал. Мих. Коноплянцев вспомнил при этом, что я своего учителя географии В. В. Розанова тоже дураком назвал (за это меня и выгнали) и получил то же теперь сам. Когда у меня что-нибудь хорошо и С. П-а в этом не участвует, то, вероятно, из ревности старается чем-нибудь уколоть меня... мир женских мелочей и капризов, как он мгновенно рассеивается от одного свободного, широкого движения мужской души.

Господствующее миросозерцание широких масс рабочих, учителей и т. д. — материалистическое, марксистское. А мы — кто против этого — высшая интеллигенция, напитались мистицизмом, прагматизмом, анархизмом, религиозным исканием, тут Бергсон, Ницше, Джемс, Метерлинк, оккультисты, хлысты, декаденты, романтики; марксизм, а как это назвать одним словом и что это?..

...Сейчас, когда пишу, просвистел над крышей моего дома снаряд, и так отчетливо, а откуда он послан был — неизвестно, не слышно, может быть, верст за десять.

***26 Октября.*** Спеленали вонючими портянками жизнь, не нашлось у нас чистых пеленок! русская жизнь...

Слышал от акушера Руслова, что у рослой тазистой здоровой бабы чаще всего роды бывают неправильные, потому что в широком тазу ребенок болтается и становится поперек; здоровой женщине, оказывается, акушер более нужен, чем слабой. Мы разговорились об этом по поводу того, что наши «Господа» хотели эвакуировать инструменты из родильного дома.

За двухлетие большевистской революции видели столько негодяев, что самый гуманный человек возненавидел до конца (до розги, до казни собственными руками) зло в человеке. Вот когда становятся понятными те зверства, которые совершают крестьяне над конокрадами, когда вопит человек: «Нет пощады!» (Не забыть: полицейский писаришка Ершов, ныне управляющий делами Отдела Народного Образования, с двойным [взглядом] в глазу — ведь он уйдет и засядет опять в полицейский участок; а этот матрос вчерашний с телефонным мандатом, алкающий спирта, — ведь он будет, наверно, урядником, интеллигент Писарев, продавший первенство за чечевичную похлебку, — ведь он будет инспектором округа).

В 7 утра выхожу — рассветает медленно из-под дождя, я думаю: разойдется туман, осилит солнце тучи — с утра, наверно, будет пальба; колокольня уж очень-то близко к нам, ведь один только снаряд в наш деревянный домик — и Лева разлучится с отцом или я с Левой — хорошо, если вместе! и весь страх — за разлуку.... закричали галки, рассветает, верно, все больше и больше; такая подлая жизнь, и всё держимся, мы ценим в ней цельность, союз, — а смерть страшна разделением, разлукой; смерть — рассечение (боимся, что не сразу: изувечат, ногу отрежут — в этом страх)... нас всех обыскали — обыск! все увезли из города, перестали хлеб выдавать, исчезла аптека и пр.; потом стали пугать стрельбой — запугали! опять началась эпидемия, холод, и все-таки хочется жить.

Повторяю для памяти вчерашнее: 1) Есть разумность безумия: творчество Бога (бессмертия), и есть безумие разума: заключение Бога в формулу 2 × 2 = 4. 2) Минута жизни в Чека и Калмык. 3) Монархия и анархия. 4) Желанный мир — реальный мир. 5) Марксизм и оккультизм.

По обыкновению, в 10 утра мы с доктором на разведке, не сразу нам удалось установить, что казаки покинули нас или их прогнали (как говорят, за 25 верст). В 12 д. это уже было видно по внешнему городу, принявшему обычный красный вид: везде ходят военные и много жителей, добывающих себе крохи питания и топлива, торговцы-лотошники продают конфеты, яблоки и пуговицы. Казаков было немного, от 12 начинают и за 80 не переходят. Твердо говорят, что центр белой армии находится под Белёвом. Удалось узнать, что в «Центральных Известиях» напечатано 18 Октября, что взято Царское, Петергоф, Ораниенбаум. Но волна наша вполне закончилась, что видно даже из готовности публики верить крайне пессимистическим слухам, что Воронеж, Киев, даже Орел заняты белыми.

Вечер. Темно. Сыро. Тихо: падают громко с крыш капли. На небе заря догорающего вокзала.

***27 Октября.*** Снился на голубом море город Буэнос-Айрес. Тридцать или больше лет [назад] я учил это название в географии и больше не встречался с ним в жизни. Я не думал, что правда есть такой город, справился и с удивлением нашел в Южной Америке Буэнос-Айрес.

Кажется, весь дождь вылился за ночь, рассветает раньше вчерашнего...

Наступает время последнего испытания, последней борьбы за существование, надо что-то придумать для спасения: все пятьдесят тысяч населения города в страшной опасности гибели от голода и холода. Как же тут не ждать избавления от белых! Упала волна... я так понимаю: это была разведка, демонстрация, новое нападение может быть, может не быть — все равно: сражение под Тулой решит нашу судьбу, если армия красная будет там разбита

наголову — мы скоро будем свободны, если же там затянется — зимовать и жить в состоянии индивидуального спасения... с л у ч а й  р а з л у ч и л, а если бы не встреча с N., если бы не такое чувство, что я с кем-то, разве бы я остался один и разлучился, нет, это не с л у ч а й  р а з л у ч и л. «Бессознательно» поступать — это значит обыкновенно поступать п о  ж е л а н и ю, а когда говорят «сознательно» — это — против желания.

Нет, дорогой, вас разлучил с женой не случай, а ваше собственное желание, вам так хотелось, и вы случаем воспользовались. И вообще в жизни своей вы жили по желанию, считая, что каждое ваше желание почему-то соответствует какой-то высшей и единственной Воле и вы как бы выполняете ее предначертание. А что, если это чувство Высшей воли, призвавшей вас, есть подпорка слабого человека, лицемерие эгоиста, напуганного с детства «эгоизмом»? Где оправдание вашему призванию? сочинения? их значение, с того времени, как их прочитали, не для вас: вам они значения не имеют, а другие о них спорят, вообще спорное значение.

...Если не в  д р у г о м  значение, то в пережитой минуте полноты жизни, счастья ее, удовлетворения... и так вы жили всегда для себя, стараясь не рисковать этим счастьем, для чего брали его в постепенности, в ограничении, в изморе своих второстепенных желаний, вашу жизнь можно изобразить как жизнь аскета ради одного своего желания быть свободным охотником... другой может быть аскетом ради ощущения вкуса соленого рыжика, третий — во имя спасения человечества путем его социалистической организации, четвертый — ради чувства Бога, управляющего вселенной, — везде ограничение, аскетизм во имя избранного желания, кулак и Тихон Задонский... Сизиф в раю. Сизиф сияющий чистит сортиры (весна!) — говно все прибывает, а небо синеет, Сизиф чистит. Жена Сизифа выставляет рамы и смотрит на работу мужа изумленная: чему Сизиф улыбается?

...исключительное желание способно сгущаться, оседать, уплотняться, превращаться в идола или Бога (кулак и Тихон Задонский), и весь секрет в том, чтобы установить

разницу между идолом и Богом; не в этом ли центр всего искомого смысла нравственного существования человека. (Искушение дьяволом, самозванство.)

Прежде всего, идолы некрасивы, боги — прекрасны, в богах есть мера и ритм, в кумирах диссонанс и недомер (хлысты всё больше разноглазые и несимметричные и преступники). Но говорят, что есть прекрасные идолы...

...лица верующих отражают в себе черты богов и кумиров.

Поймите, друг мой, войну гражданскую белых — красных — зеленых как войну богов и кумиров, возьмите голубое знамя и при свете дня солнечного увидите, что это боги и кумиры отражаются, пользуясь красными и белыми, как мальчики оловянными солдатами, тогда вы увидите, что боги с кумирами часто меняют солдатиков: то боги пользуются красными, то кумиры, то боги избирают себе белых, то кумиры...

...милые друзья мои, мирные жители, не ожидайте хлеба и пшена ни от белых, ни от красных, всмотритесь в них лучше, ведь это солдатики оловянные (русский солдат был всегда солдат оловянный по преимуществу).

...вся жизнь стала оловянная, мы все стали оловянные, и хочешь не хочешь, делаешь то, что прикажут.

Игра в солдатики (боги в плену у кумиров и пр.).

Ходили на разведку за Сосну и установили, что белые ужасно прогнали красных из Пушкарей, но на другой день отступили, что показывалось белых очень немного, и каждый с ручным пулеметом, одеты в английское, это часть их пробовала зайти в Елец из Талиц и перешли там реку, но тоже возвратились обратно. Вся операция истолковывается как глубокая разведка, а что от нас слышалось — то из пушек по воробьям. Меньшевик рассказывал свой разговор с солдатом: «Какого же полка?» — «Маркова II-го». — «Какое же хотите установить правительство?» — «Старое». — «Жандармов?» — «А тебе хлеба не было при жандармах?» Очевидно, легенда демократа, опасающегося монархии. Раненых жителей до 30 человек, и все крас-

ными, «белые по городу не стреляли» (все народная легенда).

Приехал М. с Опытного поля, и стало понятно все: из 400 чел. матросов от Пушкарей вернулось к Ельцу только 80; «Почему же белые всегда побеждают?» — «Потому что у них ученые офицеры» (гибель советской власти от «саботажа» интеллигенции).

Белые отступили, потому что нужно было или своих много положить, или много разрушить городских домов. Всего было 8 орудий (два полка). Сражение у опытного поля (Чибисовка) между двумя частями казаков. Отступили на 60 верст.

В Чибисовке (возле Опытного поля) казаки выпороли коммунистов и близких им и совершенно разграбили, обещались потом еще разобраться и виновных расстрелять (а может быть, и правда, что есть полк имени Маркова II?). Красные ранили всего 3-х казаков.

***28 Октября.*** «Разве я легкомысленная женщина? нет! я слишком серьезная, слишком много тружусь, чтобы упустить эту радость; я тебе ничуть не изменяю, я сижу и буду сидеть возле тебя, но это путешествие я прошу тебя мне разрешить».

Поставили пушку и начали стрелять куда-то в туман, население разбежалось, а потом привыкло, девки и мальчишки выпрашивали разрешения стрельнуть и стреляли с утра до вечера. А в городе прислушивались и шептали: «В какой стороне бои?» Развертывали карты, изучали станции, села, деревни, высчитывали версты. День за днем проходил, мужики не ехали в город, начались холода, и голод стал угрожать стихийным бедствием. Прислушиваясь к выстрелам, одни говорили: «Что-то все на одном месте», другие отвечали: «Кажется, подаются, ближе слышно». И так проходили дни.

Один из дезертиров (Максим) счастливо удрал, другому не посчастливилось, вчера я видел — едет он робко

с бабой в виде Чертовой Ступы, щеки у нее были подвязаны грязнейшим платком, я остановил его, он шепнул: «Нельзя, нельзя, провожаю на рынок жену командира полка».

Если вынырнуть из-под личной опасности, то много смешного и наивно-простоватого в этих самозванцах — командирах и министрах («господа енаралы»). Или, например, обыск с мандатом на выемку телефона: осматривает, ищет проволоку и встречается глазами с бутылкою древесного спирта — и прямо туда: «Не спирт ли?» — «Вам же, товарищ, нужен телефон, это не телефон...»; он и понимает, но неудержимая сила влечет его понюхать, и он нюхает...

Нужно собрать все эти черты в один фокус (личность): царство лжи: от Ивана до Гордона и Горшкова; в общем, это все прежние свойства, старый дух, почивающий не в гостиной, а в людской.

— С добрым утром, ну как, ничего не слышали ночью?

— Какие-то выстрелы слышал, но через дождь не разберу, пушки или винтовки.

Помазанник и самозванец — рог антихриста: момент, когда я могу п р и к а з а т ь другому: «Иди!» — есть момент, определяющий меня, во-первых, как верховное существо (бога или кумира), и когда другой спрашивает: «Куда?» — в ответе: «Туда» — второй момент, определяющий породу мою как бога или кумира.

Боги и кумиры. Человек идет за Богом, призывает человека Бог, но кумира создает сам человек и, создав, исчезает в нем (не идет, а повинуется). Есть момент, когда очень трудно понять, — зовет меня Бог или я творю сам себе кумира (момент возникновения самозванства): то и другое скрещивается в чувстве Я. (Достоевский определяет русского интеллигента: не он владеет идеей, а им владеет идея.) Повинуясь, сохранять себя, сознавать, то есть знать, чему повинуешься, различать, во имя чего отдаешь себя; или же отдаваться, не сохраняя себя (хлысты и декаденты). (Два брата были у нас, один оставался при отце работником, другой пошел достигать звания.)

Вышли «Соха и Молот» с требованием мобилизации, регистрации и пр., сообщается о взятии Воронежа и Царского и что от Орла на юг наступление; видимо, у белых что-то неблагополучно на юге, и есть слухи о восстании рабочих, о Махно и т. д. Есть сведения, что казаки грабили деревни, как и красные, что уезд разграблен, в городе нет ничего. Ясно, что наши расчеты на спасение через соединение белыми с Украйной в ближайшее время — разбиты; и может быть, соединят красные?

На митинге вчера большевики решили каким-то способом проверить убеждения населения — вот удивительно-то! Нам остается жить змеем и цыганом — проверка змею и цыгану.

«Где вы были, что вы делали?» — «Я жил». — «Как жил?» — «Жил сначала цыганом, потом змеем».

Два комиссара говорили на улице:

— Продовольственный вопрос принимает характер ужасающий, катастрофический.

— Ничего, разве с такими пустяками справлялись!

Вечером всё ехали обозы наступающих красных войск, и матросы тянули их любимую матросскую песенку, припевом которой служит, кажется, так: «Ёб твою веру...»

София, лицо второе св. Троицы, стала у нас Богородицей, и Богородица превратилась в старушку Мать, а теперь Мат-россы ругаются по-матерному.

Мат-росс — начертание слова по новой орфографии, цвет революции.

Опять слышу о долге: «Ваш долг устроить нас с собой». — «Но ведь вы же отказались весной жить со мной. Долг — это когда живут вместе и наживают чувство долга: мы с вами не жили, мы гуляли. Или вы, женщины, даете свои чувства в долг?» — «Я люблю давать тому, кто не просит».

Беременность: плод зреет, и долг растет.

— Мы гуляли, нагулялись.

— Огулялись?

— Ах, да, вот что: наша Рыжка огулялась.

***29 Октября.*** Уезд весь общелкан войсками — красными и отчасти белыми, город «эвакуирован», то есть из него вывезено все, даже пожарная труба, и остаются одни жители. Слобода имеет связь с деревней, буржуазия давно разбежалась, остаются: интеллигенция.

Остановились мы с доктором помочиться открыто на главной улице, никто больше на это не обращает внимания, и говорили, мочась, о зиме:

— Вот она какая, настоящая-то смерть — грядет, грядет большое, черное, лохматое, с белым холодом впереди себя, вот он, белый, забегает вперед далеко, окружает, забирается в самую душу, зовет и машет: «Гряди, гряди!»

Скоро всякая попытка смеяться исчезнет, холод скует щеки и холодеющие пальцы напишут последнюю главу: «Завещание». И то напишу, если я не знаю, кому передать это завещание, чтобы оно сохранилось и достигло своего назначения?

Какая-то ужасающая черта в три месяца — Декабрь, Январь, Февраль — а там голубь чистый, месяц ясный, жизнь святая, прекрасная звездочка... Там, за чертой.

Михайло говорит, проехав последнюю цепь: «По чьей земле едем, по красной или по белой?» Подумали с Максимом и решили так, что это наша земля, мы едем, наша.

...Иду не на разведку, а обсуждать, обговаривать, приучаться к будням наступающей трагедии.

...Так оно и оказалось, уже успели обсосать чудище, сам Сатана явись — прижились бы; теперь говорят, что Воронеж занят был красными на 5 часов, потому что гарнизон вышел усмирять какой-то бунт (Махно?), что бой под Чернавой, а с Тербунов «правильное» ж. д. сообщение белых с Касторной.

Крестьянин бросает лошадь и телегу. Мужик о пулемете: «Опять закашлял».

...То красное, что ехало на север, теперь опять пошло, гремит на юг, и верблюды прошли, и медведь.

...о чем думаешь на улице, поймав себя: вот телеграфный столб против моего дома без проволоки, хорошо в ненастную ночь спилить его, грязью замазать (никто и не заметит) и за ночь — всю ночь работать! — наколоть дров.

На площади Революции (Сенной) хоронили 14 удавленников, оставленных казаками на ст. Боборыкино.

Вспоминали вечером про Оптину Пустынь, старца Анатолия — неужели и там теперь конюшни и казармы?

А. М-у пришла в голову мысль поступить в Слепуху псаломщиком, шутка шуткой, а может быть, это и есть его счастье. Вообще мы теперь даже не различаемся, а разветриваемся до первозданных элементов, живем инстинктом дьячка-прадеда, купца-лавочника и пр. Разложение совершается так: поболит, поболит и отпустит, во время отпуска собираешься с силами, проверяешь багаж, можно ли еще пожить... можно! и заключается мир с прошлым до нового удара и следующей затем новой маленькой надежды, что как-нибудь переживем и увидим звезду истинной жизни. А эта истинная жизнь рисуется... Рабочий: «И с жандармами?» Казак: «Ты ел хлеб при жандармах?», то есть теперь уже не в царе дело, а в животе, поел, а потом все прочее. Море соленой воды, и человек весь в мечте о глотке настоящей воды, и вся жизнь в мечте о воде, так и теперь жизнь настоящая воплощается в жажде хлеба насущного. Христос ведь не разговаривал с голодными, а насытил их.

Дом после солдат: окна растащены, двери; без окон, без дверей дом, и ветер выносит на улицу тряпье, рогожки; и эти рогожки и тряпье собирают на топку.

На улицах развешивают картины с изображением крестьянина-«середняка».

***30 Октября.*** Воет ветер, гремит железными крышами; все мертво, и даже оставшаяся еще кое-где зелень деревьев — мертвая трупная зелень. Нет ничего. Только сахар Мамонтова создает какую-то внешнюю корку бы-

тия: крепит; и как выпьешь рано утром чайку с сахаром, то само собой перебрасывает жизнь на следующий день.

Ветер воет и гремит, и доносятся к нам выстрелы войны, единственно великой, вечной войны: наука вся питается сказкой этой войны человека с природой, искусство по-своему твердит то же самое...

Ветер студеный, мороз, земля холодная, три босых солдата катят пулемет по городу, дребезжит:

— Начальник сказал: «Гуляйте (грабьте) по городу, а скажут что: из учебной команды».

Провезли три воза раненых и еще один пулемет.

Слухи, что разбита наша красная армия (медведь назад идет). Другие слухи, что 12 полков Мамонтова разбиты под Воронежем. Третьи слухи, что Мамонтов Тулу взял. А еще будто Деникин с Петлюрой сражается под Киевом и вся армия от Тулы бежит на Украйну...

Стужа ужасная и притом страх, что нас разденут, непременно разденут!

«Люблю морозы и отдаленные седой зимы угрозы», — сказал тепло одетый «буржуй».

Тов. Калинин, общественность и счастье. Народ по Троцкому.

К вечеру п р и з н а к и накопляются: прошло человек триста солдат; которые босые, которые в рубашках. Проехали знакомые, крытые белыми колпаками повозки, обозишко кучками назад едет. Говорят, что бой идет весьма ожесточенный под Чернавой.

Приехал Калинин, председатель ЦИКа, говорят, он рабочий, честный, хороший человек. Был митинг, и некоторые наши рабочие прониклись мыслью, что нельзя быть посередине. Я сказал одному, что это легче — быть с теми или другими. «А как же, — сказал он, — быть ни с теми, ни с другими, как?» — «С самим собою». — «Так это вне общественности!» — ответил таким тоном, что о существовании вне общественности он не хочет ничего и слышать.

Говорю вождям марксизма:

— Все теории только метятся и никогда в цель не попадают, а вы себя вели до большевизма так, будто не только прицел важен абсолютно, но и заяц в ваших руках, немудрено, что нашлись энтузиасты, которые сказали народу «пали́» по нашему прицелу. Теория, други мои, только метится, стрелок не по теории стреляет...

— Народ, — сказал откровенно вождь большевистского социализма, — это скотина, которую нужно держать в стойле, это всякая сволочь, при помощи которой можно создать нечто хорошее для ч е л о в е к а. Когда утвердится человек, мы тогда будем мягки и откроем стойла для всей скотины. А пока мы подержим ее взаперти.

Председатель ЦИКа Калинин держал Елецкому пролетариату речь:

— Деникин, конечно, вначале принесет вам избавление от голода, он мало расстреливает, вначале будет вам хорошо, а после зажмет; так действует всегда буржуазия, вначале мягко, а потом жестко. Мы действуем наоборот, вначале жестко, а потом мягко (то есть когда утвердится человек, стойло будет открыто).

Идиоты царства небесного сошли на землю проповедовать в России С.Р.Ф.Р.

Председатель ЦИКа установил факт «чрезвычайно любопытного» явления, что во время русской коммуны исполнительная власть совершенно разошлась с властью законодательной (то есть писали одно, а делали другое).

Обвинительный акт: проверить источник моего яда и злобы, дабы не становиться в тупик, когда рабочий говорит:

— А как же общественность?

Каждый большой и маленький законодатель от марксизма действует как ученый, и именно как ученый хирург, памятуя изречение Маркса, что мы, современники — акушеры, которые должны облегчить роды будущего.

***31 Октября.*** Первый зазимок. «Пришли белые». — «Куда?» — «В Елец». — «Где же они?» — «А вот: все белое».

Снегу много, сугробами. Прежде было бы событие: «С обновой, с обновой!» — говорят. А теперь так, будто не было ни весны, ни лета, ни осени, продолжается Февраль. И так не у меня одного, а у всех.

В полушубке и валенках иду в гимназию учить ребят географии нашего отечества.

Два тополя на дворе гимназии стоят на белом еще совсем зеленые и, кажется, между собою так разговаривают.

1-й тополь: — Веришь?

2-й тополь: — Нет!

1-й: — Что же ты видишь?

2-й: — Вижу смерть.

***1 Ноября.*** Материально люди теперь совершенно расщепились на отдельные мещанские эгоистические единицы, так что нет к ним никакого приступу, и как вы ни милы, как вы ни очаровываете собой какого-нибудь владельца, например, десяти фунтов чаю, но случайно обмолвились, что нет у вас ни синь-росинки чаю, конец очарованию: ваш ближний видит в вас лишь претензию на его чай, а вы сами видите его непереступающее через чайный круг мещанство. Оно и нельзя перейти: чай — все богатство, все состояние семьи. Каждая такая «самостийная» усадьба, чайная, мыльная, пшенная и т. д. совершенно замкнута, ссоры, недоразумения, дружеские капризы — все это куда-то исчезло в обществе совершенно распавшемся, и из всех этих мелочей создан один козел отпущения — советская власть, зло на которую и брань соединяет всех чайных, пшенных, подошвенных и всяких владельцев.

Окончательно установлено, что Елецкие белые состояли из полков имени Маркова II-го, одного из первых виновников гибели нашего отечества.

Страннику голодному, бродящему между мещанскими усадьбами русской коммуны, предоставляется выбор между девизом коммуны и Маркова II-го.

Вчера наша коммуна с Сытиным, кажется, получила смертельную пробоину: он привез много продуктов, мы

очень обрадовались, хотя Лева скоро шепнул мне тихонько: «Папа, они достали, а мы-то как же...» За ужином они так разговаривали. Он: «Хлеба только мало у них, совсем мало». Она: «Сколько же они будут давать нам в месяц?» Он: «Два пуда». Она: «Ну, этого хватит (поправилась), то есть на *нашу* семью хватит (разъяснила): на троих».

Хотя мы условились, что у них хлеб будет свой, но непонятное сначала тяжелое настроение охватило, подавило меня. Я поделился с Левой своим настроением, и он сказал: «Мне тоже больно было за столом, зачем это они говорили, мы сами знаем». Лева еще сказал: «И всегда, я замечаю, такое больное говорят не мужчины, а женщины, почему так, папа?» Я ему объяснил: «Потому что муж достает, а жена считает, это начинается в далекие времена, когда дикие охотились на мамонта; мужчины охотятся все вместе дружной ватагой, им просторно в полях и весело, душа их *складывается*, а потом, когда мамонт убит, приходят женщины и делят, одной достались кишки, другой — печенка, третьей — копытца, и душа этих женщин *разделяется*; вот почему в нашей жизни мужчины обыкновенно несут с собою союз, а женщины разделение». Лева на это сказал: «Как же быть с женщинами, которые нас разделяют?» Я ответил: «Им не надо никогда поддаваться в этом, стараться действовать на них примером своего великодушия, только незаметно, путем ласки и внимания: от этого их душа опять складывается».

Когда ведь тебя ударят по башке чем-нибудь, то, оглушенный, не сразу сообразишь, что такое случилось, так и на душе, когда ударит неосторожное слово, долго, бывает, не понимаешь, что это такое случилось, никогда не находишься в эту минуту ловко ответить, не понимаешь, а потом в тоске начинает развертываться картина, и понимаешь такое, чего раньше не понимал.

Я думал ночью, что слабый виноват своей слабостью и если его дело выполняет другой (сильный), то последнее дело, если на этого другого слабый будет сердиться, между тем сердце большинства относительно коммунис-

тов именно такое: мы все рабы, и сами отдали свою свободу, а потом сердимся на того, кто подобрал ее.

*2 Ноября.* Открылся звон (сняли осадное положение). Встал, не зная, чему я радуюсь, и понял, что это звон меня обрадовал.

Рэвакуация... Чикин и организация отдела народного образования. Затруднение вышло в недостатке партийных людей, между тем в финансовый подотдел необходим коммунист: некому чеки подписывать. В конце концов, вероятно, найдется такой человек. Отдел будут вести школьные работники, а чеки подписывать коммунисты.

Чувствую исход из положения состояния физической мобилизации, чтобы можно было взять да пойти куда-нибудь в деревню, или на юг, или в Сибирь.

Волна как будто чуть-чуть опять поднимается, слухи о восстании в Москве, известия о продвижениях белых на восток от Лисок к Борисоглебску.

Надо когда-нибудь использовать прием описания = ... как в жизни...

Владимир Викторович чистит сарай для курника. Анна Николаевна варит лапшу на керосинке.

Сделал открытие: потолок в сарае для топки, второе открытие: соль в тайнике (не сахар ли?).

Вечер, спирт с мочеными помидорами, житие-питие: ничтожнейший из педагогов.

*3 Ноября.* Мелочи характера.

У нее моральное чувство очень большое, но нет моральной памяти: моральная восприимчивость, которую при отсутствии памяти быстро сметает инстинкт.

Однажды я услышал, они говорили между собою: «Спрячь эти семь фунтов мыла подальше», — и запомнил, что при случае попрошу у них для себя полфунтика. Раз она сказала, что они голодают, нет у них ни корки хлеба. Я принес ей все свои сухари и через три дня сам остался без хлеба. В это время я попросил у нее немного мыла, выстирать Леве рубашку. «Нет!» — помолчала, помолчала и забыла, так и не дала.

Скупость и Легкомыслие — две крайности характера. У Сытина есть легкомыслие: вчера мы в тайнике наших сбежавших хозяев нашли соль. Сытин говорил: «Тащите, тащите сюда, сменяем на сало, у нас не хватает жиров».

Я люблю щедрость.

Зависть. Когда события грозят всем гибелью от холода и голода и я рассказываю это у К., то она начинает делать сцену мужу: «Все запаслись, я знаю хорошо, что все запаслись, только ты ничего не припас!» Ей нельзя сказать, что живется хорошо, то есть сегодня наелся, она сейчас же скажет: «А у нас нет ничего!» — хотя у них не меньше, чем у других.

Все это материал к трактату о происхождении обезьяны от человека: был провозглашен человек, а из него вышла обезьяна.

Представляю себе, что какой-то чудак ходил по слободе Аграмач и просил хлеба ради человечества (не желая сказать «ради Христа»). Мещанин: «Какого же человечества, русского или жидовского?» — «Всякого, вообще человека». — «Да он, человек-то, разный, один хороший, другой такой, что и называют его сукиным сыном». — «Ради хорошего человека». — «А как его узнаешь: кажется хорош, а глядишь... в человеке можно ошибиться». — «Ну, да ладно, по тебе, ради Бога — в Боге не ошибешься».

Вчера видели на Торговой, как на юг опять прошел медведь, исхудалый, измученный, видно, очень голодный, идет на юг в Долгорукое в наступление. А волна опять поднимается: будто был взят белыми обратно Орел, Воронеж, а генерал Шкуро с ингушами находится в Ливнах.

***4 Ноября.*** Казанская. Зазимок превратился в настоящую зиму, снег лежит, мороз трещит. Сегодня еду в Хрущево узнавать про хлеб...

***5 Ноября.*** Вечером вернулся из Хрущева. Тифа теперь не боюсь. «Как так?» — «Да не страшно, никто в деревне не боится, и мне не страшно». — «Но ведь так и умереть можно...» «Ну, что ж? и умирают, умер Пахом, Павел, а все

не страшно: ну, и умер, ежели тебе умирать, так на каждом месте умрешь».

У батюшки ночевал, застал — вот жизнь-то! вот жизнь! это ужас! Сгорели, все сгорело, и рамы сгорели. Хотел уходить, мужики обещались отстроить к зиме жилье, да вот и по сих пор строят: рамы одиночные, щели в палец светятся, поставили чугунку — дымит, а не греет. Сидит вся семья в шубах, в дыму возле чугунки не раздеваясь спят. Ужасно смотреть, и люди какие, люди-то какие, и каждый мужик знает, какие хорошие люди, сам сидит в своей теплой хижине, а священник замерзает.

Все-таки предпочитаю ночевать на чистой простыне, чем со вшами. Холод спать не дает, окружает, обходит — великий невидимый стратег. Кутаюсь, подвертываю одеяло, то там, то тут проникает со своим лозунгом: «Война дворцам, мир хижинам!» Тиша, сын священника, говорит мне, что Французская революция нам не пример, у них нет холода такого. А батюшка спрашивает: «Как по-вашему, что хуже — холод или голод?»

Вспоминаем, как прошлую зиму Стахович повесился в своем дворце: сбежал вниз, укрылся у лакея до тех пор, пока мог терпеть, а как лакей захамился, пробрался наверх в холодный дворец и повесился: удавил холод дворянина во дворце, лакей жить остался в лакейской. Страшно подумать о дворцах, о больших каменных купеческих домах в Ельце с выбитыми стеклами — жилище холода...

Мужики в тепле, обжираются мясом, куда ни придешь — везде сковорода свеженины, объелся, закупорил живот, голова разболелась... обжорство, вечная боязнь, что ограбят, и полное равнодушие к горячке — тьма беспросветная, давящая. Предлагают жить с зимы: «Ведь сыт будешь!»

Налетели грабители, восемь человек вооруженных, ограбили человек пять. Вор Картошев вышел на город и ну палить из винтовки. Сразу все ускакали. Так пригодился и вор, спас деревню.

Архипка живет в нашем доме, Дуняша, наша горничная, стала барышней и все ворчит на печку, что дымит

и неспособно... Лиде предлагают жить тут, не хочет! гордится! предпочитает носить провизию в город.

Тень покойника брата витает по нашим дорогам. Я шел по большаку. Едет обоз, равняется, кто-то поклонился мне, я ответил, обоз позади, и в морозном воздухе слышу: «Чей это?» — «Николай Михайлович Пришвин». — «Кто?» — «Пришвин, Николай Михайлович». Видно, что весь обоз заинтересовался, и один за другим спрашивали, и далеко, я слышу, повторяется и повторяется имя моего брата: «Кто?» — «Пришвин Николай Михайлович».

Оглянешься кругом, и вдруг поднимается старое, знакомое, все-все радостное, широкое, светлое, и как вывод из этого: любовь и желание творить доброе. Опустишь глаза: земля черная из-под снега мерзлыми глудками, полынь, падаль с целой горой воронья, собака гоняется, с разлету кидается, и воронье все подлетает... Слышу: «Подклюем, и все тут!» — поднимаю глаза, и глаза мои встречают зеленые точки пронзительные, а лицо все как бы из навороченных замерзших глудок сделано. Страшные глаза, еду, смотрю на землю, на порошку, на снег, и все мне мерещатся зеленые точки — глаза земли, зверя черномордого с зелеными глазами. «Дрянь какая! — указал мне один на падаль, — сукины дети, сукины дети». — «Кто?» (Деревня жрет, кормит свинью... нищенствует священник, учительница, нет духа...)

***6 Ноября.*** Обложили квартал: по 1/8 фунта керосину и по лоскуту кумачу для праздника революции, для иллюминации.

Слухи: Троцкий уходит с поста своего, коммуна отказывается от осуществления коммуны и оставляет свои ячейки только на монастырской земле, свобода торговли и пр.

***7 Ноября.*** Ровно неделя, как легла зима без всякого предупреждения, и мороз стоит свыше –10°, все пущено в ход, и шубы, и валенки, и Левка на лежанке греется, лежа на брюхе. Сегодня внезапно полил дождь, и зима кончилась.

Есть сведения, что белые виделись с некоторыми нашими интеллигентами и говорили так: «В существовании советской власти виновата интеллигенция, без ее участия эта власть не могла бы существовать, вы должны бежать к нам, и если не уходите, то мы с вами после расправимся».

Словом, вопрос ставится так: или Троцкий, или Пуришкевич, или «бей буржуев», или «бей жидов».

Большевизм — это исповедь третьего интернационала, черносотенство — исповедь националистов, те и другие в Ельце исповедовались (Горшков и Мамонтов) довольно, чтобы можно было отказаться от тех и других.

Деревня. Мужик кормит свинью, цена ей, если истратить 2 пуда муки, — 80 тысяч. Вдруг обложение по 2 пуда на душу. И все это внутри коммуны.

Усердный воин: «Белые нужны для отечества и красные нужны, я попал к красным и служу им, а ежели бы я поначалу к белым попал, служил бы белым».

По старым своим понятиям, мы рисуем себе воинов богатырями, но какие же это теперь богатыри: мобилизованные крестьяне-рабочие и женщины! передовая женщина III-го пола: их дело великое, но сами они жертвы.

***8 Ноября.*** Буфер. Хотел бросать свои уроки географии, услыхал, что ученики от них в восторге, и сам я теперь в восторге..; после этого и говори, что мне дела нет до читателей — на этом, вероятно, основана психология общественного деятеля, а миры облетают (Каин, демон) в одиночестве.

Вчера печник Александр Поликарпыч ухитрился поставить мне чугунку так, что от нее и лежанка нагревается, я вдруг избавился от холода и радость чувствую такую, что даже ночью нет-нет да и погляжу на чугунку с любовью.

Наша коммуна с Сытиным основана на личном чувстве, хочется больше дать им, чтобы стать независимым, не чувствовать одолжения. И в тюрьме наша коммуна держалась этим же самым чувством индивидуальности. Один Смирнов жил только чувством общества, потому что дру-

гой жизни и не могло быть, он был конченный в себе человек, отдавший себя обществу (после страданий).

Интеллигенция — это буфер гражданской войны.

Вчера на Сенной на празднике Октября видел матроса, нашего коменданта Львова — отроду не видел такого страшного лица, такой головы, предопределенной для плахи так ладно, что увидал бы казнь, и ничего, вроде как бы съел бланманже. Попадешься такому, и кончено.

Может ли быть доброта некрасивой? — нет! всякое доброе дело красиво, иначе оно называется ханжеством, филантропией... Но красота бывает и недобрая. Некрасивое добро не может существовать как добро, оно тогда называется ханжеством, филантропией. Но недобрая красота остается быть как красота и служит, полезна миру тем, что бывает испытанием добра. Истинное добро в свете недоброй красоты является нам как смирение... Можно сказать, что красота всегда враждебно встречает добро и только после испытания добра на смирение становится доброй красотой.

***9 Ноября.*** Третьего дня весь день лил дождь, и мы думали, что зима наша кончилась, но вчера утром мороз прохватил, и стало все ледяным, и зима удержалась. Так вот и советская власть, думали, конец, конец, а она все держится, и запасы мы делаем теперь с таким расчетом, что она всю зиму продержится.

Богомазов (Смирнов) однажды (когда поднялся вопрос о его казни) раз навсегда решил, что хорошего ждать от людей нечего, искать нечего между людьми совершенного и что в людях нет ничего, кроме расчета, лавочки с книгой по двойной бухгалтерии, он это ясно понял раз навсегда и умер для жизни как вольный, радостный, обыкновенный человек. Тогда он стал продолжать свое дело, но не для людей, а так, для себя, и его дело вдруг повлекло к нему множество людей прекрасных, на каждом месте показывались такие люди, и мелкие стали ему везде подчиняться, сами не замечая того. Его лицо поблекшее, покрытое

желтыми пятнами, конопатками и рябинками, рыжая бородка и мочальные волосы — все стало светиться, излучаться, как будто недобрая красота, пройдя через его смиренный вид, становилась человечески доброй, ручной. Я любовался им, когда он работал, уважал его и как-то робел, а когда мы остались вдвоем, то говорить нам было нечего, я думаю, потому, что он вообще мог делать, но не говорить, и обсуждать, и делиться с другими своими жизненными находками: он нашел.

— Почему вы не убежали к нам? У вас один здоровый мальчик, вы бы могли.

— Я бы мог, но у меня были добрые знакомые, которые не могли бы со мной бежать, мне было жалко с ними расставаться. И это наводило на мысль, что если бы всем убежать вместе — это выход, а что я один убегу, то это личное мое дело, а как личное, то и потерпеть и подождать можно, авось как-нибудь кончится гражданская война.

— А вы почему не убежали к нам?

— Я все время бежал от тюрьмы, извивался, хитрил, а что я сейчас не в тюрьме сижу, это потому только, что я обманывал их и бежал, мои все силы были израсходованы (на это бегство), и не было сил, чтобы бежать в обыкновенном смысле слова, по большаку или по проселку, чтобы убежать о т   т ю р ь м ы. Странно получалось: я бежал от маленькой тюрьмы и попал в огромную, которая называется Советской Россией. Кроме того, моя жена совершенно неспособна к этому бегству, очень болезненная и робкая женщина, а бросить ее я не мог...

— Итак, вы работали против своих освободителей?

— Я пленная сила, я раб на многовесельной галере, и если не в ритм ударю по воде своим веслом, соседние весла заставят меня грести правильно, я пленная сила.

— Почему же вы не...

— Покончу самоубийством? Я против самоубийства и надеюсь, что меня когда-нибудь освободят. Еще я так думаю, как раб на галере, что в конечном счете и белые и красные делают одно дело, и там, в этом деле поверх красных и белых, я свободен...

Нашим жильцам солдатам-коммунистам я очень понравился.

— Вы учитель, — сказал один, — вам надо быть комиссаром, а вы учитель, вся беда, что интеллигенция не с нами.

— Вы говорите, что не с вами интеллигенция, а белые обвиняют ее в союзе с советской властью: не будь интеллигенции, нельзя бы было воевать красным. А мужики даже и во всем винят интеллигенцию: не будь, говорят, интеллигенции, не было бы и революции и жили бы хорошо.

— И все-таки, товарищ, вам нужно быть комиссаром.

Хорошие ребята, чувствуешь такую же тягу, как у пропасти, хочется броситься, чтобы стать их царем, как у сектантов «Нового Израиля», когда они предлагали броситься в «Чан», это — стать вождем народа (Искушение Христа в пустыне).

У этого товарища слово «партия» произносится с таким же значением, как у хлыста его «Новый Израиль», — вообще партия большевиков есть секта, в этом слове виден и разрыв с космосом, с универсальным, это лишь партия, это лишь секта и в то же время «интернационал», как претензия на универсальность.

***10 Ноября.*** Есть признаки новой волны: говорят, что казаки находятся под Тербунами с 8-ю броневиками и вот-вот медведь пойдет опять на север.

С другой стороны говорят, что съезд советов 14 ноября утвердит всюду свободу торговли и всем партиям, кроме монархической, будет предоставлена свобода выборов в новые советы, что будто бы согласны на это будут и деникинцы. А монархисты будто бы объединяются с фон дер Гольцем в Прибалтике, тут, конечно, и Пуришкевич.

Лекция двухчасовая в Народном Университете о творчестве художников слова накануне революции.

Андрей Белый — оккультизм (оккультный роман), претензия на универсальность (Светлый иностранец).

Волынский, Мейер: борьба с позитивизмом, рационализмом.

Художественное творчество все основано на вере, или, если хотите, самообмане: я описываю вещь, как она мне представляется, и в то же время я верю, что эта вещь существует в себе так, как она мне представляется. Эпическое творчество — Гомер, Аксаков, Толстой, — когда весь народ верит вместе со мною в реальность бытия такой вещи; лирическое, субъективное творчество делает исключительность (понятную) и, наконец, отрывается и — кружок, личность... (декадентство).

Запрос на эпос. Религиозные искания (православие в религии), Добролюбов, Семенов, Мережковский — Розанов, Ремизов — Горький, Цвет и Крест (Блок и Легкобытов), (Стихия и Чан).

Утверждение личности и крах индивидуализма: мы, эпос. Стал писать о своей детской вере, сжигая ее вместе с написанием.

***11 Ноября.*** Пройдет день, и хорошо, пережили, подвинулись к весне.

***12 Ноября.*** Ничего. Болит глаз и зуб. Приходил Малышевский, рассказывал, что купил лошадь для еды. Коноплянцев спросил его, не продаст ли он ему лошадиную голову: очень вкусен язык и мозги. Малышевский, узнав, что вкусны, замял разговор воронами, сказал, что вороны очень вкусны. Я вспомнил то множество ворон на падали на большаке и обещал ему настрелять, а теперь просил за это отдать Коноплянцеву лошадиную голову.

Хлеб в городе продается по 4 р. фунт. Дрова по 120 р. за пуд. Фунт соли 250 р.

Власть гражданская в нашем городе стала партизанской.

***13 Ноября.*** С тех пор как почту эвакуировали, время заблудилось, верных часов нет, негде проверить, во всех учреждениях разное время. Интерес к событиям совер-

шенно пропал, хотя любители продолжают рассказывать по привычке, что казаки где-то близко... Мертвая зыбь.

Читаю Мережковского о Толстом и раздумываю о своем эпикурействе (например, какое эпикурейство в этом отказе от власти! вспоминаю смутные проблески порыва к христианскому делу: «голубое знамя», в Хрущеве — дело милосердия и пр.).

Тревога за то, что нарушится покой мой («страх смерти»): расположение к христианскому подвигу является всегда после тревоги за существование (нападение калмыков); броня покоя: я не претендую ни на деньги, ни на власть, ни на славу, я могу и хочу жить просто сам по себе и на это имею право, как всякое живое существо, мое правило — никого не обижать и если удастся, то делать людям полезное. (Комбинация чугунной печки с лежанкой: чугунная печка большая эгоистка, горит для себя, прогорела, и нет ничего; мы с Поликарпычем провели от нее трубу в лежанку, стала теплой лежанка, так что и не нарушили эгоизма чугунки, и в то же время сделали эгоизм ее полезным для всех; пока не было у меня такого изобретения, как я волновался за судьбу замерзающего города! теперь не беспокоюсь нисколько; я думаю, что вообще народ теперь очерствел, обэгоистился и не протестует общественно, потому что изобретателен на индивидуальные способы.)

Происхождение власти от жадности: хочется иметь побольше, а боится, что оборвется дело, и вот он свое положение закрепляет властью. Для самопожертвования и подвига нужны срок и мера и достаточное основание, никак нельзя это вменить человеку в обязанность и даже навязывать ему такой идеал...

***14 Ноября.*** Солдаты стараются распропагандировать Леву. «Ученье плохо, — сказал Лева, — не топят, холод». — «А ты брось, читай программу, будешь комиссаром». Еще говорили ему про Христа, что это был хороший человек, а Богородица просто женщина, ничего от св. Духа не было, а просто от плотника Иосифа. Еще говорили, что ме-

сяц движется по орбите, что и в Библии есть кое-что верное и всякий человек должен трудиться, чтобы есть, кто не работает, тот не ест — словом, Лева стал учеником солдатской Академии, где вся Космогония в карманах и программах.

В день праздника революции дети собрались в свои нетопленные классы получить обещанные по фунту черного хлеба. Не дали хлеба и сказали речь, что в будущем они будут учиться в дворцах и сидеть на шоколадных партах (истинная правда!). Лева с насмешкой сказал об этом солдатам, а они: «Ну, что ж, и правда...»

***15 Ноября.*** Говорят, что между солдатами нашей 42-й дивизии очень распространено «учение» Махно: «Долой жидов и коммунистов, да здравствует Советская власть!» «Учение» на большую пользу мужикам (фактически в нашей Соловьевской волости и существует это положение).

Бабушка: «Повесь крестик». — А вы знаете, что такое повесить себе крестик по-настоящему, это значит — обречь себя загодя на крестное страдание, так, чтобы не было нежданно, если распнут, и в этом свобода состоит: если насильно поведут меня, то я как животное пропадаю, а ежели я приготовился и всякую минуту жду этого, то событие мне уже больше не страшно, я свободен.

Король винный превращается в короля золотого: вино в золоте. Так из одного имперского чиновника сделалась тысяча, из одного буржуя совестного стало тысячу буржуев бессовестных.

***16 Ноября.*** Почти все семьи, какие я знаю, держатся лишь тем, что жена становится в положение матери своего мужа. И Толстой был у Софьи Андреевны совершенно на положении ребенка.

***17 Ноября.*** В любви мужчины на мгновенье как будто разрывается родовой провод, блестят искры свободы, но только сверкнули, только сошлись любовники, и опять так заменяется: ж е н а становится м а т е р ь ю с в о е г о м у ж а.

Вот положение: видеть в зеркале все подробности своей будущей семейной жизни и сохранять мечтательную любовь, вот испытание любви, кто это выдержит! (втроем). Может быть, Лева спас папу...

...«ум» женщины: это способность дать материал для мечты мужчины беспредельно, чтобы граница свободы и необходимости исчезла, способность сделать такое (не то, чтобы муж, мечтая, колол дрова, выносил урыльники, нянчил детей?), чтобы делать его реальным, выращивать из идеального ребенка (жениха) реального мужа, — все это называется словом л а д. Быть реальным — это остановиться, наклониться, ухватиться за вещь — знать; без веры, конечно, нельзя з н а т ь: знание — это дитя супружества веры и разума; то, что мы теперь называем знанием, — это знание разума, это холостое знание.

Сюжет: Лева рассказывает, как он спас для себя папу.

Как Толмачиха выдавала свою дочь: она знала, что вспышка любви жениха коротка, что только на одно мгновение разрывается в любви кабель рода и разбрасывает светящиеся искры, она потому и не теряла ни одного мгновенья, чтобы успеть подставить под свет любви всякие тяжелые грузы брака: сундуки с детским бельем, все приданое, всю родню, теток, бабок, всевозможных стариков и старух и разные предметы хозяйства, всякую труху освятить, окропить вспыхнувшим светом любви, чтобы они намагнитились и потом держали супругов вместе до конца жизни.

М о н а р х и с т. Все жданки выждались, женихи Пенелопы сожрали почти все богатства Одиссея, некоторые (немногие) верят еще, что Одиссей жив (Николай).

***18 Ноября.*** Чудо зима! без зазимка сразу напала, и пошли сразу морозные метели и морозы до –15°. Сегодня ясно, только мороз –15°.

Узнал, что сестра Лидия 8-й день лежит в тифу: захватила в Хрущеве.

Во время обеда. Дуня: «Вас спрашивает какая-то старуха с ведрами». — «Спроси, что ей надо». — «Картофель-

ные очистки». Входит бывшая помещица, соседка Люб. Ал. Ростовцева с двумя «погаными» ведрами.

Время от времени я прерываю свой урок географии и говорю ученикам: «Деритесь!» — все начинают возиться, греться. Через несколько минут я кричу: «Конец, начинаю!» — и опять все слушают. Помещение при –15° совершенно не топится.

Мой вид: шуба нагольная. Валенки.

Раскол:

— Как можно воевать из-за дву- и триперстия?

— А как можно воевать из-за кусочка кумача и коленкора?

Война. Говорят, что в Костроме стоят занесенные снегом танки белых, а в Москве цены хороши: 175 р. фунт хлеба, 700 р. фунт масла.

***19 Ноября.*** У Лидии тиф 9-й день, температура упала до 38° — угрожающий признак, организм отказывается бороться. Может умереть. Мы с ней ссорились очень, теперь не из-за чего, и все больше и больше охватывает чувство *родового* одиночества...

Говорили о строительстве социальной Вавилонской башни, где необходимость труда разделяется между всеми, — это очень хорошо, но как же быть с необходимостью в болезнях рожать и с необходимостью умирать: ведь трудовая повинность и вообще социализм есть частичная, материальная сторона вопроса, это не выход, это не «способ», а преподается как ответ на все запросы души — вот в чем наше несогласие...

(Я был владелец земли — меня выгнали, я остался владелец своих организованных способностей — их расстроили, теперь Я — владелец, или, вернее, арендатор нескольких десятков мертвых душ моих предков, объединенных в Я.)

Читаю Мережковского о Толстом и Достоевском: русский народ создал величайших гениев своих — Толстого

и Достоевского, а эти гении дали потомство бунтарей-коммунистов и тараканных мещан (об этом надо подумать...: владелец нескольких тысяч душ запечных тараканов).

Опять встает это одиночество в страхе вырождения, лечение которого — баба (природа, Толстой, и «Константинополь будет наш»).

Оба равно пали: Толстой в коммунизм, Достоевский в «Константинополь».

***20 Ноября.*** Вещь бывает в себе у Канта, и вне себя вещь — наша революция.

Говорят, что красные взяли Курск и еще у них какая-то большая победа и что будто бы Деникин отступает до Кубани. Начинаем подумывать, что хорошо будет, если Деникин будет разбит. При удаче коммунисты могут исчезнуть незаметно, мы вдруг станем спрашивать: «Где же они? куда делись?» — и, раздумав, увидим, что их и не было, а это мы были «коммунистами», наша эгоистическая злоба создавала бесов, как только наша душа стала свободна от злобы — они исчезли. Коммунисты — образы и подобия нашего собственного прошлого будничного духа. Сойдет с престола одураченный Ленин: победа небывалая, а враг ликует, и нет места победителю среди побежденных — вот что еще может быть!

(Вот в том-то и есть очевидность его бытия (чёрта), что попадаются в ступу его и невинные жертвы, стало быть, он исходит ежели и от нас, [то] действует самостоятельно, наше зарождение, а бытие его отдельное.)

Опять говорят, что иностранцы ультиматум предъявили белым и красным, чтобы кончить войну, и белые будто бы послушались, отступают, а красные не слушают, что Москва и Петроград заняты белыми. Успенский, узнав, что мужики не слушаются, не дают подвод, сказал: «П о д к о в а т ь и х!»

***21 Ноября.*** Ночь. Михайлов день.

А об этом все-таки надо подумать: как это в момент полного морального разложения строя комиссародержавия (нужно только вспомнить Горшкова!) — красная ар-

мия вдруг одерживает колоссальную победу над Югом, так что наглое хвастовство Троцкого становится пророчеством...

Есть слух из Москвы, что причиной отстранения Деникина является приказ Англии, которая недовольна еврейскими погромами, и что отступление полное, глубокое, на днях будет занят Харьков.

***22 Ноября.*** Мое богатство — чугунка и Хрущевский хлебный паек, радость моя теперь единственная: проснуться рано, часов в пять, когда полная тишина в доме, заварить себе чаю и за чаем, за курением махорки сосать свою медвежью лапу. Теперь я понимаю, почему медведь сосет свою лапу, — это он так думает; какая завидная жизнь! лежать всю зиму в тепле, ничего не делать, не хлопотать о продовольствии и сосать свою лапу. С помощью чугунки, пайка и записок я этого достигаю на утренние часы. Но вот рассветает, на дворе показываются какие-то два солдата, проходят мимо окна, звонятся ко мне... злоба у меня невероятная, я, как медведь, потревоженный, готов от злобы поднять вокруг себя снежную метель, вылететь из нее черной копной и задавить дерзких, но какое мучение! открываю дверь: «Что вам угодно, товарищи?» — «Посмотреть ваши комнаты». — «Кто вы такие?» — «Агенты Чека». — «Ну, посмотрите...» — «У вас два самовара? А это что, спирт?» — «Древесный». — «Ну, как!..» Нюхает. Другой стоит и щелкает подсолнухи, выплевывая на вымытый пол... О, как бы я разломал свою берлогу, как бы я бросился давить их, и как все это просто у медведя, как завидно обеспечена ему неприкосновенность жилища и как геройски он умирает за право быть хозяином своей берлоги!

Утром рано потому так радостно встаю я и сосу свою лапу, что, знаю, в эти часы я — неприкосновенный медведь.

Лидия вчера, 21-го, на 10-й день болезни отправлена в Красный Крест и теперь лежит без сознания в своем неприступном сыпном бараке. Единственный верный и лю-

безный ей мужик Никифор, когда ходила она к нему, тифозному, за хлебом, вместе с хлебом снабдил ее сыпною вошью. И теперь она совершенно, может быть, умирает в сыпном своем бараке и умрет — не увидишь как... Вьюга, метель...

Холод и сыпные вши — этого Франция не знала во время своей ужасной революции.

Художники Советской России в тот самый момент, как созерцали, тут же и делали: художество было в действии, потому собственно искусства и не было.

***23 Ноября.*** В Народном Университете читал свою «Чертову Ступу», прошло очень хорошо, только интеллигенция воспользовалась случаем напомнить о своем неверии.

Буду читать: как собираются цветы народной жизни: былины, духовные стихи, сказки, песни, причитания, частушки.

***25 Ноября.*** ...зима бесконечная! так охотно вычеркнул бы из жизни эти четыре месяца невольного креста.

...если уж и сознавать необходимость креста, то есть что не уйдешь, надо еще в душе какую-то ценность иметь от жизни, и что вот я действительно из-за чего-нибудь или за кого-нибудь страдание принимаю, а то крест как виселица.

Расчет до весны, до 1-го Марта: 108 зимних дней (Божьих), которые мы все (Сытин, Коноплянцев и др.) готовы с наслаждением возвратить Богу, лишь бы весна.

***26 Ноября.*** 107 Божьих... как-то прошло.

***28 Ноября.*** Я говорил вчера у Ник., что не слыхал в народе и в интеллигенции возражений против коммуны, обыкновенно говорят так: «Против идей коммуны мы ничего не имеем». Наши интимные муки есть муки творчества Личности.

Они бы и Христу предложили быть комиссаром в своей государственной секте на условии вхождения в партию.

То, что называется «саботажем», есть сопротивление личности броситься в «чан».

***29 Ноября.*** 104 Бд. Ориентация на красных.

Светится природа, когда узник выходит из тюрьмы, когда больной из больницы — радость мира его встречает, безликая, и есть тоже писатели, описывают эту безликую землю (Толстой); вопрос: как совершить это выздоровление? Другие писатели описывают самую болезнь человеческую, получается личность (Достоевский).

***30 Ноября.*** 103 Бд. Читал в Народном Университете лекцию о народной вере, мало кто это понял — вина, конечно, моя. Одну мысль поняли, — что Григорий Распутин был орудием мести протопопа Аввакума царю Алексею и сыну его Петру, был Распутин царем, а царь Николай его рабом.

***1 Декабря.*** 102 Бд. Вчера у С. П.:

— Когда вы мне так скажете про Леву, то кажется мне, дорога между нами ложится, холодная, перемерзлая дорога осени, затянувшейся в зиму, когда пронизывающий холодом туман висит в воздухе вместо лежалого теплого снега зимы, — вот эта злая последняя осень, кажется мне, подталкивает последние уцелевшие листики нашего тополя.

Государственная коммуна в государстве, где народ считает издавна власть государства делом антихриста. Между тем религиозная коммуна считается в обществе высшим идеалом. Я хотел показать, как этот советский бык Бонч пытается перекинуть мост через бездонную пропасть двух этих коммун.

Обыватель говорит обыкновенно: «Я ничего не имею против идей коммунизма», ему нужно сказать: «против коммуны религиозной».

Заманить в коммуну может только мечта или же загнать государственный кнут.

Ходил искать паровую мельницу на Аграмаче, спросил шедшего за мной молодого человека, он посмотрел на меня и не ответил, я посмотрел на него, взгляды наши встретились: его голубой глаз в мягкой нежнейшей оправе говорил мне: «А вы кто же такой, что меня так просто спрашиваете, я так могу и не ответить». Я крикнул: «Товарищ, где тут мельница?» — «Не знаю!» — сказал он принужденно, а в глазах было: «По принуждению отвечаю, но все-таки опять вы ничего не узнали таким путем от меня». Тогда я спросил простого обыкновенного человека, и он мне внимательно ответил: «Мельница, вот она! Вон крыша, где вороны сидят, там и мельница».

Мысль Мережковского, кажется, можно выразить так: если вы взяли не всего Христа, то остальной Христос станет против взятого вами как Антихрист.

Или так: что всякая попытка человека охватить единым понятием мироздание не удается: неохваченная часть противополагается взятой (Богом) — [берется] дьяволом.

Заутренний час.

Мое счастье в предутренний час, когда в голубеющем первом свете летит прекраснейшая птица Галка и кричит только она — больше ничего, все молчит, говорит колокольня бесконечно высокая... в эту минуту сила жизни, возрождения, начальная моя сила, сливается с силой мира всего и чувствует трепет перед красотою мира, я думаю: красота — это заря того единого света — источника, который дерзновенный человек пытается назвать именем, назвать и познать, но как только позвал: — Бог! — он сейчас же раскалывается надвое: Бог и дьявол. Наша жизнь есть усилие вызвать Бога, зовем Бога, вызываем дьявола: крик в пустыне.

Когда художник — только художник [пишет] эту зарю, то все человеки — попы стремятся подтолкнуть его, что-

бы он соблазнился написать самого Светоисточника, и часто соблазненный художник падает в эту бездну.

За свою лекцию, над которой я работал неотрывно целую неделю, мною было получено 300 р., которые я сейчас же отдал за три фунта махорки. Жалованье за полмесяца (1320 р.) я отдал за 20 пуд. дров — 1000 р. — и за 1 четв. молока.

***2 Декабря.*** 101 Бд. Красная ориентация: будто бы, говорят так, Петроград хотели взять фон дер Гольц с Юденичем, и их разогнал союзный флот. А на юге полный развал у Деникина.

Рабочий заявил мне свой протест: он считает истинным такое государство, которое действует не принуждением, а сознанием.

***3 Декабря.*** 100. Сиротская зима.

В состав души этой Смуты-Коммуны вошло, конечно, и все Завиральное, напр., Толстого.

Надо прочитать в Народном Университете лекцию о Мережковском: «Светлый иностранец» (Д. С. Мережковский): и поэт, и проповедник мировой связи.

***4 Декабря.*** 99-й Божий день (на тебе, Боже, что мне негоже). Введенье — ломает леденье. Лева сказал мне:

— Когда я был в приготовительном классе и узнал раз, что ты приехал, я бросился в гостиницу: ты лежал в кровати, я сел тебе на брюхо верхом и говорю тебе: «Узнал интересное, что человек происходит от обезьяны». А ты мне на это ответил: «И от Бога, так и запомни, что обезьянье само собой, а Божье само собой, одно другое не исключает».

***5 Декабря.*** 98 Бд. Возлюбленную моей юности видел во сне, дочь высокого чиновника. Я вошел в их дом в Петербурге теперь, после революции, спросил швейцара, где комната барышни, можно ли ее видеть. «Можно, только подождите, скоро придет фрейлина». — «Как фрейли-

на?» — «Как же, им дана фрейлина, приходит на два часа прибирает, как же... все-таки чин». — «Какой же у него теперь чин?» — спросил я. — «Чин у них теперь, — ответил швейцар, — сенбернара».

Потом я виделся с барышней, гулял с ней и условился скоро опять увидеться, но не пошел на второе свидание, и любовь представлялась мне как тающая фигура воска.

Швейцар же был, как Горшков — Смердяков, очень тонкий и отвечал про чин сенбернара очень тонко-язвительно.

Эта любовь — мгновенная вспышка, и на всю жизнь от нее сны, как лучи: верно, это было тогда во мне самое главное. Да ведь и писание мое и странствие того же происхождения, всё это сны-лучи. Тут где-то зерно моей трагедии (похоже на «Идиота», и называли меня тогда некоторые — князь Мышкин).

Нового против Европы, я сознаю, тут у нас нет ничего, но обнажение наше столь велико, что вполне равняется чему-либо новому: Европа до этого не дошла, ну, а если она дойдет? ведь и у нее обнажится тогда то же самое.

Слово от Господа, а хлеб от рук своих.

***6 Декабря.*** Я стоял, прислонясь к Хрущевской ограде, буря кидала от облака к облаку цепеллин, пока наконец он не справился с нею и не спустился возле меня. Из цепеллина вышли красные и начали куда-то стрелять и бутафорить, трое из них сильно размахивались, что-то швыряли в воздух. Я спросил, для чего это они швыряют. Мне сказали: «А слышите, свистит, для свисту». Я был жалок... я боялся, что в меня попадет, я трусил бутафории. И, проснувшись, думаю о том, что мы все калеки беса неудач, писания наши ценны тем, что делали нас, нашу душу.

Вспоминаю, как Розанов мне однажды сказал: «Да нужен ли грех для спасения, как в "Братьях Карамазовых"?»

Спасение для расщепленных людей — одно (грех), а другой совершенно путь для здоровых душой и телом

людей, у которых душа хорошая, цельная и которых надо лишь накормить: вопрос о хлебе и вопрос о духе — отдельные вопросы, и все верно, только неверно там, где они встречаются и ломают отношение духа и тела (Горький против Достоевского).

Горький был на Капри у итальянских рыбаков, и там было у них весело, и так нудно-мрачно казалось в России. Он тогда и спросил себя: «Да нужен ли грех для спасения, как у Достоевского?» — и ответ, что нет и не нужно Достоевского.

Так он с этими рыбаками и вошел в Февральскую революцию: министерство изящных искусств.

Гордость — смирение. Страдания — Бес неудач.

У Мережковского ошибка может быть в том, что не всё только памятники духа человеческого — произведения искусства, метафизики и пр., есть исходная реальность, — а и действие факта существования масс.

Вопрос о хлебе в русской революции.

А поцеловать землю, значит, и обнять минуту проходящего времени и радостно приветствовать первого прохожего человека, — разве я этого не делал, Господи, разве не обнимал землю и не отвечала она мне своим зеленым светом радости.

Вот факт: моя стыдливость. Простота такого мудреца, как Мережковский, заключается в том, что говорит о таких вещах, о которых нужно высказываться молчанием («Помолчим, братие») или такими притчами, которые проверяются действием: поступил и понял смысл притчи, а без поступка их толковать можно на тысячи ладов (евангельские притчи). Мережковский все тайны выбалтывает в своей простоте, это рыцарь слова, бумажник, родной брат Дон-Кихоту, которого недаром взял он себе в Вечные спутники (выбалтывает и знает, что мысль изреченная есть ложь: знает и все неудержимо катит по этому пути , словами, как кровью).

Розанов говорил:

— Это не человек, это какие-то штаны говорящие.

***7 Декабря.*** Гробовщик рассказывал К-у, что ему записывать нечего, он так помнит каждую могилку и забыть ему трудно, потому что сам же он каждую выкапывает и сам хоронит, не будь его — всех бы в общую яму кидали, как собак, и потом же родственники являются вскоре, «Где?» — спрашивают, укажешь — и опять в памяти. Вот когда после Мамонтова красные пришли, — я двадцать могилок заготовил на случай, а они только трех расстреляли: Воронова, Иншакова, третьего не мог узнать кто: снесло полчерепа и расшвыряло по стене, собрал мозги, косточки, стал вылепливать, и показалось мне лицо вроде как Витебского, бородка черная, все похоже слепил и похоронил за Витебского. Слышу, говорят потом, что жив Витебский. Туда-сюда — спрашиваю, — кто третий был, и так не узнал, и одна эта могилка у меня остается неузнанной.

Еще рассказывал гробовщик об одном своем смущении: раз он увидел, на стенке прилепился кровью пучок длинных волос четверти в три длиною, а женщин ни одной не расстреляли и духовенства, — чьи же это волосы? так и осталось неизвестным.

Мои богатства на последний край, чтобы променять и остаться голым: тулуп — 20 тыс., шуба — 15 тыс., полость — 5 тыс., 10 ар. полотна — 2 тыс., сюртук — пидж. — визитк. = 8 тыс. Итого 50 тыс. = 30 пуд. зерна. Нас четверо, по 7 1/2 пуд. = 5 месяц. жизни, то есть до 1 Мая.

С и р о т с к а я  з и м а. Все белое впереди, назади, по сторонам все белое, только дорога подопрела, стала рыжая. В тумане этой сиротской зимы нет черты между землею и небом — небо тоже белое, и рыжая навозная дорога поднимается туда и на небо. Еду по навозной дороге на небо, и кажется мне, лошади назад везут, странно так! знаю, что туда еду, вон куда поднимается рыжая дорога, а чувствую, что назад, назад... Ах, матушка, матушка моя, из-за чего ты билась, хлопотала возле меня столько лет. Неужели затем только, чтобы со всеми своими хлопотами, чувствами, родней, землей пристать ко мне и тянуть, тянуть

меня вниз, назад по рыжей дороге в сиротскую зиму этой раздавленной страны.

Как страшно это наше близкое будущее, как при расчете жизни поднимаются и ходят какие-то черные волны, и в них виднеется утопающий мой челнок, а рассудишь умом — все как хорошо идет для будущего России, будет она жить хорошо непременно, оправится, воскреснет, никакая сила с нею не справится. Вижу, знаю, очень ясно мне, что так нужно непременно, иначе и быть не может, но Я-то, Я-то! Одно это веселит, думаешь по временам, вот захочу, попробую рвануться и как-нибудь разорву вожжи, вырвусь, пусть кругом все валится, а Я вырвусь, вырвусь. И как подумаешь так, то ужасно начинает почему-то радовать печка Петра Петровича, так приспособленная, что и нагреваться можно, и тут же обед готовить и хлебы печь — удивительно удобно! Так вот и обрадуешься: займусь такой печкой, буду действовать и освобождаться.

***8 Декабря.***

— Голодные не могут быть христианами.

— Не единым хлебом...

— И не единым духом: нельзя питаться духом голодному, голодный — это зверь, не может быть зверь христианином.

Звери стали понятны: почему они кусаются и воют.

Когда боль у сердца — чтобы заглушить ее, собака воет, но когда боль такая, что и всем не заглушишь, собака кусает, рыча, свой собственный хвост.

Пошли всё сны: видел поломанную липовую аллею в Хрущеве и умирающего брата Сашу — в точности, и я выл...

Материнская любовь (а может быть, еще более отцовская) и есть воплощенная любовь к ближнему, как к самому себе.

Приехал из Москвы Шелимов Илья Спиридонович и привез известие: мир грядет; зажег надежду на избавление.

***9 Декабря.*** Так вот почему я выл, как пес, укусив свой хвост, и весь день — понедельник после сна (мне снился сад наш с поломанною липовою аллеей и брат Саша) — ходил в глубокой тоске, пьяный тоскою, — в эту ночь умирала сестра Лидия и в 6 ч. в Понедельник 7 Декабря умерла в Красном Кресте, умученная холодом и голодом.

Я хороню... с братом Александром, она ляжет с ним вместо жены; нечаянно вышло, и сон про Александра вспомнился.

Наши характеры считаются смешною подробностью в т е х отношениях. Жив ли еще Сергей, а то все мои вымерли, мне оставляют все только шубы.

Последняя встреча на мельнице, как она себе несла продовольствие... а ведь она будет довольна, что с Александром...

В Красном Кресте. Митрофанов:

— Баранова, говоришь? Баранова поправляется.

— Не Баранова, а сестра моя, Пришвина.

— Пришвина выздоровела (в это время она была мертвая).

Собака с вырванным задом. Часовщик с бельем покойников... Разрешение... Братская могила — ужас пустыни и разрешение ужаса — своя могила! (есть своя могила? так что же вы говорите!). Показываются близкие, начинает строиться с в о я могила (не братская)... Корсаковы, Люб. Алекс. с козами... единственное спасение от этого маразма — поставить свою волю времени, иначе сыпная вошь уведет за собой в вечное безвременье... (бунт против вшей)... для докторов и сестер она была в бессознании, но отозвалась глухо Надежде Ивановне: «Я согреться не могу»... Я — и всё Я: как будто Я глубоко, глубоко уходило, но жило, хотя при ужасных условиях.

***10 Декабря.*** Строил с в о ю могилу для сестры среди Елецкой буржуазии... Приехал о. Афанасий.

***11 Декабря.*** Похоронил Лидию. Царапины: д-р Сергеев спросил: «Отчего она умерла?» — «От сыпного тифа». — «Роковой возраст». Лева: «Не тиф и не возраст, а ее

заморозили». — «Чей это мальчик?» — «Мой». — «Ну, герой». При вносе в церковь встретились Любовь Николаевна Вижень и Надежда Ивановна Баранова. Любовь: «Хорошо, что умерла, а то жизнь-то какая». Надежда: «Какая жизнь, хорошая будет жизнь, да она и не сама умерла: помогли умереть!»

Лева сказал решительно и бесповоротно: «За гробом нет ничего и ничего быть не может...» Я ему сказал, что знать об этом никто не знает, а кто верит, что нет, тому нет, а кто верит, что есть, тому есть. «Ну, я согласен, что это от веры, а так нет...»

Я же думал: мне представился дух, лишенный тела и блуждающий до воплощения...

Тело: «Я согреться не могу». Тело — это связь духа в индивидуальности, выраженной в душевном (духовно-телесном) сознании (Я).

Изображение: как во сне, блуждание по жизни и остановка на чем-нибудь, напр., дерево заледенелое скрипит при луне на всю Скифию треснувшими ветками: я у дерева этого остался, и некуда мне больше идти и блуждать: остался и стал тут быть, а в тело возвратиться больше нельзя было: тело осталось — стало, и дух стал у дерева, и дерево обрело душу. Странник белой Скифии приезжал утром и видел крест восхода, цвет и крест. — Это Я сиял ему...

Крест и цвет: ледяное дерево в белой Скифии при луне и восход солнца: крест и цвет (волки).

Культура — это связь духа в новое т е л о (связь — уплотнение) — вот это есть воскресшее тело, и оно реально, — вспомни то странное чувство, когда за рассказ дают деньги, книга — и за нее деньги: не с точки Маркса, что все продается, а с точки счета физического мира с духовным телом.

Мережковский об этом теле и говорит, и он подходит от чувства красоты, воплощенного в образе истории: образ Христа. 1-й путь: леший услышал звон, подошел, по-

нравилось, стал век свой коротать, век-вык, век-вык, и при-вык и стал дьячком.

2-й путь: поиски красоты в образах истории человека, и нашел человеческого гения Христа: искал красоты и нашел крест.

Крест — орудие позорной казни, как можно искать его, как можно к нему стремиться: это идеал страшный, черный, крест как виселица (Исторический Христос), и какое же это безумие — подгонять живое такому богу: «идти по стопам Христа».

И крест как... (в Евангелии одно очень непонятно нам — это предопределение Христу быть распятым: он живет и знает (не ищет радости жизни, а знает, что его распнут).

...учиться и подготовляться... нет! это не ученье, я никого учить не хочу, я поведаю вам свою боль и радость, а вы делайте с ними что хотите, я не учитель, а только деятель общения и связи...

Ал. Мих. Коноплянцев: нога в ногу, шаг в шаг преследует он своего двойника: один — свободный мечтатель, другой — человек долга (нельзя ничего написать — это даже безнравственно), вечная насмешка черта-долга над богом свободы...

***12 Декабря.*** 19-е столетие все было посвящено изучению внешнего мира («открытие Америки»): диво под руками, диво в стеклышке и т. д., и рядом с этим мещанский дележ открытых чудес.

Было так с наукой, будто во сне увидели какие-то райские ценности мира, проснулись — и они, как игрушки в кроватке у ребенка, рядом лежат; узнали об этом — метод нашли получения ценностей, стали их получать-открывать и делить, и делить, накопляя. Мало-помалу наука поступила на службу мещанству, и так забыты были древние вещие сны. Что же теперь делать? Возвратиться к источнику истинного знания, к вере, сохранив за собой все знание внешнего мира.

Происхождение обезьяны от человека.

а) Коммунист, заведывающий отделом ж. д. отдела Народного Образования.

б) Инструктор Сытин.

Коммунист:

— А как у нас в школах, хорошо ли проходится Дарвин, — то есть происхождение человека от обезьяны?

Сытин:

— Дарвин и происхождение человека проходится в высших учебных заведениях, у нас, в средних, проходят учение о происхождении обезьяны от человека.

***13 Декабря.*** Получено письмо от Н. И. Зибаровой, что в Челябинске от сыпного тифа 15 Ноября умер Яша.

Умирают родные, знакомые, на этот случай надо приготовляться.

***14 Декабря.*** О блаженном Успении и о блаженном движении: личность — это движение (сын), безликое блаженство (отец): страдающая личность не может быть целью. Цель — блаженная плазма — круглое, личность — средство.

Со вчера начались морозы после сиротской зимы, морозная заря похожа цветом на антоновское яблоко в холодной сентябрьской росе.

Коноплянцевы муж и жена, оба раздвоенные и согласные до конца.

***15 Декабря.*** Опять исчезла надежда на мир: все было обман — «демонстрация». «Как же быть?» — спросил меня гость. «Нужно действовать, — ответил я, — и не дожидаться, что все перевернется на старое, благополучное».

Снилось мне, будто стрельба на улице и страх я чувствую, переходящий в болевую тоску, что сейчас меня убьют; и правда, меня убивают, я это знаю по тяжести тоски, небывалой свинцовой тяжести, гнетущей меня падать на камни; и я падаю, в последний момент отвертывая лицо от камней, чтобы не разбить его. И лежу среди улицы, не

в силах пошевельнуться и крикнуть далеко идущему человеку на широкой прямой (Петербургской) улице.

...Он любил (жалел) людей таких же, как сам, неудачливых, обиженных (любил, как самого себя), а удачливых, сильных не любил; любил еще, или, вернее, боготворил сверхсильных людей, таких далеких, что в подробностях человеческих их разглядеть ему было невозможно.

***16 Декабря.*** Вторая трещина в нашей коммуне, и, кажется, последняя: первая из-за муки, вторая из-за картофеля. Потому что разно понимали условия нашего общежития: они на расчете равных частей продовольствия, мы — на общем хозяйстве.

Кончил Мережковского, есть и мое основное в его философии, и вот что: 1) ужас перед старинным черным богом, 2) правота внецерковного языческого (религиозного) индивидуалистического чувства (чувства неприкосновенности дома моей личности, то есть индивидуальности; социализм отличается от капитализма тем, что всем хочется быть индивидуалистами). Индивидуалист (эгоист) превращается в мещанина (буржуя), когда паразитирует духовно выше его стоящего.

***18 Декабря.*** Делимся с Сытиным. Собрались ехать вместе на Кавказ и там жить вместе, но застряли на зиму в голодном Ельце и не выдержали испытания: делимся. А если бы уехали на Кавказ и миновали «испытание», то, может быть, жили бы прекрасно? Так молодая жизнь бывает испорчена, если слишком рано бывает несчастье.

Почему непременно с людьми нужно «соль» есть (пуд), а не сахар? Неужели радостное основание хуже и менее прочно, чем горькое и соленое? Вероятно, люди эти просто неспособны отдаться на один золотник общей радости и потому предпочитают долгую прочность (пуд соли) мгновенному счастью.

Базар — учительский ряд. Родные мои умирают и оставляют после себя мне свои шубы, те старинные шубы, хранённые в мороженых сундуках, знаменитые! бывало,

с матушкой сколько из-за них разговоров. «Ну, зачем, — скажешь, — вы их храните, слава Богу, у нас имение, дом в городе, в банке деньги, ну, зачем, что в этих шубах, хранить, беспокоиться, пересыпать, перекладывать, проветривать, просушивать, да продайте их, не будет хоть моли в доме!» А она: «Что же это, наши деды глупей нас были, берегли про черный день, банки, банки, а как лопнут? Эх, молоды вы, не видели черного дня!» Что же, правда оказалось, не видели: старая шуба теперь тысяч сорок, пятьдесят...

***19 Декабря.*** Никола Зимний. Торговал на базаре кофточками Лидии Михайловны, тут же были все учительницы истории и словесности. Как в том сне — тоска сгустилась в свинцовую тяжесть, и к вечеру это уже не тоска, а свинцовое бремя. И я написал завещание.

Вспомнил начало войны, рассказывал, будто старый дед, и потом все этапы войны и революции, моего охотничьего-земледельческого быта, вплоть до торговли кофточками сестры на Елецком базаре.

...Пусть идеи правильные, но через кого они проводятся и какой пример жизни получают люди?

— Вы бросили святыню свою свиньям, и они, о б е р н у в ш и с ь, растерзали вас!

— По плодам их узнаете их... Ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжник.

— Милости хочу, а не жертвы.

— Могут ли печалиться сыны Чертога брачного, пока с ними жених?

— Царство небесное силою берется.

— Всякое царство, разделившееся в себе, опустеет.

— И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?

— Не бывает пророк без чести.

***25 Декабря.*** Спиридон-Солнцеворот. Суд зверей. Ледяная роза с узорами. Культура судит, ставит вопросы, а зверь всю тайну знает, ему нужен только вопрос.

Дело природы – дело отличия, – в этом миссия зверя – его идея, разнообразиться, разделиться, и вот проверка всему: культура-связь.

Смерть моя: навозная дорога на небо, и о. Афанасий влечет, распевая тоненьким голоском: «Со святыми упокой». У мельника, водворенного на мельницу, вдруг уют и тепло: кусочек дивана, на котором я родился.

Ни в чем себя не винят: что сам в тепле, а поп замерзает, школа не учит и т. д. «Мы не выгоняли». – «А кто?» – «Совет». – «А Совет ваш, вы выбирали». – «Черт его выбирал».

Могила внутри.

Лошадь и человек. Никифор поплакал о сестре: я сказал, что дам ему самовар, – очень обрадовался, докормить до весны лошадь – вот цель.

В воскресенье по морозу с метелью бегом в Хрущево выручать свою рожь... Понедельник – метель в родном доме. Индеец Васька. Мохнатый зверь Архип. Зайцев развелось! В середу возвратился: чуть не погиб в отвершке, спас Демьян Степанов из Хрущева-Ростовцева: закурил, поехал и [набрал] много картошки. Я сказал, что умерли Яша, Лидия, Коля – все бросились делить их пайки.

Наст как риза лежал по верхам, и верх был, как могилы, одетые в ризы блестящие с белыми цветами, по ним легкой метелочкой шила метелица свои новые узоры. И сердцем скорбел о милых умерших, втайне радуясь сердцем, что сам остался в живых.

А главная мысль моя была об Иисусе, я вглядывался в Его лик без улыбки, с мыслью строгой и волей неколебимой. «А батюшка наш, – думал я, – о. Афанасий, идет правильно по стопам Христа, его мыслью живет и всегда у л ы б а е т с я застенчиво: улыбается, потому что ему, человеку, [невозможно] быть строгим, как Бог».

– Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?

***26 Декабря.*** И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь.

Кроткий лик Христа (Нагорная проповедь), гневный (горе вам, книжники!), трагический (чувство конца: ...но и это еще не конец!).

Обманывают предчувствия, но похоже на смерть близкую: вспоминаю Сашу: «А умирать я приеду к тебе», — значит, тут, в чувстве смерти, хранится его лучшее: когда умирать буду, то сознаю твое первенство и возвращусь к тебе.

Иисус и отец Афанасий: наш крестьянский поп как конечное жизни нашей, что остается после всего: метелочка метели, вычищающей лед на верхах, украшающей блестящую ледяную поверхность могилы белыми пушистыми цветами...

Я еще думал о зверях и различиях между зверями, что зверь (и человек-зверь, и просто зверь) таит в себе весь ответ на весь вопрос: он живет без вопроса, и жизнь его — всё, и это всё его сказывается в отличиях (в разнообразии форм).

...По дорогам, занесенным метелью, не пройти человеку, я иду по верхам, где ветер сдувает снега, где покров ледяной в разукрашенных метелицей белых цветах, и чувство жизни среди этой братской могилы природы, как радость, охватывает меня. Я думаю: «Вы воскреснете все, когда явится весна, звери, птицы, люди-человеки! заклинаю вас, когда встанете, отвечайте мне, я ставлю вопрос свой».

Чувство радости жизни охватило меня, и так мне представилось, будто вот все кругом растаяло, на лугах трава и цветы, деревья оделись, птицы поют, голубое небо и зеленая земля обнялись на горизонте. И ответ мне был дан: радость жизни в разнообразии... и птица пищит, и зверь рычит, всё во всем, в каждом звуке весь ответ на вопрос.

Я спрашиваю и соединяю всё во всем, мой вопрос — ваше соединение, я вас всех связываю и спрашиваю — для чего вы живете, и вы все вместе отвечаете мне.

Злоба дня: за чаем задать уроки, пойти к Любовь Александровне за прислугой, к Петру Петровичу за маслом,

в отдел здоровья-санитарии, в Отделе напечатать копии протоколов и мандатов на владение наделом, добыть дрова, к Меркуловым за ведрами, на Бабий базар поторговать и к Юдину с предложением шубу купить; после обеда за чаем проверить Леву и Олю, сходить за Сосну к Пряховым (с предложением кофты), к Матвееву (насчет Сосны), к Петру Петровичу за салом.

На рассвете выхожу на перекресток нашей улицы, рассвет малиновый: за Сосной восход. Догорает дом, оставленный солдатами, возле большое дерево, где спят все галки. Они пробуждаются, с криком пролетают и садятся на церковь и, сговорившись, разлетаются в разные стороны добывать себе корм. Люди идут уже с салазками добывать дрова и разное продовольствие. Мальчишка стоит и целится на угли сгоревшего дома; когда солдат отойдет, он себе что-нибудь схватит.

***28 Декабря.*** Поют за Сосной:

Акация!
И спекуляция!

Жидовка без имени, осталась на Деникина, как недонесенная вошь, и выгадала, теперь сыта-рассыта: чрезвычайка и спекуляция — родные сестры. Мое предположение, что она (по глазам) мать следователя чрезвычайки, так что мать — спекуляция.

Другому человеку грош цена, и сам он это хорошо знает, что нет в нем ничего и ни на что не нужен он, как осенний лист, но дунул ветер, и лист полетел, вместе со всею осенью совершая действие погребения лета. Так люди живут лишь силою дующего на них чужого духа. А вот был на земле Сын человеческий, сам источник силы, противной обычному ветру, и сила Его была Слово.

Сын человеческий был посредник между небом и землею, между Творцом всего мира и высшею обезьяной.

***29 Декабря.*** Он вошел в мир с Голгофой в душе... а где же Его детство, отрочество, юность? детство Иисуса, юность?

...мне маленькому казалось в Евангелии очень странным, как Христос-Бог знал вперед, что с Ним будет (мы-то ведь не знаем, и каждый из нас в своем бессознании все надеется, что чаша смерти его как-нибудь минует), а тут неминучее, известное, и Он Бог; выходило неправдоподобно и чудно — этакая страсть! когда так легко Ему миновать ее. И потом, для Бога-то это страдание разве уж так велико? а что вправду Он страдал, как человек, так из чего это видно (дрязги, мелочи, обиды — вот главное страдание, потом самолюбие, любовь, болезни, ведь это все хуже, чем босыми ногами по сковородке горячей). Даже эти стоны на кресте — все это написано так нарочито, «будто взаправду», и разбойники распятые, один был благоразумный (раб), а другой все шептал: «Вот барина распяли!»

Распяты ныне и барин и мужик на одном кресте, барин — за идеи, мужик — за разбой.

Мужик:

— Вот ты барин (если ты Христос, спаси себя и нас)...

(Студенты в Риге, ожидающие неминучей тюрьмы как радости, — это всё тоже Голгофа, Разумник, знающий гибель, Семашко предопределенный...)

***30 Декабря.*** ...вот берлога, вот залезли-то! и будет ли свет...

Молю Бога своего: «Пошли мне свет в темном дне!» Да будет ли свет в этом дне?

***31 Декабря.*** Приезжали Хрущевские мужики с маслом, яйцами — торговали, приезжал с навозом и дровами ламской мужик; торговал до обеда и еще был за Сосной с ситцем и после обеда рубил дрова, печь топил, вечером при лампаде попробовал заниматься с детьми — вяло вышло, и света весь день для меня не было.

# КОММЕНТАРИИ

Настоящий том представляет собой второе издание книги М. М. Пришвина «Дневники 1918—1919», изданной в 1994 г. В ходе подготовки тома к переизданию были сверены и частично прочитаны места текста, ранее отмеченные как неразобранные (<нрзб.>) или пропущенные по той же причине. Комментарии и именной указатель в данном издании переработаны.

Слова, которые не удалось прочесть по рукописи, обозначены в тексте угловыми скобками (<>) и буквами нрзб. В квадратных скобках дается предполагаемое слово и расшифровка сокращений ([]).

В именной указатель не включены имена едва знакомых Пришвину людей.

Приносим благодарность за помощь в сверке текста А. В. Киселевой.

Дневник 1918–1919 гг. представляет собой достаточно большой по объему документ, который можно считать летописью, но летописью своеобразной. Хотя дневник ежедневный и записи за редким исключением имеют точные хронологические и географические рамки, события не выстраиваются в нем в хронологический ряд.

Во-первых, историческое пространство дневника организовано художественной интуицией писателя, которая выявляет смысл в происходящем, отмечая одни и оставляя за рамками другие (часто знаменательные) события. Текст свидетельствует о невозможности отделить Пришвина-художника от Пришвина-публициста, философа, краеведа, охотника и просто человека с его личными переживаниями — художник всегда берет верх, и дневник от первой и до последней записи составляет единое художественно-публицистическое целое; это художественный текст, несмотря на то, что предметом внимания писателя неизменно оказываются события каждого дня. Пришвину удается превратить свой индивидуальный жизненный опыт и свои мысли о прошлом (о детстве, о первой любви, об участии в марксистском кружке и пр.) в общественно значимые явления — его частная жизнь и личные суждения оказываются выражением общественных, культурных и политических идей целой эпохи.

Во-вторых, дневник Пришвина вовлекает в полемику, в совместный поиск — монологичная интонация, кажется, традиционно в принципе присущая дневнику, разрушается постоянным включением в текст «чужого голоса» (Бахтин) — целого ряда голосов; иногда трудно отличить по смыслу голос Пришвина от «чужого» голоса (записи разговоров, чьих-то реплик или цитат, часто скрытых), но ему это не очень, пожалуй, и важно. Ему гораздо важнее донести до читателя эти разные голоса — разноголосицу мнений, одни из которых писатель оспаривает, полемизируя с ними, с другими соглашается, что-то добавляя и развивая, третьи вызывают у него ассоциации с собственной жизнью или мыслями, заставляют обращаться к историческим или литературным аллюзиям и т. д. — так постепенно создается модель пришвинского дневника, которая будет присуща ему до самого конца — последних записей в дневнике 1954 года.

Уже в эти первые послереволюционные годы Пришвин думает о судьбе своего дневника, а точнее – о судьбе русского писателя, которому важнее собственной жизни сохранить свои, может быть, и последние слова для читателя. («*Были наборщики и ставили буквы свинцовые, буква к букве... Ругались буквы наборщика за писателя: "Пиши, что хочешь! мы поддержим тебя и поставим тебя со всеми твоими небылицами в связь со всем миром странников-писателей, и ты будешь нам как те". Теперь нет наборщиков, буквы наборов рассыпаны... Как счастлив был тот телеграфист, который, стоя по колено в воде утопающего корабля, до последней минуты, пока вода не добралась до его рта, по беспроволочному телеграфу давал знать о гибели, призывая на помощь. У меня нет телеграфа! я пишу в свой дневник, но завтра я погибну от эпидемии тифа, и никто не поймет моих записей, не разберется в них. Я не знаю даже, [как] сохранить эти записи от гибели, почти неизбежной: разве я не видел тысячи тетрадей, написанных кем-то и теперь брошенных в печь, в погреба, наполненные водой, на дороги: письмами матери моей оклеены стены какой-то избушки...*») Причем в это время адресат пришвинского текста – будущий гипотетически существующий читатель, на которого и возлагается вся надежда: услышит, поймет, подхватит («*Тропа моя обрывается, я поминутно оглядываюсь, стараясь связать конец ее с подобным началом тропы впереди, вот совсем ее нет, и на снегу виден единственный след мой, и поземок на глазах заметает и мой единственный след. Друг мой! существуешь ли ты где-нибудь, ожидаешь ли, что я приду к тебе? Я не жду твоей помощи, нет! я сам приду к тебе, только жди, жди меня! Только бы знать, что ты ждешь меня!*»).

Вопросы, которые поднимает Пришвин в первые послереволюционные годы, связаны с главной темой новейшей русской истории, темой, которая определила духовную ситуацию в России в течение столетия, – народ и интеллигенция.

На протяжении всей своей жизни Пришвин считал себя принадлежащим к той части русской интеллигенции, судьба которой была связана с революцией, но которая задолго до реальных революционных событий осознала трагическую сущность этого пути.

Вспоминая свою юность, Пришвин с некоторой долей иронии называет себя «комсомольцем 19 века». Действительно, студентом он прошел «школу пролетарских вождей» – марксистский кружок в Рижском политехникуме, а затем тюремное заключение.

Духовный кризис, пережитый Пришвиным, во многом совпадал с идейным кризисом русской интеллигенции, выраженным авторами сборника «Вехи» (1909). Однако в судьбе писателя этот кризис осложнялся поиском себя и своего пути. Это был путь от «*глубочайшего невежества*» со «*смутными умственными запросами*» в момент уверования в марксизм через разочарование в социал-демо-

кратии в годы учения в Германии, через любовь, которая стала толчком, повернувшим его к собственной личности, до обращения к писательству как делу своей жизни. На это ушло десять лет — 1895—1905 годы.

За это время произошло не просто *«полное освобождение от большевизма»* — изменился весь душевный строй его личности, произошла смена психологической установки: центр внутренней жизни переместился с эсхатологической обреченности на чувство жизни (*«Первый намек на рассвете при полных звездах открытого неба — какая радость! Неужели я забуду когда-нибудь, умирая, эти счастливые минуты и ничего не скажу в защиту жизни...»*). Важнейшая для русского общества идея конца мира была переосмыслена Пришвиным — суть переворота состояла в обращении к душе, природе, народной жизни.

В целом разделяя критику интеллигенции в духе «Вех», Пришвин не удовлетворяется схемой, основанной на противостоянии интеллигенции и народа. Во-первых, он отдает должное тому *«особенному, идеальному миру»* русской интеллигенции, которая воспитала в обществе и в нем лично высокий идеализм и силу духа (*«интеллигентному человеку позорно обижаться»*). Во-вторых, не отрывает интеллигенцию от национальной почвы и в причинах революции обнаруживает чувство, присущее коллективной русской душе в целом (*«Это чувство конца (эсхатология) в одинаковой степени развито у простого народа и у нашей интеллигенции, и оно именно дает теперь силу большевикам, а не просто как марксистское рассуждение»*). В-третьих, в годы революции Пришвин отмечает неоднородность интеллигенции и разделяет ее на борющуюся за власть и творческую. Он понимает, что в момент гибели всех форм жизни сохранить культуру способны только носители духа, и пророчески предвосхищает новую историческую миссию интеллигенции (*«Мысли о том, что народ переходит в интеллигенцию на сохранение... в интеллигенции и будет невидимый град»*).

Пришвин видит, что революция принципиально изменила духовную ситуацию в России (*«Интеллигенция как наша русская, только русская секта погибла навсегда»*), выявила особенности взаимоотношений интеллигенции и власти, обозначила роль интеллигенции в событиях русской революции. «Интеллигенция и революция» — так назвал свою статью, оказавшуюся в центре литературной полемики этого времени, Александр Блок. В полемике принял участие и Михаил Пришвин.

Статья Блока «Интеллигенция и революция» была опубликована 19 января 1918 г., а 16 февраля в газете «Воля страны» вышла статья Пришвина «Большевик из “Балаганчика” (Ответ Александру Блоку)». Несмотря на резкий тон статьи, диалог Пришвина с Блоком носит скорее философский характер — речь идет о таких понятиях, как природа, культура, цивилизация, народ.

Пришвин отвергает блоковский революционный романтизм, а за органической концепцией культуры, связывающей дух со стихией, узнает знакомое устремление русского интеллигента к слиянию с народом. Он не принимает пафоса поэта, услышавшего в разрушительном движении стихии музыку. Он видит дистанцию между пророческим пафосом статьи — голосом самого Блока, принявшего революцию за подлинное начало преображения мира, и реальностью, почвой, от имени которой говорит поэт. В статье Блока Пришвин услышал голос «кающегося барина», в действительности от почвы оторванного, голос не настоящего большевика, а «большевика из Балаганчика». Пришвин понял артистическую, игровую природу души Блока, стремящегося эстетически оправдать революцию. Это стремление вызывает у Пришвина протест. Он считает, что эстетическая форма, в которую Блок облек революцию («дух музыки»), не соответствует внелитературному, внехудожественному контексту бытия. Эстетически в этой полемике друг другу противостоят музыка и слово.

Диалог двух художников на этом не закончился. 28 января в газете «Раннее утро» был опубликован рассказ Пришвина «Голубое знамя», а 3 марта вышла поэма Блока «Двенадцать»; взаимосвязь между текстами (как и полемика Блока с Пришвиным) стала одним из интереснейших сюжетов в культуре начала XX века.

Оба художника воспроизводят одну и ту же картину: Петербург, ночь, метель, грабежи, стрельба, даже пес Блока в «Голубом знамени» тоже есть. Главный герой рассказа Пришвина, арестованный новой властью и потерявший разум в круговороте происходящего, присоединяется к другому такому же безумцу с его мечтой о голубом Христовом знамени, под которое соберет для спасения родины хулиганов всех притонов и вертепов. Однако Пришвин превращает мечту героя в мираж: его войско призрачное («безумный впереди, пьяный позади») и Христос его сектантский (лейтмотивом рассказа оказываются слова известного петербургского сектанта: «Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас божественного»).

За границей рассказа «Голубое знамя» осталось соотношение сектантского и революционного сознания. Между тем, в послереволюционные годы Пришвин обнаруживает, что интуиции начала века, связанные с изучением сектантского движения и выявлением сходства сектантской и марксистской парадигм, находят реальное подтверждение в новой, складывающейся в результате революции жизни; типологическое сходство марксизма (революции) и хлыстовства (сектантства) для писателя очевидно; в разные годы он вновь и вновь рассматривает революцию в русле развития религиозного сознания*.

---

* Ср.: *Эткинд А.* Хлыст (Секты, литература и революция). М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 480—482.

В 1918—1919 гг. в дневнике вырисовываются контуры будущей повести «Мирская чаша» (1922), персонажи (Персюк, Павлиниха), некоторые реалии, символика. В частности, возникает образ Скифии, скифа, в чем нельзя не усмотреть литературной полемики с группой «Скифы» (в 1917 г. Пришвин участвовал в первом сборнике «Скифы», одним из редакторов которого был Р. В. Иванов-Разумник).

«Скифство» противопоставляет европейской буржуазной цивилизации «вечную революционность», «мировой пожар», духовный максимализм, отрицающий какую бы то ни было трезвость жизни. У Пришвина тяга к «скифству» определялась не социально-политическими симпатиями — идея «скифства» питала его эстетически. Образ Скифии связан с пониманием революции как нисхождения, возвращения к примитивным, архаическим формам жизни. Если суть полемики Пришвина с Блоком состояла в том, что в статье «Интеллигенция и революция» он увидел концентрированное выражение русского интеллигентского сознания в его движении в стихию, в народ, то и с Ивановым-Разумником, по сути, продолжалась та же полемика, хотя и не в столь резкой форме. У Иванова-Разумника — «мы скифы», у Пришвина — «народ скиф».

В связи с размышлениями о русской жизни Пришвин не раз обращался к теме, которую он называет «разрыв с отцами». Транскрипцией этого явления в социальной истории ему представляется противостояние интеллигенции и народа («интеллигенция убивает отчее»), на психологическом уровне — это «борьба отцов и детей» (мотив отцеубийства). Этот момент в развитии России Пришвин считает настолько существенным, что определяет его как «подземный источник коммунизма» («все как бунт сына против отца», «источник нашей классовой борьбы — борьба отцов и детей», «наложил на отца своего контрибуцию...»). Другим — «надземным» — источником коммунизма он считает западные социалистические идеи («*Мечта Бебеля о катастрофе всего мира соединилась с бунтом русского народа, и так возник большевизм — явление германо-славянское, чуждое идее демократической эволюции Антанты*»).

Революцию — русский бунт — Пришвин понимает не только как зло, но и как свободу воли («*проделать опыт жизни за свой страх и риск*»), как ответственность и испытание («*Молоды мы, сильны — мы создадим новый мир... стары — мы умрем бунтарями, и потомки наши странниками рассыплются по всей земле*»).

Его мысль вновь обращается к образу блудного сына («*всем перемучиться, все узнать и встретиться с Богом*»), к самой духовной сущности человека («*Блудный сын — образ всего человечества*»).

Революция в дневнике писателя предстает как ад, в котором происходит «*жестокая расправа над человеком*». Он резко осуждает идею равенства («*Вы хотели всех уравнять и думали, что от это-*

*го равенства загорится свет братства людей, долго вы смотрели на беднейшего и брали в образец тощего, но тощие пожрали все и не стали от этого тучнее и добрее*»), понимает губительность уничтожения собственности («*Рубит баба березу, рубит пониже ее мужик иву, доканчивают рощу. Через полстолетия только вырастет новая, и то, если будет хозяин*»). Он видит противоприродность революции, ее разрушительную силу, направленную против личности, против любви к бытию, и отмежевывается от участия в ней («*Нужно как-то вовсе оторваться от земли, от любви к цветам и деревьям, к труду земледельца, чтобы благословлять это сегодняшнее разрушение*»). Пришвин видит, что революция отбрасывает Россию на периферию мировой истории («*Мы теперь провинциалы от интернационала*»), что в основе большевизма лежат «*разрыв с космосом*», «*претензия на универсальность*». Уже в это время он понимает, что никакая святыня не остановит большевистского наступления на русскую жизнь («*Вспоминали вечером про Оптину Пустынь, старца Анатолия — неужели и там теперь конюшни и казармы?*»). В революции Пришвин усматривает противостояние большевизма и демократии и, хотя почвы для демократического развития он в России в это время не находит, идея демократического пути кажется ему перспективной («*Бюрократия и социализм пришли к нам из Германии, очень хорошо, если русские испытают на себе влияние идей эволюционной демократии*»).

Народ же, по Пришвину, «не ведает, что творит», он обманут и соблазнен — именно обман и соблазн народа Пришвин вменяет в вину Ленину, хотя не Ленин последнее звено в персонификации силы зла. По масштабу трагедии определяет писатель главного обманщика и называет его имя: Аввадон, князь тьмы.

В то же время революция выявляет для Пришвина неполноту, недостаточность идеи антиномичности добра и зла — дуализма мира. Процесс жизни оказывается более иррациональным и сложным («*Нужно знать время: есть время, когда зло является единственной творческой силой, все разрушая, все поглощая, она творит невидимый град, из которого рано или поздно грянет: — Да воскреснет Бог!*»). Эта мысль для Пришвина не случайна: парадоксальное сочетание добра и зла усматривает он в самой психологии бунта.

Историческая действительность получает у писателя художественное осмысление, которое придает катастрофе космический масштаб («*зарево пожара великого помрачило сияние ночных светил*», «*звезда небесная почернела*», «*лавина великого обвала засыпала*»). Победа хаоса означала разрушение формы, падение покровов, утрату лица и имени. В этом хаотическом пространстве реальное и ирреальное (сон) смешиваются, взаимопроникают одно в другое. Поэтика сновидений в эти годы связана с образами ужаса, тяжести, разрушения. В сновидении (1919) душа писателя, лишенная всего

субъективного, личного становится сосудом, вмещающим народную судьбу («*Мне снилось, будто душа моя сложилась чашей — мирская чаша, и все, что было в ней, выплеснули вон и налили в нее щи, и человек двадцать... едят из нее*»). Образ оказывается настолько значимым для художника, что дает название его первой послереволюционной повести «Мирская чаша».

Революция в космической картине разрушения предстает в образе летящей кометы: скорость и пыль противопоставлены земле и времени. Причем время приобретает качественно иной характер, противоположный жизни, текущей по циклическим законам природы: время революции (история) — время телячье (род, вечность). Нарушение законов природы, по Пришвину, чревато бесконечным падением («*полет в бездну*») — до первых дней творения («*тьма-тьмущая окутывает небо и землю*»). Соответствие событиям писатель находит в образах Апокалипсиса («*Так вот что это значит: "звезды почернеют и будут падать с небес"*»). Рушится космос русской жизни, главные качества которого: «непомерная ширь земли и человеческая глубина бесконечная» — ныне утрачиваются («*Теперь же чувство мира — свободы лежит все в развалинах... на развалинах страны шагаешь через родных и святых*»).

Гибель России была катастрофой для Пришвина-художника.

Связь с органическим целым русской жизни — Россией — традиционно составляла смысл и силу русской литературы. Для Пришвина этот мир — единственная и абсолютная ценность, предмет его художественного внимания, среда его обитания. Гибель России означала для него гибель главного предмета искусства. В первоначальном хаосе, который обнажила революция, Пришвин видит «страшную правду», но не видит лица. Художник гармонического склада, он не может быть певцом хаоса и в поисках источника творчества обращается к сфере простейшего. Целое он находит теперь в конкретном, элементарном, архаическом, в простейших натурфилософских деталях («*Хожу возле погибели — показалось простейшее без слов, как тогда, и я узнаю в нем свое, и с ним соединяюсь с болью и радостью*»). То, что было для него прежде целым, теперь стало деталью, элементом мира распавшегося («*Литература — зеркало жизни. Разбитое зеркало*»). Отныне в поэтике Пришвина детали не только свидетельствуют о целом, несут память о нем — они с т а н о в я т с я целым. Возможно, в этом надо искать истоки будущего внимания писателя к микрогеографии и приверженность к миниатюре в поздние годы.

Революция до основания изменила жизнь писателя. В 1918 г. Пришвин живет в Хрущеве, где на небольшом участке земли с частью сада, полученном в наследство от матери, он в 1916 году строит дом — неподалеку от большого дома его детства. К этому дому на протяжении всей жизни он постоянно возвращался в мыслях и снах.

Дом был связан с матерью, самым близким для Пришвина человеком, с кузинами, оказавшими очень большое влияние на формирование его личности, с образом рано умершего отца, с хрущевским крестьянином Гуськом, дружившим с мальчиком, а деревья хрущевского сада вспоминались ему, как «святые». Связь с Хрущевым была для Пришвина связью с родиной, это был воистину целый мир, хранивший истоки его личности. В 1918 г. переживания Пришвина связаны с судьбой Хрущева («*Старый дом, на который мы смотрим теперь только издали, похож на разрытую могилу моей матери*», «*Мы смотрим из-за кустов на наш дом, не смея и думать, чтобы к нему подойти*»).

То же самое нужно сказать о хрущевском саде. Сад — универсальный пришвинский символ. В книге «У стен града невидимого. (Светлое озеро)» (1909) образ черного сада с поющим соловьем соотносится с неблагополучием русской жизни в целом, с ее вечным взысканием невидимого града и обреченностью жить во зле. В 1918 г. переживания писателя связаны с реальным, хрущевским, садом, который становится в дневнике, быть может, невольной метафорой гибнущей жизни («*Завтра погибнет мой сад под ударами мужицких топоров... Прощаюсь с садом и ухожу, я найду где-нибудь сад еще более прекрасный: мой сад не умрет. Но вы, кто рубит его, увидит только смерть впереди (пьяные вороны)*»).

В труднейшей жизненной ситуации Пришвин ищет те глубинные пласты жизни, где возможно ее продолжение, хотя это сопряжено с трагедией («*Радоваться жизни, вынося все мучения*»).

Утрата внешней свободы — собственности (из Хрущева Пришвин был выдворен новой властью), возможности печататься («*Я писатель побежденного бессловесного народа без права даже писать*»), гибель родины («*Вся жизнь до самых недр своих пропитана ложью*») — мало кто в это время находил в себе силы искать положительный выход из тупика. Пришвина это не сломило. Его радость жизни, любовь к бытию превышают возможности обыденного сознания, но именно на этих качествах основана пришвинская философия личности («*Радость эта внесоциальная*»). Внутренняя свобода — вот единственное, чего не может отдать писатель, что представляет для него абсолютную, безусловную ценность («*Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти, я готов принять крайнюю форму нищенства, лишь бы оставаться свободным, а свободу я понимаю как возможность быть в себе...*»).

Таким образом, в дневнике воспроизводится вечный русский сюжет, связанный с темой роста внутренней свободы за счет утраты внешней. Складывается и образ поведения, который более всего понятен в контексте христианской традиции аскетизма («*Жить в себе и радоваться жизни, вынося все лишения, мало кто хочет, для этого нужно скинуть с себя все лишнее, мало кто хочет для этого перестрадать и наконец освободиться*»).

Не раз в дневнике обсуждается вопрос о взаимодействии природы и истории. Образ соловья, который «не постесняется» петь в разоренной усадьбе, говорит не только о неиссякаемой творческой силе природы, но в конечном счете и о независимости от человеческой истории. И тогда возникает вопрос о свободе человека («*Неужели же я солнце и звезды и весенние траву-цветы любил только потому, что солнце и звезды светили мне на моей собственной земле и травы-цветы росли в моем собственном саду?»*). Пришвин переводит этот вопрос из той сферы, где ему нет разрешения, в сферу творчества, где разрешение возможно: он идет копать «чужой сад». Это выход художника, осваивающего новое культурное пространство для всех, это выход, связанный с пришвинской концепцией искусства как продолжения жизни, сверхусилия, которое создает новое, небывалое бытие. Основанием для такого «творческого поведения» оказывается удивительная, неиссякающая и присущая его душе при любых жизненных обстоятельствах любовь к жизни («*Первый намек на рассвете при полных звездах открытого неба — какая радость! Неужели я забуду когда-нибудь, умирая, эти счастливые минуты и ничего не скажу в защиту жизни...»)*

Если в дневнике 1918 г. жизнь воспринималась Пришвиным в первую очередь как обвал, гибель, катастрофа, то в дневнике 1919 г. встает картина жизни нового общества — коммуны. Происходит смена основных мотивов: был хаос, теперь смерть — остановившаяся жизнь («*Засыпаны города, поезда остановлены в поле и от вагонов торчат только трубы, как черные колышки, села погребены в сугробах*»). В 1919 г. Россия у Пришвина — это засыпанное снегом пространство Скифии, зима истории («*Скифия страшная, бескрайняя, все исчезло милое, дорогое, нежное», «Теперь зима, гибнет все, что тянулось ввысь, и укрепляется подземное, коренное*»). Но смерть в этой картине мира — не окончательное состояние. Над Скифией сияет «солнечный крест», а «подземное, коренное» связано с ритмом жизни, установленным «гением рода» человеческого — именно здесь готовится «гибель буранам зимы и воскресение жизни для всех».

В 1919 г. целый ряд пришвинских идей свидетельствует о близости его мировоззрения к философии жизни. Сам жизненный процесс рассматривается как основная созидательная сила, несущая в себе положительный заряд жизни. Стихия жизни противостоит как идеологии, так и истории («*Я теперь понял, почему коммунистам никто не возражает по существу... это потому, что сама жизнь этих бесчисленных обывателей есть существо: жизнь против идеи*»). В то же время сторическое сознание писателя в эти годы связывается с чувством вины и судьбы, которую невозможно пересилить, но можно изжить («*Мы виноваты в попущении, мы должны молчать, пока наше страдание не окончится, пока рок не насытится и уйдет*»).

Другая важнейшая интуиция Пришвина-художника связана с понятием творческой личности, создающей качество мира. Через личность утверждаются в мире свобода и ответственность и путь личности (микрокосм) не исчерпывается историей, но идет иными путями (*«Начало нашей духовной природы – чувство приобщенности к космосу, середина нашего жизненного пути – борьба разума, конец — включение разума в космос и тайное примирение»*).

Созвучие некоторым своим идеям в 1919 г. Пришвин находит в трактате М. Метерлинка «Сокровище смиренных» (1896). В тексте дневника возникают как явные, так и скрытые цитаты, слова и выражения из трактата. Особенно была пережита Пришвиным идея молчания как формы глубинной, внутренней жизни человека — и не только пережита, но и адаптирована для русской действительности (*«Понять, о чем русские люди молчали во время коммуны, не умалчивали, под давлением внешней силы, а молчали»*). Молчание противопоставляется «пустейшим словам коммуны». Начиная с 1917 г. Пришвин постоянно отмечает трансформацию языка, падение смысла самого слова (*«Тайное в слове потеряло свою силу»*).

В то время, когда побеждает утопическая идея жизни ради будущего, Пришвин отстаивает абсолютную ценность настоящего и утверждает «важность дней текущих» — это было стремление жить в реальности, видеть реальность, любить ее. Не случайно, по-видимому, такими близкими оказываются для него слова Метерлинка: «Гораздо важнее увидеть жизнь, чем изменить ее...» — мысль прямо противоположная марксистской идее переустройства мира.

Обращение к реальности возвращает Пришвина к утраченному единству с миром — преодолевается хаос, восстанавливаются космический порядок, гармония, норма: писатель снова «в союзе с звездой, и с месяцем, и с птицами». Психологическим критерием истинности переживания становится для Пришвина чувство радости бытия (*«Ужасная сейчас жизнь, но я и так ее люблю»*), а непременным условием — любовь к жизни (*«Я люблю, и все мертвое оживает, природа, весь космос движется живой личностью»*). Даже в предельных образах страдания (Распятие, прикованный к скале Прометей) Пришвин видит прежде всего преодолевающую страдание любовь (улыбка Христа).

Эта радость не вытекает из реальности его жизни, которая не изменилась (*«Это ад, а современное имя ему – коммуна»*), — она связана с позицией художника (*«Если ты художник, то жизнь тебе хороша»*). Воспользовавшись термином Ф. Ницше, можно охарактеризовать эту позицию как «трагический оптимизм».

По Пришвину, искусство — это способность видеть жизнь с лица и различать подлинное в ней. Но единство с миром — не абсолютное единство. Пришвину присуще острое понимание антиномичности искусства и жизни: искусство устремлено к реальности,

но сама природа связи жизни с искусством трагична. В попытке понять ее Пришвин обращается к антиномии нравственных категорий (зло, творящее добро).

В аду коммуны Пришвин не находит места поэту. Место поэта – «на святой горе в вечном сиянии, под голубым знаменем неба, на котором горит золотой крест»; единый ряд этих символов говорит о назначении поэта быть выше сиюминутных политических страстей («*Я за человека стою, у меня ни белое, ни красное, у меня голубое знамя*»). В то же время это активная позиция писателя, осознающего свою силу – силу слова. («*Мы слова найдем такие, чтобы винтовки падали из рук, это очень опасные слова, нас могут за них замучить, но слова эти победят*»).

Мысль о неземной природе искусства («не от мира сего») и в то же время о служении и жертве («Путь в лощине») – этому противоречию Пришвин находит разрешение в уподоблении пути художника крестной жертве Христа.

Дневник первых лет революции – не только летопись, но и история страдающей личности.

Надо отметить, что весь спектр идей, представленный русской революцией, – идеи коммунизма, анархии и государства, власти и личности, особого пути развития России, Пришвин рассматривает в широком контексте отечественной и европейской культурной традиции. Он включает в диалог Пушкина, Гоголя, Белинского, Герцена, Л. Толстого, Достоевского, Успенского, Вл. Соловьева, Блока, Мережковского, Розанова, а также Шекспира, Гёте, Метерлинка, М. Штирнера. Особое место занимают многочисленные цитаты из Евангелия. В это время христианство для Пришвина – прежде всего норма, нравственный образец, ясный символ, к которому он постоянно обращается.

Значительное место в дневнике занимает роман с С. П. Коноплянцевой. В записях о романе можно увидеть восхождение от конкретного переживания к общим размышлениям о женщине, к образу женщины и женской стихии в целом. Любовь к женщине для Пришвина – это и воплощение глубинных основ жизни, и путь к постижению духовного смысла бытия. Эти размышления для него настолько существенны, что можно говорить об особой, пришвинской философии любви.

В это время перед многими русскими писателями с предельной остротой вставал вопрос: оставаться в России или покидать ее? Судя по дневнику, этого вопроса Пришвин перед собой всерьез не ставил, да и обстоятельства его жизни не позволяли думать об эмиграции. Однако с определенностью можно утверждать, что опорой для него оставалась вера в Россию («*Будет она жить хорошо непременно, оправится, воскреснет, никакая сила с нею не справится*»).

В один из труднейших моментов жизни («*Не написал ни одной строчки первый раз в литературной своей жизни. Не прочел ни од-*

*ной книги. Что же делал? Сладостный сон, полный, летаргический»*) в дневнике появляется молитва о свете («*Боже, дай мне дождаться первого проблеска света — это поможет мне увидеть, где я ночую, куда мне идти... свет нужен, дай, Господи, увидеть свет!»*). Это было в конце 1918 г. Весь же текст дневника 1919 г. представляет собой не только картину борьбы писателя за смысл, за право жить и работать, за внутреннюю свободу, но и свидетельствует о духовном росте, о победе над повседневностью. Однако это не отвлеченная борьба художника — судьба Пришвина близка судьбе каждого русского человека в его трагической беззащитности перед жизнью. Последняя запись дневника говорит как раз о том, как невыносимо трудно было жить, осознавая, что происходит с твоей душой, как трудно было бороться. В этот день — 31 декабря 1919 г. — Пришвин записал: «*И света весь день для меня не было...*»

*Я. З. Гришина, В. Ю. Гришин*

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| | |
|---|---|
| Ранний дневник | — *Пришвин М. М.* Ранний дневник. СПб.: ООО «Издательство» “Росток”», 2007. |
| Дневники. 1914—1917 | — *Пришвин М. М.* Дневники. 1914—1917. СПб.: ООО «Издательство» “Росток”», 2007. |
| Дневники. 1920—1922 | — *Пришвин М. М.* Дневники 1920—1922. М.: Московский рабочий, 1995. |
| Дневники. 1928—1929 | — *Пришвин М. М.* Дневники 1928—1929. М.: Русская книга, 2004. |
| Собр. соч. 1982—1986 | — *Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 8 т. М.: Художественная литература, 1982—1986. |
| Собр. соч. 2006 | — *Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Терра-Книжный клуб, 2006. |
| Личное дело | — Личное дело Михаила Михайловича Пришвина. Воспоминания современников. СПб.: ООО «Издательство “Росток”», 2005. |
| Цвет и крест | — *Пришвин М. М.* Цвет и крест. СПб.: ООО «Издательство» “Росток”», 2004. |
| Путь к Слову | — *Пришвина В. Д.* Путь к Слову. М.: Молодая гвардия, 1984. |
| Круг жизни | — *Пришвина В. Д.* Круг жизни. М.: Художественная литература, 1981. |
| Хлыст | — *Эткинд А.* Хлыст (Секты, литература и революция). М.: Новое литературное обозрение, 1998. |
| РГАЛИ | — Российский Государственный архив литературы и искусства. |

С. 5. *Встретили Новый Год с Ремизовыми.* — С А. М. Ремизовым Пришвин познакомился в 1907 году в Петербурге, подружился и стал членом «Обезьяньей великой вольной палаты» — кружка литераторов, группировавшихся вокруг Ремизова (Вяч. Шишков, А. Толстой, Е. Замятин, Б. Пильняк, Л. Леонов и др.), В шутливой форме игры в «Обезьянью палату» проявлялся серьезный интерес к духовному наследию древней Руси, к национальной мифологии и памятникам народной культуры. В воспоминаниях, написанных уже в эмиграции, Ремизов отмечает: «Пришвин во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России. И как это странно сейчас звучит этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением, что есть Божий мир, с цветами и звездами <...> что есть еще в мире и простота, детскость и доверчивость — жив "человек"». См.: Личное дело. С. 67–70.

*Мучительно думать о родных, особенно о Леве — ничего не знаю...* — Семья Пришвина находилась в это время на родине в с. Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии, где с 9 апреля 1917 г. писатель жил и работал на своем хуторе, одновременно являясь делегатом Временного комитета Государственной думы и посылая в петербургские газеты свои рассказы и очерки. Лева — старший сын писателя.

*Тюремной невестой мне досталась барышня из обсерватории...* — В автографе примечание Пришвина: Марья Михайловна Раздольская.

С. 6. *Двенадцать Соломонов нашей редакции...* — Речь идет о редакции газеты «Воля народа» (1917, с января 1918 г. — «Воля страны», газета правого крыла партии эсеров), в которой Пришвин был редактором литературного отдела. 5 января 1918 г. в газете «Воля страны» появилось редакционное сообщение:

«2-го января было произведено новое, выходящее из ряда вон насилие над "Волей Народа". В помещении редакции газеты появился отряд красногвардейцев под предводительством комиссара "комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем" Другова. Предъявив ордер на производство обыска и арест "подозрительных лиц", эти господа арестовали всех находящихся в помещении граждан! Были арестованы не только ответственные редакторы газеты, в том числе члены Учредительного Собрания А. А. Аргунов

и П. А. Сорокин, но и служащие конторы и типографии: экспедитор, управляющий хроникой С. В. Фрид, редактор литературного отдела известный писатель М. М. Пришвин и лица, зашедшие в помещение редакции и конторы по тем или иным мотивам... Всех служащих и посторонних, не оказавшихся "подозрительными", отводят в особое помещение. "Подозрительных" обыскивают, принимают бумаги и затем по 4—5 человек увозят на автомобиле на Гороховую, 2.

В числе "подозрительных" оказался писатель М. М. Пришвин.

— Ваша фамилия?

— Писатель Пришвин.

— Как?

— Пришвин, если бы вы были грамотным человеком, вы бы знали мое имя.

— Вы, товарищ, пишете в "Воле Народа"?

— Я вам, сударь, не товарищ. Люди, производящие такие безобразия, чинящие насилие, не могут быть моими товарищами.

Взволнованный М. М. Пришвин долго и горячо спорит с комиссаром и солдатами. Ни за что не хочет расстаться с портфелем рукописей, среди которых имеются рассказы Ремизова и др., требует опечатания портфеля.

Наконец, успокоившись, говорит:

— Если бы в России был хоть ценз 4-классного городского училища, этих безобразий бы не было. Вы сами не понимаете, что делаете. Когда вы будете грамотными, вы это поймете.

М. М. Пришвина уводят».

С. 7. *...горячий спор о бабушке...* — «бабушкой русской революции» называли в прессе Е. К. Брешко-Брешковскую, одного из организаторов и руководителей партии эсеров.

С. 9. *...как собаку закопают на Марсовом поле.* — Речь идет о похоронах жертв революции, которые состоялись 23 марта 1917 г. в Петербурге, — событие, имевшее большой резонанс в обществе. Ср.: *Ремизов А. М.* Взвихренная Русь // Ремизов А. М. В розовом блеске. М.: Современник, 1990. С. 75—76.

С. 12. *С Иорданью по камерам...* — В праздник Крещения Господня 19(6) января священник посещал тюрьмы и кропил крещенскою водой («иорданью») заключенных.

С. 13. *...Конвент и пр.* — Имеется в виду избранный в 1792 г. Национальный Конвент, провозгласивший Францию республикой.

С. 14. *...борцами за свободу настоящую, не четыреххвостную...* — под «четыреххвосткой» подразумевали всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право.

С. 15. *...манифестация 5-го января.* — Имеется в виду расстрел мирной манифестации петроградских рабочих.

*...узнали, что убиты Кокошкин и Шингарев...* — Речь идет о зверском убийстве членов Учредительного собрания А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина ворвавшимися в тюремную больницу матросами и солдатами.

С. 16. *Капитан Аки.* — Ср.: Капитан Аки // Цвет и крест. С. 157–158.

*...помните «Вехи».* — Имеется в виду книга: «Вехи (Сборник статей о русской интеллигенции)». 1909.

С. 17. *... любитель гигиены и гимнастик по системе Мюллера...* — имеется в виду популярный в начале XX в. комплекс упражнений «5 минут в день» датского спортсмена И. Мюллера («Моя система», 1904).

С. 18. *...сосуд Ап. Павла, наполненный всякой нечистью.* — Ошибка: речь идет об ап. Петре (Деян 10: 11–16).

С. 19. *И сторож сторожа спрашивает, скоро ли рассвет.* — Вероятно, вольное переложение евангельского сюжета о явлении Ангела Господня «страже ночной» (Лк 2: 8–9).

*Гробы повапленные* — покрашенные; вапить — красить, расписывать (уст.) (Мф 23: 27). Ср.: Гробы повапленные (из дневника) // Цвет и крест. С. 187–189.

С. 23. *Читали из «Биржевки»...* — имеется в виду ежедневная умеренно-либеральная, коммерческая, политическая и литературная газета «Биржевые ведомости» (1880–1917).

С. 25. *Так любовался Нерон на Рим горящий...*— Известно, что император Нерон во время пожарища (64 г.), уничтожившего большую часть Рима, любовался пламенем с дворцовой стены и пел «Крушение Трои» (см.: *Светоний.* Нерон. 20, 27–29, 37–39).

С. 27. *2-го Января меня арестовали и 17-го выпустили...* — 18 января в газете «Новая жизнь» появилась заметка об освобождении Пришвина: «В Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем произошел на днях большой конфуз. 2 января в редакции “Воля Народа” был арестован писатель Пришвин. В судьбе его принял участие С. Мстиславский, взявший его на поруки. Комиссаром юстиции Штейнбергом был подписан ордер на освобождение М. М. Пришви-

на под поручительство С. Мстиславского, но когда вздумали освободить заключенного, то оказалось, что ни одна из бесчисленных комиссий, ни сам комиссариат не могли указать, где находится арестованный. Ровно десять дней прошло, пока следы М. М. Пришвина отыскались в пересыльной тюрьме. 15 января комиссар юстиции Штейнберг посетил пересыльную тюрьму и там узнал, что Пришвин находится именно в этой тюрьме. 17 января Пришвин наконец был освобожден».

Два дня спустя, 20 января, в очерке «Капитан Аки» Пришвин пишет о своем освобождении так:

«Мало-помалу я разобрался в законе освобождения: рабочего освобождали требования рабочих, чиновника — чиновников, учителя — учителей, родного человека — родных. Но у меня родных в городе не было, а писатели — какая у наших писателей организация: в делах общественных они немы, как рыба.

Ловцы были неутомимы, ловили и выпускали, ловили и выпускали. А я все сидел и сидел. В отчаянии принялся я писать, слил свою судьбу с несчастным капитаном Аки и уже стал догадываться, что капитан Аки и есть гидра контрреволюции, как вдруг меня выпустили.

Из "Новой Жизни" ("Освобождение Пришвина") я узнал, что кум моего друга С. Д. Мстиславский в первые же дни моего заключения взял меня на поруки, и остальное время, что-то около десяти дней, министр юстиции Штейнберг искал меня для освобождения, пока, наконец, не нашел меня в каторжной пересыльной тюрьме и освободил. Теперь, конечно, всему поверишь, но все-таки странно, как это занятой человек, министр юстиции, мог тратить драгоценное время на разъезды в поисках какого-то капитана Аки, если тюрем у нас всего три и на телефонные переговоры с начальниками тюрем можно было истратить всего три минуты? Что-то странное, по-видимому, в этом месте, повесть о капитане Аки и Гидре переходит уже в легендарное гоголевское сказание о капитане Копейкине».

Ср.: Суд есть сила греха. (Из тюремного дневника) // Цвет и крест. С. 160—161.

С. 32. *В моей памяти это первое начало революции.* — Убийство царя Александра II народовольцами (1881) было одним из прафеноменов личности будущего писателя. Событие, которое Пришвин считал началом своей сознательной жизни, связано с няней Евдокией Андриановной. В дневнике Пришвина традиционный в русской литературе образ няни, рассказывающей ребенку сказки и поющей народные песни, вытесняется и переосмысляется. Евдокия Андриановна непостижимым чутьем понимающая трагичность и неизбежность наступающего времени и не скрывающая своего

понимания от ребенка, воспитывала в мальчике готовность к будущему.

*...один ведет мирные Брестские переговоры...* — видимо, имеется ввиду Л. Троцкий. Единого мнения по вопросу о мире в руководстве партии не было: Ленин настаивал на немедленном заключении сепаратного мира на условиях, предложенных Германией; Бухарин выступал за продолжение войны в надежде, что это станет стимулом европейской революции, Троцкий предлагал компромиссное решение о выходе России из конфликта в одностороннем порядке без подписания мирного договора.

С. 33. *Чан.* — Чан — предмет культа у сектантов-хлыстов, а также «хлыстовский образ коллективного тела» (Эткинд). Пришвин в начале XX в. был одним из многих представителей русской культуры, кого чрезвычайно интересовало хлыстовство. В дальнейшем в дневнике писатель рассматривал русскую революцию и культуру послереволюционных лет, в частности, как развитие и осуществление сектантской традиции. Ср.: Ранний дневник. С. 175—316, 581—643; см. также: Хлыст. С. 454—486.

У Пришвина чан — метафора истории и народной жизни, где «варится некое сложнейшее по составу варево», судить о котором невозможно самим находящимся внутри: «Все крутится и орет от злости и боли, жара и холода, вдруг на одну только минуту отдышка, и все это вместе... обтираются, обсушиваются, закусывают, закуривают и благодарят Создателя за дивную его премудрость на земле, на небе и на водах. Безделицу тут им покажи, какую-нибудь зажигалку чикни, и сколько тут будет удивления, неожиданных мыслей, слов, тут же рожденных, веселья самого искреннего, задушевного, пока старший не крикнет: "Ребята, в чан!" — и все опять завертится, только голос соседа услышишь в утешение: "Это, брат, безобидно, всем одинаково"». Ср.: Русский чан // Цвет и крест. С. 202—204; Круглый корабль // Собр. соч. 1982—1986. С. 792—793.

С. 34. *Я думаю сейчас о Блоке, который теперь, как я понимаю его статьи, собирается броситься или уже бросился в чан.* — Речь идет о статье А. Блока «Интеллигенция и революция» (Знамя труда. 1918. 19 янв.), с которой Пришвин полемизирует в статье «Большевик из "Балаганчика" (Ответ Александру Блоку)» (Воля страны. 1918. 16 февр.). Ср.: Цвет и крест. С. 170—173.

«Теперь стало ясно, что выходить с теплой душой во имя человеческой личности против насильников невозможно: чан кипит и будет кипеть до конца.

Идите же, кто близок этой стихии, танцевать на ее бал-маскарад, а кому это противно, сидите в тюрьме: бал и тюрьма — это под-

линность. Только не подходите к чану кипящему с барским чувством: подумать и, если что... броситься в чан.

С чувством кающегося барина подходит на самый край этого чана Александр Блок и приглашает нас, интеллигентов, слушать музыку революции, потому что нам терять нечего: мы самые настоящие пролетарии.

Как можно сказать так легкомысленно, разве не видит Блок, что для слияния с тем, что он называет "пролетарием", нужно последнее отдать, наше слово, чего мы не можем отдать и не в нашей это власти.

Свой зов поэт печатает в газете, которая силой нынешнего правительства уничтожила другую газету, воспользовалась ее средствами и пустила по миру работников пера и приставила к себе караул из красногвардейцев.

Хорошо слушать музыку революции в этой редакции, но если бы Александр Блок 2-го января, например, принес свою статью не в "Знамя Труда", а в "Волю Народа" — ему бы пришлось эту музыку слушать в тюрьме. Вот если бы он из тюрьмы приглашал — это было бы совершенно другое и сила у него была бы не та.

Когда зарезали Шингарева и Кокошкина и весть об этом заползла в нашу камеру, ко мне подошел один заключенный и тихо сказал:

— Я пятнадцать лет писал книгу и бросил работу, забыл ее, потому что нельзя было так оставить людей. Бросить книгу было мне, как смерть, а теперь я ко второму готовлюсь, к последнему, и нужно всем к этому приготовиться, чтобы предстать с достойным ответом.

На одно мгновение тогда мне почудилась лестница жертв, и с какой-то ступеньки ее музыкально доходил смысл революции, — только не буду говорить больше, потому что боюсь сказать не от сердца и засмыслиться.

О деревенских вековухах так говорят: не выходит замуж, потому что засмыслилась и все не может ни на ком остановиться, ко всем льнет и все ей немилы — засмыслилась.

Это грубо, но нужно сказать: наш любимый поэт Александр Блок, как вековуха, засмыслился. Ну разве можно так легко теперь говорить о войне, о родине, как будто вся наша русская жизнь от колыбели и до революции была одной скукой.

И кто говорит? О войне — земгусар, о революции — большевик из Балаганчика.

Так может говорить дурной иностранец, но не русский и не тот Светлый иностранец, который, верно, скоро придет.

Мы в одно время с Блоком когда-то подходили к хлыстам, я — как любопытный, он — как скучающий.

Хлысты говорили:

— Наш чан кипит, бросьтесь в наш чан, умрите и воскреснете вождем.

Ответа не было из чана. И так же не будет ему ответа из нынешнего революционного чана, потому что там варится Бессловесное.

Эта видимость Бессловесного теперь танцует, а под этим вся беда наша русская, какой Блок не знает, не испытал. В конце концов, на большом Суде простится Бессловесное, оно очистится и предстанет в чистых ризах своей родины, но у тех, кто владеет словом, — спросят ответ огненный, и слово скучающего барина там не примется».

В архиве Пришвина сохранилось письмо А. Блока и рукопись ответного письма Пришвина, по-видимому, не отправленного адресату.

*«16 февраля 1918 г.* Михаил Михайлович, сегодня я прочел Вашу статью в "Воле Страны". Долго мы с Вами были в одном литературном лагере, но ни один журнальный враг, злейший, даже Буренин, не сумел подобрать такого количества личной брани. Оставалось Вам еще намекнуть, как когда-то делал Розанов, на семейные обстоятельства.

Я на это не обижаюсь, но уж очень все это — мимо цели: статья личная и злая против статьи неличной и доброй.

По существу спорить не буду, я на правду Вашу (Пришвина, а не "Воли Страны") не нападал: но у нас — слишком разные языки.

Неправда у Вас — "любимый поэт". Как это может быть, когда тут же рядом "балаганчик" употребляется в ругательном значении, как искони употребляет это слово всякий журналист? Вы же не знаете того, что за "балаганчиком", откуда он; не знаете, значит, и того, что за остальными стихами, и того, какую я люблю Россию, и т. д. Я не менялся, верен себе и своей любви, также — и в фельетоне, который Вам так ненавистен. Значит, надо сказать — не "любимый поэт", а "самый ненавистный поэт".

*Александр Блок.*

P. S. Будьте любезны, передайте в газету прилагаемую записку».

«Александр Александрович — мой ответ (на Вашу статью в "Знамя Труда") был не злой (как Вы пишете), а кроткий. (Именно только любимому человеку можно так написать, как я.) Если бы автор не был Блок, я написал бы, что он получает ворованные деньги, что земгусар ничего не делал на войне, а пьянствовал в тылу, что ходит почему-то до сих пор в военной форме и еще (много) много всего. (И это надо бы все написать, потому что Вы это заслужили.) О (Ваших) семейных отношениях земгусара я не мог бы ничего написать, потому что я этим не интересуюсь, все наши общие знакомые и друзья подтвердят Вам, что я для этого не имею глаза и уха, и если что вижу и слышу, забываю немедленно.

Лев Толстой говорит, что писать нужно о том, что знаешь. Вы не знали, о чем Вы пишете, и в этом Ваш грех. Вот Андрей Белый пишет строго по доктору (Штейнеру. — *Сост.*) и пролетает, не видя России. А Вы полетели так низко над землей, что протянули (руку, чтобы) ощупать предметы — эти предметы (в крови и) огне Вам не достать, и не надо об них писать (Вы губите свои руки).

Сотую часть не передал я в своей статье того негодования, которое вызвала Ваша статья у Мережковского, у Гиппиус, у Ремизова, у Пяста. Прежде чем сдать свой ответ (Вам) в типографию, я прочел ее Ремизову, и он сказал: "Ответ кроткий".

Да, я русский кроткий, незлобивый человек, но я, кажется, теперь подхожу к последней черте и молюсь по-новому: Боже, дай мне все понять, ничего не забыть и ничего не простить.

Еще напоследок вот что: Вам больно от меня и мне больно от Вас, так больно, что я и не знаю, где Вы лично, и где я лично — я к Вам, как к себе, а не то, что Буренин к Вашему Балаганчику. Я не торжествующий, как Разумник и Горький, и Вас понять могу». *(В скобках даются слова, в рукописи зачеркнутые.)*

Газетная полемика с Блоком получает литературное продолжение (рассказ Пришвина «Голубое знамя» (январь 1918) и поэма Блока «Двенадцать» (март 1918) — взаимосвязь между текстами (как и полемика Блока с Пришвиным) и оказывается одним из интереснейших сюжетов в культуре начала XX в.. Ср.: Хлыст. С. 180—182.

С. 34. *...заинтересовались мы одной сектой «Начало века», отколовшейся от хлыстовства.* — Имеется в виду петербургская секта «Начало века», основанная П. И. Легкобытовым, после того как он в марте 1909 г. низверг руководителя хлыстовской обшины А. Г. Щетинина. Ср.: Ранний дневник. С. 175—316.

*Христом-царем этой секты в это время был...* — имеется в виду А. Г. Щетинин. Хлысты, или христоверы, считали возможным прямое общение со Святым Духом и воплощение Бога в праведных сектантах — «христах» и «богородицах».

С. 35. *...секты «Начало века»...* — секта А. Г. Щетинина, о которой идет речь, называлась «Чемреки» (название происходит от реки Чемрек в Ставропольской губернии, где Щетинин начинал проповедовать).

С. *Клюев — Андрей Белый.* — Считается, что встреча Андрея Белого с Н. Клюевым в период сотрудничества с альманахом «Скифы» (редактор Р. В. Иванов-Разумник) явилась для Белого стимулом к появлению его некоторых теоретических идей: в трактате «Жезл Аарона (О слове в поэзии)» (1917) он постоянно обращается к поэ-

зии Клюева, в частности рассуждая о необходимости слияния слова и мысли в единый образ в поэтическом слове. Трактат был опубликован в первом сборнике «Скифы» (Пг., 1917. С. 155–212_.

С. 36. *Хорошо теперь быть теософом, соприкосновенным с оккультными тайнами: для них синтез (Андрей Белый).* — Теософия, религиозно-мистическое учение Е. П. Блаватской («Тайная доктрина») и ее последователей, объединяет различные вероисповедания (в том числе и оккультизм) через раскрытие тождественности сокровенного смысла всех религиозных символов и стремится на этой основе создать «универсальную религию». После организации в 1912 г. исследователем творчества Гёте писателем Р. Штейнером Антропософского общества штейнерианство получило некоторое распространение в среде русской интеллигенции. В деятельности общества принимал участие А. Белый. Ср.: *Белый А.* Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. М., 1917.

*18 Февраля.* — С 14 февраля 1918 г. в России был введен Григорианский календарь; зд. и далее все даты даются по новому стилю.

С. *...страшная черная икона в церкви... в шестом классе я убедился, что эта икона просто доска... я отверг немедленно все: и Христа, и священника.* — К началу XX в. в русских храмах бытовали либо современные, написанные маслом иконы, либо древние потемневшие, на которых лики с трудом угадывались («черные доски») — язык иконы был практически утрачен для нового молодого поколения как в народе так и в интеллигенции, особенно в русской провинции. Эта ситуация в значительной степени определила мировоззрение молодого Пришвина. «Черные доски» становятся в дневнике и в художественном произведении («У стен града невидимого») знаком кризиса религиозной традиции, нарушения связи между человеком и Богом.

*...вместе с уважением к букве «ѣ» отпало у него всякое уважение ко всем буквам и знакам препинания.* — Реформа русской орфографии, которая готовилась с начала века и дважды (в 1912 и в 1917 гг.) откладывалась, была проведена 10 октября 1918 г. декретом Совнаркома о введении нового правописания. Декрет был утвержден Совнаркомом 10 ноября 1918 г.

С. 37. *Сегодня о немцах говорят, что в Петроград немцы придут скоро, недели через две.* — После того как 10 февраля Троцкий завершает переговоры с западноевропейскими державами в Брест-Литовске и объявляет о выходе России из войны в одностороннем порядке, началась германо-австрийская интервенция в России: были оккупированы Прибалтика, большая часть Белоруссии, часть за-

падных и южных районов РСФСР, Украина, Крым и часть Северного Кавказа; в это время немцы на самом деле подошли к Пскову и Нарве.

С. 38. *...народ не желает управляться пророками, а хочет царя.* — 1 Царств 8: 1–22.

*...снаряд сделал дыру в Успенском Соборе...* — Среди разрушений в Кремле в октябре 1917 г. — южная стена барабана центрального купола Успенского собора. Сообщения об этом появились в прессе того времени.

С. 39. *Журнал «Сибирский страж»...* — по-видимому, журнал так и не был создан.

С. 41. *...гибель социалистического отечества.* — Видимо, речь идет об опубликованном 21 февраля обращении Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности».

*На лекцию приехал умный человек Строев от «Новой Жизни»...* — газета «Новая жизнь» (1917–1918) — петербургская ежедневная общественно-литературная газета. Официальный издатель А. Н. Тихонов (А. Серебров), редактор М. Горький.

С. 42. *...пир во время чумы...* — осмысляя ситуацию через трагедию А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830), Пришвин выявляет антиномичность культуры: «изящные искусства» заброшены во время русской революции, но танец (ср. ниже запись от 23 Февраля: *«мы танцуем во время немецкого нашествия на красных балах»*), возникший из вихря этой же революции, таит в себе эрос жизни («контрреволюцию»), а значит, надежду на возрождение.

С. 44. *...начало поклонения тому Апису...* — священный бык, символ плодородия, почитавшийся в Египте на протяжении всей истории, начиная с 3600 г. до н. э.; у Пришвина вектор, с неизбежностью указывающий направление — от утопии к жизни (от революции к контрреволюции).

*...мы в мистическом обществе говорили о частичке «ре» в слове «религия».* — Имеется в виду петербургское Религиозно-философское общество, членом которого Пришвин стал в 1908 г.; схоластический характер дебатов на заседаниях общества Пришвин не раз отмечает в дневнике. Ср.: Ранний дневник. С. 175–316.

С. 45. *...Армия Спасения* — протестантская религиозная филантропическая организация, основанная в 1865 г. в Лондоне.

*...вот какой памятник выстроим.* — Речь идет о грандиозном проекте (Г. И. Гедони) памятника жертвам революции на Марсовом поле в виде огромного стеклянного глобуса.

*...не люблю его маленьких поучительных для рабочих писаний в «Новой Жизни»...* — в 1917—1918 гг. в газете «Новая жизнь» один за другим появляются отклики М. Горького на события политической и общественной жизни в России. См.: *Горький М.* Несвоевременные мысли. М.; СПб.: Интерконтакт, 1990.

С. 49. *Голодная повестушка.* — Вариант рассказа под названием «Насыщение пятью хлебами» (1918) входит в цикл «Голодные рассказы» (Цвет и крест. С. 177—179).

С. 52. *...подождите, скоро их есть будем.* — Рассказ «Мышонок» (1918) входит в цикл «Голодные рассказы» (Цвет и крест. С. 177).

*...вижу сейчас к чему-то черную гору в степи, Карадаг.* — Ошибка: горы, где Пришвин охотился на архаров, назывались Кызылтау. Запись представляет собой воспоминание о поездке Пришвина в Казахстан (1909); послужила материалом для очерка «Орел» (1918), который вошел в последнюю редакцию повести (1948) «Черный араб» (1910) (см.: Собр. соч. 2006. Т. 2. С. 511—548).

С. 55. *Смотрели мы во Львове на побежденных австрийцев...*— в годы Первой мировой войны в России оказалось много пленных солдат и офицеров Австро-Венгрии, многие из которых привлекались к труду, в частности в сельском хозяйстве, пользовались относительной свободой и расположением со стороны местных жителей. Ср.: Ранний дневник. С. 261—362.

С. 57. *Со службы приходит такая голодная.* — Имеется в виду Козочка.

С. 58. *...нет ничего в нашей жизни теперь от лунного света.* — Аллюзия на книгу В. В. Розанова «Люди лунного света. Метафизика христианства» (1911).

*...тощие пожрали все и не стали от этого тучнее и добрее.* — Быт 41: 2—4, 17—21.

С. 59. *...нет на свете тайного, что не стало бы явным.* — Мк 4: 22.

*К подзаборной молитве.* — Имеется в виду возникшая в дневнике 1917 г. и связанная с идеей возмездия молитва «Господи, помоги

мне все понять, все вынести, и не забыть, и не простить», которая в 1918 г. становится лейтмотивом книги очерков «Цвет и крест» (одно из первоначальных названий «Подзаборная молитва»); позднее «подзаборная молитва» возникает в повести «Золотой рог» (1934) и в «Повести нашего времени» (1944). В послевоенном дневнике точка зрения Пришвина на взаимоотношения личности и общества меняется. Ср.: «Смысл нашего времени состоит в поисках нравственного оправдания жизни, а не возмездия... Эта сила уже исчерпала себя» (1945). Ср.: Подзаборная молитва // Цвет и крест. С. 116—117; Круг жизни. С. 135—139.

С. 59. *«Звезды почернеют и будут падать с небес».* — Откр 6: 13.

С. 61. *Унимать буяна двинулась старая мать...* — запись носит автобиографический характер: мотив неравного брака воспроизводит психологическую подоплеку его собственной семейной жизни, против которой была мать Мария Ивановна Пришвина; конкретные детали разрабатываемого сюжета вымышлены.

С. 62. *...я не знал отца своего, он умер, когда мне было немного лет, и так без него никто не мог научить меня ходить свободным во власти...* — Сиротство не раз выступает у Пришвина метафорой психологической и социальной инфантильности; в судьбе поколения оно предстает как конфликт народа с интеллигенцией («интеллигенция убивает отчее, быт») и выражается в нигилизме интеллигенции по отношению к власти, отечеству и утрате веры в Бога — Отца небесного.

*«Ах ты, воля, моя воля, золотая ты моя!»* — Песня неизвестного автора, прославляющая царя Александра II, освободителя крестьян; в автобиографическом романе «Кащеева цепь» выступает символом традиционных ценностей, связанных с образом матери, которым идейно и нравственно противостоит народничество в лице двоюродной сестры Дунечки (см.: Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 384—442).

С. 65. *Сюжет для голодного рассказа...*— цикл «Голодные рассказы» входит в книгу о революции «Цвет и крест», над которой в 1918 г. Пришвин начал работать; по замыслу писателя, книга должна была состоять из газетных очерков революционных лет, опубликованных в различных петербургских газетах. В революционные годы в дневнике и газетных очерках появляется целый ряд записей, в которых «цвет» и «крест» не только указывают на трагическое содержание новой жизни и состояние народной души («Русский народ погубил цвет свой, бросил крест свой и присягнул князю тьмы», «цвет измят, крест истоптан, всюду рубят деревья, как будто хотят рубить себе из них новый крест»), но и выявляют орга-

ничность будущей стратегии Пришвина-писателя («Я, может быть, больше многих знаю и чувствую конец на кресте, но крест — моя тайна, моя ночь, для других я виден как день, как цвет»). Ср.: Цвет и крест // Цвет и крест. С. 136—137.

С. 66. *Урсика нечем стало кормить...*— см.: Цвет и крест. С. 41—42.

С. 67. — *«И кто-то камень положил в его протянутую руку...»* — Аллюзия на стихотворение М. Ю. Лермонтова «Нищий» (1830). Ср.: Цвет и крест. С. 41.

С. 68. *Действие: в усадьбе Орловской губернии.* — Одна из немногих записей к автобиографическому роману, в которой осмысляется не судьба героя, а семья как микрокосм русской жизни, где диалогически соединяются разные идейные позиции и социально-психологические типы. Перенос акцента с личной судьбы на коллективную в это время обусловлен скорее внелитературным контекстом. Идейно-художественное целое романа «Кащеева цепь» (1927) определяется феноменологией личности главного героя Алпатова.

С. 69. *...из Чернова-Разумника...* — по-видимому, имеется в виду эсер как тип, сложившийся из активного деятеля партии эсеров В. М. Чернова, тяготеющего к правому крылу партии, и Р. В. Иванова-Разумника, взгляды которого тяготели к левому крылу партии социалистов-революционеров.

С. 70. *Дни тюремного сиденья, как ощущение тьмы распятия.* — Ср.: «Говорил с С. Д. Мстиславским о Пришвине. Пришвина так же грешно в тюрьме держать, как птицу в клетке» *(Ремизов А. М.* Взвихренная Русь // Ремизов А. М. В розовом блеске. М.: Современник, 1990. С. 208).

*Когда овцы и козлищи перегоняются куда-то одним стадом...* — Мф 25: 32—33.

*...мы были свидетелями, когда не церковная завеса, а само время треснуло...*— Мф 27: 51.

С. 71. *...трубы Архангела, созывающие живых и мертвых на Страшный суд!* — Откр 8: 11.

С. 72. *«Когда Боги жаждут»...* — Имеется в виду роман А. Франса «Боги жаждут» (1912, русский перевод 1917).

С. 72. *...Свидригайлов – страшное существо... А я читал и думал: какой удивительно хороший человек...* – Свидригайлов – персонаж романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866). Смещение нравственной парадигмы в годы русской революции в сторону падения нравственной культуры в обществе меняет знак традиционно отрицательного образа русской литературы на положительный.

С. 77. *...плач о погибели земли русской...* – Имеется в виду произведение А. М. Ремизова «Слово о погибели Русской Земли» (1918).

С. 79. *В Коноплянцеве нет никакой скорлупы, чистое ядрышко, а что такое Софья Павловна?* – Александр Михайлович Коноплянцев – друг Пришвина с гимназических лет. В 1904 г. содействовал переезду Пришвина в Петербург. А. М. Коноплянцев – автор ряда работ о К. Н. Леонтьеве, один из составителей сборника «Памяти К. Н. Леонтьева» (СПб., 1911). Ср.: «*3 декабря 1949.* Коноплянцев был моим другом, и от него веяло на меня славянофилами. От него остались знакомые мне книги от Аксакова до К. Леонтьева и Розанова» (РГАЛИ). Дружба позволила им с честью выдержать серьезное испытание: роман Пришвина с Софьей Павловной, женой Коноплянцева.

С. 82. *Сонины мысли.* – Имеется в виду С. П. Коноплянцева.

С. 85. *За три часа до отхода поезда...* – Ср.: рассказ «Сыр» (Собр. соч. 2006. Т. 3. С. 530–535).

С. 86. *И вот родная земля, вид ее ужасный...* – Речь идет об имении Хрущево, где Пришвин родился.

С. 87. *Мой хутор маленький, в девятнадцать десятин...*– после революции Пришвин с семьей решает обосноваться в Хрущеве, где после смерти матери (1914) на полученном в наследство участке земли он выстроил дом.

*...отличается от всей массы трехполья.* – Пришвин имеет в виду более прогрессивную четырехпольную систему севооборота, при которой часть земли засевается клевером для обогащения почв азотом; в крестьянских хозяйствах использовали устаревшую трехпольную систему севооборота. Ср.: Личное дело. С. 32–34.

*...Клинушкин не выдержал и бросил имение.* – Судя по этой записи, Пришвин предвидел дальнейшее развитие событий – вскоре ему на самом деле пришлось покинуть Хрущево навсегда.

С. 89. *Я с малолетства знаю всех мужиков и баб в нашей деревне, они мне кажутся людьми совершенно такими же, как все люди русского государства: дурные, хорошие, лентяи, бездарные и очень интеллигентные.* — Для Пришвина интеллигенция не социальная прослойка, а причастность к «идеальному миру», которая может быть присуща любому человеку, независимо от происхождения или образования — ср.: описанный А. Платоновым феномен «естественного интеллигента».

С. 90. *Покойная тетушка моя хозяйствовала...* — Имеется в виду мать Мария Ивановна Пришвина, которую писатель так иногда называет в дневнике, возможно уже обдумывая будущий автобиографический роман.

С. 92. *...убитую хищником Синюю птицу...* — Аллюзия на пьесу М. Метерлинка «Синяя птица» (1908); уничтоженная голубая ель приравнивается к синей птице — символу веры в реальность любви, побеждающей смерть.

С. 95. *...при наблюдении переселения в Сибири...* — Переселенцев в Сибирь Пришвин наблюдал во время своего путешествия в Казахстан (1909). См.: Новые места // Собр. соч. 1982—1986. Т. 1. С. 698—724.

С. 96. *...«Господи, милостив буди мне, грешнику!»* — Ошибка. Слова разбойника: «Помяни мя, Господи, когда приидеши во царствие Твое» (Лк 23: 42).

*«...ныне со Мною ты будешь в раю».* — Лк 23: 43.

С. 100. *...имея наиболее сильное напряжение в тюрьме...* — в 1895—1896 гг. Пришвин, студент Рижского политехникума, принимал участие в работе марксистского кружка; в 1897 г. он был арестован и на год заключен в одиночную камеру Митавской тюрьмы. Ср.: Кащеева цепь // Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 265—311.

*...в бытность мою в Германии...* — после тюремного заключения Пришвин был выслан на родину в Елец без права продолжать образование в России. В 1900 г. он уезжает в Германию, где в течение 1900—1902 гг. учился на агрономическом отделении философского факультета Лейпцигского университета, а также прослушал летние курсы в Берлинском университете (биологическое отделение) и в Йенском университете.

*...был пожаром своим переброшен на другой полюс...* — имеется в виду встреча с Варварой Петровной Измалковой, студенткой

Сорбонны. Роман был кратковременным, но вскрыл всю глубину и сложность отношения Пришвина к женщине, обнаружил в нем натуру художника, стал источником его писательства; романтизм («женщина будущего») вытеснялся реальностью и глубиной жизни, которая открылась ему через любовь.

С. 103. *...близость к этой жизни, <зачеркнуто: вкус> укус...* — ср.: *«б/д 1937.* "Соки земли" Гамсуна — настолько действительно соки, что я вдруг понял только теперь смысл и значение слова "земля" — почему это мать, сила и т. п. В этом жадность труда, и вкус как "укус". Тут и мать моя, и моя поэзия, и счастье»; *«20 Ноября 1924.* Три романа Гамсуна прочитаны: "Соки земли", "Санаторий Торахус", "Женщины у колодца". Хороши одни "Соки", в остальных чересчур много кори (Гамсун описывает буржуазию, как болезнь корь на стихийном человеке)». В этом же 1924 г. Пришвин пишет о своем «натурном каком-то, чуть ли не антропологическом сродстве с Кнутом Гамсуном» (Собр. соч. 1982—1986. Т. 8.С. 695, 156).

*Смердяков и Платон Каратаев* — персонажи романов Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и Л. Н. Толстого «Война и мир». Ср. с идеей Н. А. Бердяева о национальных истоках русской революции, угаданных в «вечных образах» русской литературы. *Бердяев Н. А.* Духи русской революции // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М.: Правда, 1991. С. 250—287.

С. 107. *Барыш-день.*— Барышдень, или борисдень, — 2 (15) мая. Согласно поверью, продавшему в этот день что-либо с барышом весь год будет сопутствовать удача.

С. 110. *...мой сад не умрет.* — Не раз впоследствии воспоминания о хрущевском саде связываются у Пришвина с образом утраченного детства и утраченной родины. Начиная с первых произведений, образ сада занимает важное место в поэтике Пришвина, в частности, сад — устойчивая метафора художественного творчества. Череду образов сада в художественном мире Пришвина, архетипом которого выступает рай, открывает «черный сад» («У стен града невидимого», 1909), затем продолжает сонный сад («Иван Осляничек», 1912), крымский сад («Славны бубны», 1913), вырубленный яблоневый сад («В саду», 1918), сад детства в Хрущеве и Люксембургский «любовный» сад («Кащеева цепь», 1927), сад художника («Наш сад», 1952) и, наконец, сад в деревне Дунино под Москвой (дневник последних лет).

С. 117. *Вчера отправил тебе письмо...* — Речь идет о С. В. Ефимовой (Козочке).

С. 118. *...не знают, что творят...* — Лк 23: 34.

С. 119. *...не привидится моя Грезица (единственная невеста — зачеркн.).* — Образ, возникающий в снах, грезах, видениях и сопровождающийся воспоминаниями о первой любви и утраченной невесте; в снотворчестве выражает целый комплекс противоречивых эротических переживаний в духе символистской идеи Вечной Женственности.

С. 122. *Читаю битву Гоголя с Белинским.* — Речь идет о полемике Н. В. Гоголя с В. Г. Белинским по поводу книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). На отрицательную рецензию Белинского Гоголь ответил личным письмом, в ответ на которое Белинский написал известное «Письмо к Гоголю» (1847), впервые полностью опубликованное в России в 1905 г.

*...и все это к распятию, страданию путь.* — Ср.: «По Белинскому можно изучать внутренние мотивы, породившие миросозерцание русской революционной интеллигенции, которое будет долгое время господствовать и в конце концов породит русский коммунизм» (*Бердяев Н. А.* Истоки русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 35).

С. 124. *...Каин.* — Быт 4: 2—12.

С. 125. *Пришла ко мне моя Грезица и спрашивает, как было в Смольном.* — Имеется в виду Варя Измалкова, первая любовь Пришвина, дочь крупного петербургского чиновника, которая, повидимому, закончила Смольный институт благородных девиц, одно из самых престижных учебных заведений дореволюционной России; с осени 1917 г. в Смольном располагался Военно-революционный комитет, штаб Октябрьской революции.

*Совет народных комиссаров... выделил из своей среды двух диктаторов...* — Имеются в виду реальные события. Совет народных комиссаров города Ельца и Елецкого уезда, Коллегия народных диктаторов — образцы российского провинциального законодательства до принятия в июле 1918 г. первой Конституции РСФСР. 25 мая 1918 г. Елецкий СНК постановил «передать всю полноту революционной власти двум народным диктаторам, Ивану Горшкову и Михаилу Бутову, которым отныне вверяется распоряжение жизнью, смертью и достоянием граждан» (Советская газета. Елец, 1918. 28 мая. № 10. С. 1; *указано Е. В. Михайловым*).

С. 127. *...шелюган...* — шалыган (*искаж.*) — шалопай, бездельник.

*Бывший стражник...*— один из низших полицейских чинов в провинции до 1917 г.

С. 129. *Сегодня, 20-го [ст. ст.] мая, хоронили Дедка...* — Дедок — хрущевский крестьянин, знакомый Пришвину с детства. Прототип героя первого опубликованного рассказа Пришвина под названием «Сашок» (1913), а также прототип Гуська, персонажа романа «Кащеева цепь» (1927). Ср.: «Хрущевские типы: Дедок. Вот человек, которого я люблю. Может быть, оттого и люблю его, что вижу в нем себя, как в зеркале, вижу свое лучшее, то, чем я хотел бы быть, что навсегда потеряно» (РГАЛИ).

С. 130. *Статья диктатора Бутова.* — В дневник вклеена газетная вырезка из статьи М. Н. Бутова «Умрем» (Советская газета. Елец, 1918. 29 мая. № 11. С. 2):

«...меньшинство бездельников, при их понятии, управляло ими. Они, эти неграмотные и малограмотные, поняли, что обман всюду и везде, и наконец терпение их лопнуло. Народ русский, трудовой народ взял в свои руки все принадлежащее ему, и это взятие далеко не по нутру пришлось кровопийцам-бездельникам, они с этим не согласились, считая капиталы и роскошь своею собственностью, хорошо при этом зная, что капитал и роскошь принадлежат только труду. Но благодаря нашей темноте это меньшинство идет грабительски забирать в свои руки труд народа. Идет кучка, кучка русско-немецкого офицерства, кучка детей помещиков и священников, идет убивать нашу святую правду, ту правду, за которую вам пришлось положить миллионы жертв. Идут, идут народные кровопийцы. Товарищи трудовики, идут против вас, идут для того, чтобы отнять у вас все завоеванное, землю и волю. Нужно спасать, еще есть возможность. Товарищи крестьяне, у вас хотят отнять ваш кровавый пот сегодняшней весны. Вы много потрудились на этой земле, с которой и предполагаете убрать хлеб, а кровопийцы идут отнять у вас пота и крови вашей урожай. Товарищи рабочие, у вас хотят отнять все вами завоеванное! Достаточно слов, за дело, за святое дело, спасать завоеванное! Товарищи крестьяне, у вас много силы, силы сознательной отразить врага и показать России, что мы, Елецкие рабочие и крестьяне, спасли революцию. Нет распри в настоящее время, все как один должны стать в защиту святой революции! Бедный класс, за оружие! Буржуазию — рыть окопы и ставить их против их же детей-кровопийц мишенью.

Советская уездная власть поклялась: ни шагу назад. Умирать на месте!»

(*Белинский о Петре.*) — обе цитаты из второй статьи В.Г. Белинского «Россия до Петра Великого» (1841) (http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0390.shtml.

С. 131. *Я разочаровался в ученом человеке... на веру ученье принимал — теперь разочаровался.* — В разные годы в дневнике, начи-

ная с раннего (1905–1913), Пришвин отмечает характерное обращение народной души к идее самобытной автономной жизни: сознание, претендующее на самодостаточность, не только в определенной степени агрессивное всякому культурному построению (науке, книге), но и принципиально независимое от традиции, культуры, веры (*«Начать все вновь — главная моя и вообще русских черта»*). Тема возвращения к *«давно забытому старому древнему»*, *«к вопросам первобытных времен»* появляется и в дневнике 1914–1917 гг. Революция обнажила это начало, лежащее под культурной оболочкой и сдерживаемое культурой. Пришвин видит в борьбе с культурой соблазн русского сознания идти своим путем, обойти культуру, пренебречь ею, видит неизбывную мечту о самобытном пути России.

С. 132. *...во времена Флетчера...*— имеется в виду английский посол Джайлс Флетчер и его книга «О Государстве Русском, или Образ правления Русского Царя (обыкновенно называемого Царем Московским) с описанием нравов и обычаев жителей этой страны». (Лондон, 1591; в России издана в 1905 г.), где Флетчер отмечает: «Правление у них чисто тираническое: все его действия клонятся к пользе и выгодам одного царя и, сверх того, самым явным и варварским образом. Это видно из... угнетения дворянства и простого народа, без всякого притом соображения их различных отношений и степеней, равно как и из податей и налогов, в коих они не соблюдают ни малейшей справедливости... Впрочем, дворянству дана несправедливая и неограниченная свобода повелевать простым или низшим классом народа и угнетать его во всем государстве... но в особенности там, где они имеют свои поместья или где определены царем для управления... Видя грубые и жестокие поступки с ними всех главных должностных лиц и других начальников, они так же бесчеловечно поступают друг с другом, особенно со своими подчиненными и низшими, так что самый низкий и убогий крестьянин (как они называют простолюдина), унижающийся и ползающий перед дворянином, как собака, и облизывающий пыль у ног его, делается несносным тираном, как скоро получает над кем-нибудь верх» (http://www.strana-oz.ru/?numid=398article=1537).

С. 140. *Пилат. Общество... останется чисто, оно умоет руки и скажет...* — Мф 27: 24.

С. 141. *...в «Советской газете» петитом на последней странице в мелкой хронике напечатано...* — В дневник вклеена газетная заметка «Местная жизнь. Борьба с контрреволюцией»: «Местная жизнь. 9-го июня по постановлению чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией расстреляны трое сознавшихся убийц товарищей красноармейцев: Григорий Федоров Сапрыкин, Иван

Кондратьев Башутин и Михаил Соковых; и два контрреволюционера, уличенные в связях с московскими заговорщиками, германскими шпионами в Курске и в организации елецкой контрреволюционной буржуазии: Алексей Николаевич Романов, сын фабриканта, и Константин Николаевич Лопатин (бывший председатель земской управы). Кроме того, расстрелян грабитель Леонов, пытавшийся производить провокационные обыски под видом агента комиссариата продовольствия и отбиравший мануфактуру.

Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией продолжает расследование» (Советская газета. Елец, 1918. 12 июня. № 22. С. 4).

С. 142. *...вспоминая того богоискателя, теперь начинаю тоже что-то понимать из его веры, как он явился на свет, и, сочувствуя страданиям людей, я понял, почему он так презирал того Христа, которого все называли и который никого не спасает...* — Речь идет о В. В. Розанове и его книге «Апокалипсис нашего времени» (1917—1918). См.: Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. Вып. № 2. Последние времена // Розанов В. В. Уединенное. М.: Изд-во политической литературы, 1990. С. 398—402.

С. 144. *...о безумии Евгения...* — в дневнике Пришвина Евгений, лирический герой поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (1833) — это обыватель, маленький человек, «каждый», личность, народ перед лицом власти. С течением времени проблема становится для писателя все более мучительной и наконец выливается в роман на лагерную тему «Осударева дорога», над которым Пришвина работает с 1932 по 1948 год, а потом до конца жизни перерабатывает его. Роман не был опубликован при жизни писателя. См.: Собр. соч. 2006. Т. 3. С. 227—460.

С. 146. *...Бог обещался больше не топить людей и дал в знаменье на небе радугу.* — Быт IX: 13—17.

С. 147. *...при чтении «Вечного мужа» Достоевского...* — в основе сюжета рассказа Ф. М. Достоевского «Вечный муж» (1869—1870) лежит антагонизм «вечного мужа» — провинциального чиновника Павла Павловича Трусоцкого («Квазимодо») — и «вечного любовника», великосветского «Дон Жуана» Вельчанинова. Рабское обожание Трусоцким жены, его слепота и дружба с ее любовником Вельчаниновым вызывает у последнего отвращение к нему: он был «только муж и ничего более». Узнав, что Вельчанинов был любовником его жены, Трусоцкий пытался его зарезать бритвой, поранив ему руку (*Достоевский Ф. М.* Вечный муж // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1974. Т. 9. С. 5—112). Сквозь оппозицию «вечный муж—любовник» Пришвин осмысляет современ-

ную жизнь, в которой эта оппозиция предстает как «народ—интеллигенция» и рассматривается им под разными углами зрения. Ср.: «*17 Июля 1918.* Спрашивается: кто же он, этот интеллигент, в чем его сущность: его цена и вина (у нас есть и такая видимая личность: Керенский, судить Керенского — значит судить интеллигента). Это, во-первых, любовник, чарующий словами (Февральская любовь), и против него, его прекрасных слов — "правда" вечного мужа: теперь оказывается, что это действительно правда». По Пришвину, революция создает новые оппозиции: «большевизм—интеллигенция», «святость—интеллигенция» («*17 Июля 1918.* Любопытно, что Семашко ненавидит интеллигенцию, непременно и должен ненавидеть, потому что как большевик он уже не интеллигент, он уже орудие в стихии: стихия против интеллигента. Но ведь и то святое начало (подобно Франциску Ассизскому) против интеллигента»), а также оппозицию «народ-интеллигенция» («*30 Марта 1918.* Русскую землю нынче, как бабу, засек пьяный мужик и <*приписка*: интеллигенцию> — лучину, которая горела над этой землей, задул, теперь у нас нет ничего: тьма») и «писатель—интеллигент» («*3 Апреля 1918.* С тех пор, как я стал писать и нашел в этом занятии свое призвание, я смутно ненавидел интеллигенцию, нет! еще раньше: когда я влюбился без памяти. И стало так, что я, прошедший всю школу интеллигенции, от Бокля и Маркса до тюрьмы, ссылки и заграницы, я стал видеть в ней людей особенной породы, иного, чем я, рождения... Но я помню еще живо тот идеальный мир, который скрывается за казарменным житьем нашей интеллигенции»). Пришвин делит интеллигенцию на тех, кто соединяется с властью и видит связь этой части интеллигенции с народом («Интеллигенты, делящие власть, и мужики, делящие землю, до того подобны, что хочется уподобить и происхождение того и другого явления. Мужики делятся, потому что земельное дело у них не устроено, интеллигенты — потому что не устроено государственное дело... Крестьян замучила чересполосица, интеллигенцию — платформы и позиции») и творческую интеллигенцию, которая тоже связана с народом, но совершенно иным образом. В момент гибели всех форм жизни сохранить культуру способны только носители духа, и Пришвин пророчески предвосхищает новую историческую миссию интеллигенции («*5 Марта 1918.* Мысли о том, что "народ" переходит теперь в "интеллигенцию" на сохранение: "народ", уничтожая интеллигенцию, уничтожает себя и создает интеллигенцию: в интеллигенции и будет невидимый град»).

С. 148. *...так разойтись и быть равнодушными друг к другу невозможно.* — Имеется в виду С. П. Коноплянцева.

*Н. А. Семашко. «А. А.!..* — Дружеские отношения с Н. А. Семашко связывали Пришвина со времен совместной учебы в Елецкой

гимназии. Под влиянием Семашко Пришвин в гимназические годы заинтересовался марксизмом. Семашко — прототип одного из персонажей автобиографического романа Пришвина «Кащеева цепь». Адресат установить не удалось.

С. 150. *Записываю и этот исторический факт* <зачеркнуто: — *убийство Мирбаха*>... — речь идет об убийстве посла Германии в советской России графа Вильгельма фон Мирбаха-Харфа левым эсером Я. Г. Блюмкиным.

С. 156. *...не одним хлебом сыт человек...* — Мф 4: 4.

С. 157. *...и тут это таинственное путешествие.* — Имеется в виду роман с С. П. Коноплянцевой.

С. 158. *...теперь всюду разбегаются.* — Гражданская война поставила перед большевиками задачу создания армии, максимальной мобилизации всех ресурсов, а отсюда — максимальной централизации власти и подчинения ее контролю всех сфер жизнедеятельности государства. При этом задачи военного времени совпали с представлениями большевиков о социализме как централизованном обществе (нерыночном). Декретом от 28 июля 1918 г. к лету 1920 г. было национализировано до 80% крупных и средних предприятий. Декретом СНК от 22 июля 1918 г. «О спекуляции» запрещалась всякая негосударственная торговля. К началу 1919 г. полностью были национализированы или закрыты частные торговые предприятия. После окончания гражданской войны был завершен переход к полной натурализации экономических отношений. Для достижения победы в ноябре 1918 г. была провозглашена политика «военного коммунизма» (1918—1920) с всеобщей трудовой повинностью.

Политика «военного коммунизма» строилась, с одной стороны, на опыте государственного регулирования хозяйственных отношений периода Первой мировой войны, с другой — на утопических представлениях о возможности непосредственного перехода к нерыночному социализму в условиях ожидания мировой революции. Декрет о земле фактически отменялся. В ноябре 1918 г. была введена продразвестка — система заготовок сельскохозяйственной продукции, заключавшаяся в обязательной сдаче крестьянами государству по твердым (значительно ниже рыночных) ценам всех излишков (сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов.

С. 159. *...то, чем побеждал Франциск Ассизский: пусть мучат — вот радость совершенная.* — Одна из излюбленных мыслей св. Фран-

циска Ассизского (1181–1226). См.: Цветочки святого Франциска Ассизского. М.: Вся Москва, 1990.

С. 160. *«...да ведь они (большевики) тоже во имя высокой личности заводят свой коммунизм».* — В дневник вклеена газетная вырезка из направленной против Ф. И. Шаляпина газетной статьи «Из народа, но не для народа», написанной предположительно С. А. Богуславским (подписана: С. А. Б-а): «Бывают такие нравственные уродства в человеческом мире, когда природа отпускает гений и дарование людям, морально не выносящим тяжести этого бремени. Гений превышает *личность.* И тогда невольно хочется нормировать эту несправедливость карающей рукой закона. Невольно поднимается вопрос о праве государства, общества на искусство, не только на произведения искусства, но шире — на самого художника.

Найдутся люди, которые "возопиют" при этом, скажут, что это посягание на "священную свободу" личности художника. Гений обязывает, и кому много дается, с того много и взыщется. Если художник настолько нечуток, что не находит властного голоса "внутреннего", ведущего его к сознанию, что его искусство должно быть "для народа", то его надо принудить к этому.

Артист должен быть "социализирован", если сам в себе не находит внутреннего требования такой социализации, по своему убеждению.

Каким путем осуществить эту социализацию искусства великих артистов — это иной вопрос. Быть может, государству придется тут быть невольным посредником между художником и народом, нормировать их взаимоотношения. Но такое положение дел, когда артист окончательно продается кучке спекулянтов, есть унижение для искусства, для культуры, и для самого художника — унижение, в которое государство должно вступиться в интересах просвещения и культуры» (Известия ВЦИК. М., 1918. 17 июля. С. 5).

С. 168. *...смотрю на Кремль, в который я, русский человек, теперь больше войти не могу.* — После переезда Советского правительства в июле 1918 г. в Москву был установлен пропускной режим посещения Кремля.

С. 169. *Эта маленькая церковь...* — Имеется в виду церковь Похвалы Богоматери (1705) возле храма Христа Спасителя (снесена в 1931 г.).

С. 172. *...«пуп отрезать от Бога».* — Слова принадлежат руководителю одной из петербургских хлыстовских сект П. М. Легкобытову. Ср.: Ранний дневник. С. 175–316.

*...как в «Руслане», голова огромная...* — голова — персонаж поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

С. 173. *От царя остались только кресло и сапог.* — В дневниковую тетрадь вклеена газетная вырезка (определяется название газеты «Вечерняя Красная Газета» № 14) со стихотворением и тремя рисунками: 1) фрагмент разрушенного памятника Александру III в деревянных лесах с упавшей головой; 2) рабочие среди обломков памятника; 3) верх храма Христа Спасителя с куполами в деревянных лесах.

«Он падает!
Он падает!»

*Густав Курбэ*

Бушуя ураганами,
Народ дробит века!
Над тьмой, над балаганами,
Как смерч его рука;
Над тьмой, над балаганами
Законов, веры, власти —
Над прошлыми, погаными
Кует свое он счастье.
Да здравствует народ!..
Но тот, кто жизнь кует свою,
Разбив ярмо царей, —
Тому триумф, тому поют
Все солнца на заре. —
Вандамскою колонною
Стоят в его глазах,
Сидящие с короною,
Как бог на образах...
И сам руками властными,
Он стаскивает их,
Чтоб заменить прекрасными
Пророками своих
Мечтаний, ставших былями
В сияньи новых дней,
Когда столетья вылили
Набатом
Идей
Пролетариата
Евангелие.

*Пролетарий*

С. 176. *...Ульяна — какое чудесное имя, как это подходит к ней!* — Запись относится к роману с С. П. Коноплянцевой.

С. 178. *...страна непуганых птиц.* — «В краю непуганых птиц» (1907) — название первой книги Пришвина; в 1885 г. так же он

с друзьями-гимназистами называл ту страну, в которую они бежали, начитавшись Майн Рида.

*...больше, чем для меня мои «арабы».* — Имеется в виду творчество. Черный араб — лирический герой одноименной повести (1910).

С. 179. *Мы — актеры.* — Тема «мы — актеры» вновь возникает и переосмысляется у Пришвина много лет спустя в связи с его последней и настоящей любовью — в 1940 г. он женится на Валерии Дмитриевне Лебедевой (Лиорко), и в дневнике появляются следующие записи:

Ср: «*Без даты.* Ведь жизнь наружная — не моя внутренняя — есть пьеса, в которой меня же разыгрывают. И есть такие тонкие артисты, что только через них я и узнаю себя. Что мне история? Ведь это меня же дурно разыгрывают в лицах»; «*Без даты. 1941.* Назови кого-нибудь, кто с людьми остается таким, каким он бывает с собой? — Но ведь хорошего в том мало, чтобы показываться именно таким, какой есть. Что, правда, в этом хорошего? Мы же, вероятно, собой недовольны и хотим сделать из себя нечто более интересное, чем мы есть, стать выше себя. Как ты думаешь? — я думаю, что... это происходит от... сознания невозможности перед всеми раскрыть свою личность. — Но ведь это и есть глубочайшая причина, почему мы играем и даем легенду вместо самих нас»; «*Без даты. 1943.* Больше всего меня смущает в Ляле (домашнее имя Валерии Дмитриевны. — *Сост.*) ее вечная игра: в жизни она талантливый актер, вполне верит в то, что играет. Подчас я, несмотря на ее героизм в любви, сомневаюсь, не разыгрывает ли она и эту любовь? Именно героизм-то ее и наталкивает меня на эту мысль: так в природе не бывает. Так может любить только Божий актер... Ну а сам-то я разве не Божий актер? Разве я выбрал ее не для того, чтобы лучше было вместе играть?» «*21 Июля. 1944.* Каждая встреча одного человека с другим есть представление: каждый разыгрывает себя самого перед другим, но непременно бывает двое: один актером, другой зрителем. Точно так же бывает оба пола, м[ужской] и ж[енский], друг перед другом представляются...»; «*12 Сентября. 1944.* Но вот для меня... Но, впрочем, нет: какой может быть вопрос, что и любовь наша — тоже игра, и мы не вправду любовники, а два мастера сцены сошлись, заинтересованные друг другом» (Черновые материалы к книге «Мы с тобой». Архив Л. А. Рязановой). Ср.: Ранний дневник. С. 709—710.

С. 182. *Парижское воспоминание: была ли тут любовь?* — Запись относится к В. П. Измалковой.

С. 184. *(Написать поэму в форме письма: «Ты — весь мой мир».)* — Реальность «ты» в мире — одна из главных религиозно-

философских интуиций Пришвина. Слово Пришвина-писателя предполагает другого, некое «ты»; связь «я—ты» в художественном мире Пришвина носит характер универсальной связи человека, личности («я») со всем миром.

С. 184. *...благородные девицы Тургенева: Наташа, Лиза, Ася...* — Героини романов И. С. Тургенева «Рудин» (1855). «Дворянское гнездо» (1858—1859) и повести «Ася» (1860).

С. 186. *...идеал (Прекрасная Дама).* — Прекрасная Дама, Версальская Дева, Невеста — так называет в дневнике Пришвин Варю Измалкову. Ср.: Ранний дневник. Любовь. С. 5—174.

С. 188. *А как же Саша?* — Имеется в виду любовная драма брата Пришвина Александра Михайловича — встреча с медсестрой (он был врачом), которую в семье Александра прозвали Марухой; имя ее неизвестно. Александр оставил семью и уехал — с обещанием вернуться к жене умирать. Смертельная болезнь настигла его очень скоро, он вернулся к Марии Николаевне, а «Маруха» покончила с собой, как только узнала о его кончине. Ср.: «Судьбы братьев, сестры и отца Михаила Михайловича свидетельствуют о характерах ярких и необычных. Натуры сложные, мятущиеся, ищущие, они не могли смириться с обыденностью, жили с устремлением к высокому идеалу, но не смогли воплотить его в своей жизни. Михаил Михайлович понял внутренний смысл жизни, тайну личности каждого из них, может быть, потому, что их поиск был для него самого существенным и важным. <...> В брате Александре (“*какой-то артист по природе*”) мы видим очень близкие Михаилу Михайловичу черты — художественное призвание и мечту о большой любви» (Путь к Слову. С. 16—18).

С. 191. *...брачным поют двери, как у Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны.* — Аллюзия на повесть Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» (1835).

С. 192. *...тогда мне кажется, будто все было обман и нет ничего.* — Имеется в виду роман с С. П. Коноплянцевой.

С. 193. *...Лиза с Лаврецким...* — персонажи романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).

С. 194. *Начало романа.* — В тетради лежат страницы параллельного дневника (до 24 сентября), поэтому даты повторяются.

С. 202. *...я время от времени прихожу к ней...* — Имеется в виду Ефросинья Павловна.

*У больной все эти слова, как у Офелии, получают какое-то особенное значение...* — Ср. в трагедии В. Шекспира «Гамлет»: «Этот вздор значительнее смысла!» (цит. по: Библиотека великих писателей / Под ред. С. А. Венгерова. В. Шекспир. СПб.: Издание Брокгауза—Ефрона, 1902. Т. III. С. 128).

С. 203. *...за кофеем с растрепками.* — Растрепки — остатки снеди *(местн.)*.

С. 208. *...перерыв отношений «до радостного утра»* — т. е. до смерти. «Покойся, милый прах, до радостного утра» — стих из «Эпитафий» Н. М. Карамзина (1792).

С. 212. *...далекое казалось ближе к далекой, недостижимой.* — Тяга к путешествию, или страничеству, присущая Пришвину-писателю, связана с его философией любви и идеей дома. Ср.: «Отправляясь в неизвестное — приближаешься к порогу чудесной встречи, и весь мир становится тебе Домом» (1940).

С. 213. *Друг мой отбил у меня невесту...* — Запись не соответствует жизненным реалиям.

*...такое яблоко он мог написать только во время революции.* — Видимо, речь идет о картине К. С. Петрова-Водкина «Яблоко и вишня» (1917). В записи обозначена тема «искусство и революция», которая становится очень существенной для Пришвина.

С. 214. *Феврония имела такую же (приблизительно) катастрофу, как Лидия...* — Феврония — соседка Пришвиных по имению, ставшая монахиней.

С. 215. *...евангельские девы: одна темная, другая со светильником.* — Мф 25: 1—12.

С. 216. *«...мое лучшее от меня никто не возьмет, оно всегда со мною».* — Речь идет о письме от Вари Измалковой, которое Пришвин получил в 1912 г. в ответ на посланные ей книги с надписью: «Помните свои слова: “Мое лучшее, да, лучшее, навсегда останется с Вами!” Забыли? А я храню Ваш завет: лучшее со мной. Привет от Вашего лучшего».

Измалкова писала: «Я получила Ваше письмо и книги, но не ответила Вам сразу, потому что надпись на одной из книг возмутила меня. По какому праву Вы берете на себя монополию на то, что есть во мне “лучшего”? Поверьте, Михаил Михайлович, мое лучшее осталось при мне и было и будет со мной всю жизнь, потому что не может один человек отнять от другого то неотделимое и невесомое,

которое называется “лучшим”. А разве может женщина с седеющими волосами быть ответственной за слова и поступки двадцатилетней полудевочки? Годы — пропасть, Михаил Михайлович, и если бы мы с Вами встретились теперь, то мы друг друга не узнали бы...» (Путь к Слову. С. 211—213).

С. 216. *...рассказывала про N... Она же все время... тараторит ему...* — имеются в виду Коноплянцевы.

С. 218. *Вспоминаю сон...*— речь идет о Варе Измалковой.

С. 220. *...человек живалый...* — живалый (*обл.*) — опытный в жизни, поживший и побывавший в разных местах.

С. 222. *Горький затевает какое-то массовое издательство иностранных писателей...* — речь идет об издательстве «Всемирная литература», основанном Горьким в Петрограде в 1918 г.

*Усадьба, как труп, кишащий червями...* — имеется в виду дом, принадлежавший матери Марии Ивановне Пришвиной, в котором прошло детство писателя.

С. 223. *...то, что называется «религия человечества», робеспьеровское Верховное начало — Разум.* — Имеется в виду провозглашенная в 1847 г. французским философом Огюстом Контом, по взглядам близким к идеям Великой Французской революции, Религия Человечества, учение и культ которой он разрабатывал с позиций позитивизма.

С. 227—228. *О коммуне: Аракчеевщина и коммуна (все на чужого дядю)...* — Вероятно, коммуна уподобляется военным поселениям солдат и крестьян, организованным Аракчеевым по проекту Александра I с целью создания резерва обученных войск без увеличения расходов на содержание армии.

С. 228. *Из пансиона Тургеневских женщин Соня ближе всех к Одинцовой...* — Одинцова — персонаж романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1858).

С. 230. *...обещая будущее безболезненно, непостыдно, свято, мирно и безгрешно.* — Неточные слова из просительной ектинии чина Божественной литургии св. Иоанна Златоуста.

С. 236. *Песня турлушки...*— турлушка (*местн.*) — лягушка, издающая звуки, похожие на воркование горлинки.

С. 238. *...не единым хлебом... жив человек.* — Мф 4: 4.

С. 239. *24 Сентября.* — В начале тетради имеется летопись жизни, которая представляет большой интерес не только с точки зрения биографии Пришвина, но и как первая попытка писателя обдумать свою жизнь в преддверии работы над автобиографическим романом «Кащеева цепь»:

«1873 год.

Я родился.

1883.

Поступил в Елецкую гимназию.

1884.

Я второгодник 1-го класса. Убежал в "Америку".

1885.

Второй класс. Влияние Закса, директора. Счет годов с весны.

1886.

Перешел в 3-й, 1887 — остался в 3-м и встретился с братом Сережей.

1888.

Перешел в 4-й и был исключен за дерзость В. В. Розанову.

Немцы считают мою фамилию за немецкую, евреи за еврейскую, русские не признают за свою, и часто я слышал: "Пришвин — жид?" Только в Ельце, откуда я родом, знают, что предки мои торговали пришвами (часть ткацкого станка), за что и получили сначала прозвище, а потом и фамилию. В Ельце род Пришвиных считается основным купеческим родом, так что, если хорошенько подсчитаться, каждый коренной ельчанин мне приходится родственником.

1873.

Я родился 23-го Января в селе Хрущеве Соловьевской волости Елецкого уезда. Отец мой занимался лошадьми, цветами и охотой. Умирает на восьмом году моей жизни от паралича (на почве алкоголя). После него мать приводит в порядок проигранное им имение. Она очень здоровая, все время в поле. В гимназию готовят меня "репетиторы" и учитель народной школы Павел Васильевич. От отца наследую нервность, от матери — нравственное здоровье. Двоюродная сестра Дуничка учит любить человека (Некрасов), двоюродная сестра Маша прельщает неземным (Лермонтов).

1883.

Я поступаю в Елецкую гимназию и живу на пансионе вместе со старшим братом Николаем у Непорожних. Я совершенно не в состоянии понимать, что от меня требуют учителя. Мучусь, что огорчаю мать — единицами и за успехи, и за поведение.

1884.

Я второгодник. Вместе с учениками Чертовым, Тирманом, Голофеевым совершаю побег в Америку на лодке по р. Сосне. Розанов, учитель географии (после писатель Вас. Вас. Розанов), против всех

в округе высказал запавшее крепко в душу: “Это хорошо, это необыкновенно”. В душе отчаяние, что “Америки” нет.

1885.

Влияние строгого беспощадно и справедливого директора Закса. Он обращает на меня внимание исключительное, я учусь хорошо и перехожу в третий класс.

1886.

Опять лень. Закс бросает меня. Я остаюсь в третьем классе, и брат Сережа догоняет меня.

1888.

В четвертом классе я говорю Розанову дерзость: “Если вы мне выведете двойку по географии, я не знаю, что сделаю”. Розанов, тогда больной (душевно), ставит в Совете: “Или он, или я”. Совет исключает меня. Это как смертная казнь. Побег в Америку, исключение из гимназии — два крупнейших события моего детства, определяющие многое в будущем.

1889–1892.

Мой Сибирский дядя Иван Иванович Игнатов, пароходный делец, берет меня к себе в Тюмень. Я — племянник богатейшего человека. Учусь в реальном не увлекаясь, ни хорошо, ни плохо. Стараюсь сходиться с учениками старших классов и у них выхватить умнейшую книгу (Бокля, Спенсера). Директор И. Я. Словцов — естественник, нигилист, материалист. Слывет за умнейшего человека. Окончив 6 классов реального, я еду в Красноуфимск поступать в сельскохозяйственное отделение Промышленного Училища.

1893.

В январе переезжаю в Елабугу, сдаю экзамен за 7-й класс Реального и поступаю осенью в Рижский политехникум.

1893–1895.

В Риге меняю разные факультеты в поисках “философского камня”.

1896.

Летом еду на Кавказ для работ на виноградниках, схожусь здесь с марксистами, перевожу Бебеля.

1897.

Попадаю в тюрьму за марксизм. Это один из определяющих моментов жизни. 1. Америка. 2. Исключение. 3. Марксизм.

1898–1900.

Высланный на родину в Елец, продолжаю быть марксистом.

1900.

В Берлине, Иена, Лейпциг.

1902.

Марксизм мой постепенно тает... я учусь на агронома и хочу быть — просто полезным для родины человеком.

Сумасшедший год. Весной после окончания в Лейпциге еду посмотреть Париж. Встреча (4 момента) и последующий переворот

от теории к жизни, определивший все мое поведение до сего дня (1918 г.). Хрущево, Петербург, Москва. Служба у Бобринского в Богородицких хуторах Тульской губ., Петербург. Возвращение в Хрущево, Москва и поступление в Клинское земство.

1903.

Клин. Встреча с Ефрос. Павл.

1904.

Петровско-Разумовск. Беременна первым ребенком. Петербург на 14 линии Вас. Остр. Филипьев, Лидочка. Неудавшееся свидание (Каль). Приезд Ефрос. Павл. с Сережей и переселение в Лесной.

1905.

Весной в Луге на опытной станции Заполье.

1906.

Охта, Ончуков. Поездка в Олонецкую губ. Рождение Левы. Книга "В краю непуганых птиц".

1907.

Охта. Поездка за Колобком в Норвегию. Зимой писание книги "Колобок".

1908.

Весна в Хрущеве. Поездка в Невидимый град. Лето в дер. Шершнево Смол. губ. Зимой в Петербурге писание книги "Невидимый град". Мережковский, Ремизов, Иванов-Разумник.

1909.

Весна в Хрущеве. Лето в Петербурге и в степи за Иртышом. Писание "Черного Араба".

1910.

Весна в Хрущеве. Брынь. Пожар. Белев. Петербург: "Крутоярский зверь", "Птичье кладбище".

1911.

Смерть Саши. Жабынь. Смоленск. губ. Кострома. Новгород. Ефр. Павл. в Новгороде. "Иван Осляничек".

1912.

Лаптево и Никон Староколенный". Домик в Новгороде о. Фортификантова. Мейерша. Переселение в Петербург на Ропшинскую.

1913.

Песочки с Мейершей.

1914.

Песочки с Лебедевым.

1915.

Песочки с Разумником. Елец.

1916.

Построил дом в Хрущеве.

1917.

Хрущевское эсерство.

1918.

Ключ и замок (т. е. Коноплянцева. — *приписка рукой В. Д. Пришвиной)*.

Лица, действующие в моей жизни

Детство.

Мать моя Мария Ивановна Пришвина (1841—1914). Две сестры: Маша и Дуничка. Сестра Лидия. Братья: Николай, Александр, Сергей. Няня Евдокия Андриановна. Дяди: Иван Иванович Игнатов ("самый высший"), Григорий Ив., Илья Иванович».

С. 240. *...как Робинзон на диком острове...* — аллюзия на книгу Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719). Ср.: «*2 Апреля. 1930.* Снегу навалило больше, чем зимой. Читаю "Робинзона" и чувствую себя в СССР, как Робинзон. Это свойство всех крупных произведений — передавать мысль на себя. Так что бывает недоумение: что, это автор открыл твои глаза на твою вечную, присущую всем черту, или же так пришлось, что избранные автором черты жизни как раз были твоей особенностью? Думаю, что очень много людей в СССР живут Робинзонами, что только тому приходилось спасаться на необитаемом острове, а нам среди людоедов».

С.247. *...отблеск подвига Синайского...* — Пс 67: 9, 18; Деян 7: 38; Гал 4: 24, 25.

*...огромное христианское государство «третий Рим»...* — в свете превращения «огромного христианского государства» в пустыню и человека в зверя известная мессианская идея о роли России («третий Рим») теряет всякий смысл, а задача вытеснения «зверя» («творчество человека»), по Пришвину, потребует «огненного крещения личности в подвиге любви» (Мф 3: 11—12; Лк 3: 16—17).

*...Иоанново Слово называется «разумением».* — Имеется в виду «Краткое изложение Евангелия» (1881) Л. Н. Толстого, введение к которому называется «Разумение жизни».

*«Несть бо власти, аще от Бога»...* — Рим 13: 1.

С. 249. *...пришла «выдворительная».* — Так Пришвин называет документ о выселении, предъявленный властью.

С. 251. *Акварельный рассказик «Дикое поле»...* — Рассказ под таким названием неизвестен.

С. 255. *...«взыграл младенец во чреве ее».* — Лк 1: 41.

*...так Евгений в «Медном всаднике»...)* — Аллюзия на поэму А. С. Пушкина «Медный всадник».

С. 260. *Появление Семена Кондратьевича Лукина...* — С. К. Лукин — прототип комиссара Персюка в «Мирской чаше». Месяц с небольшим спустя этой дневниковой записи имя Лукина было упомянуто в отчете уполномоченного ЦК РКП (б) Д. А. Павлова о своей работе в Елецкой большевистской организации. Ставя вопрос о необходимости «окончательно изъять из наших рядов тех товарищей, которые свои личные интересы часто ставят выше партийных и часто дезорганизуют работу елецкой организации», Павлов просит К. Т. Свердлову «прислать телеграмму от ЦК партии с требованием выслать в распоряжение ЦК» пятнадцать ответственных елецких партийцев. Первым из них назван Лукин, однако ходатайство в отношении его успехом не увенчалось. Убеждая Центральный Комитет в целесообразности своего требования («то я просил у вас работников, а то целых 15 товарищей посылаю к вам»), Павлов дает Лукину такую аттестацию: «Годен и для губернского масштаба как знаток аграрной политики РКП». И хотя Павлов явно имел в виду любую другую, кроме Орловской, губернию, Пришвин в записи от 22 января 1919 г. констатирует: «Теперь матрос Лукин состоит комиссаром по земледелию» (Переписка Секретариата ЦК РКП (б) с местными партийными организациями. М., 1970. Сб. 5. С. 302–303; *указано Е. В. Михайловым*).

*(Персюк Бабурный): матрос в кольце каната Маркса читает...* — начиная с 1919 г. в дневнике появляются реалии и целый ряд персонажей (Скифия, холодный амбар, товарищ покойник, Павлиха (Павлиниха), Фомкин брат и пр.) будущей повести «Мирская чаша» (1922). Ср.: Мирская чаша // Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 583–667.

*С. 264. ...«Всякое дыхание да славит Господа»...* — Неточные слова из Пс 150.

С. 266. *Не забыть встречу с ветеринаром в Гродно...* — речь идет о Первой мировой войне, когда Пришвин дважды ездил на фронт военным корреспондентом. Ср.: Дневники. 1914–1917.

*...на полаткú посолишь.* — Полатóк — половина распластанной птицы (рыбы, зайца) без костей, соленой, вяленой, копченой, засушенной в печи.

С. 268. *Австрияк, как отставший гусь, весь в лохмотьях...* — об австрийских пленных в годы Первой мировой войны см.: Дневники. 1914–1917. С. 263–361.

С. 268. *...существо между Марфой и Марией, которое называется мироносица.* — Лк 10: 38—42.

С. 269. *Нужно собрать черты большевизма как религиозного сектантства...* — В послереволюционные годы Пришвин обнаруживает, что интуиции начала века, связанные с изучением сектантского движения и выявлением сходства сектантской и марксистской парадигмы, находят реальное подтверждение в новой, складывающейся в результате революции жизни; типологическое сходство марксизма (революции) и хлыстовства (сектантства) для писателя очевидно; в разные годы он вновь и вновь рассматривает революцию в русле развития религиозного сознания. Ср: «Рев. движение (интеллигенции) в России несомненно отразило в себе характерные черты народного расколо-сектантского движения... В интеллигенции сложились такие же секты, из которых каждая имела претензию на универсальную истину. Победившая всех их секта большевиков до сих пор борется за универсальность (интернационал) и на наших глазах постепенно омирщается...» (Дневники. 1928—1929. С. 507).

С. 271. *...талант как у Марфы Посадницы...* — вдова новгородского посадника И. А. Борецкого возглавляла антимосковскую партию новгородского боярства; после присоединения Новгорода к Московскому княжеству в 1477 г. взята под стражу и отправлена в Москву, где была заключена в монастырь.

С. 275. *...нужно отрезать русскому человеку пуп от Бога...* — слова П. М. Легкобытова. Ср.: Круглый корабль // Собр. соч. 1982—1986. Т. 1. С. 701—703.

С. 277. *С понедельника до пятницы пробыл на горе Венеры.* — Рыцарь Тангейзер из оперы Р. Вагнера «Тангейзер» (1845) находится в гроте Венеры, богини любви и красоты; здесь речь идет о С. П. Коноплянцевой.

*«Под нею хаос шевелится...»* — строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?» (1836).

С. 278. *Жизнь пчел...* — По-видимому, имеется в виду трактат М. Метерлинка «Жизнь пчел» (1901).

С. 284. *Что же такое эта земля, которой домогались столько времени? Успенский.* — Имеются в виду циклы очерков Г. И. Успенского «Из деревенского дневника» (1877—1880), «Крестьянин и крестьянский труд» (1880; упоминается также на с. 256), «Власть земли» (1882).

*После многодневной куры́...* — Кура́ — метель, пурга *(местн.)*.

С. 289. *...«Крест и цвет» есть идея народная...* — крест и цвет обозначили в дневнике послереволюционных лет целый ряд оппозиций: необходимость и свобода, молчание и слово, зима и весна, земля и небо, хаос (стихия) и космос (личность, художник), народ и интеллигенция. Крест и цвет — символы страдания и воскресения — указывают на амбивалентность жизни: крест символизирует пространство «заснеженной Скифии» с ушедшей под спуд корневой жизнью народа, цвет — пространство странника-интеллигента, художника; в то же время крест и цвет находятся в неразрывном взаимодействии: крест существует до тех пор, пока корневая сила земли не выгонит цвет.

С. 291. *...двери не поют, а визжат, и хрипят...* — Поющие двери из повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» (1834) Пришвин часто использует как знак патриархальной гармоничной жизни. Антитеза гоголевскому образу в данном случае ставит под сомнение сам идеал патриархальной жизни, указывая на скрытые в ней «грехи» и «болезни».

С.294. *...он стал раздражать тебя...*— имеется в виду А. М. Коноплянцев.

С. 295. *Социализм революционный есть момент жизни религиозной народной души: он есть прежде всего бунт масс против обмана церкви...*— в дневнике, начиная с раннего (1905—1913), обнаруживается целый ряд записей, в которых революционные идеи, деятели, структуры уподобляются сектантским: Пришвин рассматривает революцию, социализм в русле развития религиозного (сектантского) сознания в России. Ср.: «История секты Легкобытова есть не что иное, как выражение скрытой мистической сущности марксизма... получается не земля просто, но земля обетованная <...> государство будущего вместо обыкновенного государства» (Ранний дневник. С. 253). В последующие годы Пришвин обнаруживает, что интуиции, связанные с выявлением сходства сектантской и марксистской парадигм, находят реальное подтверждение в складывающейся в результате революции жизни.

С. 298. *...звезда Вифлеемская.* — Мф 2: 1—10.

С. 299. *Частица жизни очень неясная, брошенная в Скифию, покрытую снегами ужасных буранов последней зимы.* — Образ древней заснеженной Скифии вскоре возникнет в послереволюционной повести Пришвина «Мирская чаша. 19-й год XX века» (1922) так же, как и крест: «бушевал хозяин древней Скифии буран... но наверху

было ясно и солнечно, правильным крестом расположились морозные столбы вокруг солнца, как будто само Солнце было распято» (Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 663–667).

С. 304. *...«И зачем ты бежишь торопливо за промчавшейся тройкой...»* – Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка» (1846).

С. *305. Как верно у Метерлинка...* – Здесь и далее цитаты из разных глав трактата М. Метерлинка «Сокровище смиренных» (1896; русск. пер. 1903).

С. 311. *...при конце века брат на брата восстанет.* – Мк 13: 12.

*Мясоед* (Мясоястие) – период, когда по православному церковному уставу разрешена мясная пища.

С. 313–314. *...скотину порежут прасолы».* – Торговец, скупавший оптом в деревнях рыбу или мясо для розничной продажи и производивший их засол; позднее так называли скупщиков скота, различного сырья, леса и пр.

*И они ели тело мое и пили кровь мою.* – Мк 14: 22–24.

С. 317. *...все равно, как в детстве... американские тигры, дикари и прерии.* – В 1885 г., будучи гимназистом Елецкой мужской гимназии, Миша Пришвин, начитавшись Майн Рида (его любимым романом был «Всадник без головы»), с тремя друзьями-гимназистами совершил побег «в страну непуганых птиц» – событие это стало поворотным в его судьбе: «тигры, дикари, прерии», то есть «Америка» Майн Рида – метафора девственной природы, которую Пришвин находил в собственной стране, любил и ценил всю свою жизнь. В летописи своей жизни (1918) он отмечает: «Побег в "Америку"», хотя иногда называет его «побегом в Азию». Ср: О двух крайностях // Собр. соч. 1982–1986. С. 781; Кащеева цепь // Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 95–111.

*Амбар холодный...*– имеются в виду методы изымания продуктов: с 1 января 1919 г. действует централизованная и плановая система изымания излишков у крестьян – продразверстка. Ср.: Мирская чаша // Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 658–663.

С. 320. *Старый Бог умирал, нового не было...*– вариация на тему известного тезиса пророка Заратустры (Ф. Ницше «Так говорил Заратустра») «Бог умер: теперь хотим *мы*, чтобы жил сверхчеловек».

Комплекс ницшеанских идей, связанных, в частности, с этим тезисом, разрабатывается Пришвиным в дневнике в разные годы.

С. 321. ...*«смертию смерть поправ»*... — Слова из тропаря пасхального богослужения.

...*душевой земли нет у меня*...— тип землевладения, определяющий количество земли на одну ревизскую, а после 1861 г. на одну наличную душу.

С. 323. ...*я, как богомолы в степи*... — Богомол — насекомое, встречающееся в Крыму и на Кавказе, обычно сидящее в траве с направленными вверх лапками, напоминающими воздетые к небу руки.

...*прошу, чтобы прошла мимо меня чаша необходимого страдания.* — Вольное переложение моления о чаше (Мф 26: 39).

С. 324. ...*насадил глаз на дернйк*... — Дернйк — терн, терновник *(местн.)*.

...*почему Каин убил Авеля.* — Быт 4: 2—12.

С. 331. ...*заповеди Моисея.* — Исх 20.

С. 334. *Мы разговариваем о гибели мощей Тихона Задонского*... — Речь идет о св. Тихоне, епископе Воронежском и Елецком, Задонском чудотворце.

С. 335. *Андрей изменил своему отечеству*... — имеется в виду Андрий — персонаж повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1835).

С. 336. ...*заваленном газетами «Вестник Бедноты».* — Газета под таким названием выходила в Ельце в 1918—1919гг., издание укома РКП (б).

С. 337. *Любовь — это свой дом*... — смысл жизненного пути для Пришвина так или иначе всегда был связан с идеей дома, а образ дома, домашнего очага — с ролью женщины в его жизни; в 1919 г. запись о романтизированном нереальном «хрустальном» доме выдает характер отношений с С. П. Коноплянцевой, которые в течение 1919 г. постепенно изживаются.

С. 343. *«Взявший меч от меча и погибнет»*... — Мф 26: 52.

С. 354. ...(*с «Русскими Ведомостями», «Русским Богатством»*)... — «Русские ведомости» — общественно-политическая газета, которая

издавалась в Москве в 1863-1918 г. «Русское богатство» — литературный, научный и политический журнал, издававшийся в 1876—1918 гг.

С. 345. — *Да воскреснет Бог!* — Слова из молитвы к Честнóму Кресту.

С. 346. *Блудный сын — образ всего человечества.* — Лк 15: 20—32.

С. 357. *...мы видим в осколках этих искаженное отражение мира.* — Аллюзия на сказку Г.-Х. Андерсена «Снежная королева».

*Мужики не поверили, что Бутов назначен опять. — В газете читали: Бутов Сергей. — Тот Михаил. — Ну, что ж, брат его — все равно.* — Недоверие, отмеченное Пришвиным, объясняется тем, что политическая карьера М. Н. Бутова была подорвана фактом принадлежности его до июля 1918 г. к партии левых социалистов-революционеров. В сентябре—октябре 1918 г. секретарем Елецкого уездного комитета РКП (б) числился еще и Д. Бутов. См.: Переписка Секретариата ЦК РКП (б)... М., 1969. Сб. 4. С. 454 (*указано Е. В. Михайловым*).

С. 359. *«Покаяния отверзи мне двери, Жизнодавче!»* — Начальные слова из великопостной молитвы св. Ефрема Сирина.

*...«Аз воздам!»* — Рим 12: 19.

С. 360. *...поет «Интернационал»: «Кто был ничем, тот станет всем».* — Написанный во Франции (слова Эжена Потье, 1871 г., музыка Пьера Дегейтера, 1888 г.) и переведенный на многие языки (русск. пер. А. Я. Коца, 1902 г.) гимн коммунистических партий по всему миру; с 1918 по 1943 г. служил государственным гимном Советского Союза.

С. 363. *Старуха все с м о г а л а с ь...* — смогаться (*местн.*) — справляться, управляться.

С. 365. — *Славься, славься, наш русский царь!* — Слова из финального хора из оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») (1836).

С. 368. *Белая ложь. Он (Горшков)...* — В качестве делегата с решающим голосом на VIII съезде РКП (б) И. Н. Горшков проявил себя не меньшим, чем С. К. Лукин, знатоком аграрной политики большевистской партии: «Советское хозяйство, если оно является единственной формой социалистического земледелия, должно

быть изменено в корне. А я скажу, что вы его не измените в корне, потому что вы должны послать управляющего, но кого вы пошлете? Специалистов? На них нужно махнуть рукой» (Восьмой съезд РКП (б): Протоколы. М., 1959. С. 243; *указано Е. В. Михайловым*).

С. 378. *...пришли известия с речью Ленина...* — По-видимому, имеется в виду газета «Известия» с речью В. И.Ленина на VIII съезде РКП (б), проходившем 18—23 марта, не только направленной против предложения Бухарина об исключении из программы партии пунктов о мелком товарном производстве и середняке, но и провозгласившей необходимость прочного союза с середняком.

*Читаю Соловьева о славянофилах...*— зд. и ниже (запись от 15 Апреля) ср.: «Реформа Петра Великого вводила Россию в европейский арсенал, где она могла научиться обращению со всеми орудиями цивилизации, но относилась безучастно к началам и идеям высшего порядка, определявшим приложение этих орудий. Так, эта реформа, давая нам средства для самоутверждения, не открывала нам конечной цели нашего национального существования. Если вправе были спрашивать: Что делать варварской России? И Петр хорошо ответил, сказав: Она должна быть преобразована и цивилизована, — то с не меньшим правом можно спросить: Что же должна делать преобразованная Петром Великим и его преемниками Россия, какую цель ставит себе современная Россия?» (*Соловьев В. С.* Россия и Вселенская Церковь. Книга первая. Глава вторая. Написано на французском языке, оп. в Париже, 1889. В пер. с французского Г. А. Рачинского, оп. в М., тип. А. И. Мамонтова, 1911. Переиздано в Собрании сочинений, Брюссель, т. XI. 1969).

«...русский народ опустился до грубого варварства, подчеркнутого глупой и невежественной национальной гордостью, когда, забыв истинное христианство Святого Владимира, московское благочестие стало упорствовать в нелепых спорах об обрядовых мелочах и когда тысячи людей посылались на костры за излишнюю привязанность к типографским ошибкам в старых церковных книгах, — внезапно в этом хаосе варварства и бедствий подымается колоссальный и единственный в своем роде образ Петра Великого. Отбросив слепой национализм Москвы, проникнутый просвещенным патриотизмом, видящим истинные потребности своего народа, он не останавливается ни перед чем, чтобы внести, хотя бы насильственно, в Россию ту цивилизацию, которую она презирала, но которая была ей необходима; он не только призывает эту чуждую цивилизацию как могучий покровитель, но сам идет к ней как смиренный служитель и прилежный ученик; и несмотря на крупные недочеты в его характере как частного лица он до конца являет достойный удивления пример преданности долгу и гражданской доблести. И вот, вспоминая все это, говоришь себе: сколь велико и пре-

красно должно быть в своем конечном осуществлении национальное дело, имевшее таких предшественников, и как высоко должна, если она не хочет упасть, ставить свою цель страна, имевшая во времена своего варварства своими представителями Святого Владимира и Петра Великого. Но истинное величие России – мертвая буква для наших лжепатриотов, желающих навязать русскому народу историческую миссию на свой образец и в пределах своего понимания. Нашим национальным делом, если их послушать, является нечто, чего проще на свете не бывает, и зависит оно от одной-единственной силы – силы оружия. Добить издыхающую Оттоманскую империю, а затем разрушить монархию Габсбургов, поместив на месте этих двух держав кучу маленьких независимых национальных королевств, которые только и ждут этого торжественного часа своего окончательного освобождения, чтобы броситься друг на друга. Действительно, стоило России страдать и бороться тысячу лет, становиться христианской со Святым Владимиром и европейской с Петром Великим, постоянно занимая при этом своеобразное место между Востоком и Западом, и все это для того, чтобы в последнем счете стать орудием "великой идеи" сербской и "великой идеи" болгарской!» (*Соловьев В. С.* Русская идея (1888) // Соловьев В. С. Спор о справедливости. М.; Харьков, 1999. С. 629; указано А. Медведевым).

С.379. *...бычок с белой звездочкой, похожий на Аписа...*– оппозиция линейного, быстрого, сжатого времени коммуны и циклического времени вечности воплощается в образе Аписа (в древнеегипетской мифологии бог плодородия в облике быка) и знаменует жизнь, которую революционное ускорение может, конечно, уничтожить, но никак не может изменить.

С. 380. *Утренняя прогулка в Печуры.* – Каменный обрыв на берегу р. Сосны в Ельце, высотой более 10 м.

С. *Хлеб нашей души есть красота.* – Ср. у Метерлинка: «Можно сказать, что единственная пища нашей души есть красота...» (Сокровище смиренных. XIII).

*Герой моей повести – народ...* – произведение с подобным сюжетом неизвестно.

С. 381. *Думал про покойника Дедка...* – Дедок (или Гусёк) – два прозвища хрущевского крестьянина-птицелова по имени Александр, с которым у Пришвина связаны воспоминания о раннем детстве (Гусек брал мальчика на ловлю перепелов); сама личность птицелова и его отношение к природе – прафеномен пришвинского чувства природы и его творческого поведения. Ср.: Сашок //Собр.

соч. 1982—1986. Т. 1. С. 568—572; Кащеева цепь // Собр. соч. 2006. Т. 1. С. 42—48.

С. 383. *...заволжский старовер...* — в 1908 г. Пришвин совершил свое третье путешествие — в Керженские леса Нижегородской губернии к Невидимому граду Китежу, в результате чего была написана книга «У стен града невидимого» (1908). До Пришвина в этих местах побывали Д. С. Мережковский и З. Н.Гиппиус, о которых рассказывали Пришвину сектанты. Ср.: «Вошел... старик, который вчера проповедовал светлого и свободного Бога староверам... обыкновенный лесной мужик с нечесаной, клочковатой рыжей бородой, в лаптях... поклонись от нас Мережскому... Скажи... Дмитрий Иванович кланяется. Как сон, мелькнуло во мне воспоминание о слышанном и читанном про поездку одного из руководителей Религиозно-философского общества на Светлое озеро... Книжки к нам высылают, журнал... Они к нам пишут, мы к ним... Приносят книги, истрепанный, зачитанный журнал... с помарками, с отметками, спрашивают о всех членах Религиозно-философского общества. Слушаю их и думаю: "Какие-то тайные подземные пути соединяют этих лесных немоляк с теми, культурными. Будто там и тут два обнажения одной первоначальной горной породы"» (У стен града невидимого // Собр. соч. 2006. Т. 2. С. 483—484, 509—510). После возвращения в Петербург Пришвин знакомится с Мережковским, становится членом петербургского Религиозно-философского общества. Ср.: Ранний дневник. С. 175—316.

С. 386. *Слышал от коммуниста, что Мамонтов пойман...* — дневниковая тетрадь лета 1919 г. (апрель—сентябрь), включающая нашествие Мамонтова на Елец, утрачена.

С. 387. *Из белой недели...* — вероятно, имеется в виду время, когда Елец был занят Мамонтовым (белыми).

С. 390. *...кричит на улице молочник: «Соха и молот!»...* — «Соха и молот» — газета левых социалистов-революционеров, выходила в Ельце в 1919—1922 гг.

*...(еврейская «Чертова Ступа»)...* — в это время Пришвин работает над пьесой под названием «Черная ступа», которая впоследствии получила название «Базар» (1916—1920).

В авторской ремарке Пришвин отмечает: «В Кремле города, бывшего когда-то сторожевым окраины Московского государства, ныне в каменных и как бы приплюснутых, без всякой архитектуры, домах, похожих на сундуки царства Ивана Калиты, живут богатые купцы, окруженные цепью полуголодных, озлобленных мещанских слобод. В этих слободах рождается дух зависти и злобы, столь силь-

ный, что носитель ее, мещанка, прозванная Чертова Ступа, может существовать не как рядовая мещанка, ворчащая на недостатки сего дня, а как одержимая, как дух, пророчествующий хотя бы только на завтрашний день. У нее маленькое, в кулачок, лицо с одним далеко выдающимся зубом, голос сиплый, простуженный; отхаркивается; в правой руке — всегда «цигарка»; во время речи, с приподнятой рукой, двумя пальцами и цигаркой, заключенной, как в двуперстии, она смутно (как обезьяна) напоминает боярыню Морозову в картине Сурикова» (Цвет и крест. С. 339).

Ср.: «Люди, которых я описал в "Чертовой Ступе", существуют в действительности, и русские люди, близкие к русскому быту, узнают их, а далекие от них считают за мои изобретения, "химеры" (Вяч. Иванов за талантливые, Гершензон за бездарные). Вопрос: есть ли ценность в том, что эти люди существуют». «Задумал я, было, составить книгу под общим названием "Чертова Ступа" — первой поместил бы сцену (пьесу), потому показал бы все пережитое (многое написано в отрывках), поработаю, поработаю и оборвусь — нецензурно выходит (напр. как опускают в прорубь мужика при взыскании чрезв. налога)» (Дневники. 1920–1922. С. 101, 235–236).

С. 391. *...(шибаи) сидят...* — Шибаевка и Кибаевка — соседние с Хрущевым деревни; местное прозвище жителей этих деревень: шибай — барышник, кибай — буян, драчун; упоминаются в пьесе «Базар».

С. 394. *...«тайно образующе»...* — слова из «Херувимской», которая поется на Божественной литургии.

С. 395. *...описать это чувство, как «хочу творить зло, а творю добро» — «частица силы я, желавшей вечно зла, творившей лишь благое»...* — знаменитые слова Мефистофеля из трагедии Гёте «Фауст»: «Я — часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла».

*Сегодня утром вычитал в «Центральных Известиях» от вторника (23 Сент.)... о раскрытии заговора в Москве...* — По-видимому, имеется в виду заговор белогвардейской организации, носившей название «Национальный центр». Партийный состав Национального центра был в большинстве своем кадетский, но в него входили также эсеры и правые меньшевики. По захваченным при аресте документам было установлено, что организация занималась военным шпионажем в пользу Деникина. В связи с приближением Деникина к центру Советской России «Национальный центр» подготовлял восстание в Москве. В случае благоприятного для заговорщиков исхода было решено первым делом «вырезать всех большевиков». По постановлению ВЧК главари организации были расстреляны.

*Настроение совершенно такое же, как в зените якобинства...* — радикальное политическое течение времен Великой французской революции.

С. 399. *...«царство Божие на земле»...* — по-видимому, имеются в виду слова из молитвы «Отче наш»: «да будет воля Твоя яко на небеси и на земли».

С. 400. *...ничего тайного, что не стало бы явным.* — Мк 4: 22.

С. 406. *...иностранцам не нужна великая Россия.* — Перифраз известных слов Н. А. Столыпина «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» из его речи в III Государственной думе 16 ноября 1907 г.

С. 408. *К полудню о б о д н я л о с ь...* — ободняться — рассеяться *(диал.).*

С. 409. *...Ланская, после своего «падения»...* — имеется в виду Коноплянцева.

С. 411. *...разные обо́рухи...* — обо́рухи — остатки *(местн.).*

С. 413. *...и «Америка»...* — один из прафеноменов творческой личности Пришвина — побег «в Америку» (в других записях «в Азию»), который он совершил с елецкими друзьями-гимназистами в 1885 г.

С. *...(Нансен соединяет в своей личности...)...* — Норвежского путешественника Фритьофа Нансена Пришвин видел однажды во время приезда того в Петербург в начале века. Ср.: Личное дело. С. 40—49.

*...чтение из «Черного Араба»...* — повесть Пришвина «Черный Араб» (1910).

С. 416. *...(Толстой даже отказывается от своих писаний).* — В трактате «Что такое искусство?» (1897) Л. Н. Толстой, определив главными критериями произведения искусства религиозность и доступность, относит к «дурным» большинство произведений мировой культуры, в том числе и свои. *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 16. М.: Издание Т-ва И. Д. Сытина, 1913. С. 5—166.

С. 417. *...(Пугачев: через меня, окаянного, Господь Русь наказал).* — Неточная цитата из произведения А. С. Пушкина «История Пугачева» (1834—1835) (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В IX т. Т. VIII. Л.: Academia, 1936. С. 491).

С. 417. *Запись на кизяк.* — Прессованный навоз с примесью соломы, в южных районах используется как топливо.

С. 424. ...(*у Сосны и Лугка*)... — река в Ельце и ее маленький приток.

С. 437. *Христос ведь не разговаривал с голодными, а н а с ы т и л их.* — Мк 8: 2—9.

С. 438. *«Люблю морозы и отдаленные седой зимы угрозы».* — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Осень» (1833).

С. 439. *...С.Р.Ф.Р.* — Имеется в виду РСФСР.

С. 444. *«Война дворцам, мир хижинам!»* — Выражение «Мир хижинам, война дворцам» во время Великой французской революции XVIII в. было лозунгом революционной армии; в России во время Октябрьской революции широко использовалось в публицистике и революционной пропаганде.

С. 449. *...как у сектантов «Нового Израиля», когда они предлагали броситься в «Чан»...* — «Новый Израиль» — одна из самых известных петербургских хлыстовских сект. См. коммент. к с 33. Ср.: Ранний дневник. С.175—316.

(*Искушение Христа в пустыне*). — Лк 4: 13.

(*Светлый иностранец*). — Так называл Мережковского вслед за Розановым Пришвин в Раннем дневнике (1905—1913). Ср.: Розанов В. В. Среди иноязычных // Розанов В. В. О писателях и писательстве. М., 1995. С. 146 (указано В. Фатеевым).

С. 451. *Читаю Мережковского о Толстом...* — имеется в виду литературно-критическое исследование Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» (1901—1902).

С. 453. *...женихи Пенелопы сожрали почти все богатства Одиссея...* — аллюзия на поэму Гомера «Одиссея».

С. 455. *...«Константинополь будет наш»).* — Аллюзия на часто цитируемое высказывание Ф. М. Достоевского: «Константинополь должен быть наш» (Дневник писателя. Март. 1877. Гл. 1).

*Вещь бывает в себе у Канта...* — имеется в виду учение Канта о вещи в себе («вещь в себе»), утверждающее, что человек не может знать о самой вещи ничего — вещь непознаваема, а те ее признаки,

которые он воспринимает, суть его собственные представления о ней.

С. 458. *104 Бд* — Божьих дня.

*...этот советский бык Бонч пытается перекинуть мост через бездонную пропасть двух этих коммун.* — Об этой стороне деятельности Бонч-Бруевича см.: Хлыст. С. 631—674.

С. 460. *Введенье...*— имеется в виду праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы.

С. 461. *...зерно моей трагедии (похоже на «Идиота», и называли меня тогда некоторые — князь Мышкин).* — имеется в виду парижская любовь Варя Измалкова и Анна Ивановна Каль (урожд. Глотова) — жена теоретика музыки Алексея Федоровича Каля, с которыми Пришвин познакомился в Париже. Скорее всего, А. И. привлекла Пришвина красотой («похожа на "Даму в голубом" худ. Сомова»), сложностью натуры (инфернальностью), откровенными разговорами («Не хочу добра, — говорит красивая женщина. — Добро скучно. Красота рождается из страдания. Она есть просветление страдающего человека (гордого?). Гордость красива, претензия — безобразна»). Во всяком случае, В. Д. Пришвина отмечает: «Кто знает, что повлекла бы за собой... встреча Михаила с Анной Ивановной, если бы именно у Глотовой в Париже Пришвин не познакомился с ее подругой Варварой Петровной Измалковой... Глотова вернулась к мужу, но говорила, что... ничего... в обычных формах отношений мужчины и женщины не видит... Через несколько лет, уже в России, она покончила жизнь самоубийством после какого-то романа» (Путь к Слову. С. 83). Пришвин в позднейшей (1935) краткой летописи жизни отмечает: «Роман "Идиота"... Глотова» (РГАЛИ).

С. ...*Розанов мне однажды сказал...* — видимо, ошибка в рукописи: ниже эти слова приписываются Горькому.

С. 462. *...(«Помолчим, братие»)...* — имеются в виду слова поэта А. М. Добролюбова, который в 1898 г. отрекся от декадентских идей и в крестьянской одежде, с посохом в руках бродил по северным деревням, записывая народные песни, заклинания, плачи и сказания. В 1903 г. в Поволжье он основал секту «добролюбовцев», известную введенным им обетом молчания.

*...мысль изреченная есть ложь...* — Строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» (1830).

С. 464. *...любовь к ближнему, как к самому себе.* — Мф 7: 6.

С. 469. *...храненные в мороженых сундуках...* — обитые мороженой жестью сундуки считались в конце XIX — начале XX в. фирменными невьянскими, по имени города Невьянска на Урале; секрет «морозки» жести был привезен из Англии и доведен русскими умельцами до совершенства; узор возникает в процессе кристаллизации расплавленной смеси олова и свинца на жести при опрыскивании водяными каплями, причем любое минимальное нарушение размера капель воды, угла их падения или температуры нагрева смеси уничтожает эффект «мороза»; считается, что в настоящее время секрет этого производства утрачен.

С. 470. *— Вы бросили святыню свою свиньям...* — Мф 22: 39. Мк 12: 31.

*— По плодам их узнаете их...* — Мф 7: 16.

*— Милости хочу, а не жертвы.* — Мф 9: 13; 12: 7 (Осс 6: 6).

*— Могут ли печалиться сыны Чертога брачного, пока с ними жених?* — Мк 2: 19. Лк 5: 34.

*— Царство небесное силою берется.* — Мф 11: 12.

*— Всякое царство, разделившееся в себе, опустеет.* — Мк 3: 24.

*— И если сатана сатану изгоняет...* — Мк 7: 26.

*— Не бывает пророк без чести.* — Мк 6: 4.

С. 471. *...«Со святыми упокой».* — Кондак последования по исходе души от тела.

*...чуть не погиб в отвершке...* — отвершек, отверх оврага, балки, одна из вершин *(местн.)*.

*...втайне радуясь сердцем, что сам остался в живых.* — Перифраз из «Одиссеи» Гомера (перевод В. А. Жуковского). В «Одиссее»: «Далее поплыли мы в сокрушенье великом о милых / Мертвых, но радуясь в сердце, что сами спаслися от смерти».

*Или глаз твой завистлив от того, что я добр?* — Мф 20: 15.

С. 472. *...(Нагорная проповедь)...* — Мф 5.

*...(горе вам, книжники!)...* — Мф 23: 13—15.

*...(...но и это еще не конец!).* — Мф 24: 6.

*...вспоминаю Сашу: «А умирать я приеду к тебе»...* — Драма Александра Михайловича Пришвина — следствие его неудовлетворенности семьей и, возможно, профессией («Саша — какой-то артист по природе своей, которого нравственная Дуничка сделала доктором») — проявилась после встречи с женщиной-медсестрой, которую в семье Александра прозвали Марухой (см. примеч. к с. 188).

С. 474. *...и разбойники распятые...* — Лк 23: 39—43.

*Студенты в Риге, ожидающие неминучей тюрьмы как радости...* — имеется в виду юношеское увлечение марксизмом в годы учебы на химико-агрономическом отделении Рижского политехникума (1893-1897), когда Пришвин стал членом социал-демократического кружка «Школа пролетарских вождей» под руководством В. Д. Ульриха. Члены кружка занимались распространением революционной литературы среди рабочих, а Пришвину, кроме того, был поручен перевод книги А. Бебеля «Женщина и социализм». В 1897 г. члены кружка были арестованы, и Пришвин провел год в камере одиночного заключения Митавской тюрьмы, а затем был выслан на родину в Хрущево без права продолжать образование в России.

В конце тетради вложены отдельные листки без даты.

— Во-на! — ответил старик.

И, весело улыбнувшись, так, будто на все сущее махнув рукой, сказал:

— Хлеба, хлеба... не единым хлебом жив человек.

Стало и мне весело, легко от слов старика, я вспомнил, узнал свою родину и спросил старика: цел ли домик Ефимовны над обрывом против Заречной горы.

— Стоит, что ему подеется!

— И хозяева живы?

— Старуха бегает, молодая сидит с двумя детками, живы, ничего.

— И тоже овес едят?

— Овес, а то что же? Я говорю вам, милый вы мой человек, не единым хлебом жив человек, все живем, значит, на что-то надеемся.

Подхожу я к дому Ефимовны против Заречной горы, старушка сразу узнала меня.

— Лидочка, Лидочка, — кричит, — посмотри, кто к нам пришел, узнаешь?

Она вышла ко мне, прежняя моя Лидия, вся вышла сама, как я сам тут единственно с ней, сам, и где она и где я — нельзя было понять, и не нужно, и не хотелось: все вдруг открылось, как осенью небо раскрывается. И опять, просияв на мгновенье, исчезло.

Лидия отвечала мне на поклон как старому и милому знакомому и с матерью в один голос сказала, что поселюсь я, конечно, у них, комната в мезонине, моя прежняя комната, в том же виде, как и восемь лет тому назад.

Мы пили чай на террасе против Заречной горы, как мне тут все знакомо: вот в развалюшке живет уважаемый вор Бурыка, весь округ в страхе держит, а у нас во всей слободе не украл ни синь-росинки. Вон там — стекольщик, эсер, который все уговаривал меня для спасения России устроить кружок «одной шерсти», там вдова дьяконица — путешественница по святым местам Евпраксия Михайловна и рядом с ней странный человек, портной Иван Сидорович, помешавшийся на том, что влюбился по воздуху в дочь Соборного протоиерея Музу Махову.

Мы говорим с Лидией, будто ходим по большому кругу, с обещанием не заглядывать в круг: у нее муж — чиновник и двое детей, Миша и Алик, жила в Петербурге до голода, теперь он там и присылает ей деньги сюда.

— У меня, — я рассказал ей кратко про свою жизнь, — своя создалась бродяжная свобода, которою я дорожил, но чувствую теперь, что есть что-то больше ее.

— Что это? — спросила она и спохватилась: — Нет, не говорите, я понимаю.

И перешла на продовольствие, что вот как трудно все доставать, за всем бесконечная очередь, и главное, надоел этот хлеб из овса.

— Мы здесь, как лошади, голый овес едим!

— Ну, ничего, — сказал я, — не единым хлебом жив человек. — И ушел наверх в свою комнату. Я хожу из угла в угол по комнате и обдумываю, как мне быть, понимаю это ясно, как никогда понимаю, что мне надо служить не в канцелярии, а вот так, по воле, служить.

«Служить... — думал я, глядя из своего окна на домик странного портного, — вот, может быть, и он думает, что служит: пишет ежедневно Маше письма и на конверте подписывает: “Привет пренепорочной деве Марии”.

## Представленный

В числе представленных к чину действительного статского советника к Пасхе революционного года был и начальник отдела Военного времени Петр Никандрович Никандров. Он знал по опыту двадцатипятилетней службы своей, какой подлый народ чиновники, и хотя о представлении своем был вполне осведомлен, но все-таки послал своего секретаря разузнать, каким нумером он был записан в порядке представления: представленных много, и если запишут к концу, то не только в эту Пасху, но и в пятую не попадешь. Секретарь навел справки, и оказалось хорошо: к этой Пасхе

представленный Петр Никандрович непременно должен сделаться Его Превосходительством. Хлеб. Тогда он (со злости) стал писать бумагу длинную министру, доклад. «Считаю своим долгом доложить Вашему Высокопревосходительству: Спасение России. Катастрофа». На этом он остановился, нужно было узнать, сколько нужно <*загеркнуто*: хлеба рабочим> рабочих для обороны: два делопроизводителя спорят между собой: и все-таки хлеб у них есть.

23-го рабочие вышли на улицу. Петр Никандрович пошел на службу, не обращая на это внимания. 24-го он подумал за весь день раз: «Когда же закончится это безобразие?» 25-го к его трамваю номер двадцать два подошла кучка рабочих и, быстро что-то проделав, разошлась. Возле вагона собралась толпа народу, и Петр Никандрович узнал, что та кучка рабочих унесла ручки от трамвая и вагон совсем не пойдет. «А есть запасные ручки?» — спросил Петр Никандрович. «Запасных нет!» — ответили ему. Тогда в первый раз он тревожно подумал, что это не шутка и смута эта затянется. 25-го он шел в Министерство пешком, уже не думая о трамвае, и с большим удивлением заметил, что конка, настоящая старая конка, ползет, как темная каракатица, по улице. Она и раньше, конечно, ходила здесь, но тогда он среди трамваев ее никогда не замечал и думал, что конки уж и вовсе на свете нет, а вот конка теперь оказалась какая-то темная, старая, влекомая клячами. Она единственная двигалась, а все трамваи стояли. Без трамваев, как в комнате без газеты, совсем иначе на улице, и тут уже Петр Никандрович по пути в министерство много всего передумал тревожного. Но, конечно, там на службе все это прошло, и день он провел обыкновенно. 27-го объявили, что мука есть! Скоро всех известили, что мука есть. В министерство бурей ворвались с улицы слухи о грозных событиях, барышни-машинистки разбежались по домам, и Петр Никандрович вышел последним один, тревожно озираясь на дым огромного пожара. И все-таки заметил, что конка уже больше не ходит, и должно быть, уже сутки или двое не ходит, потому что на ней уже много было насыпано снегу. После этого начались грозные дни. Все-таки Петр Никандрович и в эти дни порывался несколько раз проникнуть на службу, но это было невозможно, и он жил эти дни, как все жили ему подобные люди. И он, как все, слышал звуки выстрелов, и вечером в тревожном сне эти пулеметные выстрелы не слышались, а виделись мертвыми точками черного света, и во сне он видел, как в сиянии весеннего света скованный морозом, засыпанный снегом Белый город жил какою-то странной жизнью одного существа и: «Ужо тебе!» — грозился безумец Медному Всаднику на белом, засыпанном снегом коне.

Как многие думали во время войны о разных своих делах, что вот теперь так, а после войны будет иначе, после войны, думал он, жизнь начнется такая же в основе, как раньше, и, откладывая то или другое решение, говорил себе: это на после войны. Так теперь,

раздумывая о своих служебных делах, Петр Никандрович откладывал их на после и полагал, что как бы там и чем бы там все ни кончилось, после всего он придет в департамент и дело его в основах своих пойдет так же, как и до этого. Но когда вышел срок — 4-го Марта, он был уже в департаменте, то стало ясно ему, что жизнь совершенно стала иная и точек опоры в ней нет. Высшие новые чины Министерства заняты были общими вопросами, по текущим делам к ним невозможно было добиться, низшие служащие обсуждали какие-то организационные дела свои в общем зале, а главное, что бумаги, волной заливавшие его отдел, теперь по чьему-то распоряжению, минуя его, пошли совсем в другое ведомство. Те же бумаги, которые ему все-таки приходилось подписывать, писались как-то ново, как называли, индивидуальным стилем: делопроизводители быстро приспособились, оставили все прежние обороты: «имею честь» и «Ваше Превосходительство». Вместе с этим само собою отпали и перешли в мертвое состояние все чины, и он остался на все времена теперь к Пасхе представленным к чину действительного статского советника, и с ним на все времена остались по порядку с номера первого и до последнего около тысячи представленных.

Тогда все люди разделились надвое: на побежденных людей и побеждающих. Одни должны были восторжествовать, другие погибнуть, Петр Никандрович не подходил ни к тем, ни к другим... И ему казалось, что он... но работа прекратилась, и куда идти, куда девать себя. Не выдержал, и все-таки пошел в Министерство. Встреча с министром.

Самое плохое в положении Петра Никандровича, что не как самые высшие чины был арестован и отстранен от должности и не мог вместе с ними жить теперь, наматывая на ус все опасное для нового строя: появление черных автомобилей, каких-то крестиков на дверях, угрожающих Варфоломеевской ночью, и всякого подобного вздора; он не мог утешиться и злорадствовать в ожидании конца революции. Он искренне признавал новый строй и желал только необходимого ему дела, без которого жить он не мог: ему нужно было дело организации порядка души, того необходимого ему угла спокойствия, в котором он жил до сих пор.

Сделал попытку объясниться с министром, с трудом добился свидания с ним и рассказал ему подробно о состоянии своего отдела и своих дум: что без дела он жить не может и просит себе настоящего дела.

Министр странно смотрел как-то поверх его головы, а когда [он] кончил, то очень мило, дружелюбно сказал, что ничего не слыхал: голова забита, два раза в день на Совете Министров... И потом сказал:

— Я ведь вас не знаю, и вы меня не знаете...

— Что же мне делать? — спросил Петр Никандрович. — Выходить в отставку?

— Нет, зачем же, подите в отпуск, а там увидим...

И положение осталось по-прежнему, и он по-прежнему был каким-то представленным.

Тогда совсем не так, как у сенатора и важных лиц, явно пострадавших от нового строя, где каждая мелочь записывалась на душе... как земля будущего, а так само собой тревога стала закрадываться, например, о двоевластии: с удивлением для себя Петр Никандрович ловил себя на удовлетворении от чтения статьи о двоевластии, о том, что солдаты... фабричные рабочик... Кто-нибудь из тех [вождей,] встречаясь с ним на улице, кланялись:

— Здравствуйте, Петр Никандрович, как поживаете... — И с улыбкой тихонько: — Как поживаете, Ваше Превосходительство?

— Я не у дел!

— Вы не у дел, вы! — с оттенком недоверия.

Тогда Петр Никандрович ловил себя:

— Пока...

Стали поговаривать в этом кругу о политическом провале в день гражданских похорон. И начинали ядовито:

— Граждане, а если покойники не согласятся?

На дворах стоят пулеметчики. Похороны откладывались.

В «Правде»: «Провокаторы... Изменники!»

Наконец 23-го, похоже, было назначено...

С самого утра было ясно, что это великое торжество революции и быть ничего не может.

## Указатель имен

## СОДЕРЖАНИЕ

*Художественное издание*

**Михаил Михайлович Пришвин**

**ДНЕВНИКИ**
**1918–1919**

*Верстка:* *С. В. Степанов*
*Корректор:* *Ю. А. Курбатова*
*Художественное оформление:* *Г. Расторгуев*

На форзаце:
*Храм Спасителя и памятник Александру III (Москва, фотографи 1912 г.); площадь Жертв Революции (Петроград, 1920-е гг.)*

На нахзаце:
*Петроград, Васильевский остров (начало XX в.)*

Подписано в печать 30.07.08. Формат 84 × 108 $^1/_{32}$.
Бум. офсетная. Гарнитура Octava. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 35,00. Тираж 3000 экз.
Зак. № 3345

ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostok_publish@front.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: (812) 323-54-70

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

